7. 1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

ИЮЛЬ 1973

№ 7

СОДЕРЖАНИЕ

ЯН КОЗАК — Святой Михал *(Роман. Перевод с чешского Л. Васильевой и Т. Мироновой. Под редакцией Л. Лерер)* 3

ГИЛЬЕРМО АТИАС — ...и потекли деньги *(Повесть. Перевод с испанского Павла Сергеева)* 68

ДЖОН БЕРРИМЕН — Стихи *(Перевод с английского и вступление В. Британишского)* 127

Литературное наследие

ГЕНРИ ДЖЕЙМС — Письма Асперна *(Повесть. Перевод с английского Е. Калашниковой. Послесловие А. Елистратовой)* 136

К 80-летию со дня рождения В. В. Маяковского

«Я земной шар чуть не весь обошел». АНАТОЛЬ СТЕРН. ГУГО ГУППЕРТ — Из воспоминаний о Маяковском *(Публикация, вступление и примечания Н. Реформатской)* 207

Маяковский в Китае. ЯНЬ ЧЭНЬ — Ты в какие ушел края? ГЭ БИ ЧЖОУ — Я видел Маяковского. ЛИ ИН — Песня наших сердец *(Стихи. Перевод с китайского и вступление Л. Черкасского)* 222

Критика

ВЕРНЕР НОЙБЕРТ — Познание смысла жизни (Новое в литературе ГДР) 226
Г. БРЕЙТБУРД — Годен к перу 232

Писатель и время

АЛЕКС ЛА ГУМА — Южноафриканская литература и апартеид 241

Культура и современность

Заметки на полях

В. Лакшин — Снова о «физиках» и «лириках». А. Галкин — По гуманизму — шрапнелью! В. Божович — Кино и эстетика жестокости 246

Изобразительное искусство за рубежом

Л. ДЬЯКОВ — Рауль Дюфи — поэт гармонии и радости 257

Наши гости

М. САЛГАНИК — На полпути (Посмертная публикация беседы с Моханом Ракешем) 259

Среди книг

Издано в СССР

О. Россиянов — Петефи требующий. В. Чернышев — Сердце, отданное людям. Н. Павлова — Новые переводы из Брехта 262

Издано за рубежом

Лев Гинзбург — Именем Маяковского. А. Вещенко — Открытое послание человечеству. Е. Гальперина — Пройдя сквозь лабиринт... 267

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 287

На вклейке: работы французского художника РАУЛЯ ДЮФИ.

На обложке: картина РАУЛЯ ДЮФИ «Довиль» (1929).

© Журнал «Иностранная литература», 1973 г.

ЯН КОЗАК

Святой Михал

РОМАН

Перевод с чешского Л. ВАСИЛЬЕВОЙ и Т. МИРОНОВОЙ. Под редакцией Л. ЛЕРЕР

ОТ АВТОРА

Наши читатели обычно спрашивают меня: «Как вы пришли к этой теме, как собирали материал для своего романа?» Об этом, видимо, следует рассказать и советскому читателю.

Все обстояло просто. Партийный работник, историк, я преподавал тогда в Высшей партийной школе при ЦК КПЧ и занимался главным образом периодом кооперативного строительства нашей деревни. Месяцами я жил среди своих героев, вероятно, правильнее было бы сказать, что жил вместе с ними их жизнью. Я близко узнал Михала и Вилема. Видел их за работой в поле, в канцелярии местного национального комитета, сиживал с ними в погребке. Мы часами обсуждали там события, которые приводили в движение «мое» село, за стаканом прославленного красного вина Михала, наслаждаясь его чудесным, пряным ароматом; мы «сводили баланс» и «утрясали планы» кооператива на будущее. По правде говоря, у меня никогда не хватило бы фантазии написать «Святого Михала», если бы на моих глазах не «созревали» судьбы «поречан», бродя, как их молодое вино, и если бы я не располагал временем, достаточным для того, чтобы узнать, как бродит, как созревает это людское «молодое вино» и каково оно на вкус. Признаюсь до конца — был я и на той пирушке в школьном саду, наслаждался вместе с Михалом, Вилемом, Эдой, Адамом, Касицким и остальными купанием в ласковых водах неторопливой речки Души; на залитом солнцем берегу вместе с Адамом и Эдой поджаривал на вертеле щучек и окуней... Был я там и когда Руда собирался, а затем отправился в Америку за долларами, полученными в наследство. Ну, да что тут скрывать — он и меня потряс тогда своим огромным тюком багета, который поволок за океан. И мне он доверил свою тайну, послужившую причиной его упорного желания во что бы то ни стало отправиться за океан, и мне он рассказал о своей изощренно-хитрой уловке. Должен сказать, что все это мы потом обсуждали в погребке, и Вилем чертыхался, а Михал снисходительно улыбался. А Гавая? Я побывал не в одном цыганском поселке; естественно, хорошо знал немало их обитателей. И там тоже была своя сложная жизнь — горести и радости она рассыпала щедрой рукой. Вот так я собирал «материал».

Да, я стремился показать врожденную способность простого человека радоваться всем дарам жизни и бороться за них. И именно в ту пору, когда основной вопрос — идти против кооператива или с кооперативом — был окончательно решен. Решен и благодаря Вилемам, Эдам, Адамам. Они помогали появлению новой жизни на свет, «они ее оплодотворили и в то же время вынашивали в себе ее плод; они были как бы и отцом, и матерью, и повивальной бабкой новой жизни. Они выхаживали младенца, заботились о его пропитании в добрые и недобрые времена. Потому-то всем сердцем и привязаны к ней, защищают ее и готовы ради нее на самые тяжкие жертвы. Они оберегают ее, возможно, даже с чрезмерной тревогой, и подозрительно следят за всеми, кто по неведению или по злому умыслу хотел или мог бы причинить ей вред». Вот так и начиналась, да и продолжается по сей день, борьба — как лучше благоустроить село,

как добиться процветания кооператива. За что первым делом взяться засучив рукава, на что и как опереться, чтобы революционные перемены в нашем селе, вдохновляющим примером для которых послужила коллективизация советской деревни, достигли вершины возможного. К этому теперь и стремится Михал. Михал, который вначале не понимал, а на определенном этапе стал более способным продолжателем дела, начатого не им. Теперь Михал стоит во главе — вместо тех, кто уже не поспевал за темпом перемен, которые они сами вызвали к жизни. А поскольку герои «Святого Михала» — живые люди со своеобразными характерами, люди, у которых извечная тяжкая борьба за кусок хлеба выработала не только упорство и сообразительность, но и лисью хитрость и изворотливость, то действие романа, его содержание — это их подлинная борьба, их подлинная жизнь.

Этот период нашей истории, наполненный будничным трудом и, казалось бы, лишенный пафоса, представляет собой неотъемлемую часть истинно героической эпопеи нашего социалистического века. Поэтому роман «Святой Михал» по своему замыслу и внутреннему заряду касается не только деревни и не только 60-х годов; а поскольку он рассказывает о борьбе за новое, лучшее в нашем обществе, то проблематика его актуальна и ныне. И не только для нас, чехов и словаков. А умение с юмором смотреть на происходящее, даже в ситуациях весьма важных, должно помочь лучше и глубже понять бурлящее кипение наших сегодняшних дней, которые еще надолго останутся сегодняшними.

Итак — в добрый путь, «Святой Михал»! В добрый путь, Михал, Вилем, Адам...

I. Поречье

1

В редкостном по красоте и поистине благодатном месте расположилось село Поречье. Его приподнятую верхнюю часть — «голову»,— лежащую у подножия лесистых вигорлатских холмов, венчают виноградники и сады, а нижняя — «ноги» — протянулась к речке Душе, окаймленной ивняком и ольшаником, и плещется в ней.

Виноградники, сады и крестьянские усадьбы спускаются к обширной плодородной равнине, где на полях, перемежающихся тучными лугами, колосятся хлеба, зреют овощи. А низменность, которая простирается за ними далеко к югу-западу, настолько удручающе однообразна, что навевает уныние и сон. Но пореченский уголок здешнего края — щедрый и приветливый,— кажется, раскрывает объятия каждому. Он славится своим вином, недаром называемым «Жемчужиной Поречья», обильными урожаями салата, цветной и белокочанной капусты, огурцов, помидоров, лука и сладкого перца. В садах его вызревают великолепные, сочные фрукты.

Низменность, которая начинается сразу же за Павловицами — районным центром, расположенным неподалеку от Поречья,— обычно в летние месяцы изнуряет засуха: ее почву иссушают палящее солнце и знойные ветры. А в Поречье, у подножия холмов, леса надолго сохраняют свежесть воздуха. Холмы прикрывают село и от северных и восточных ветров. Поречане могут обозревать дали родного края, расстилающегося у их ног, могут бродить часами по вигорлатским чащобам, где по сей день еще обитает уйма всякого зверья. Тут порой в темноте на винограднике среди лоз крадется рысь, бывает, дикая кошка или лиса выбираются в ночную пору чуть ли не на самую сельскую площадь. Задушат и утащат цыплят или гусят, дремлющих в загородке,— ведь они держатся кучкой, да и пожирнее фазанов, которые предпочитают гнездиться лишь за речкой. Заходить туда хищники отваживаются, правда, лишь знойным летом. Тогда речка высы-

хает почти полностью, и на камнях и обнажившихся отмелях на песке между ракушек и водорослей появляются следы их лапок. Осенью, в утренней тишине, даже на сельской площади можно услышать, как воинственно трубят олени. Если молодая свинка невзначай забредет за пределы усадьбы, то может статься, что через некоторое время она принесет «незаконный» приплод — поросят с черными полосками на спине и другими отметинами, свидетельство того, что папаша их— дикий кабан из соседнего леса.

Почти все взрослые поречане — а их около четырех сотен — трудятся в сельскохозяйственном кооперативе. Это крепкий и строптивый, осторожный и изобретательный, горячий и жизнестойкий народ, испокон веков закаленный тяжким крестьянским трудом. Поречане считали или, вернее сказать, могли бы считать себя вполне довольными и счастливыми, если бы, впрочем, их не оберегала от этого ощущения извечная, жадная и в то же время благодатная неудовлетворенность.

Председателем пореченского кооператива, его душой уже несколько лет был Михал Янак. Этот сорокалетний богатырь так и пышет здоровьем. Он — воплощение жизнерадостности, но упрям при всем том до крайности: если вобьет себе что в голову, то хоть кол на ней теши. Его открытый, искренний взгляд, всегда по-дружески теплый, почти нежный, тотчас становится строгим и пугающе холодным, если того требуют обстоятельства. Односельчане называют Михала «наш председатель». Соседи из Горной Рыбницы, Мочаран и Блатницы с почтением снимают перед ним шапку. Михал всегда знает, чего хочет и что надо для дела. Его прежде всего интересует кооператив. Он требует, чтобы во всем был порядок, и удерживает его мягкой, но сильной рукой.

После всего пережитого поречанами за годы, предшествовавшие приходу Михала к руководству кооперативом, он мог бы кой-кому показаться эдаким человеколюбивым врачевателем, который взялся бескорыстно избавлять односельчан от старых недугов: останавливать кровотечение, вскрывать нарывы, промывать желудки, перевязывать раны, снижать температуру, принимать новорожденных. Подавляющее большинство поречан любит Михала или, по крайней мере, ценит и признает его. Есть такие, кто при всем уважении относятся к нему сдержанно, а случается, что и ненавидят. Но кто? Лодыри, пьяницы, завистники, симулянты, нечистые на руку людишки, которые не прочь нажиться за чужой счет и нередко принимают погреба и кладовые кооператива за свои собственные. К тому же за Михалом незаметно, но постоянно и настороженно следят, подозревая во всяких грехах, Вилем и его друзья-соратники. Они взвешивают и обсуждают каждое намерение, каждое действие Михала. Он это знает, и потому ему приходится время от времени преодолевать чинимые ими всяческие препятствия. Впрочем, говорят, нет таких обстоятельств, при которых Михал растерялся бы. И это верно. Да разве не лучшее доказательство тому странное на первый взгляд, а многим, кто недостаточно хорошо знает Михала, кажущееся даже совершенно непонятным его дружеское отношение к Вилему? И это после всего, что было!

2

Двадцать лет назад Вилем жил на нижнем конце села. Домишко его постепенно разваливался, дранка на крыше почернела, наежилась. В доме из-за загромождавшей его рухляди и целого выводка младших

сестер и братишек Вилема некуда было ногой ступить. Отец их почему-то не вернулся с сахарного завода, куда несколько лет назад уехал на один сезон, и Вилем оказался единственной опорой матери. Вечно у них кто-нибудь из детей хворал, вечно в доме стоял визг и всегда чего-то не хватало. Вот и пришлось Вилему вместо школы отправляться на заработки; он нанимался подпаском к общинному пастуху Эде Микуле, собирал в лесу грибы, малину, время от времени уходил на сезонные работы — полол, окучивал, трудился на винограднике, позже, когда подрос, летом работал в каменоломне, а зимой возил лес. Он был широкоплечий, сильный парень, но выглядел всегда усталым и озабоченным. В селе многие смотрели на Вилема свысока, и это бесило его.

По вечерам, после работы, он обычно как был — в замусоленных штанах и драной рубашке — брел на площадь. Иногда заглядывал в корчму «У венка» и, взяв кружку пива, выходил на улицу. Прислонившись к нагревшейся за день стене, он время от времени отхлебывал из кружки, неотрывно вглядываясь, не вышла ли из дому Катарина. И чем дольше ему приходилось ждать, тем более портилось его настроение, а если она так и не появлялась, он не спеша подходил к их домику и, стоя у забора, вступал в разговор с отцом Катарины — плотником паном Варади. На дворе у них всюду валялись кругляши, планки, обрезки всевозможных стоек и балок; у забора среди крапивы и бурьяна сохли прогретые солнцем доски. Для Вилема здесь все дышало уютом и спокойствием. Они вели с паном Варади беседы об урожае и погоде, подробно обсуждали преимущества буковой и дубовой древесины.

За этими беседами Вилем украдкой поглядывал на Катарину. Он смотрел, как ловко она вытаскивает из колодца ведро, полное воды, или собирает разбросанные по двору обрезки дерева; как пропалывает грядки, поливает тыквы и помидоры. Иногда ему удавалось увидеть ее крепкие, загорелые икры или же как она, подняв руки, словно гребенкой, проводит пальцами по густым каштановым волосам, которые вечно падали ей на лоб. Бывало, и на нем останавливался теплый взгляд ее больших сияющих глаз.

А если Катарина улыбалась ему, Вилем прямо расцветал. Но оказавшись рядом с нею, робел, терялся. И что он только не делал, но сблизиться с Катариной ему никак не удавалось. Все попытки оканчивались неудачей. Его все больше раздирали всяческие сомнения и подозрения. Вот почему, когда во время вечерних бесед у забора в соседнем дворе появлялся Михал и встревал в разговор, ему это, мало сказать, не доставляло удовольствия, его это просто угнетало.

Как-то вечером он по своему обыкновению приплелся к Катариному дому, огляделся и завел дружескую беседу с паном Варади. Тот был занят подборкой досок для нового свинарника, поскольку старый совсем развалился. Вилем за разговором стал помогать ему — пан Варади, естественно, не имел ничего против такой любезности. А Вилем был преисполнен радости оттого, что мог оказать помощь отцу Катарины. Выпрямившись, чтобы передохнуть, он вдруг увидел, что за его спиной стоит Катарина.

— Уж не собираешься ли ты стать плотником, Вилем? — спросила она.

— Почему бы и нет? — ответил он.— А вдруг это как раз то, что мне надо? Из дерева ведь так много всего можно сделать. Недавно в Павловицах я видел такую хорошенькую вещичку...

Вилем собрался было продолжить рассказ, но Катарина решительно оборвала его:

— Поговорил — и хватит! Пойдем немного прогуляемся. Посидим на площади.

От удивления он даже рот раскрыл.

Катарина одарила его ослепительной улыбкой, сочные губы слегка приоткрылись. Но в глазах ее Вилем уловил какую-то тревогу. Он украдкой огляделся и, заметив на соседнем дворе Михала, почувствовал удовлетворение. Катарина сорвала в траве у забора несколько голубых колокольчиков и воткнула их в волосы.

— Пойдем, Вилем!

Вилем заметил, что произнесла она эти слова особенно громко. А когда они не спеша прогуливались по площади, Катарина шла совсем рядом, слегка касаясь его. Сердце Вилема колотилось от радости. Он торжествовал. Наконец-то Катарина с ним!

Все было как нельзя лучше, сомнения рассеялись. Он чувствовал прилив сил и держался прямо, уверенно. Его обуревало желание показать, на что он способен, ему начало казаться, что мир устроен вовсе не так уж плохо и бессмысленно, как бы там ни было, а жить с Катей он будет без печалей.

Прошло, однако, несколько недель, и в душе его вновь наступил разлад, ощущение счастья исчезло. Если не считать того, что они иногда вместе прогуливались и сидели на площади, в их отношениях ничего не изменилось к лучшему. А вот прежнего тепла и внимания у Катарины уже не стало. Когда же наступила зима, пришел конец и разговорам у забора. Вилем, правда, время от времени бродил около ее дома, заглядывал в окно, но Катя показывалась редко. Вилем с горечью и грустью рассудил, что она, конечно, своенравна и капризна, но все же не терял надежды. И вдруг он услыхал от кого-то, что Катарина выходит за Михала, скоро свадьба. Его словно обухом по голове ударили. Он долго не мог взять в толк — как же так она дала ему отставку? «Черт возьми, неужто я хуже Михала? — недоумевал он.— Почему она меня бросила? Разве я такой уж никудышный, пропади оно все пропадом!..»

Вилем стал смотреть бирюком. Лицо его потемнело и приобрело какую-то строгость, в уголках рта появились горькие складки. Сердце разрывалось от гнева и жалости к самому себе.

Друзья озабоченно спрашивали:

— Вилем, что с тобой? Ты словно обмолоченный сноп.

— Не знаю,— отвечал он, желая отвязаться от них.— Видно, что-то с желудком неладно. Последнее время ничего не принимает.

В те дни Вилему казалось, что и друзья ему в тягость. Он стал избегать их. Но, как ни пытался он скрыть причину своего подавленного состояния, всем было ясно, отчего парень страдает. Часто он сидел, бессмысленно уставившись прямо перед собой.

И вот, как раз когда Вилем пребывал в таком настроении, его увидел в корчме Михал, который зашел туда выпить пива. Вилем сидел с отсутствующим видом, опершись локтями о стол и сжимая ладонями недопитую кружку. До свадьбы Михала и Катарины оставалась неделя, и Михал был в состоянии полного блаженства. Он думал, что хорошо было бы уладить теперь отношения с Вилемом. Ведь рано или поздно это должно произойти.

Он подсел к Вилему за столик, тот удивленно взглянул на него, побагровел, сжал губы.

— За твое здоровье, Вилем,— поднимая кружку, сказал Михал. Во взгляде его были искренность и благожелательство.

Вилем отвел глаза, он был совершенно выведен из равновесия. Что-то нашептывало ему: «Черт побери, да тресни ты его по башке!

Ей-ей, двинул бы ты его кружкой». Но он поборол искушение и даже не шелохнулся. Михал выпил один и с мягкой улыбкой сказал:

— Послушай, Вилем, ну кто заранее знает, когда он сам одурачит, а когда одурачат его? Когда он кому-то поставит ловушку, а когда сам окажется в ней?

Вилем сперва даже не слушал, но постепенно слова Михала стали доходить до его сознания; ему показалось, что над ним просто издеваются. Он механически взял кружку, которую перед тем в волнении отодвинул. Михал же истолковал это движение по-своему — подумал, что Вилем хочет выпить с ним. Желание во что бы то ни стало утешить Вилема усилилось. Он был счастлив и не хотел, чтобы другие страдали.

— Вилем,— снова заговорил он,— не надо все это принимать так близко к сердцу. Ты понимаешь, что я имею в виду. Ну, кто знает, чем бы все кончилось, если было бы наоборот. Наверно, все было бы по-другому, если б ты жил там, где я, а я — там, где ты.

Ничего подобного Михал, конечно, не думал; это была чистейшая чепуха.

Но намек тем не менее был слишком прозрачен. Михал, правда, тоже был не ахти какой богач, но все же... После смерти отца хозяйство вел он с матерью. Ему достались в наследство дом с усадьбой, шесть гектаров хорошей земли и виноградник; у него было пять коров, две лошади и полон двор домашней птицы.

Михал и не предполагал, что его слова возымеют действие, совершенно противоположное тому, какое он ожидал.

А Вилем прямо физически ощущал, как разрывается у него сердце. Он был так сбит с толку и задет за живое, что лишь выкрикнул:

— Катись ко всем чертям! — тут же поднялся и, ссутулившись, вышел, забыв даже заплатить за пиво.

С той поры в Поречье многое изменилось. В сорок пятом году, когда кончилась война, Вилем стал на селе признанным вожаком, застрельщиком всего нового, что начисто переворачивало жизнь Поречья. Полный энтузиазма, он стремился строить новое общество и боролся за него горячо, прямо-таки с лихорадочной страстностью, напоминающей религиозный экстаз. В искренности его и бескорыстии — в некотором смысле почти апостольском — не было никаких сомнений. Он объединил вокруг себя немало сторонников, среди которых были, конечно, временные, но были и верные, преданные до конца. О нем писали в районной и даже в областной газете.

Но в пучину революционной жизни Вилем ринулся так решительно, с такой неуступчивостью и бескомпромиссностью, что очень скоро восстановил против себя большинство односельчан. Многие стали отходить от него. Он отрекся от них, но не отступил. Некоторое время — кстати, оно было чрезвычайно богато всяческими событиями — он даже возглавлял сельскохозяйственный кооператив, созданный им вопреки воле поречан, но при значительной поддержке из Павловиц. Михалу тогда пришлось худо, хуже, чем кому бы то ни было; Вилем едва не пустил его по миру. Когда через год кооператив развалился, Вилем был убежден, что причиной этому были происки недругов и случайное стечение совершенно непредвиденных несчастливых обстоятельств. Непонятый односельчанами, он упал в их глазах и на какое-то время оказался в стороне от общественных дел.

Когда позже вновь был создан кооператив, председателем его поречане избрали Михала. И Михал, который долгое время даже слышать не хотел о совместном хозяйствовании — он жил почти как от-

шельник, и многие считали, что он как крот зарылся в землю,— принялся за дело с изумившей всех энергией и добился поразительных успехов.

В Поречье заложили новые виноградники и персиковый сад; выращивали великолепные овощи. У шоссе, ведущего в Павловицы, построили новый хозяйственный двор. В кооперативе была и небольшая птицеферма; были свои тракторы, на которых зимой возили лес с лесоразработок на лесопилку в Павловицы.

И вот почти в самом начале этой поры, означавшей поворот к новой жизни, произошло событие, которое взволновало и озадачило большинство поречан, вызвало у них недовольство и на какое-то время даже поколебало их веру в нового председателя. Михал стал сотрудничать с Вилемом. Сначала, правда, несмело, неуверенно. Но все равно: как мог Михал позабыть старые обиды, превозмочь свою злость? Почему проглотил все оскорбления? Односельчане считали это слишком великодушным и даже опасным. Возможно, Михал и сам не смог бы дать точный ответ, если бы кто-нибудь спросил его об истинной причине этого шага. Вполне возможно, он и сам бы запутался в рассуждениях и доводах, но все они говорили бы о большой, с годами и опытом обретенной мудрости...

3

Михал и Вилем прошли площадь, миновали просторный хозяйственный двор кооператива с его хлевами, сараями, складом, ремонтной мастерской, скирдами соломы и сена. За несколько минут добрались до реки и зашагали по тропинке, вьющейся вдоль берега Души. Он густо зарос ивняком, опутанным гирляндами повилики и дикого хмеля. В увядшей траве виднелось множество пустых раковин, а путь уползших из них улиток был отмечен серебристыми стежками следов.

Словно под балдахином шли Михал и Вилем. А за ивняком уже начинались оголившиеся поля. День был сырой, но очень теплый для середины октября. Кругом царил покой, истомленная земля отдыхала. В утренней тишине лишь весело шумела слабо освещенная солнцем речка да перекликались фазаны.

За изгибом реки перед Михалом и Вилемом открылось широкое поле, на котором еще недавно зеленела капуста. Теперь оно тоже было убрано.

— Даже тут слышится вонь,— заметил Вилем.

Они приближались к тому месту, где кочаны были уложены в бурты.

В нос им ударил отвратительный запах гниющей капусты. Казалось, все вокруг было пропитано им; смешиваясь с пряным дыханием почвы и увядающих трав, он вносил дух разложения даже в чистый воздух полей.

Михал остановился у ближнего бурта, который скорее смахивал на кучу гниющих отбросов на черном дворе какого-то огромного отеля или просто на свалку. По краям бурта, где кочаны были раздавлены колесами телег и валялись отломившиеся, измятые капустные листья, образовалась серо-черная кашеобразная, скользкая масса, кругом копошились слизни, тли, жуки; гниль и смрад приманивали к себе крупных черных мух и тучи маленьких мушек.

Весь этот огромный полевой склад превратился в кормушку для зайцев, диких кроликов и мышей, которые беззастенчиво хозяйничали в нем. Во втором бурте кочаны тоже начали вянуть и желтеть

— Черт побери! Сколько же ее тут? Самое меньшее шесть вагонов! — ужаснулся Вилем.

— Семь с половиной,— уточнил Михал.

Стоило ему подумать, что эти кочаны, еще недавно тугие и хрусткие, могли бы уже — нашинкованные и засоленные — лежать в банках и бочках, как его охватывал гнев. Капусту должны были вывезти давно, но районная заготовительная контора вдруг прекратила закупки. Склады у них, видите ли, набиты до отказа, а вагонов, чтоб доставить капусту на завод, им не дают. Консервный же завод, перерабатывавший овощи и фрукты всей их большой сельскохозяйственной области, находился в ста километрах отсюда, в соседнем районе. То, что урожай пореченских кооператоров подолгу дожидался заготовителей, было делом не столь редким. Овощи увядали, загнивали или червивели, утрачивали во время долгого путешествия на консервный завод свои полезные качества. Михал исчерпал уже все свои возможности: он ездил, добивался, упрашивал, бранился, грозил работникам райзаготконторы — единственной организации, которой кооператив мог сдавать свою продукцию,— что будет жаловаться, но дело так и не двигалось с места. Пореченские кооператоры были не одиноки — почти у всех соседей в теплую сырую осень капуста портилась, и они вынуждены были скармливать ее скоту.

— А ведь какой убыток! — возмущался Вилем.— Да что же, черт возьми, они делают! Люди растят урожай, трудятся не покладая рук все лето, а потом — извольте радоваться! Вот проклятье! Хотел бы я знать, сколько добра губится во всем районе. И так ведь постоянно! Сколько огурцов пришлось скормить скоту нынешний год? Почти полвагона, да?

Удрученный Михал молча кивнул головой. Он нагнулся, разгреб немного первый бурт и стал осматривать кочаны, лежавшие внизу.

Вилем тоже нагнулся и взял кочан. Капуста уже привяла. Он отогнул верхний, сморщенный, жалко обвисший лист, напоминавший защитную одежду. Лист под ним был усеян черными точками гнили и тлей. Внутри кочана между желто-зелеными оборочками листьев расползались пятна серой плесени.

— Бог мой,— продолжал возмущаться Вилем,— но почему же все-таки они не берут ее? Ведь зимой в городе и бочки квашеной капусты днем с огнем не найдешь. Как же это? Почему они так поступают? Скорее всего, сидит там какой-нибудь саботажник. Иначе, черт подери, такое отношение и не объяснишь! Ведь они же обо всем этом знают.

Михал вздрогнул. По вполне определенной причине слово «саботажник» он не мог слышать с тех пор, когда еще не хотел вступать в кооператив и Вилем со своими дружками устанавливал ему такие нормы поставок, которые заведомо невозможно было выполнить.

— Нет, Вилем, тут дело в другом,— покачав головой, возразил он.— Если бы все было так просто, выгнали бы нерадивого работника — и конец! Но ведь люди тут — ну, заготовители — то и дело меняются. Сам знаешь, из района непрерывно присылают новых, а проку все равно никакого. Как было, так и есть.

— Тогда в чем же дело? Нет, вредителей и всяких предателей у нас еще хватает! — упорствовал Вилем.

Слова Михала вызвали у него только раздражение: показалось, что он защищает таких людей. Вилем прекрасно понимал, что все происшедшее за последние годы в Поречье существенно изменило обстановку в селе. Положение Михала — о нем несколько раз хорошо отзывались даже на совещаниях в Павловицах — было несомнен-

ным доказательством того, что он сейчас в определенном смысле нужен тому Делу, за которое Вилем готов был положить свою жизнь. К этому заключению Вилем пришел после долгих и нерадостных размышлений. Но в то же время он знал, что тут, конечно, необходима осмотрительность. В осмотрительности, настороженности он и его единомышленники видели свою главную задачу, выполняемую ради будущего, и были по отношению к Михалу всегда настороже.

Михал промолчал. Он только вздохнул и принялся вытирать руки — на пальцах осталась слизь от капусты.

С отвращением отбросив кочан, Вилем поглядел вверх, в сторону села. Холмы, окружающие Поречье, пылали оранжевыми, яркокрасными, золотисто-желтыми красками осеннего леса, лишь местами проступали островки побуревшей зелени. Вилем перевел взгляд на виноградники. Там среди подпорок и виноградных лоз было заметно движение. И хотя тут, на набухшем от влаги поле их окружала тишина да едкий, тошнотворный запах гниющей капусты, ему казалось, что он слышит, как весело перекликаются женщины, срезая пахучие виноградные грозди. Да, на Горке сейчас одно удовольствие!

— На виноградниках все в порядке? — перевел он разговор.

Михал кивнул.

— Сколько соберете нынче? — продолжал Вилем.

— Похоже, будет неплохо. И сахаристость приличная. Год был хороший.

— Да, пожалуй. Удивительная вещь — с виноградом у вас никогда нет никаких затруднений. Не странно ли?

— Ничего странного нет,— возразил Михал.— Виноград мы перерабатываем сами. Тут нам никто не помогает, а значит, и не мешает. И мы можем показать, на что способны.

— Верно,— согласился Вилем. Но, решив вернуться к первоначальной теме, снова огляделся по сторонам и спросил: — Черт побери, а что же все-таки вы будете с этим делать?

Он прекрасно знал, зачем Михал привел его сюда, однако намеренно ничем не проявил беспокойства относительно кооперативных дел. Это ведь не его забота: после того как несколько лет назад в силу несчастливого стечения обстоятельств развалился кооператив, которым он руководил, Вилем избегал участия в хозяйственных делах. И как раз потому, что он сейчас самоустранился от трудностей, возникших у Михала, слова его приобрели совершенно определенный смысл.

— Тебе надо съездить в город и помочь нам,— без обиняков сказал Михал.— Из второго бурта кое-что еще можно пустить в дело, если мы переберем кочаны.

Время от времени Михал обращался к Вилему с просьбой помочь, оказать кооперативу какую-нибудь услугу. Это было, как он понял, полезно и выгодно, потому что Вилем умел преодолевать любые трудности. Уж если он брался за дело, то доводил его до конца. Неприятности и невзгоды он умел ловко стряхивать с себя. Однажды во время выборов в местные национальные комитеты — они проходили вскоре после того, как Михал стал председателем кооператива,— большинство поречан сговорилось вычеркнуть при голосовании Вилема из списка кандидатов. Казалось, теперь его песенка спета. Но не тут-то было. Вскоре после полудня, как раз тогда, когда собирались закрыть помещение, где проходило голосование, потому что все поречане уже проголосовали, на площади между закусочной и школой остановился автобус. Из него вышло человек пятьдесят экскурсантов из Павловиц. У них были удостоверения на право голо-

сования, и они проголосовали. Все свои голоса они отдали Вилему. Затем прошлись по площади — кроме костела, в Поречье нет ведь других достопримечательностей, и никакие экскурсанты никогда еще сюда не заглядывали,— и автобус укатил в город. А Вилем и его друзья, весьма довольные, потирали руки. Их уверенность в себе вновь укрепилась. Когда Михал осознал этот факт как жизненную реальность, он приспособился к ней. Тем более что, обладая хоть некоторым терпением и тактом, с Вилемом можно было ладить. Да Михал и понимал, что соседей не выбирают — если, конечно, не собираешься переселяться. И коли уж так вышло, что приходится жить и работать вместе с Вилемом, то надо устраиваться — по мере возможности — так, чтобы тот помогал ему избавляться хотя бы от одних неприятностей, поскольку сам время от времени причинял другие. Поэтому Михал и стремился наладить с Вилемом сотрудничество: Михал умел ценить его помощь и быть благодарным за нее. Этим он не только привлек к себе Вилема, но побуждал его к дальнейшему сотрудничеству. Вилем был теперь секретарем местного национального комитета, вокруг него группировалось несколько стойких сторонников. Много влиятельных друзей и хороших знакомых было у него и в районе, в Павловицах. Стало быть, главным было убедить Вилема в полезности какого-нибудь начинания. Стоило ему понять, что это поднимет общественный престиж его и его друзей,— и Михал мог быть уверен, что он мобилизует всех и вся, проявив необычайную изобретательность и удивительные способности.

— Ну, как? — спросил Михал.

Вилем почесал затылок и озабоченно осведомился:

— А иначе все опять придется скормить скоту?

Михал удрученно молчал.

— Вот чертовщина! Нет, что-то еще можно сделать! — Вилем снова задумался.— Хорошо, я съезжу в город. И сделаю это сейчас. Не могут же они сгноить капусту!

— На что побьемся об заклад? — мрачно поинтересовался Михал.

Заготовители каждый день заверяли его, что заберут капусту, потому-то он все и ждал, а теперь, видно, ждать уже поздно. К тому же начался сбор винограда, страда для виноделов. Михал был по горло занят этими делами и весь день вертелся как белка в колесе. Предложенное им пари должно было вызвать у Вилема желание мобилизовать всю свою предприимчивость и напористость.

— Можно было бы на бутылку, да жаль твоего вина!.. Окаянное хозяйство! Хотел бы я знать, кто это устраивает...— Вилем задумался.— Ну ладно, если все кончится хорошо, можно и спрыснуть маленько,— добавил он помолчав.

— Идет! — Михал улыбнулся: ловко Вилем избежал возможности проиграть пари. Он любил действовать наверняка!

Вилем вздохнул.

— Сколько мне прихватить с собой? Две бутылки или три? — Он имел в виду, конечно, не вино, а сливовицу кооперативного производства — добрую, крепкую, с приятным привкусом.

— Возьми три,— решил Михал.

Им частенько приходилось «подмазывать» заготовителей, кладовщиков, правда Михал делал это неохотно. Ему представлялось нелепым и даже противоестественным, что они вынуждены подобным способом сбывать с таким трудом выращенный урожай. Это оскорбляло его, он чувствовал себя униженным, чуть ли не обесчещенным. Но соседи поступали именно так, и не оставалось ничего иного, как приспособиться к обстоятельствам.

— Три бутылки?! — возмутился Вилем.— А не много ли? Как бы они там с копыт не свалились!

Поездка в Павловицы не представляла для него никаких трудностей; напротив, польщенный доверием, он был даже рад своей миссии. К тому же по меньшей мере одну бутылку они с заготовителем — Вилем был хорошо знаком с ним — разопьют сразу же, чтобы завязалась беседа и чтобы тот знал, каким содержимым наполнены остальные бутылки.

— От такой работенки и я бы не отказался...— заметил Вилем и осекся. Потом, словно прочитав мысли Михала, уже серьезно добавил: — Но я тоже считаю, что не следовало бы делать такие вещи. Какого рожна ставить им выпивку? Только для того, чтобы они соизволили взять у нас то, что мы...— он непроизвольно допустил грамматическую замену, употребив местоимение, к которому давно не прибегал, говоря о делах кооператива,— что мы вырастили. Люди работают, надрываются... И потом — ведь они работают не только для себя, а для всех! А ты как думаешь, Михал? Да что тут поделаешь, если другие кооперативы все время подсовывают им? Вот чертовщина! Неужто тут ничего нельзя изменить? Должен сказать, я и представить себе не мог, что у нас может быть такое. Ведь эдак и жить не захочешь. Куда ни сунешься, всюду сидят эти сволочные саботажники и ворюги.

Михал и тут промолчал, потом спросил деловито:

— Значит, едешь?

Вилем проследил за его взглядом.

— Да, брошу все и отправлюсь.

Михал кивнул. Он почувствовал некоторое облегчение — в словах Вилема звучала решимость и горячее желание помочь. Ему казалось, что Вилем искренне встревожен затруднениями и препятствиями, постоянно усложняющими их жизнь. Иногда он думал, что Вилем и его друзья действительно жаждут приносить обществу добро, но, как часто бывает в подобных случаях, охотно отравляют жизнь тем, кто не разделяет их представления о добре или не торопится усвоить его. Им на роду было написано совершать благородные дела, да только все у них постоянно не ладилось, шло вкривь и вкось. Поэтому трудно было предугадать, чем кончится каждое соглашение или сотрудничество с Вилемом, и Михал не без тревоги наблюдал за ним. Временами он ощущал даже ненадежность, непрочность этого сотрудничества — будто на ходулях пробираешься с кочки на кочку по заболоченному лугу.

— Ну, ладно,— сказал Вилем и улыбнулся.— Пожалуй, мне следует поторапливаться.— Он взглянул на часы.— Самая пора.

Из Павловиц Вилем вернулся уже под вечер — пришлось немного задержаться там. Выйдя из автобуса, он увидел Михала, который с несколькими членами кооператива стоял у двух повозок, груженных бочками с виноградом.

— Все, Михал! Я уладил,— сказал он твердо.— Они возьмут у нас два вагона. Но завтра до обеда капуста должна быть на железной дороге. Они погрузят ее в вагоны и отправят на консервный завод без задержек.— Он просто сиял, преисполненный гордости.— Мне не удалось сплавить этих кочанов побольше, потому что у них там торчали представители из Залужиц и Мочаран,— добавил он многозначительно.

Михал испытующе посмотрел на Вилема; на губах его появилась легкая улыбка.

— За мной бутылка! — заявил он.

— Это не к спеху,— сказал Вилем.— Я загляну к тебе, когда будет время.

Он с достоинством зашагал по площади туда, где немного повыше костела находилась его канцелярия.

II. Молодое вино

4

В конце октября в Поречье приходят первые заморозки. Утром, когда выглянет солнце, воздух прозрачно чист. Виноградники, венком обрамляющие верхнюю часть села, пылают, словно ярко начищенная медь. Умолк скрип тяжело груженных возов и тракторных прицепов, кончилась суматошная беготня и хлопоты около виноградных прессов и бродильных чанов. Повсюду в садах и во дворах натыкаешься на кучки выжимок, виноградных косточек и кожуры; в глубоких разъезженных колеях мокнут раздавленные виноградины. Это те отходы, что остались от переполненных спелыми гроздьями бочек, ушатов, корзин, ведер, кадушек. Все остальное их содержимое превратилось в золотистую и рубиновую жидкость, которая бурно бродит в огромных бочках, заполнивших подвалы кооператива,— точно так же, как бродит она в бочках поменьше, бочонках, банках и оплетенных бутылях в погребе каждого поречанина. Наконец-то весь урожай, все плоды труда человеческого убраны. Кончились весенние, летние и осенние непрерывные хлопоты, работа в любую погоду — в дождь и в зной. Над притихшей, успокоившейся сельской площадью повис прямо-таки физически осязаемый пряный, слегка усыпляющий аромат молодого вина.

Пока живительный сок созревает в бочках, все Поречье находится словно во власти чар, наслаждаясь полнотой жизни и предаваясь сладкой истоме. Это прекрасные дни, поистине самый буйный и в то же время самый чудесный праздник. В календаре он не обозначен, но люди празднуют его, потому что он сам напоминает о себе, пронизывая, переполняя собой всех и вся, прогоняя утомительную серость будней. Весь мир вдруг обретает яркие, сочные краски. И тот, у кого нет неотложных дел,— скажем, кормить и доить кооперативный скот,— тот самозабвенно отдыхает, отдавшись очарованию этих дней. В такое время человек, знающий нравы поречан, не приедет к ним из Павловиц с каким-нибудь служебным делом, если, конечно, он вдруг не воспылает желанием, отбросив все формальности и заботы, заглянуть в чей-нибудь погреб и проверить на собственный вкус, как зреет в нынешнем году молодое вино.

В один из этих дней как-то перед полуднем на площади появился Вилем. Кругом — ни души, полная тишина. В такую пору ничем не нарушаемого отдыха лишь изредка услышишь чей-нибудь голос да вырвется откуда-то хрипловатое пение и приглушенный смех. Гуси нежились в увядающем бурьяне, и только из проулка между костелом и домом священника доносились голоса детей. С башни костела взвилась стая голубей и пролетела низко, над самой площадью. Шум их крыльев привлек ненадолго внимание Вилема. Он остановился с усталым видом, по привычке почесал затылок. Глаза его отыскали дом Михала, светло-серый, оштукатуренный.

Во дворе показалась Катарина. Она была воплощением здоровой женской силы и красоты — высокая грудь, крутые бедра, живые, бле-

стящие глаза. Она потянулась на солнышке и, подняв обнаженные руки, пригладила на висках волосы.

Вилем в последнее время вообще был, как говорится, не в своей тарелке. Вот уже третий день он с трудом добирался до своей канцелярии — то и дело его что-то отвлекало и задерживало. Стоило выйти из дому, как кто-нибудь из соседей зазывал к себе отведать молодого винца. А Вилем знал, что вежливость требует зайти, если тебя приглашают от чистого сердца. Дома он не слишком-то засиживался, не питал особой любви к домашнему очагу. Гораздо охотнее проводил время с друзьями.

При виде Катарины сердце Вилема тоскливо сжалось. Он уже хотел было продолжить свой путь, как вдруг Катарина, приветливо смеясь, обратилась к нему:

— Бог мой, и живут же люди! Еще и не начал дела, а уж гуляет смело. Заходи! Михал дома.

Могло показаться, что Вилем не слышит ее. С минуту он стоял раздумывая. Но потом вспомнил, что за Михалом бутылка красного,— значит, можно зайти.

5

Погреб у Михала — очень приятное и уютное местечко. И что самое главное — это хранилище божественного напитка. Тут стоят, тесно прислонившись друг к другу, дубовые бочки и бочонки, в которых из года в год отменно зреет вино. Выстроились батареи всевозможных бутылок, снабженных наклейками с указанием года. Они дожидаются своего часа — это как бы коллекция образцов для дегустации. (Впрочем, вино сохранилось не за все годы, некоторые бутылки в связи с тем или иным торжеством или чрезвычайным событием исчезли.) Полки у стен прогибаются под тяжестью банок с джемом из черешни, абрикосов, слив; там же стоят две большие бутыли самогона, домашние консервы с жареным мясом, банки маринованных огурцов. Над дубовой доской, мостиком переброшенной между двумя бочками — она служит Михалу и его гостям скамейкой,— подвешена полочка; на ней лежит головка овечьего сыра, сало, домашняя колбаса, связка лука и хлеб — достаточно протянуть руку, чтобы взять то, что приглянулось глазу и чего пожелал желудок. Погреб Михала, пропитанный сладковатым запахом сырости и ароматом, напоминавшим о цветении виноградной лозы,— образец того достатка и умиротворяющего покоя, которые пробуждают в человеке потребность в счастье и в здоровой полноте жизни. Если б о погребе Михала дознались врачи, они бы прописывали посещение его как лечебную процедуру, избавляющую от отсутствия аппетита, плохого пищеварения и других мучительных недугов, как лекарство от всякого рода модных неврозов, меланхолического скепсиса, пораженческих настроений и отчужденности, утраты интереса к жизни. Если б о погребе Михала знали художники, они сочли бы его самой прекрасной моделью для натюрмортов, к которой следует обращаться снова и снова.

Михал был в погребе не один. Вместе с Петером Касицким они попивали винцо и беседовали. Им было хорошо, настроение — лучше не надо! Михал слегка раскраснелся. Он принялся нарезать колбасу, когда до него донесся со двора голос Катарины. Михал прислушался.

— Это Вилем,— сказал он.

— Как ты узнал? — удивился Касицкий.

Михал не ответил. Он обернулся ко входу и чуть усмехнулся.

Послышались тяжелые шаги, гулко отдававшиеся под сводами погреба. Кто-то спускался по деревянным ступеням.

Показался Вилем. Увидев Касицкого, он остановился с озадаченным видом, взгляд его скользнул в сторону. Он рассчитывал, что Михал один. Еще продолжая стоять на ступеньке, он втянул носом воздух, и ноздри у него расширились.

— Иди-ка, иди — отведай! — сказал Михал.

Он взял в рот кончик резиновой трубки, вставленной в отверстие бочки, подсосал немного и наполнил стаканы. Вилем поднес стакан ко рту и с минуту лишь пригубливал: дегустировал он любовно, наслаждаясь ароматом и вкусом. А сделав глоток, не удержался от возгласа:

— Ну и ну, черт возьми!

Красное вино Михала славилось далеко за пределами села. Правда, кооперативный золотой мускат «Жемчужина Поречья» тоже пользовался доброй славой, но когда приезжали особо важные гости из района, области или даже из самой столицы и по чистой случайности останавливались в селе, чтобы осмотреть кооперативное хозяйство, их угощали вином Михала. Время от времени бутылки, наполненные из его бочек, отбывали из села на «волгах» и «татрах». У этого красного был замечательный букет и терпковатый привкус; перебродив, оно становилось рубиновым, прозрачным, как слеза. И пилось легко. Как-то после отъезда гостей Вилем заявил: «Они с такими переливами полощут твоим винцом горло — ну впрямь соловьи, что заливаются перед своими самочками. А все одно ни черта не смыслят в вине, им не понять, что они пьют, что скрыто в этом вине». Запасов из председательского погреба что ни год едва хватало, хотя виноградник у Михала, как и у большинства поречан, был немного большим, чем положено быть приусадебным участкам согласно кооперативному уставу.

Михал и Косицкий наблюдали за Вилемом.

А тот поставил стакан и повторил:

— Ну и ну, черт возьми!

Михал улыбнулся.

— Попробуй теперь этого,— и наполнил стаканы из соседней бочки.

Молодое вино, правда, не рекомендуется смешивать, потому что это приводит к неприятным последствиям, но на Вилема сия закономерность не распространялась. Сегодня он успел отведать уже из нескольких бочек — и хоть бы что!

Вилем отпил немного.

— Вот это да! То, что надо! — произнес он тоном знатока.— В нем меньше красной хрупки[1] и побольше изака[2].— Он поглядел на стакан.— Оно, черт побери, как кровь молодого горячего бычка.

Вилем отпил еще, на лице его было написано блаженство. Уже сейчас у вина превосходный вкус, оно согрело рот и заискрилось в крови. Заветный дар, посланный землей и солнцем! Он принял этот дар и наслаждался им.

Михал нарезал колбасы и сала. Каждый взял с полки луковку и кусок хлеба.

Вилем уселся верхом на бочке. И хотя он запрещал себе подобные мысли и ни за что не признался бы в этом никому, но само пребывание в погребе Михала и сознание, что наверху, над ним, в уютных, красиво обставленных комнатах ходит Катарина, действовало на него опьяняюще. А поскольку он выпил сегодня уже добрых четыре литра молодого вина, да еще разного, нервы у него были на взводе.

[1] Сорт винограда, напоминающий «изабеллу». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Местное название сорта винограда.

Михала вдруг словно осенило, и он оживленно заговорил:

— Хорошо, что ты пришел, Вилем. Мы с Петером как раз толковали об одном деле. Оно уже давно не идет у меня из головы. Видишь ли, овощей мы с каждым годом собираем все больше и больше — как хорошо было бы иметь где-нибудь неподалеку консервный завод. Ведь наш район сплошь земледельческий, но все, что тут вырастет, что уродится, возим на переработку черт-те куда! Думаю, что построить такой завод нетрудно — он стоил бы не больше, чем мы теряем каждый год. Я как-то уже говорил об этом районным властям. Но тогда еще...— Михал махнул рукой.— А теперь, когда на носу выборы, самое время поставить этот вопрос. Хорошо бы, чтоб в Павловицах включили строительство консервного завода в программу избирательной кампании. Что ты на это скажешь?

Вилем молчал. Потом пробормотал недоуменно:

— Консервный завод?

Он не был готов к такому серьезному разговору — от выпитого вина голова его была как в тумане — и чувствовал себя застигнутым врасплох.

— Всюду на свете производитель старается, чтобы все, что ему нужно, было у него под рукой,— продолжал Михал.— Как ты знаешь, в газетах и по радио много говорится о том, что нашу область надо индустриализировать, что тут следовало бы построить несколько крупных промышленных предприятий. А такой вот завод нам до зарезу нужен.

У Вилема загорелись глаза.

— Еще бы! — сказал он.— Взять хотя бы последний случай, когда я ездил в Павловицы из-за капусты. Пришлось им дать, вернее, они хапанули три бутылки, а забрали у нас всего только два несчастных вагона. Да, я думаю, мы должны этим заняться. Ей-богу, заполучить такой заводик было бы неплохо!

— Но тебе надо будет помочь нам протолкнуть это в районе.

Вилем с готовностью согласился.

— Все у нас идет с таким скрипом, вечно что-то гниет на поле, а денежки вылетают в трубу,— горячо заговорил он.— Будь у нас завод, для поречан, да и вообще для всей округи, впрямь настали бы золотые времена. Нам надо поспешить и все хорошенько подготовить.—Он уже считал это дело своим.— Я в районе прощупаю почву,— продолжал он, загоревшись по-настоящему. — Да, такой заводик был бы сущей благодатью для всех.

Все трое разом подняли стаканы.

Михал прищурился. Когда он немного выпивал, его охватывало чувство полной раскованности. И хотя он был человеком практического действия и кипучей энергии, вино настраивало его на возвышенный лад и вместе с тем разнеживало, размягчало. За стаканом вина он превращался в поэта. Особенно когда речь заходила о виноградниках, садах — впрочем, и о женщинах и о еде тоже. Михал, правда, никогда не задумывался над этим, но минуты, которые он проводил в таких размышлениях, не относились к тем, что были потрачены зря. Его жизнь и мечты обычно не приходили в столкновение, а шли рука об руку. Сейчас он сидел, держа у рта стакан, и мечтательно улыбался. Перед его мысленным взором возник двор нового консервного завода. С возов и машин сгружают свежие, утром снятые овощи — с кудрявой ботвой, хрусткие, сочные, ядреные. На подъездных путях стоят вагоны, груженные ящиками и коробками со всевозможными консервами — в стеклянных и жестяных банках, в бутылях и бутылках,— груженные бочками и бидонами. Михалу слышался даже глухой гул и скрип шинковальных машин, варочных котлов, поточных линий, где наполня-

лись и упаковывались банки, он ощущал сладковато-кисловатые запахи — запахи брожения и разлагающихся отходов. И ему показалось, что лишь теперь их уголок земли действительно уподобится целостному и здоровому организму — с сердцем, головой, конечностями...

— Да, я думаю, мы можем этого добиться. И потом, ведь такой завод нужен не только нам,— заметил он.

— Еще бы! — почти выкрикнул Вилем.— Вот только дядям из заготовительной конторы перестанут носить бутылки, а это не очень-то придется им по вкусу! — Он блаженно улыбнулся.

— Завод и впрямь помог бы всем,— добродушно поддакнул Касицкий, молчавший до сих пор.— Мы с Михалом считаем, что именно сейчас, перед выборами, самое подходящее время добиваться этого.

Его слова звучали просто и бесхитростно, к тому же Касицкий не сказал ничего нового, а лишь повторил то, что говорили Михал и Вилем, и все же на Вилема они произвели крайне неприятное впечатление. Он тотчас насторожился, бросил на Касицкого быстрый изучающий взгляд. Состояние блаженства будто ветром сдуло; в его сознание словно через внезапно образовавшуюся щель закрались разочарование и нервозность. Снова вернулось ощущение, что он застигнут врасплох, что очутился в неприятельском лагере. Он лихорадочно стал прикидывать, не попался ли невзначай на их удочку.

Касицкий сменил Вилема на посту председателя местного национального комитета. Вилем и его единомышленники видели в нем приспособленца, чуть ли не предателя: ведь он, как и Михал, вступил в партию намного позднее, когда, по их мнению, все было уже решено. Кроме того, Касицкий был у них на заметке с тех времен, когда они принялись организовывать кооператив. Наконец, поговаривали и о том, что в кооператив, возглавляемый Михалом, он вступил лишь для того, чтобы в Прешове приняли в институт его дочь, которая хотела стать учительницей. Они просто не верили ему и считали, что по крайней мере хоть местная власть должна быть в руках одних лишь верных, преданных Делу людей.

На какие-то секунды Вилему представилось, как Касицкий и Михал извлекают из плана постройки завода пользу прежде всего для себя, как угрожающе растет их влияние и, словно плесень, распространяется на всю общественную жизнь села. В его сознании эта опасность надвигалась на них, подобно черной туче, становилась серьезной угрозой, которую во что бы то ни стало надо предотвратить. Он решил, что необходимо срочно держать совет.

Вилем отвел взгляд в сторону и уставился в одну точку. Потом, чтобы скрыть свою растерянность — он решил уже не возвращаться к разговору о заводе,— допил вино.

— Да, такое винцо действительно доставляет человеку радость, ничего не скажешь,— заявил он, подняв стакан.— Знаешь, мне вдруг пришло в голову: а какое вино вообще самое лучшее, как ты считаешь? — спросил он Михала доверительным тоном, в котором, однако, слышались нотки скрытого беспокойства.

— Я считаю, что самое лучшее то, которое человеку больше всего нравится,— ответил Михал, широко улыбаясь.— Это так же, как с женщинами.

— Пожалуй, ты прав,— согласился Вилем.

Ответ Михала, однако, опять растравил его. К нему вернулось меланхолическое настроение и снова подступило чувство горечи. А не насмехается ли над ним Михал? Что за чертовщина! У Вилема было такое ощущение, будто что-то обволакивает, опутывает, связывает его. Будто он личинка в коконе. А подобные ощущения были для него невыносимы. Чтобы свободно дышать и гордо держать голову, чтобы

иметь право уважать самого себя, он должен был что-то сделать, выбраться из этого кокона. И первое, что он сделал,— решил немедленно уйти.

— Ну, мне пора. Надо закончить кой-какие дела,— сказал он и поднялся.

— Выпей еще.

Михал снова налил ему вина.

Вилем почти задыхался от возбуждения, в горле у него совсем пересохло. Он выпил немного, но уже не ощутил в вине прежнего вкуса.

6

В погребе Михал остался один, но одиночество не тяготило его. Он держал в руке стакан вина и вдыхал его аромат. Вновь и вновь проверял он, действительно ли аромат и вкус гармонично дополняют друг друга. Самочувствие его было великолепным. Молодое вино ему нравилось. Да и от сердца отлегло, потому что на этот раз с Вилемом все прошло так гладко. План строительства консервного завода, казалось, в самом деле зажег Вилема. А то, что он так внезапно покинул их,— так на это могли быть всякие причины. Видимо, много выпил и его просто разобрало. За последние три дня Вилему наверняка пришлось влить в себя не один литр бурливой жидкости, да еще в такой смеси! Вдруг до Михала дошло еще и то, что Вилема могло задеть его замечание относительно женщин. Да, оно могло разбередить старую рану. И неожиданно для себя самого он улыбнулся.

Михал осушил стакан и налил снова. Он поудобнее устроился возле бочки и прикрыл глаза, улыбка все еще не сходила с его лица. Мысленно он вернулся к давно ушедшим годам, и его охватило приятное, хотя и с налетом светлой грусти, настроение. Катарине было тогда семнадцать лет, и она казалась ему чудесным корнем жизни. Она была словно молодая виноградная лоза, полная жизненной силы и наливающихся, дразняще сочных плодов. С каким наслаждением вкушал бы он их гроздь за гроздью. Но ему долго не удавалось выманить ее на прогулку в поле или на речку, где было столько чудесных уголков, будто нарочно созданных для влюбленных. Иногда Катарина смотрела как-то сквозь него, словно Михал вовсе и не существовал. А иногда в глазах ее вдруг вспыхивали искорки и она глядела на него с лукавой усмешкой. Михал тосковал по Катарине, она вызывала в нем тревожно-сладостные, щемяще-мечтательные желания. Сначала он старался всюду, где можно, попасться ей на глаза, потом стал наблюдать за ней тайком.

Однажды после обеда он спрятался у себя в хлеве и смотрел, как Катарина рубила во дворе и складывала хворост. Она поминутно бросала свое дело и убегала — подбежит к желтой сливе и давай махать косынкой, отгонять ос. Мать прикрикнула на нее:

— Ты что мечешься? Чего с ума сходишь? Вот возьму хворостину да выгоню из тебя беса.

Через час, когда Михал осторожно вышел из хлева, Катарина уже сидела на ступеньке крыльца притихшая, умиротворенная. Высасывая из сот мед, она наблюдала за дракой, разгоревшейся между скворцами и галками в кустарнике у забора. Высосав мед, она швырнула вощину через забор на соседский двор — прямо к сараю, за которым стоял Михал.

— Ты что кидаешь мусор на наш двор? — высунув из-за сарая голову, крикнул Михал.

— А-а, это ты? Чего там поделываешь за сараем? — с искорками смеха в глазах отозвалась Катарина.

— Иду из хлева, ходил поглядеть на кобылу. Скоро жеребиться будет,— ответил Михал.

Он мог бы побиться об заклад, что Катарина видела, как он крался к своему наблюдательному пункту,— она прекрасно знает, что у него сейчас на уме.

Катарина усмехнулась. Они добрый час болтали о том, о сем. Она сидела согнувшись, уткнув подбородок в колени. От нее веяло таким теплом!

А когда она поднялась и ушла, Михал еще долго смотрел на ступеньку, где она сидела. Ему казалось, что даже камень этот стал мягким, как мох.

Той же ночью Михал подкрался к ее окну. Постучал. Он рассчитывал пробраться к ней. Снова постучал. Катарина открыла окно и выглянула — заспанная, теплая, в смятой рубашке.

— Михал?! Ты что тут делаешь? — тихо спросила она.

Он словно окаменел. Только гулко пульсировала кровь в жилах и как клещами сжало горло. Губы пытались что-то произнести, но челюсти не разжимались.

— Ты чего не спишь? Ступай! Не то окачу водой!

Михал продолжал стоять как столб. Потом произнес сконфуженно, прерывистым шепотом:

— Я слушаю, как поет лесной жаворонок.

Будто именно для этого он перелезал через забор и стоял под ее окном. Михал, правда, часто слушал по ночам жаворонка — когда не мог заснуть и бродил по двору, поглядывая на окно Катарининой комнатки. Жаворонок, трепеща крылышками, кружил где-то высоко над его головой, и вниз обрушивался водопад звонких трелей; капли звуков, легких, как перышки, осыпали Михала. В такие минуты ему казалось, что солнце не зашло, а скрылось в его груди. И хотя в эту ночь лесной жаворонок не пел, он слышал его.

Катарина с минуту прислушивалась. Но тишина кругом была такая, что казалось даже, будто ни он, ни она не дышали.

— Михал! — прошептала она, и в голосе ее зазвучали новые, незнакомые ему прежде нотки.

Он наконец вышел из оцепенения и, протянув руки, ухватился за раму, чтобы влезть в окно. Катарина быстро захлопнула створки.

Михал стоял внизу, а она прижалась лицом к стеклу, и глаза ее тепло улыбались.

Потом она ушла, а он остался стоять — казалось, он все еще видит ее. Ему было немного грустно, но он улыбался, глядя в темноту за окном. С удивлением он вдруг осознал, что эта минута пробудила в нем удивительно чистую и необыкновенно спокойную радость. Она прорастала в его сердце, как росток из пшеничного зерна.

Он снова слышал пение жаворонка. Его нежные и ликующие трели проникали, казалось, в самый мозг. Мелодия звучала все звонче, она сливалась со словами «Песни песней», которую Михал читал недавно, думая о Катарине: он отыскал ее в Библии, но даже не предполагал, что слова эти останутся у него в памяти. В них слышался такой же пленительно-звонкий и чистый голос. Но в этом кристально чистом голосе звучала еще и необычайная теплота, и жизненность, и призывность.

Да лобзает он меня лобзанием уст своих!
Ибо ласки твои лучше вина...

Михал встрепенулся. Медленно-медленно брел он домой, наступая у забора на стручки фасоли, на цветы розовых флоксов, росших

среди крапивы. Образ Катарины неотступно следовал за ним, а в душе его все еще звучала дивная мелодия.

На другой день после обеда, когда Михал запрягал лошадей, он услышал, что Катарину посылают на виноградник набрать уже созревшего раннего винограда. Через несколько минут он был на своем винограднике и, спрятавшись в сторожке, ждал ее прихода. Иногда, чаще всего перед сбором винограда, когда приходилось сторожить урожай, Михал здесь и ночевал. От тюфяка приятно пахло свежим сеном, солнце ласково грело. Михал то и дело поглядывал в сторону села, но Катарина не появлялась.

Раздосадованный, он уже собрался было возвращаться, как вдруг услышал в глубине виноградника шорох. Осторожно, крадучись, он спустился вниз и увидел Эву, цыганку из Гаваи — близлежащего цыганского поселка, приписанного к Пореченской общине. Она срезала спелые грозди и уже почти наполнила ими замусоленный мешочек. Михал кинулся к ней. Он был вне себя от бешенства, возможно, еще и потому, что напрасно прождал столько времени Катарину. Михал стал отнимать у цыганки мешочек с виноградом. Несколько минут они вырывали его друг у друга.

Эва была сверстницей Катарины, красивая, чертовски продувная девчонка. Под конец она схватила Михала за запястье и, прерывисто дыша, предложила ему погадать. Михал сперва попытался вырвать у нее руку, но потом сдался. Она притянула его ладонь поближе к себе и почти прижала ее к своей округлой, полуобнаженной груди. На Эве была лишь открытая в черно-желтую полоску старенькая блузка из вискозы. А под нею — ничего. Михала бросило в жар.

— Убирайся прочь,— строго проговорил он, залившись краской, но голос его звучал куда мягче, чем ему хотелось бы.

Руки он не отнял, и ее грудь лежала у него на ладони, словно в гнездышке.

И тут он увидел Катарину. Она стояла в двух шагах от него, слегка наклонившись вперед, чтобы лучше видеть, между золотистыми виноградными гроздьями. Катарина тяжело дышала, волосы ее растрепались от быстрой ходьбы, щеки горели.

Михал тотчас сник. Он готов был провалиться сквозь землю.

Катарина расхохоталась. Это был взрыв громкого, неудержимого, почти истерического смеха.

Он все же овладел собой и крикнул:

— Катя!

Но она резко повернулась к нему спиной и убежала. Среди виноградных лоз только мелькнули ее загорелые, крепкие икры.

Михал в эту минуту готов был сжечь Гаваю дотла. Он не мог простить себе, что так глупо попался. И из-за чего? Из-за пустяка! Из-за минутной мужской слабости. Он знал, что теперь ждет его — объяснять что-либо Катарине совершенно бессмысленно.

В последующие дни Катарина, разумеется, либо делала вид, что вообще не замечает Михала, либо окидывала его насмешливым, полным пренебрежения взглядом. Она начала заигрывать с Вилемом, подолгу болтала с ним у забора; они даже стали прогуливаться вместе, сидеть на площади.

Тщетно пытался Михал придумать что-нибудь такое, что помогло бы ему устранить размолвку и как-то подступиться к Катарине. Но именно то, что она тогда убежала с виноградника, а теперь вела себя так, словно ей нанесли оскорбление, и вселяло в него надежду. Он стал делать вид, будто не обращает на нее никакого внимания. Всячески давая понять, что она ему безразлична, ходил у себя по двору, не глядя в сторону соседского забора, но ушки, как говорится, держал на

макушке. Ему так хотелось хотя бы услышать ее голос. Впрочем, он знал Катарину и понимал, что должен быть терпеливым.

Он с головой ушел в работу — дел у него было невпроворот,— трудился от зари до зари. К тому же в эту пору он ездил в Павловицы на вечерние агрономические курсы. А по ночам часами не спал и все думал.

Так подошла зима.

Уже изрядно подмораживало, когда в один из солнечных дней Михал, поднявшись на Горку, прилег в полушубке прямо на снег. Он лежал, опираясь на локти, а перед ним плясали языки пламени — он жег в костре обрезанные плети виноградных лоз. Да и кругом под лучами солнца, казалось, пылал ослепительно-белыми искрами сплошной гигантский костер. Михал смотрел, как внизу за селом, в долине у речки то тут, то там взвихрялся столб снежной пыли и несся по полю. Местами этот снежный смерч обнажал землю, и ясно виднелись полоски смерзшейся глины, сухая трава и камни. Потом на ветку ближней груши прилетела птичка в голубой курточке и желтой жилетке и закачалась вниз головой. У синички-акробатки тоненькие, как иголки, коготки легко цеплялись за кору.

Михал наблюдал, как раскрывает клювик и щебечет синица, как она суетливо порхает с ветки на ветку. Просто удивительно, сколько самых разнообразных вещей увлекало его теперь. Все приковывало внимание и вызывало живой интерес. Земля, деревья, птицы — все окружающее как будто наполнилось новым, более глубоким смыслом, который прежде был от него скрыт.

Он подбросил в огонь еще немного сухих плетей. Не для тепла, а чтоб полюбоваться игрой пламени. Костер потрескивал, в воздухе разливался нежный, едва уловимый запах тающего снега.

Вдруг он услышал легкие шаги. Оглянулся — и замер. Катарина!

Она глядела на него широко раскрытыми, изумленными глазами, и на лице ее, порозовевшем от мороза, тоже было удивление и любопытство.

— Ты что тут делаешь, Михал? — спросила она.— Ну и работенку нашел себе! Да, не позавидуешь той, кого ты осчастливишь!

Он видел живой блеск ее глаз. Слышал ее дыхание.

— Ничего. Просто смотрю,— ответил он.

Катарина стояла в нерешительности. Но Михал даже не шелохнулся, не то чтобы поспешить ей навстречу.

— Иди ко мне! Тут вправду здорово лежать,— улыбаясь, сказал он.

— Лежать с тобой — и еще на снегу? Да я в сосульку превращусь, Михал!

И она вздернула носик.

— Ты так думаешь? Ну нет, снег бы тут весь растаял! — тоном бывалого парня, которого ничем не удивишь, возразил Михал, а сердце у самого бешено колотилось.

Он, правда, уже смекнул, в чем дело. Катарина ведь вовсе не такая сумасбродка или ветреница, чтобы ни с того ни с сего бродить, как он, зимой по винограднику. И сердце его от этой догадки забилось еще сильней.

— Сдается мне, Миша, тебе пришлась по вкусу Гавая,— съязвила Катарина.

— А что? Эва — совсем не дурнушка,— заметил он.— Но, по правде говоря, ты мне нравишься больше.

— Думаешь, я этого не знаю? — Катарина даже задохнулась.— Ходишь вокруг и смотришь как кот на сало. Интересно бы узнать, что тебе так уж нравится во мне?

Михал зажмурил глаза. Он понимал, что должен подавить в себе желание сказать ей все. Нет, никогда он не сумеет выразить словами того, что чувствует, какого ровного ритма и какой удивительной красоты исполнено все его существо. Не мог же он сказать Катарине, что думал как раз о ней.

— Ну, прежде всего твой задок, он у тебя округленный, как скрипочка,— прежним тоном бывалого парня ответил Михал.

Катарина закусила губу, щеки ее покраснели еще больше, а зрачки расширились, стали огромными и темными, как деготь.

— Посуди сама — как может быть иначе! — торопливо продолжал Михал.— Ты ведь постоянно показываешь его мне. Как только я прохожу мимо — сразу же поворачиваешься спиной.— Голос у него вдруг стал мягким, растроганным, даже нежным, словно бы и не он говорил.

Видимо, она заметила это, потому что сказала:

— Михал... Боже мой, Михал! — и вздохнула.— Да разве ты заслуживаешь чего другого? А чего бы ты хотел? — Она снова вздохнула, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

Вот тут-то Михал вскочил и сжал ее в объятиях.

Катарина, правда, сопротивлялась, но скорее лишь для вида.

Ох, это первое утоление жажды, такой сильной и так долго мучавшей! Какое это было наслаждение — обладать ею в этой сторожке, где он однажды так ждал ее!.. Да, а теперь, как поется в песне, «я свой виноградник уж не стерегла...»

Михал все еще держал стакан у рта, но не пил, а вдыхал аромат вина, глядя прямо перед собой. И улыбался — нежно и в то же время немного грустно.

— Михал!

Его звала Катарина.

Михал не ответил. На лице у него застыло то же нежное, мечтательное выражение.

— Михал! — снова послышался голос Катарины.— Да где же ты? Ты еще внизу?

Он молчал. Отрезал ломтик сала и кусок хлеба, откусил от луковицы, осушил стакан. И снова налил.

Катарина спустилась в погреб.

— Михал!

— Что такое? — притворился он удивленным.

— Ты что, не слышишь меня? Снова заседаешь сам с собой да со своими бутылками и бочками? Вылезай!

— Ну, что тебе?

— Иди помоги мне,— сказала Катарина.

Она хотела побелить утром свою прачечную, и Михалу надо было помочь ей вынести оттуда стиральную машину и разные другие вещи.

— Неужто я мало помогаю тебе ночью? Чего тебе еще надо? — игриво спросил Михал.— Хочешь отведать винца? — Настроение у него были отличное. Он подмигнул Катарине; веки у него слегка отяжелели, под глазами набухли мешки.— Заходи, помогу тебе тут, если хочешь.

— Да ну тебя, Михал! — притворно рассердилась Катарина.— Ну-ка, вылезай!

Он не спеша допил вино, поставил стакан на бочку и так же не спеша поднялся по ступенькам.

7

Адам и Эда вместе с Вилемом уже давно образовали в Поречье то ядро, которое оказывало весьма существенное влияние на всю жизнь села. В свое время ядро это проросло, росток его укоренился и, впитывая в себя жизненно необходимые соки, давал все новые и новые побеги. А они, как вьюнок, вплетались во все устои жизни поречан. Правда, когда случалась непогода — то ли сильный мороз, то ли засуха, то ли град,— казалось, нежное растение это окончательно погибало. Но нет, ядро сохранялось, вновь обнаруживая свою поразительную, неискоренимую жизнестойкость. Правда, удивляться этой воле и способности воскресать из мертвых мог бы только человек совершенно неискушенный, не знакомый с жизнью и духом эпохи.

Ведь Вилем, Адам и Эда просто шли в ногу с жизнью, которой помогли родиться в Поречье. И это было вполне естественно — они ее оплодотворили и в то же время вынашивали в себе ее плод; они были как бы и отцом, и матерью, и повивальной бабкой новой жизни. Они же выхаживали младенца, заботились о его пропитании в добрые и недобрые времена. Потому-то всем сердцем привязаны к ней, защищают ее и готовы ради нее на самые тяжкие жертвы. Они оберегают ее, возможно, даже с чрезмерной тревогой и подозрительно следят за всеми, кто по неведению либо по злому умыслу хотел или мог бы причинить ей вред. И поскольку когда-то сами испытали немало зла — их эксплуатировали, не признавая за ними никаких прав, те, кто давал им работу, и от жителей Гаваи их отделял, собственно, лишь один — даже не шаг, а шажок,— они, естественно, не хотели, чтобы вернулись старые времена...

Эда и Адам беззаботно сидели в канцелярии сельского национального комитета и ждали Вилема. Они уж второй день приходили сюда и ждали его. Так же, как и вчера после обеда, они уединились здесь с бутылью и кувшином молодого вина. Обе посудины поставили на подоконник, придвинули стулья и, попивая винцо, поглядывали в окно. Эта позиция обеспечивала им превосходный обзор местности — здесь был их наблюдательный пункт.

Перед ними лежала сельская площадь. Слева высился костел, пониже его, зажатая усадьбами, стояла школа — низкое белое здание из шлакоблоков. Противоположную сторону площади окаймляли только обнесенные заборами усадьбы. В нижней части площади, замыкая ее, стояла закусочная «У венка», охраняющая въезд в Поречье с Павловицкого шоссе. Возле нее была автобусная остановка, а немного в стороне — сельмаг.

Адам и Эда наслаждались покоем: курили, отхлебывали из кувшина молодое вино. Они все же надеялись, что Вилем появится. Ну, а что в канцелярию может зайти еще кто-то по какому-нибудь делу, об этом в такую пору не могло быть и речи. И если Вилем так и не покажется, они опорожнят оба сосуда за спокойным и приятным созерцанием послеобеденного села, потом закроют канцелярию и, сунув ключ в сенях под камень, отправятся по домам.

Вскоре после своего прихода они засекли, что Вилем вошел во двор к председателю, и решили, что он завернул к Михалу, чтоб угоститься вином нового урожая. Они хорошо знали, каково содержимое бочек в погребе председателя, им тоже иногда доводилось его отведывать. Сами же они, однако, никогда не снизошли бы до того, чтобы принять приглашение Михала. Да у них и не было таких общественных обязанностей, как у Вилема, чтобы встречаться с Михалом в домашних условиях. Ну, а что он заглянул в погреб председателя, они

считали делом само собой разумеющимся и даже полезным. Вилем один мог зайти к Михалу даже без приглашения, а тем более сегодня — они знали, что его ждала там законная бутылка, ведь в той истории с капустой он спас кооперативу добрых несколько тысяч крон.

Адам и Эда, как, впрочем, и Вилем, по-своему уважали и ценили председателя за его хозяйственные способности. Кооператив процветал, члены его жили совсем не плохо. Сидя в канцелярии, они время от времени с интересом и чувством удовлетворения глядели, как оживленно строится село, как на месте старых, полуразвалившихся лачуг, крытых дранкой, вырастают просторные, светлые дома. Село обновлялось, хорошело, приобретало солидный вид. Со своего наблюдательного пункта Адам и Эда часто видели, как из сельмага либо прямо из Павловиц на автобусе и тракторных прицепах люди везли кафель для ванных комнат, газовые плиты с баллонами, электрические холодильники, водопроводные трубы, черепицу, стиральные машины, ковры, светильники и прочие предметы, вдруг ставшие необходимыми. Сам Адам теперь часто и весьма охотно, возвращаясь из поездок в Павловицы, привозил соседям всякую всячину. Вилем, Адам и Эда могли с удовлетворением смотреть на все это потому, что именно благодаря им Поречье ныне и росло, как молодое здоровое дерево. Они все же сумели вывести село, хотя оно и сопротивлялось, на путь расцвета.

Это убеждение усиливало и поддерживало в них здоровую и так необходимую уверенность в себе. Сами они, однако, не принадлежали к тем, кого волнует лишь собственный материальный интерес, кто думает лишь о том, чтобы купить еще что-нибудь из мебели да чтобы было побольше жратвы; они не были хапугами. Их заботило другое, куда более важное. Поэтому они ревниво следили за растущим влиянием Михала, не доверяли ему и опасались его. Они искали своего рода общественный противовес ему, им нужны были Уверенность, Гарантия и последовательная Верность. Их опасения и недоверие иногда заходили так далеко, что они ломали голову даже над тем, почему Михал в отличие от прошлых времен, когда он работал как вол лишь на самого себя, вдруг стал все силы отдавать кооперативу. Размышляли они и над тем, не становится ли хозяйственный расцвет Поречья, которому *сейчас* Михал отдает себя целиком, своего рода приманкой, чтобы сбить с толку и усыпить людей ростом благосостояния, следствием чего могли бы стать неожиданные и неприятные общественные перемены. Это могло быть также и ловушкой, которая лишь причинила бы ущерб Делу. Однажды после какой-то стычки с председателем Эда выразил суть своих опасений вполне откровенно и просто. Он сказал: «Мне кажется, это схоже с тем, когда вор поступает в банк кассиром и усердно служит там, прямо из кожи лезет вон, чтобы потом ему легче было ограбить банк. Может, и Михал вступил в партию тоже ради этого. Я думаю, мы не должны были его принимать».

Итак, Адам и Эда продолжали спокойно сидеть у окна и, поглядывая на улицу, терпеливо дожидались Вилема. Вино они пили прямо из кувшина.

Адам с довольным видом курил. Время шло, но кругом не происходило ничего такого, что привлекло бы их внимание. Он отодвинул бутыль немного в сторону и поудобнее уселся на стуле.

В эту минуту на противоположной стороне площади, у автобусной остановки появилась пани Рачекова. Она поставила детскую коляску у кучи песка, битого кирпича и щепок. Лучи солнца падали прямо на коляску, и пани Рачекова, склонившись над нею, что-то весело говорила своей годовалой дочке Марте.

Показался возле своего нового дома с топором в руках и сам Вой-

та Рачек. Он остановился у деревянных подмостков и принялся тщательно оглядывать дом. Рачековы, в общем, уже заканчивали наружную отделку.

— Ты думаешь, они будут сегодня работать? — спросил Адам.

— Войта, видать, будет. Пожалуй, это единственное, что ему осталось,— заметил Эда.

— А лесника не видно?

— Пока еще нет. Ну и окаянная же баба эта Рачекова! Как он только терпит? Почему не выгонит ее? — тоном, полным презрения, продолжал Эда.

Адам промолчал. Он с интересом разглядывал новый дом. Семейная жизнь у Рачековых уже давно не клеилась. Причиной неурядиц и скандалов был лесник Йожка Смолак. В последнее время его слишком часто видели на стройке нового дома, и развитие отношений между супругами стало в селе предметом всеобщего внимания.

Интерес Адама остыл, когда пани Рачекова вошла в сарай.

Но тут на площади появился винодел Руда Михалик. Он не спеша проследовал к боковой улочке, где находились кооперативные подвалы. Адам и Эда проводили его взглядом.

— Может, нам тоже следует взглянуть, как зреет «Жемчужина Поречья»? — неуверенно спросил Эда, когда Руда исчез.

— Это от нас не уйдет,— возразил Адам.— Бутыль еще полная — не тащиться же с нею. В подвалы к нему мы можем заглянуть и позже.

Часа через полтора на площади, наконец, снова появился Вилем. Выйдя из дома председателя, он в нерешительности огляделся и после недолгих колебаний зашагал к зданию национального комитета. Адам и Эда из окна канцелярии молча наблюдали за ним. Скоро его тяжелые шаги уже послышались в сенях.

Вошел Вилем с таким видом, словно только что с ними расстался. Он удобно уселся у окна, вытянул ноги и с облегчением вздохнул.

Вилем был рад, что застал Эду и Адама, что они дожидались его. От них исходило столько дружеской теплоты! А друзья сейчас были очень нужны ему. В последние дни он вообще был не в своей тарелке. И в канцелярии чувствовал себя как в гостях. Неделю назад Касицкий распорядился произвести здесь ремонт, и теперь стены сияли чистотой, исчезли темные полосы копоти над высокой печью, пятна и трещины: свежая штукатурка заполнила все поры стен, пропитавшихся печным и табачным дымом. На полу даже появился новый бледно-голубой линолеум. Но вместе с тем помещение утратило свой прежний уют. Оно казалось холодным, и Вилема все время не покидало ощущение пустоты.

— Какие-нибудь новости?— спросил Эда, а Адам поднялся и пошел за стаканами, которые вместе с несколькими бутылками из-под пива стояли на шкафу возле раковины. Кувшин уже опустел, а пить прямо из бутыли было не очень удобно.

Вилем кивнул в ответ на вопрос Эды и вкратце рассказал, о чем шла речь у председателя кооператива. Новость ошеломила обоих.

— Почему, собственно, консервный завод? — недоуменно морщась, размышлял вслух Эда.

На лице у него появилось сосредоточенное выражение. Это означало, что он считает положение серьезным. Он терпеть не мог, когда жизнь ставила перед ним какие-то сложные и непонятные вопросы — ему хотелось всегда и во всем иметь ясность, и большей частью это удавалось. Необычайно прямолинейный, с тяжеловатым, негибким характером и неторопливым мышлением, Эда мог быть образцом урав-

новешенного, но неуступчивого человека. Хотя среди друзей Вилема он был самым старшим, тело его сохранило молодую упругость. Его худое смуглое лицо казалось строгим и смягчалось, лишь когда он был под мухой. Тогда он становился веселым, приятным, компанейским. А выпить он умел!

— Консервный завод — дело, конечно, хорошее и полезное, выгодное для всех. Тут ничего не скажешь. Ведь у нас вечно какие-то неувязки и неполадки с закупкой овощей,— пояснил Вилем.— Сплошь и рядом какой-то заколдованный круг. Сердце кровью обливается, когда знаешь обо всем этом и ничем не можешь помочь беде. Так что надо считать это дело своим и всячески поддерживать его. Я обязательно съезжу в район.

Говорил он убежденно, однако под конец выжидательно посмотрел на обоих друзей.

— Ох, что-то тут не так! — заметил Эда.— Вдруг это только предвыборные обещания? А потом они используют их в корыстных целях? Касицкий был при разговоре?

— Был,— подтвердил Вилем.

Его радовало, что Эда сразу сообразил, что к чему, и разделяет его опасения. Скорее всего, это хитроумный ход—ведь если возрастет влияние Михала, а с ним и Касицкого, то позиция Вилема и его единомышленников будет подорвана, а это было бы не только огорчительно для них самих, но и просто вредно для Поречья.

Эда по-прежнему сидел, удобно откинувшись на спинку стула, и курил сигарету, стряхивая на пол пепел. Судя по всему, он испытывал большие сомнения.

— А что скажешь ты, Адам? — спросил он.

Адам пока не принимал участия в разговоре, хотя слушал внимательно. Он с довольным видом выпускал клубы дыма, иногда кивая в знак согласия. Напрягать мозг, когда сидишь с друзьями и пьешь вино, просто не имело смысла.

На лице у Адама мелькнула тень недовольства. Он уставился на стакан. В золотисто-желтой, мутноватой жидкости играли веселые пузырьки; они легко и беззаботно перемешивались и сталкивались, издавая слабое шипение. Толковать в такие минуты о политике Адаму не хотелось.

Разговор, однако, шел о Михале, которого лично он не любил, и для этого у него было достаточно оснований. Он вообще терпеть не мог таких людей, как председатель.

Адам знал трактор, как никто другой, и работал на нем так, что, по мнению многих, шутя мог занять первое место в соревнованиях по пахоте. Он и собирался уже дважды на эти соревнования, но в последнюю минуту у него всегда что-то приключалось. Дело в том, что Адам обладал удивительной особенностью. Бывает же так с автомашиной: мотор работает четко, безупречно и вдруг ни с того ни с сего что-то под капотом разлаживается и — стоп машина! Господи, что случилось? Никто ничего не может взять в толк. А потом, к удивлению бессильных что-либо сделать пассажиров, машина вновь катит вовсю. Поршни, цилиндры, свечи, передачи — все в наилучшем порядке, хоть отправляйся на гонки. Вот так бывало и с Адамом: вдруг все в нем разлаживается, находит полное ко всему безразличие, вялость. Ни с того ни с сего навалится на него этакое благостное состояние и скует по рукам и ногам. И было оно настолько сильным, что останавливало, намертво тормозило все пятьдесят лошадиных сил его «зетор-супера». Адам, словно подпав под неведомые чары, сразу забывал о всех своих обязанностях и два-три часа грелся на солнышке, хотя должен был бы поторапливаться, потому что его наверняка где-то ждали. Как будто

истомленный вечными заботами, он начисто выбрасывал их из головы. Но при всем этом сердце у него было доброе. Время от времени он кому-нибудь привозил дрова и вообще всегда охотно помогал людям. Делал он это не ради того, чтоб подработать, хотя и принимал иногда «благодарность» за услугу, а потому, что не мог отказать соседям. Оттого его и любили. Но у председателя кооператива не встречали сочувствия ни благотворительность Адама, ни периодические «окна» в его деятельности (часто и несправедливо могло создаться впечатление, что это взаимосвязано). Терпеть такое было выше сил Михала да и противоречило его пониманию порядка. Поэтому-то у него и возникали постоянно столкновения с Адамом. Последнее произошло совсем недавно. В самый разгар сбора винограда Адам вывозил с виноградников бочки, полные гроздьев,— и вдруг почувствовал неодолимое желание лечь на траву и немножко отдохнуть. Отъехав в сторону от дороги, он — поскольку пора была горячая и все работали без отдыха,— чтобы не привлекать к себе внимания, забрался под трактор, мотор которого не выключил — он так привык к его урчанию, что оно не могло помешать ему вздремнуть. Волею случая поблизости проходил Михал. Ему показалось, что Адам не может справиться с какой-то неполадкой в моторе, и он решил ему помочь. Ноги Адама торчали из-под трактора, а сам Адам спокойно похрапывал между колесами. Услышав голос Михала, он открыл глаза, но не успел взять в руки гаечный ключ или пассатижи, которые приготовил на всякий случай. Произошел неприятный разговор, разозливший Адама. Он считал это мелочной придиркой и еще раз укрепился в убеждении, что председатель по непонятным причинам просто взъелся на него.

Прошло довольно много времени, после того как прозвучал вопрос Эды, и Адам, вероятно, забыл бы о нем, если б не чувствовал на себе пристальных, выжидающих взглядов обоих друзей.

— Они наверняка что-то замышляют,— заявил он. По его тону можно было понять, что Михала он осуждает и всей душой на стороне Вилема.

— Как я уже говорил, у меня такое чувство... я убежден, что сам по себе завод — дело хорошее, оно касается нас всех,— продолжал Вилем.— Исчезнут наши вечные трудности, не придется далеко возить урожай, да и люди в городах получат консервы куда более полезные для здоровья, потому что они будут изготовлены из свежих продуктов. Разумеется, речь идет не только об овощах и фруктах, но и о мясе. Там бы приготовляли и консервировали всякие гуляши, зразы, тушеную говядину с овощами да и что-нибудь специально для тех, у кого больной желудок или там желчный пузырь. Завод — дело стоящее, спору нет, и будем считать его нашим делом. Но в то же время, я думаю, мы должны теперь, когда близятся выборы, сделать сверх того еще что-нибудь такое, что каждый мог бы оценить как дело полезное и необходимое всему селу. И тогда любой человек в селе убедится, что мы не какие-нибудь хапуги, которые пекутся только о том, чтобы отхватить себе кусок побольше да пожирнее. Тут надо сделать что-то такое — ну, словом, для души! Пусть все еще раз осознают, кто открыл им этот путь и кто постоянно заботится о процветании села; пусть все знают, кто действительно хочет для них только хорошего, самого лучшего. Для нас это чертовски важно. Ведь речь идет о доверии!

Сделав столь пространное заявление, Вилем наполнил стакан и одним махом выпил.

— Кто больше всех стоит у меня поперек горла — так это Касицкий,— добавил он.

— Что верно — то верно,— подтвердил Эда.— Его нужно было бы прокатить на этих выборах. Председателем национального ко-

митета должен быть кто-нибудь другой. Я никак не могу забыть, как он выступал против нас, как вставлял нам палки в колеса.

О Михале ни Вилем, ни Эда даже словом не обмолвились — его положение в селе было теперь более чем прочным.

— Я считаю, что лучше всего было бы, если б этот пост снова занял Вилем,— заметил нерешительно Адам.— Как было раньше.

— Нет!— заорал Вилем.— Нет, ни в коем случае! А вот придумать что-то мы должны!

На него вдруг нашла усталость. А вместе с нею и уныние. Но в то же время росла и его решимость не попасть в западню, избежать ловушки, дразняще пахнущей салом, обойти силки, разложенные на тропе, протоптанной многими поколениями пореченских бедняков и ненасытных стяжателей, ищущих мерцающее где-то счастьице. В нем росло непреодолимое желание вышвырнуть приспособленцев, что держат камень за пазухой и угодливо подсовывают миски, полные чечевичной похлебки.

— Ты уже что-нибудь придумал? — спросил Эда. Он осушил свой стакан и вытер губы.

— Нет! Пока еще нет. Но это должно быть нечто такое, чтобы всем было ясно: мы действуем и твердо знаем, чего хотим!

Эда и Адам отнеслись к его словам одобрительно.

Уже начинало смеркаться, когда Вилем, направляясь домой, медленно шел по площади. Со стороны леса и виноградников подкрадывался сумрак, навевающий уныние. Оно охватывало и Вилема, хотя отовсюду доносился громкий смех, слышались то усталые, то дерзкие голоса. Растерянность и тревога серым туманом обволакивали его душу. Угнетали новые заботы, в голове была какая-то пустота.

Слегка пошатываясь, он дошел до середины площади. Прямо перед ним на широком каменном постаменте возвышался железный крест.

Крест был очень старый, изъеденный ржавчиной, чешуйки ее опадали с него, как красноватая пыльца. Однажды кто-то привязал к кресту овцу, а сам заскочил в «Венок» выпить кружку пива. С той поры крест слегка покосился, да и сам постамент уже изрядно обветшал и разрушался с каждым годом. Было на нем и полно выбоин — ребятишки со всего Поречья разбивали тут орехи и абрикосовые косточки. Из щелей и трещин меж камнями тянулись вверх дикие вьюнки и ромашки. С ранней весны до поздней осени они буйно разрастались вокруг постамента, особенно по краям его, куда частенько забегали собаки. Тут же паслись гуси и копошились в пыли куры. Летом зеленовато-желтые шарики ромашки образовывали густой покров и казались пузырьками пены на травянистой заводи, испускавшей едкий, дурманящий запах. Здесь всегда кружили пчелы и шмели, вылетали в первый свой полет созревшие в куколках бабочки.

Поскольку закусочная «У венка» находилась как раз напротив креста, прогретые солнцем камни постамента часто приманивали к себе и поречан, и случайных путников; они усаживались на нем с бутылкой, погрузив ноги — босые или обутые — в заросли ромашки и наслаждаясь короткой возможностью побездельничать и отдохнуть. Случалось, кто-нибудь и вздремнет тут, положив голову на цветы, растянувшись на узкой полоске тени, отбрасываемой постаментом; тут нередко можно было увидеть и сушившуюся на кресте пропотевшую рубаху. У женщин крест служил сборным пунктом, где они сходились, прежде чем идти в поле, а по вечерам здесь обычно сидела молодежь. Камни, за десятилетия выбеленные дождем и солнцем и отполированные задами восседавших на этом месте людей, были удобным

наблюдательным пунктом. Отсюда открывался превосходный вид на все село. По вечерам парни, собравшись у креста, свистом и окликами сзывали девушек. Здесь они болтали, шутили и заигрывали с ними до поздней ночи. С наступлением темноты некоторые парочки разбредались — кто к ивняку на берегу речки, кто на виноградники. Так это место помимо чьей бы то ни было воли превратилось в важный центр не только нынешней, но и будущей жизни села, поскольку здесь намечался и определялся размах естественного прироста населения Поречья.

Унылый и подавленный, брел по площади Вилем, приближаясь к кресту, и вдруг свернул к «Венку». Сельскую площадь он пересекал по нескольку раз за день и мог бы пройти мимо креста с завязанными глазами — ведь он сам столько раз сидел возле него. И вдруг сейчас крест помешал ему, встал на его пути.

Вилем остановился. Его светло-серые, слегка помутневшие глаза уставились на крест, ощупали взглядом полуразрушенный постамент, окруженный заводью смятой, поникшей травы. Он долго и тупо смотрел на него.

Внезапно крест исчез, словно растворился в воздухе. А все открывшееся перед Вилемом пространство было пустым и гладким, как стол. Исчезли каменный постамент и бордюр вокруг него, исчезли крест и пена ромашки. Вечерние сумерки превратились в приятное предрассветное мерцание, каким бывает озарено пробуждающееся небо. Потом взошло солнце, оно быстро поднималось и прогнало из всех уголков тени. Площадь удивительным образом вытянулась и расширилась. Казалось, она лежала в самом центре мироздания и, посыпанная золотисто-желтым песком, сияла неосквернённой чистотой.

Взволнованный, даже растроганный, Вилем глядел на это удивительное зрелище и вдруг моргнул широко раскрытыми глазами. Крест по-прежнему стоял на своем месте. И вдруг он представился Вилему какой-то чудовищной ошибкой. Он был как бородавка, портящая лицо молодой красивой девушки.

Вилем снова моргнул, и крест опять исчез. А он ощутил в сердце удивительное, очищающее тепло. Уныние его как рукой сняло.

III. Идея

8

Похмелью пришел конец, Вилем был трезв, но выглядел озабоченным, задумчивым. Постепенно и это прошло — он обрел уверенность.

В Поречье тем временем снова наступили будни. Пора молодого вина миновала, вино созрело. Начинались скучноватые времена. Основные хозяйственные работы были закончены. Утренние заморозки день ото дня крепчали. Большая часть кооперативных тракторов и упряжек возила лес для Лесного управления.

Однажды Вилем после полудня проходил по площади. Неподалеку от «Венка» стояли два трактора с прицепами, груженными тяжелыми буковыми бревнами. Трактористы по дороге на лесопилку заскочили пообедать. Тишину сельской площади нарушал только Войта Рачек — возле кучи песка и битого кирпича он обтесывал на колоде балку. Увидев Вилема, он прекратил работу.

В другой раз Вилем наверняка огляделся бы по сторонам — нет ли где поблизости Йожки Смолака — и остановился бы перекинуться с Войтой словом-другим, спросил бы: «Ну, как дела?» Но на этот раз

он безучастно прошел мимо. У него были свои заботы. Он знал, что не должен терять времени.

Энергично шагая, он пересек площадь, миновал белый сельский храм. Перейдя дорогу, ведущую на виноградники, свернул в проулок, ведущий к дому священника. У калитки ему повстречалась пани Маркова. Она собиралась уходить.

У Павла Марко, духовного пастыря подавляющего большинства поречан, было удивительное прошлое. Когда-то он работал продавцом в магазине тканей в Прешове. Отмерял шелка, поплин, мадаполам на пододеяльники, бархатные ленточки и пользовавшийся самым большим спросом ситец. Но в самом начале пятидесятых годов произошло памятное событие — высшая иерархия униатской церкви в Чехословакии приняла решение присоединиться к православной. В ту пору государственная власть вела борьбу с католическим клиром, слишком уж преданным Ватикану, и искала более верного союзника среди духовенства. Но часть растерявшихся униатских священников после этого решения трусливо покинула свою паству. Верующие в одно прекрасное утро проснулись уже как прихожане другой церкви, да еще без пастырей. Их охватила паника, и католики, пользуясь этим, старались наловить в мутной воде побольше рыбки. Возникла опасность, что первоначальное намерение приведет к противоположному результату. На помощь православной церкви пришли, однако, представители власти. Они решили послать ей подкрепление. Вот тогда-то областной комитет партии вызвал несколько десятков человек, в том числе Марко, и настоял на том, чтоб они стали служителями церкви. Так после долгих и мучительных уговоров стал священником и Марко. Сперва это ему действительно претило, потому что он всегда проявлял полное равнодушие к религии. Но, поскольку Марко был дисциплинированным и преданным партийцем, он согласился и поехал на специальные курсы, где обучался несколько недель. А затем в один прекрасный день появился со своей женой в Поречье, поселился в опустевшем доме приходского священника и стал отправлять его обязанности. Таким образом нежданно-негаданно изменилась вся жизнь Павла Марко. Покорность, с какой он принял эту перемену, примерная старательность и усердие, с какими он выполнял свой долг, делали Марко близким образу тех святых, о которых рассказывалось в «Житиях». Злые языки не раз перемывали ему косточки — в Поречье жили ведь и безнравственные безбожники-атеисты, и католики. Последних, к счастью, в селе никогда не было много: им приходилось ходить по шоссе или по проселочной дороге за четыре километра в мочаранский костел.

Мягкая, теплая улыбка Марко почти мгновенно вызывала доверие; его серо-голубые глаза всегда были полны понимания. Он прочувствованно дарил прихожанам утешение божьим словом во время проповедей и праздничных обрядов, на крестинах, именинах и во время таких печальных событий, как похороны. В любое время он охотно навещал больных. Его сочный, мелодичный голос мог и обличающе греметь, а вслед за тем звучать тихо и проникновенно. На свадьбах, крестинах и в других подобных случаях, когда гостеприимные прихожане стараются блеснуть своей кухней и запасами кладовой, Марко неизменно был веселым, жизнерадостным сотрапезником. Благодаря этим качествам ему быстро удалось преодолеть сдержанность, с которой его приняли вначале прихожане, а также избежать различных ловушек и обид. Совершенно неожиданно он добился в Поречье больших успехов. Время от времени на его проповеди, особенно в большие праздники, приходили даже несколько заблудших душ из Мочаран. Со дня его приезда в село прошло лишь

несколько лет, а всем уже казалось, что Марко живет здесь с незапамятных времен, с самого своего рождения. За эти несколько лет Марко успел основательно отремонтировать храм, так что дом господень ослепительно сверкал на солнце белизной, да и внутри его царили благолепие, порядок и чистота. Он внес кое-что новое, может быть и незначительное, но заметное в благоустройство приходского дома — двор у него понемногу, но постоянно пополнялся домашней птицей; он держал голубей и разводил пчел; расчистил и тщательно обработал большой сад, примыкавший к дому. За несколько лет Марко, можно сказать, обзавелся всем, что только было нужно ему для жизни и полного довольства. Казалось, жить бы ему да жить здесь долго и счастливо, как вдруг произошло событие, которое ошеломило его, выбило на какое-то время из колеи и посеяло в душе тревогу.

Однажды Марко ни с того ни с сего снова вызвали в Прешов, в областной комитет. Развернулась борьба против религиозного мракобесия, и ему вдруг пришлось решать, где, собственно, его место. Пожалуй, еще никогда и ничто не приводило его в такую растерянность. Он решительно не понимал, да так и не понял, почему одни и те же люди послали его, чтобы он служил Делу на ниве церковной, а потом вдруг стали отвращать его от этого. Марко встал на дыбы. Вполне довольный своей жизнью в Поречье, благодарный прихожанам за их привязанность, он решил остаться там. Разошелся со своими товарищами по партии он, правда, по-хорошему — пообещал и в дальнейшем всячески содействовать им и сотрудничать с властями. С той поры, однако, на него время от времени находила странная тревога — он как будто утратил в чем-то уверенность. Вероятно, его одолевали угрызения совести и он сожалел о своем решении или, может быть, его угнетало моральное обязательство избегать по мере возможности каких бы то ни было столкновений со светскими учреждениями. В те минуты, когда его мучила совесть, он старался держаться в тени и во всем проявлял большую осторожность.

Впрочем, в последнее время в Поречье, к счастью, ничего особенного не происходило, урожаи были хорошие, и жизнь членов кооператива становилась все лучше и лучше. Марко располнел, обмяк, отрастил брюшко и ходил вразвалку.

Он как раз обедал, когда кто-то постучался; открылась дверь, и вошел Вилем.

Марко испуганно вскинул брови. Обычно Вилем не заходил к нему домой. Когда нужно было что-либо обсудить, они встречались в национальном комитете. Значит, случилось что-то чрезвычайное. Священник вопрошающе глядел на Вилема. Незаметно отодвинув тарелку, он кивком головы пригласил его сесть.

— Да вы ешьте,— просто, на удивление дружеским тоном сказал Вилем. Он до малейших подробностей знал прошлое Марко и, не скрывая, смотрел на него свысока. Но сегодня Вилем даже улыбался.— Времени у меня достаточно, я подожду. И принесла же меня нелегкая именно сейчас, что бы прийти чуть позже!

Марко помедлил. Потом несколько неуверенно, сделав жест, который мог означать извинение, принялся за еду. Это давало ему возможность подумать, и он мгновенно перебрал в уме все события последнего времени. Тщетно, однако, ломал он голову над тем, что же могло заставить Вилема прийти к нему. Поэтому, указывая взглядом на тарелки, он пояснил:

— Пятница...

Отрезая кусочки запеченного в тесте сыра, Марко заедал их кар-

тофельным пюре. Впрочем, иногда он и в постный день позволял себе полакомиться и вообще поесть основательно — это он любил.

— Понятно,— кивнул Вилем.— Мальчишкой я прислуживал в храме при богослужениях, так что хорошо помню все посты.

— В самом деле? — Марко принужденно улыбнулся.

— Ну а как же. Перед рождеством пост длится шесть недель, а перед пасхой — семь. Потом еще четыре недели перед Петром и Павлом и две — перед успением богородицы. В остальное время пост соблюдали каждый понедельник, среду и пятницу. Черт, чуть не забыл — постились еще перед такими праздниками, как, скажем, усекновение главы Иоанна Предтечи и воздвижение креста господня — это тот день, когда, кажется, нашелся крест, на котором был распят Христос. Выходит...— Вилем перевел дух,— мы с Адамом как-то подсчитали. Выходит, что в году постных дней больше двухсот тридцати. Адам просто не хотел этому верить, но я-то все помню очень хорошо. В те дни нельзя было есть ни мяса, ни сала, ни молока, ну и, конечно, ни масла, ни яиц. Пищу заправляли только подсолнечным маслом или маргарином. Вообще-то по правилам даже и маргарин нельзя есть, да на него пан епископ снял запрет. У католиков с этим было полегче,— заключил Вилем,— они не соблюдали столько постов Достаточно было в среду и пятницу не есть мясо и сало.

Марко по-прежнему держался настороженно. Он слушал и пытался уловить в том, что говорил Вилем, объяснение его визита. Создалось впечатление, что тот явился исключительно ради дружеской беседы.

— Знаете, нас в доме было шестеро,— ударился вдруг в воспоминания Вилем.— Однажды, когда мы в постный день ели кукурузную кашу с грушевым взваром, сестренка примчалась домой голодная и схватила ложку, не вымытую после молока. Вот ей и пришлось потом исповедоваться даже в этом грехе. Карой за смертный грех был ад, за простой грех — только чистилище.

— Ну, теперь с этим не так строго,— напомнил Марко.— Церковь стала снисходительней, а бог милостивее к нам.

По глазам Вилема видно было, что эти слова вполне его устраивали.

— Гм, так вы прислуживали при богослужениях,— заметил Марко, вновь насторожившись.— А я и не знал...

— Ну, как же! Да ведь такая религия, как наша, черт возьми, была придумана будто нарочно для одних только бедняков.

Марко отодвинул тарелку. Он выжидал.

— Что ж, теперь можно перейти к делу.— Вилем откашлялся.— А дело, значит, вот какое. Словом, оно касается старой развалины на площади. Трактористы, да и шоферы, которые возят нам товары в сельмаг и пиво для «Венка», стали жаловаться, что развалюха эта мешает им разворачиваться. Тут, мол, и до беды недолго. Вот я и думаю — надо нам обмозговать это и принять решение.

— Вы имеете в виду крест на площади? — неуверенно осведомился Марко после минутной паузы. Ему стало ясно, зачем пришел Вилем.

— Ага! Тем более что особенно он мешает теперь, зимой, когда снова начинают возить лес, а на дороге то и дело чертов гололед.— Вилем говорил с таким видом, словно и впрямь был весьма озабочен этим.

— А с каких пор стоит крест на площади? — мягко спросил Марко.

— Сколько я помню, он стоял там всегда. Когда я был еще мальчонкой, он уже и тогда...— Вилем осекся, но сразу же поспешно за-

кончил: — Но раньше ездили только на лошадях, и крест был на месте. Кругом — тихо, спокойно, прямо божья благодать! А сейчас, пан священник, всюду снуют тракторы, да и грузовики носятся как угорелые.

В комнате наступила тишина. Марко положил руки на стол и с такой силой сжал их, что кончики его пальцев побелели. Он не припоминал, чтобы кто-то когда-либо высказал хоть слово недовольства по этому поводу. Что за этим кроется? В то же время он упрекнул себя: ведь если бы он раньше распорядился привести крест в порядок — покрасить его, оштукатурить и побелить постамент,— то Вилем вряд ли отважился бы явиться с таким предложением. Да, надо было больше радеть о святых местах и усерднее беречь их....

— Это — святое место,— сказал Марко.— Да к тому же еще исторический памятник. Крест стоит на площади самое меньшее сто пятьдесят лет. Церковной хроники я, к сожалению, не нашел. Мой предшественник, по всей вероятности, забрал ее с собой.

В голосе Марко прозвучало сожаление, но в то же время и осторожный отказ.

— Значит, надо подумать о том, что место это вовсе не подходящее для такой святыни,— не отступал Вилем.— Когда, скажем, проезжают грузовики, вся земля там трясется, пыль стоит столбом, а потом на крест ложится. Чад от нефти кругом. Повадились туда ходить по нужде собаки, гуси. Да кабы только они. Вы же знаете, сколько народу сейчас толчется в «Венке»... Нет, неподходящее это для креста место — прямо напротив закусочной.

Марко сосредоточенно обдумывал слова Вилема — они звучали спокойно, свидетельствуя о внутренней убежденности и решимости. Впрочем, ему известно было, что Вилему этих качеств не занимать.

— Значит, вы хотите снести крест?! Убрать его с того места, где он был освящен?! — Марко отрицательно покачал головой.

Вилем был готов к такому ответу. Он знал, что его предложение встретит отпор священника, и сманеврировал:

— Снести?! Но в этом нет необходимости. Я знаю, что пока еще есть немало людей, которые не представляют себе, как можно прожить без таких вещей. А что, если перенести крест в какое-нибудь другое, более подходящее место? Скажем, ближе к церкви. Лучше всего между нею и вашим домом. Тут можно было бы устроить сквер.— Вилем перевел дыхание и заговорил громко, увлеченно: — Разве не превосходное это будет место для креста? Он стоял бы среди зелени и цветов, в стороне от бензинного смрада, пыли и всякого непотребства. Мне кажется, для такого памятника это было бы самое достойное место, какое только можно найти в Поречье и какого он действительно заслуживает.

Марко с напряженным вниманием выслушал Вилема и задумался. Он невольно поглядел в окно и увидел ограду своего сада, а за ним — проулок. Проулок шел от костела и, расширяясь, переходил в пустырь, заросший бурьяном и заваленный всевозможным мусором — черепками, щепками, банками, обрывками бумажных мешков. Там было множество мышиных норок и ходов, трава пропиталась мышиным запахом. Как ни пытался Марко убрать образовавшуюся здесь свалку, устранить беспорядок, это ему не удавалось. Ребятишки устраивали тут сражения и притаскивали все новый и новый хлам, а как только на землю садились голуби, которых разводил Марко,— они так расплодились, что гнездились даже в башне костела,— мальчишки принимались их гонять. Несколько лет назад, когда Цирил Матяш собрался ставить себе новый дом, он устроил здесь под навесом склад материалов. Навес, крытый драным толем, так и ос-

тался тут, удивительно быстро превратившись в место кошачьих оргий. Порою в полнолуние кошки вопили так, что ни сам Марко, ни жена его не могли спать. Сейчас под навесом красовались два ящика для металлолома.

— Сквер? — переспросил священник.

Вилем подтвердил.

— Если мы вместе возьмемся за это, работа у нас закипит и будет полный порядок. А такое дело всем придется по душе!

Марко чуть не задохнулся от возбуждения. Да, место было выбрано неплохо. Если принять проект Вилема, тут и впрямь можно будет навести порядок. Исчезнет навес, уберутся коты, не будет всей этой рухляди, хлама и пропахшей мышами травы, прекратятся шумные сражения и вечный крик ребятни. С тем большим сожалением Марко сознавал, что из принципиальных соображений он вынужден будет сказать Вилему «нет».

— Убрать крест оттуда, где он был освящен, грех. Великий грех...

— Но я думаю,— возразил Вилем, и голос его стал чуть тверже,— я думаю, что и тут дело обстоит примерно так же, как с постами... Что люди уже не настолько... короче, что теперь другие времена. Да, к тому же у нас будут выборы. Избиратели могут сами привести нам те же доводы и указать на непристойности, которые учиняют у креста пьяные, выходя из «Венка». Думаю, что нам есть смысл договориться.

При упоминании о выборах Марко вздрогнул. Он понял, что опасность куда серьезнее, чем он сперва предполагал. Вилем, видимо, хочет убрать с площади крест по политическим мотивам. Это было вполне правдоподобно — выборы обычно пробуждали и на определенное время повышали всякого рода общественную активность. Некоторое время Марко молчал, отдавшись своим безрадостным мыслям. Ведь в таком случае в игру вступали силы, которым он не сумел бы противостоять. И он принялся лихорадочно взвешивать свои возможности. Вот он, думалось ему, решительно отвергает предложение Вилема, заявляя: «Нет, здесь, в Поречье, я представляю церковь и не могу допустить подобного». И тотчас слышит ответ Вилема: «Меня вызывали в район, теперь я должен уладить это с вами». Он видел широко расплывшуюся в ухмылке, довольную физиономию Вилема. Но ежели дело обстоит так, то зачем было Вилему приходить со своим предложением, в общем-то вполне великодушным? Ведь он мог сразу открыть карты. Поведение Вилема, столь несвойственное ему, сбивало Марко с толку. Конечно, это могло быть и ловушкой. У Марко упало сердце. А может, он именно сейчас должен показать, какую позицию занимает и как выполняет данные в свое время обещания? Он бросил тревожный взгляд на Вилема. Но в глазах его увидел лишь спокойствие и удовлетворенность.

Тем не менее священнику казалось, будто он зажат в тиски. Он сознавал, что в силу странных, необычных обстоятельств, связанных с его прошлым, он не может поступать так, как хотел бы. Придется пойти на уступки, если этого потребуют обстоятельства.

Жизнь давно научила его не тратить попусту силы там, где все решено наперед. В то же время он знал, что не может позволить себе капитулировать и признать поражение прежде, чем это станет неизбежным. Перед каждым серьезным шагом Марко всегда тщательно изучал обстановку — так хорошая хозяйка внимательными, чуткими пальцами ощупывает кур-несушек. Да, необходимо все взвесить.

— Я думаю — и это не только мое мнение,— нам надо, не откладывая в долгий ящик, уладить это дело, пока не поздно,— сказал

Вилем — чтоб не стряслось какой беды, да и чтобы не было у нас неприятностей, которые только зря отравляют жизнь.

Марко снова глянул в окно. По проулку носились мальчишки. Они швыряли камнями в старую кастрюлю. С ящика, набитого разным хламом, на навес вспрыгнул черный кот Мацек — любимец жены... И вдруг произошло нечто невероятное.

Дети и сарай исчезли, захламленный, заросший травой пустырь неузнаваемо изменился. Посреди него зеленел свежий, затканный цветами газон. Видение длилось две-три секунды. И исчезло.

Кот, выгнув спину, подкрадывался к воробью, готовясь к прыжку. По неизъяснимой причине он чем-то напоминал священнику Вилема. А воробей, который в страхе трепыхался на навесе, был он сам, Марко.

— Дело не только во мне,— произнес Марко.— Речь идет ведь об очень серьезных вещах. Это — освященное место! Я должен посоветоваться в церковных инстанциях.

Он ждал, как отнесется к сказанному Вилем.

— Само собой ясно,— заметил с достоинством Вилем. Словно он и не торопил Марко, а, напротив, проявлял полное понимание его озабоченности.— Посоветуйтесь, тогда мы поговорим снова.

Вилем поднялся и вышел. Пройдя по проулку к костелу, он зашагал по площади. Марко стоял у окна и долго провожал его угрюмым взглядом.

9

На другой день рано утром Марко уехал на автобусе в город по своим обычным делам. Но, пользуясь случаем, он осторожно расспрашивал, выяснял и убедился, что его начальству не известно ничего, так или иначе связанного с планом Вилема. Правда, этого еще было недостаточно. У Вилема могли быль более свежие сведения или какие-то специальные распоряжения. Тем не менее Марко несколько успокоился. И решил не спешить, прежде чем окончательно не установит, где собака зарыта. Он вступит в осторожную борьбу с Вилемом. И будет выжидать, зная, что в любой момент сможет прекратить схватку.

Возвратившись в село после полудня, он встретил Вилема неподалеку от «Венка». Казалось, тот дожидался прихода автобуса.

Губы Марко тронула бодрая улыбка. Они поздоровались.

Вилем остановился, а Марко продолжал свой путь. Тяжелой походкой, вразвалку он направлялся к своему дому. За ним тянулась строчка следов — дорогу развезло, утром выпал небольшой снег, растаявший за день.

Вилем задумчиво глядел вслед священнику.

В тот же день под вечер Адам, как обычно, вез из леса буковые бревна. Было уже поздно, и груженный ими прицеп должен был на ночь остаться на площади — рано утром Адам собирался отвезти их на лесопилку. Но, когда он затормозил неподалеку от креста, трактор пошел юзом. Адам не сумел его удержать, прицеп задел за постамент креста и развоpотил угол. Сам крест, хотя и его тоже стукнуло бревном, лишь слегка погнулся.

В последний момент Адаму все же удалось совладать с трактором. Выключив мотор, он выскочил и принялся громко ругаться.

Эда по чистой случайности находился возле закусочной и вместе с Людвиком Купецом оказался свидетелем происшествия.

Оба были вне себя от негодования. Когда на площади показался Касицкий, возвращавшийся с хозяйственного двора, Эда возбужденно воскликнул:

— Счастье еще, что такое случилось именно с Адамом, который, как никто другой, умеет обращаться с машиной. Потому и не произошло ничего страшного.

С облегчением, да и чтобы не сглазить, Эда сплюнул и обратился к Касицкому:

— С этой развалиной посреди площади уже давно надо было что-то сделать. Хотел бы я знать, кто возместит убыток, если Адам или кто другой разобьет здесь трактор! — Он поглядел Касицкому прямо в глаза.— Тут как в мышеловке. Авария ведь может случиться и с автобусом, который возит школьников, что учатся в Павловицах.

Людвик Купец с серьезным видом поддакнул. Он принадлежал к числу старых соратников Вилема, а сын его был трактористом.

— Пойдем, Адам, пропустим по стаканчику для успокоения,— проявил заботу Эда.

Адам сперва согласился, но тут же отказался:

— Нет, будь оно все проклято, не могу! Надо сначала осмотреть машину. Я потом приду — смыть испуг, конечно, надо.

Вокруг тем временем собралась толпа зевак.

Вечером происшествие обсуждалось в «Венке». В изустной передаче случай стал выглядеть более драматичным: говорилось уже о смертельной опасности — ее якобы Адам избежал лишь чудом. Бревна, мол, которыми был нагружен прицеп, в результате удара могли сорваться и смять, раздавить трактор. Особенно возбуждающе, вызывая негодование, действовала на воображение присутствующих мысль о том, что подобное может случиться и с автобусом, который возит детей. Росло убеждение, что никто не имеет права так рисковать здоровьем и жизнью людей. Большая часть собравшихся сознавала свой долг — сделать все для того, чтобы возможность подобных случаев была исключена. В тот же вечер в «Венке» — а затем и во всем Поречье — родилась твердая решимость что-то предпринять. И разве кого-нибудь могло удивить то обстоятельство, что когда возмущенные посетители закусочной стали расходиться по домам и их внимание вновь привлек к себе прицеп Адама, одиноко стоявший на месте аварии как наглядное предостережение, то вокруг креста на снегу они оставили гораздо больше следов, нежели обычно. В других случаях там останавливался кто-то лишь случайно, испытывая потребность облегчиться, а в этот вечер таким способом было выражено всеобщее неудовольствие!

Когда о беде, приключившейся с «зетор-супером» и прицепом Адама, а также о последствиях аварии узнал Марко, у него неприятно засосало под ложечкой. Он испытывал такое чувство, будто шел по очень скользкой дорожке.

Но разве Вилем не предвидел, что может случиться нечто подобное?

10

Карел Кужела, заведующий пореченской закусочной, был человек не здешний, а из Павловиц. В конце войны он познакомился с Вилемом в лесах. Позднее женился на поречанке и при весьма существенной поддержке Вилема стал заведовать закусочной. И хотя торговля была делом для него новым — коммерческая жилка у него

вообще отсутствовала,— он быстро освоился. Это был довольно своеобразный, немногословный и суровый человек. К тому же работать в закусочной тоже было не просто. В Поречье, где в каждом доме стояло несколько бочек своего вина, продажа в розлив шла не слишком-то бойко. Поречане, приходившие сюда поболтать или сыграть в карты, чаще всего пили пиво, иногда «разбавив» его стопкой рома. Бывало, заказывали и что-нибудь покрепче, вроде сливовицы, водки или коньяка. «Жемчужину Поречья» требовали обычно лишь проезжие туристы да влюбленные парочки из Павловиц, которые предпринимали экскурсии в пореченские густые заросли, а на обратном пути в ожидании автобуса заходили выпить стаканчик вина. Зимой, чтобы согреться, лесорубы и трактористы заказывали глинтвейн, сваренный с гвоздикой и лавровым листом,— фирменный напиток «Венка». И все же дела у Кужелы вначале шли вполне прилично.

Хуже стало, когда кооператив — конечно уже при Михале — тоже занялся предпринимательством. В дни престольных и других больших церковных праздников, шумных летних гуляний, как, например, бал пожарных и другие, именно тогда, когда в «Венке» прежде бывала самая большая выручка — люди не только много тратили, но в возбуждении не очень-то вели счет кронам,— кооператив открывал теперь свой ларек. На площади, в каких-нибудь пятидесяти метрах от «Венка», продавали в розлив «Жемчужину Поречья». Это чувствительно сказывалось на выручке «Венка». Кужела, правда, пытался ослабить конкурента — всячески благоустраивал свое заведение и вынашивал идею поставить во дворе кегельбан, но руководство треста отказалось выделить ему необходимые средства. Это несколько сдерживало инициативу Кужелы. Он чувствовал себя потерпевшей стороной и недружелюбно поглядывал на Михала. К чести Кужелы надо сказать, что держался он по отношению к председателю корректно, хотя и с оттенком горечи. Несмотря на заботы и неприятности, которые последние два года доставляли ему дела, заведующий закусочной сохранял спокойствие. Самым большим развлечением, которое он себе позволял, были регулярные экскурсии в Павловицы, предпринимаемые им по понедельникам,— «Венок» в этот день был закрыт. Кужела ездил туда оформлять всевозможные заказы, платить по счетам и всегда останавливался в гостинице «Спорт», где в меру кутил и позволял себе другие развлечения. Эти небольшие загулы давали ему или, вернее, поддерживали в нем необходимое чувство самоуважения, хотя подобные экскурсии вызывали обычно семейные неурядицы.

События, связанные с крестом и изменившие пульс жизни всего села, неожиданно создали «Венку» такую конъюнктуру, какая Кужеле и не снилась. В заведении теперь было людно каждый вечер. Работы стало столько, что Кужеле помогала обслуживать посетителей его жена Ружа, которая прежде занималась лишь стряпней и уборкой. Выручка за последние недели возросла втрое. Кужела под влиянием такого процветания и сам расцвел, к нему вернулось хорошее настроение. Сверх того он еще «болел» за Вилема, Адама, Эду и всех, кто был с ними заодно. «Венок» надолго превратился в боевую позицию, генеральный штаб, казарму да и в арсенал команды.

Возможно, процветанию «Венка» довольно быстро пришел бы конец, возможно, его не было бы вообще, если бы не удивительное совпадение случайностей и чрезвычайно благоприятных событий. Первоначальное возмущение жителей Поречья, вызванное аварией трактора, а главное, перспективой еще больших опасностей, о воз-

можности которых авария напомнила, длилось бы, пожалуй, не более двух-трех дней. Возможно, оно просто прошло бы, рассеялось; возможно, приняло бы сугубо деловую и привычно сдержанную форму, если бы негодование, объектом которого стал старый крест, не проявилось столь резко и не вызвало отклика, которого Вилем, Адам и Эда никак не ждали. Да, развитие событий могло бы быть совершенно иным, не допусти Марко оплошность, к которой его принудила группа набожных женщин, глубоко задетых осквернением креста.

Женщины начали поход против виновников тех непристойностей, которые время от времени позволяли себе посетители «Венка». Явившись к священнику, они потребовали, чтобы он взял крест под защиту и сурово осудил виновных. Марко, сознавая деликатность ситуации, во время проповеди упомянул об этом, правда весьма осторожно и робко. Это подлило масла в огонь, придав требованиям женщин оттенок официальности, невероятно усложнило положение и послужило объявлением войны, которое, конечно, было немедленно принято.

Так как упреки и обвинения не имели точного адреса и никого конкретно нельзя было объявить преступником, они задевали в общем-то всех посетителей «Венка», любого, кто когда-либо без злокозненных намерений облегчился возле креста. Но в глазах тех, чью совесть взбудоражила авария с трактором Адама, эти протесты вполне закономерно слились с защитой положения, которое, с их точки зрения, необходимо было срочно изменить, чтобы не произошло еще какой-нибудь беды. То, что их честно задуманное намерение натолкнулось на сопротивление, лишь сделало его еще более значительным и важным.

Вилем, Адам и Эда, да, впрочем, и все остальные возмутились. Они поняли, что теперь отступать нельзя, почувствовали моральный долг и обязанность вести борьбу до победного конца. Убеждение, что речь идет об общественно полезном деле, на которое нападают религиозные противники, а также то, что эта история в глазах части поречан приобрела несколько авантюрный характер, неожиданно стало вовлекать в борьбу все новых и новых союзников. Благодаря Вилему и его единомышленникам в общественном сознании поречан — правда, несколько завуалированно, поскольку об этом много и не говорилось,— стремление обеспечить безопасность детей, предотвратить возможность беды, причиной которой может стать крест, слилось с осознанной потребностью очистить сельскую площадь от символа всего старого, отжившего, символа мракобесия. Впрочем, были и такие, кто присоединялся лишь из чувства удовлетворения, что в селе что-то происходит. Да и зимняя пора весьма благоприятствовала такой, можно сказать, активности. Поразмыслив обстоятельно надо всем, Вилем пришел к выводу, что никакое другое время года не могло бы быть более подходящим для такого дела. Работы у людей было уже немного, и длинные зимние вечера, казалось, только и существуют для того, чтобы проводить их в дружной компании. В «Венок» теперь регулярно ходили даже те, кто раньше лишь изредка забегали выпить кружку пива. Не было тайной, что ради пользы дела, которое их всех вдохновляло, кой-кому пришлось пойти на семейные разлады и ссоры.

Но помимо всего этого они приносили и немалые материальные жертвы. Из вечера в вечер проводили они время в «Венке». Дружно сидели, пили, вели беседы, играли в карты. Пили много, поскольку хотели не просто утолить жажду. Пиво, крепленное ромом, выполняло высокую общественную функцию. А чтобы хотелось выпить, надо было и поесть. Ружа каждый вечер стряпала острый, сильно

наперченный гуляш; кроме того, всегда исчезали и две банки селедки «Рольмопс». Чаще, чем прежде, гости Кужелы останавливались у витрины, возле стойки и брали пакетик хрустящего картофеля или жаренного с солью арахиса. (У Кужелы были предусмотрительно выставлены здесь сладости — леденцы, шоколад, пакетики косхалвы,— чтоб посетители, которые задержались слишком поздно или перебрали, могли дома откупиться этими лакомствами, служащими к тому же и знаками внимания.)

То, что всегда было неприятным и обременительным последствием выпивки, теперь они приветствовали с удовлетворением и отправлялись поодиночке или небольшими группками на площадь. Никто не заходил во двор «Венка», где дощатый нужник, покрытый льдом, был небезопасно скользким. Нет, они не считали за труд совершить в темноте значительно больший путь к середине площади, где стоял крест.

Даже сильные морозы не ослабили их волю к протесту. Вилем не переставал удивляться. В создавшемся положении он усматривал коренной перелом — исчезло, наконец, существовавшее до сих пор безразличие к делам села. Гордость, вызванная активной деятельностью и борьбой, а вместе с тем убежденность, что они осуществляют безмерно полезную общественную акцию, объединили посетителей «Венка» в довольно многочисленную ударную группу, которая знала, чего хочет, и последовательно, с сознанием своего морального превосходства, выполняла задачу. Сплоченность ее день ото дня возрастала.

Между тем кучка возмущенных, все более решительно выступающих с протестом женщин под предводительством Альжбеты Мохначовой потребовала от участкового милиционера Густы, чтобы он защитил освященное место от надругательства. Густа был еще совсем молодой работник и прибыл в Поречье всего несколько недель назад. Делегацию, которая обратилась к нему, он выслушал и сказал:

— Хорошо, посмотрю, что там происходит.

Вечером он с минуту постоял под фонарем, который горел на столбе чуть поодаль от «Венка»,— единственным на всей продолговатой пореченской площади. Густа знал, что за ним наблюдают из окон закусочной да и из других окон. Он прошелся по площади, снова вернулся к фонарю и, нерешительно потоптавшись, вошел в «Венок», чтобы немного согреться. Заказал глинтвейн. А пока он здесь находился, случилось так, что лампочка на столбе лопнула и рассыпалась вдребезги. Густа, не подозревая об этом, приятно проводил время в «Венке». Позже, выйдя в темень на площадь — в этом готовы были присягнуть несколько свидетелей, и среди них Эда,— он остановился возле креста и тоже облегчился. Когда наутро женщины снова пришли к нему, он с кислым видом заявил:

— Не могу же я сторожить ночью каждую придорожную тумбу! Государство платит мне не за то, чтобы я следил, где кто сунет руку в ширинку.

Этим Густа снискал себе симпатии многих, а завсегдатаи «Венка» признали его поречанином.

Но даже после такой неудачи кучка негодующих женщин не сдалась. Напротив. Они мобилизовали общественное мнение, проведя работу прежде всего среди жен тех, кто, по их мнению, совершали непристойности, потому что ежедневно просиживали допоздна в «Венке». В результате их влияние несколько возросло, и они решили взять дело охраны креста в свои руки.

В тот же вечер Эда вышел на минутку, как обычно, из закусочной, но тотчас вернулся.

— Похоже, сегодня караулят,— сообщил он.— Я видел, как они там расхаживают, и, кажется, с палками, так что я туда даже подступиться не смог. А новую лампочку в фонарь еще не ввинтили.

Из «Венка» послали в разведку Адама и Людвика Купеца. Оказалось, Эда был прав. Пронесся слух, что около креста дежурят, по всей вероятности, и несколько мужчин. Завсегдатаев закусочной это возмутило. Поскольку некоторые, в том числе и Адам, вошли в раж, они рвались предпринять боевую вылазку, но Вилем отговорил их. Вместо этого они условились провести операцию, которая хотя и была простой, но носила характер заговора и тем самым подняла боевой дух.

Никто уже не выходил из «Венка». Завсегдатаи его развлекались в свое удовольствие и задержались дольше обычного. На улице был морозище, но им — в зале, у раскаленной печки, за стаканом глинтвейна, приятно пахнувшего гвоздикой и лавровым листом,— он нисколько не мешал. Они разошлись поздно ночью, тихо, степенно. В окнах «Венка» погас свет.

Промерзшие и успокоившиеся караульщики отправились по домам. И тогда дверь закусочной осторожно отворилась, выскользнули несколько теней. По тропке, протоптанной в смерзшемся снегу, они направились к кресту. А из тьмы тихими воровскими шагами начали подкрадываться к кресту остальные.

Наверно, никогда еще самоотверженность и воля этих людей не были столь велики.

Потом случилось так, что овощевод Владимир Бриндзак, человек тихий, безответный и старательный, который только и жил заботами о парниках и буквально нянчился с рассадой, вернувшись из «Венка» домой, уснул сразу как сурок — ведь он не привык так пить и слоняться по ночам и потому не принимал участия в «операции». Проснулся он уже под утро, почувствовав потребность облегчиться. Жена еще спала. Помедлив с минуту, он вылез из теплой ямки, которую отлежал, укрыл жену и стал одеваться. Набросил на себя пальто, обмотал вокруг шеи шарф, надел барашковую шапку и как был, в домашних туфлях, осторожно зашагал по хрусткому снегу к площади.

Дойдя до нужного места, он остановился. Его трясло от холода, зубы отбивали дробь. Но он чувствовал себя счастливым, как человек, который перехитрил того, кто мешал ему выполнить не просто доброе дело, а дело чуть ли не государственной важности.

Бриндзак уже собрался было возвратиться домой, как вдруг услышал в темноте подозрительные шаги. Он замер, сердце его забилось. Ему почудилось, что за ним следят. Он стал разглядывать фигуру, подходившую к кресту с другой стороны. Она тоже остановилась.

Владимир Бриндзак в смятении уже решил было отступить, но тут же облегченно вздохнул. Он услышал в темноте звук, несомненно свидетельствовавший о том, что рядом — союзник.

— Это кто? — хриплым шепотом спросил он.

Ему ответили, и Бриндзак узнал Людвика Купеца. Людвик шел на скотный двор задать корм и остановился тут по дороге. Обычно он выходил позднее, но, поскольку сегодня нужда заставила его подняться с постели так рано, он решил прямо отсюда отправиться на работу. Людвик надеялся, что ему удастся еще хоть немного вздремнуть в теплом хлеву.

— Так ты тоже тут? — спросил Бриндзак.

Зубы у него по-прежнему стучали — его пронимал холод, потому что он был плохо обут. Он вовсе не подумал, что его вопрос с гораздо большим основанием мог быть задан ему.

— Ага,— ответил Людвик и громко откашлялся.

Бриндзак огляделся по сторонам, но кругом не было никого. В холодной, морозной пустоте площади он благодаря присутствию Людвика вдруг ощутил согревающее тепло, хотя вообще-то они никогда не были особенно близкими друзьями.

— Вот чудно! — сказал он.— Только сейчас, кажется... понимаешь, что ты еще нужен. На что-то способен, черт подери!

— Да,— согласился Людвик. И зашагал.

Владимир поднял глаза к небу. Оно было в тучах.

— Только бы не засыпало до утра снегом,— сказал он себе озабоченно.

11

После неожиданной ночной акции волнение в Поречье усилилось. Застигнутых врасплох защитников креста сначала охватила настоящая паника, у них просто опустились руки. Среди поречан лихорадочно, как эпидемия, распространялись всевозможные измышления и догадки.

Около десяти часов утра несколько глубоко возмущенных, разъяренных женщин выступили с ответной акцией. Горячей водой они смыли все следы святотатства, а Альжбета Мохначова возложила на крест небольшой венок из еловых веток и букетик бессмертников.

В полдень Войта Рачек вышел из дома с ведром цемента и банкой черной краски, оставшейся у него после строительства, и направился к кресту. На площади то тут, то там стояли кучки людей. Вилем и Эда тайком вели наблюдение за Войтой из окна канцелярии. Он укрепил камнями расшатанное основание креста и залил их цементом. Потом покрасил крест черной краской. В это время к постаменту подкрался пес. По своему собачьему обыкновению он обнюхал угол и поднял лапу. Увидев это, Войта вышел из себя, схватил банку и вылил остатки краски на спину пса.

— Вот вам! — с угрозой выкрикнул он, окидывая взглядом село.

Эти действия подбодрили всех, кто требовал охраны креста от осквернителей и вообще решительных мер.

После обеда несколько верующих женщин украсили крест еще одним венком из сосновых веток с шишками и картинкой из Священного писания. Они зажгли у креста две освященные свечки и открыто, на глазах всего села молились перед ним. Среди них была и жена Владимира Бриндзака. Она каялась и молила господа простить ее непутевого супруга, который, вместо того чтобы, как всегда прежде, сидеть дома, теперь каждый вечер проводит в «Венке» и транжирит деньги.

Стало ясно, что на этот раз защитники будут стоять в карауле всю ночь. Вилем и Адам, встретившись под вечер в комитете, серьезно, даже с некоторым опасением размышляли об этом. Когда Адам узнал про Войту Рачека, он от удивления поднял брови и недоуменно пробормотал:

— Да что ты? Ведь он... Господи Иисусе, разве Войта не католик?

— Кажется, да. Ну конечно же...— вспомнил Вилем.— Время от времени, по большим праздникам, он ходит в костел в Мочараны.

— Так чего же он тогда суется? — Адам задумался.— Наверно, приметил, что там с нами как-то был лесник. Да. Не иначе!

Вилем молчал и хмурился.

— Бьюсь об заклад, что тут не может быть ничего другого. Войта вообще очень сдал. Во всем,— пояснил Адам и продолжал, словно размышляя вслух: — Ну, отчего он не стукнет разок свою бабу? Почему не врежет ей как следует? Как, скажем, Йожка Матяс. Все думают, что его Мария такая несчастная, неудачливая. Ее родители настаивали даже, чтобы она вернулась домой, когда узнали, какие там бывают баталии. Но только сама Мария об этом и слышать не хочет. Ей по вкусу такая жизнь. Она рада-радешенька после взбучки кинуться ему на шею. Прижмется к нему, целует руки, которые ей только что надавали тумаков, и лепечет: «Ох, и оттрепали вы меня. Теперь я снова буду хорошей, буду послушной». Она всегда после этого как шалая, все готова сделать для него, хоть луну с неба достать! Что поделаешь, если некоторым бабам нужен именно такой мужик, а иначе ей жизнь не в жизнь! Она должна чувствовать силу мужицкую, бояться ее — вот тогда ей хорошо. После каждой взбучки она будто снова на свет рождается. Йожка говорит: такая огневая становится, что если бы ее высушить, размолоть в порошок и дать такой порошок тем, кто уже не могут... ну, кто уже забыли, что они мужики, так они снова так взыграют...

Вилем продолжал хмуриться. Казалось, он и не слушает Адама. А тот любил порассуждать о таких вещах, посмаковать — хлебом его не корми.

— У Анички Рачековой это, скорей всего, хворь, а не блуд — просто невмоготу ей, бедняжке. Плоть-то своего требует, а Войта слабак. Ему не одарить Аничку той радостью, какую каждая баба ждет от мужика. К Войте ее, видать, просто не тянет еще и потому, что слишком уж он миндальничает с ней. Аничке нужно, чтобы ею командовали, в руках крепко держали, а Войта вместо этого к боженьке обратился, крест взялся красить. Я думаю...

— Э, нет! Все это не то! — вдруг резко оборвал Адама Вилем, словно его задело за живое.

Еще совсем недавно креста будто вовсе и не было на площади. Если бы он случайно сломался и упал, никто бы о нем и не вспомнил. А теперь он словно ожил, приобрел какую-то жизненную силу.

— Короче говоря, сейчас все ясно. Ясно, что мы были правы, когда взялись за это. Ясно, что означает крест для реакции. Сейчас это видит каждый,— продолжал Вилем.

Адам недоумевающе уставился на него. Наконец он все же понял, почему так встревожен Вилем.

— Послушай, Вилем,— сказал он,— а что, если завтра, когда я поеду с лесом, трактор опять пойдет юзом? Эти бабы налили там столько воды, что на площади, можно сказать, настоящий каток!

Вилем покачал головой.

— Не годится. Вот если бы мы так сделали сразу, тогда был бы полный порядок. Сейчас только настроим против себя людей, а этого делать мы не должны. Я думаю, тут надо действовать иначе.

Глядя на разукрашенный крест, Вилем понимал что у них теперь появятся новые затруднения. В семьях усилятся раздоры, мужчины начнут колебаться. Он представил себе, как перед ожившим символом, увенчанным хвоей, слабеет боевое настроение и в душе

многих его друзей и сторонников возникают сомнения, а не совершили ли они грех. Чувствовал, что они попали впросак. Обстоятельства требовали быстрых и решительных действий. Тем более что и Михал с Касицким тоже стали выражать неудовольствие.

— Ты хочешь что-нибудь предложить? — спросил Адам.

Вилем молчал и о чем-то сосредоточенно думал. Вдруг, едва не сорвав голос от внезапно охватившей его радости, он заорал:

— Черт подери! Кажется, я что-то сообразил! Но прежде мне надо повидать Михала. Пойду-ка я к нему.

Адам недоумевал: с чего это Вилему понадобился председатель, да еще по такому делу? Но он ни о чем не спрашивал. Знал, что, когда придет время, Вилем сам расскажет обо всем.

— Где бы он сейчас мог быть? — спросил Вилем.

— Я видел его на хозяйственном дворе. Наверно, опять топчется в коровнике.

— Ладно, пойду туда,— сказал Вилем и вышел, оставив Адама одного в канцелярии.

Вилем разыскал Михала и подошел к нему с еще более озабоченным, чем прежде, видом.

— Рад тебя видеть! — сказал Михал, испытующе глядя на него.— По-моему, нам есть о чем потолковать.

— Спорим, что я даже знаю, о чем! Мне тоже все это не по нутру. И мне не нравится то, что у нас творится,— со вздохом сказал Вилем.

Михала сперва не трогала схватка из-за креста. Он молча наблюдал за нею, она его даже потешала. Сам он уже давно охладел к вере и в костеле появлялся раза два в год. По правде говоря, в последний раз Михал испытал чувство религиозного волнения много лет назад, когда написал заявление о вступлении в кооператив. Он вышел с этим заявлением из дома, и в ту же минуту на башне костела зазвонил колокол. Михал остановился сам не свой и подумал: уж не знамение ли это, не предостережение ли? Сердце у него защемило, он подумал: а имеет ли он теперь право войти в костел? Заявление жгло ему руку. Но он стряхнул с себя эти сомнения и чувство страха. Крест, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, по мнению Михала, не так уж и мешал, но было бы не вредно переселить его поближе к костелу: движение транспорта на площади и в самом деле непрерывно усиливается. Однако дело начало принимать слишком неприятный оборот. Пошли свары между скотниками и доярками. Да и Катарина возмутилась, требует, чтобы он в конце концов навел порядок.

Михал закурил сигарету. Он никогда не носил перчаток, и пальцы у него были красные, одеревеневшие от холода.

— Послушай, Вилем, кто устраивает все эти непотребства? Просто загадка какая-то, а? — Михал ухмыльнулся.

— Вовсе нет. Никакая это не загадка...— возразил Вилем.— Просто мужики... ну, посидят в «Венке», выпьют, а потом выбегают — надо же им по нужде сходить. Так было всегда. Только раньше никто не замечал, потому что это не имело... короче, это не носило политического характера.— Он вздохнул.— Да, с этим надо кончать. Я еще раз потолкую с Марко. Ведь недаром говорится: дитя не плачет, мать не разумеет. Мне вот пришла в голову мыслишка... Что, если бы мы?..— Вилем осекся.

— Что мы? — осторожно спросил Михал.

— Да вот... есть одно соображение.

12

Когда Вилем пришел к священнику, тот сидел на табуретке у ящика и мастерил улей. На полу валялись щепки, оструганные доски, баночка со столярным клеем, разный инструмент.

Марко поднял голову и залился краской.

— Добрый день,— поздоровался, как подобает, Вилем.— Это, наверно, уже девятый улей вы мастерите, да?

— В чем дело? — ответил вопросом на вопрос Марко, смерив Вилема гневным взглядом.

Пани Маркова, пухленькая, цветущая женщина, резала на столе лапшу. Когда она увидела Вилема, с лица ее сразу же слетело приветливое выражение. Однако она не прекратила работы. Нож, отрезающий тонкие, нежные лапшинки, напротив, задвигался с возросшей скоростью. Религиозное чувство у пани Марковой было более глубоким, чем у ее мужа. К тому же она страдала из-за каждой несправедливости, с которой сталкивалась. Ей лично Вилем никогда не был приятен, не нравился ни цвет его волос, ни его взгляд, не говоря уж о характере. Короче, он всем своим видом всегда был ей крайне несимпатичен, так что у ее нынешней к нему враждебности были действительно глубокие корни.

И эту враждебность Вилем сразу же почувствовал, но нисколько не был обескуражен. Он огляделся по сторонам, а затем уставился на пани Маркову. Смотрел он на нее так долго и так упорно, что она не выдержала, бросила на стол нож и в ярости вышла в сени, хлопнув дверью.

— В чем дело? — повторил свой вопрос священник.

Вилем решил брать быка за рога.

— Я пришел спросить... вернее договориться с вами. Черт возьми, не кажется ли вам, что пора что-то предпринимать? — начал он.— Думаю, что наш крест, поскольку он является символом, должен находиться на подобающем ему месте. Пора что-то делать, пан священник. Уже и наверху,— под этим он имел в виду район,— говорят об этом.

Тон у Вилема был спокойный. Как будто он просто продолжал прежде начатый ими, но прерванный разговор и ничего существенного за это время не произошло.

Марко выпрямился на табуретке. Положил боковину улья на пол, неторопливо вытер руки о старые рабочие брюки. Лицо его пылало.

— Но, видите ли, теперь...— начал было он. Ему хотелось сказать Вилему, что тот со своими дружками зашел слишком далеко — ведь то, что делается в селе, переходит все границы. Но Вилем прочитал все это в глазах священника и опередил его.

— Я думаю точно так же,— заявил он с таким видом, будто полностью согласен с ним. При этом он вел себя вполне по-джентльменски — не напоминал Марко, что предвидел подобное развитие событий и предупреждал его.— Но, если уж на то пошло, такие безобразия случались и прежде, можно сказать, всегда. Все дело в том, что пока к ним не привлекают внимания, это никого не трогает. А иной мужик, если перебрал малость, свинья свиньей становится. Ему все нипочем. Выйдет из «Венка» и на то первое, что попадется ему на глаза, и выльет все, что осталось от пива и другого питья. Вот я и думаю,— снова вернулся он к сути дела,— что для нашего креста следовало бы найти лучшее, достойное его место. Тем более что есть еще одно немаловажное обстоятельство.

— Какое?

— Я уже говорил вам, что предстоят выборы... и нас ждут большие дела. Наверно, вы об этом тоже слышали. Видимо, где-то поблизости будет строиться консервный завод. Поречье наше поднимется, окажется у всех на виду. И тогда здесь начнется самое настоящее столпотворение с транспортом. Вот мы и должны подготовиться к этому.— Вилем немного помолчал.— Да, дел предстоит нам немало. Глядите, к примеру, ну разве не стыд, что у нас в селе нет больших часов, чтобы каждый издалека видел, который час? Женщины наши иногда уходят с поля намного раньше положенного времени. Мол, на солнце поглядели и решили, что пора домой. Вот мы и договорились — комитет и правление кооператива,— что купим и установим такие часы. Как вы думаете, где их лучше установить? Может, на школе?

Когда речь зашла о часах, Марко затаил дыхание. Он весь напрягся и испытующе глядел на Вилема.

Много лет назад, когда в Поречье строили костел, в башне его сделали специальный проем, предназначенный для часов. Но денег тогда едва хватило на сооружение костела, оборудовали его по частям, а часов так и не поставили. Через этот открытый проем и залетали теперь в башню одичавшие голуби Марко. Установить часы на сельском храме было его заветной мечтой. Несколько раз он упоминал об этом, так, между прочим, но никогда и не надеялся, что его мечта сбудется. Правда, мысль об этом время от времени мелькала у него в голове, но он всегда прогонял ее, потому что такими деньгами здешняя церковная община не располагала. Вернее, они всегда были нужны для других целей. Марко уже примирился с этим. А теперь...

За дверью, в сенях, слышался шорох. Раздраженная пани Маркова нетерпеливо ходила взад и вперед.

— Вы имеете в виду большие башенные часы с длинными стрелками? — спросил священник чуть погодя.

— Именно такие. Они нам давно нужны.

— А ведь для них есть специальное место на башне костела,— заметил Марко. Он выжидал, с трудом подавляя волнение.

— Тьфу ты черт! — воскликнул Вилем, сделав вид, словно Марко открыл ему глаза.— Верно! Они будут прекрасно видны отовсюду. Ну и ну! Вы представляете, как будет здорово: наш старый крест переселится на новое место, в сквер, и будет стоять где-нибудь здесь, между костелом и вашим домом, а на башне костела появятся часы! Каково?! Что вы скажете на это, пан священник? — Он оживился.— Если бы мы так все сделали, наше Поречье просто засияло бы. Каждому была бы от этого польза и радость. Только те шалопаи, что выходят из «Венка»...— он запнулся, но тут же продолжал: — Ладно! Я с часами улажу, мы их раздобудем и поставим на вашу башню.

Марко попался. Как мышь, которая не устояла, увидев кусочек сала.

Но сам Марко не считал предложение Вилема ловушкой. Потому что оно давало ему больше, чем он вообще мог когда-либо ожидать. Опасения, не покидавшие его со времени первого посещения Вилема, исчезли, все виделось теперь в ином свете. Обстоятельства резко изменились и принесли ему ряд преимуществ. И, наконец, по правде говоря, Марко в глубине души признавал, что крест действительно стоит не на самом лучшем месте. Однажды, когда он изрядно повеселился на свадьбе Эвы Касицкой и под утро шел через площадь домой, он тоже остановился было возле креста, чтобы облегчиться. И опомнился лишь в последнюю минуту.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он.— А не возникнут ли затруднения при покупке часов?

— Что вы! — успокоил его Вилем.— Если уж на то пошло, так это ведь тоже политический момент. К выборам они будут красоваться на башне. Утром съезжу в Павловицы и все устрою. А с крестом давайте уладим сразу, без проволочек. Я потолкую с нашими... ну, с нашим национальным комитетом,— поправился он.— А вы... вот это было бы здорово, черт подери! — Он сделал вид, будто его только сейчас осенило.— Что, если бы вы, скажем, в воскресенье во время проповеди все объяснили? Давайте дружно возьмемся за дело, тогда быстро все и закончим. Пусть о нашем Поречье всюду говорят только хорошее.

— Идет! — согласился священник.— Договорились!

Они еще немного посовещались, и Марко позвал жену. Когда она вошла, глаза у Марко сияли, а губы спокойно и добродушно улыбались.

— Принеси-ка нам кувшинчик,— сказал он.— Мы с Вилемом должны кое-что обмыть.

Пани Маркова остолбенела. Все время своего вынужденного изгнания она взволнованно прикидывала, что происходит рядом. Ее терзало любопытство. Она все ждала, что вот-вот раздастся крик и муж выгонит Вилема взашей. Способностью разбираться в политике, выходившей за пределы семейных и личных интересов, она не отличалась и во всем руководствовалась велением сердца, а оно у нее было горячее. Потрясенная, пани Маркова стояла не двигаясь, с трудом переводя дыхание. Было очевидно, что она возмущена и будет упорствовать. Ее устремленный на мужа испытующе подозрительный взгляд говорил о том, что она не могла смириться с тем, что он не выгнал Вилема, и пыталась внушить ему эту мысль.

Вилем же не обращал на пани Маркову ровно никакого внимания. Зато священник серьезно и пристально посмотрел на жену, глаза его предостерегающе сверкнули. Пани Маркова повернулась и, тяжело вздохнув, вышла.

Когда потом Марко наливал вино, Вилем внимательно наблюдал за ним.

— Значит, мы обо всем договорились,— сказал он деловито.— Если уж на то пошло, пан священник, мы оба служим одному делу. И не будем с этим тянуть, приступим не откладывая.

Они подняли стаканы, чокнулись — это было как печать, как штемпель на заключенном соглашении.

13

Сначала по селу прокатилась волна неуверенности, настороженности, сомнений — обычных предвестников надвигающихся перемен. Распространялись всевозможные противоречивые слухи и догадки. Они просачивались в ряды враждующих сторон, подобно тому как сырость проникает сквозь трещины стен, и вызывали удивление и недоверие. Хотя события назревали исподволь, казалось, что они нагрянули внезапно. Поэтому на первых порах у многих возникло ощущение, будто их захватили врасплох.

Вилем ни на минуту не сомневался в успехе. Когда вечером после встречи со священником он беседовал с друзьями и должен был рассеять замешательство Эды и Адама, то высказался по этому поводу весьма выразительно и энергично.

— Вот мы и выиграли — дело в шляпе! Большего нельзя было и желать. Я сам удивляюсь. Креста на площади не будет! Что же касается часов, то тут — хоть это кое-кому не нравится — дело обстоит совсем иначе, чем они себе представляют. Верно, речь идет о костеле, но мы должны смотреть на это по-другому, шире. Часы прежде всего будут служить нам, нашему делу.— Вилем повторил доводы, которые уже излагал священнику, и добавил: — К тому же все село знает, что часы даем мы, комитет и кооператив. Черт подери, ведь не строить же нам для них специальную башню! Так что в сущности мы просто воспользовались готовой башней.

— Да, пожалуй,— после некоторого раздумья согласился Эда.

— С какой стороны ни посмотри, мы и в самом деле не могли ожидать большего! — распаляясь, продолжал Вилем.

Он и сам не сознавал, насколько был прав на сей раз.

В первое же воскресенье марта священник горячо говорил в проповеди о том, как важно и полезно общими усилиями благоустроить свое село. Он, правда, не сказал прямо о победе, но обрисовал все так, что каждый из прихожан считал итог своим личным успехом. Марко призвал верующих в будущую субботу принять добровольное участие в работах по благоустройству, и почти все выразили согласие. На неделе священник зашел к Вилему в национальный комитет. Потом они вместе осмотрели площадь, что-то обсуждали, советовались.

Всюду шли приготовления к предстоящим работам. Все свары тотчас же прекратились. Стало ясно, что наступают иные времена.

В субботу почти все село вышло с мотыгами, лопатами, тачками. Кооператив выделил даже тяжелую технику — два трактора. Трудились на двух участках. Бригада, организованная Вилемом и состоящая преимущественно из завсегдатаев «Венка», с энтузиазмом принялась за благоустройство площади, а следовательно, и за удаление с нее креста. Эда, хоть и загорелся идеями Вилема, но категорически отказался принять участие в чем-либо, прямо связанном с сооружением нового постамента для креста. Впрочем, Вилем понимал это, да и остальные тоже. Группа, руководимая Марко, очищала захламленный пустырь между костелом и домом священника. Она должна была снести выстроенный когда-то Матяшем навес и разбить сквер.

Происходило даже то, на что ни Вилем, ни Марко не рассчитывали, что даже превзошло их ожидания: обе группы начали сближаться, а под конец смешались. И понятно почему — ведь вскоре выяснилось, что у них много общих, схожих дел. Мусор увозили в одно и то же место — в заброшенную каменоломню. Оба тракториста — один из них был Адам — оказались первыми соединительными звеньями. Поскольку рабочие задания обеих групп были разными, с разной скоростью шла и погрузка мусора на прицепы. Трактористы, чтобы не терять времени, начали увозить мусор по мере надобности с обеих рабочих площадок. Адам перевез также на пустырь часть камней из разобранного постамента: старые, освященные, они должны были сохранять преемственность.

Более всего, однако, способствовал сближению сам Вилем, когда отправился просто так, только взглянуть, как идет работа, на пустырь за костелом. Он увидел, что тут лежат без дела мотыги, лопаты и не хватает кирок, тогда как на площади кирки были в избытке. Произошел обмен инструментом, чтобы ничто не задерживало работы. В отдельных случаях вместе с инструментом переходили на другой участок и его владельцы.

Хотя день был пасмурный, казалось, солнце рассыпает кругом свои теплые и ласковые, трепетные лучи. Пожалуй, лучше всего это оценил Адам, когда, удивленный и растроганный происходящим, изрек:

— А здорово идет! Все равно как милую обнимаешь!

Всеобщее, согревающее всех удовлетворение, вызванное скорым и успешным завершением начатого дела, усилилось еще более, когда в село прибыли два механика фирмы «Часы и драгоценности». Они приехали на такси, чтобы осмотреть и обмерить нишу, где должны были быть установлены часы. Марко поднялся вместе с ними на башню; стоявшие внизу поречане с интересом глазели, как из проема, пустовавшего с давних пор, вылетели голуби, а затем посыпались перья и птичий помет. Место для часов, как утверждали механики, было просто исключительное. После их посещения работы по благоустройству площади и пустыря продолжались и по вечерам, и вообще когда у кого-то выпадала свободная минута. На площади не только высвободили место, где стоял крест, но всю ее очистили от дерна и бурьяна. Сюда возили песок, готовили хорошо унавоженную почву для сквера. Каждый рвался как-то помочь, и это было подобно стихии. Поречан охватил созидательный порыв первооткрывателей. Адам тоже был в ударе. Он привез два прицепа песка — нагружали их Эда и Вилем,— в то время как второй тракторист сделал только одну ездку. В своем рвении он даже осторожно срезал, вернее, соскреб плугом очищенный от хлама травянистый покров на пустыре.

В «Венке» из вечера в вечер обсуждались планы благоустройства, возникали новые. Сюда заглядывали теперь и те, кто раньше обходил «Венок» стороной, зная, что здесь — боевой штаб противника. Тут обдумывали, из какого камня делать бордюр вокруг сквера и не подыскать ли в лесу красивую голубую ель и пересадить ее в сквер. Лишь однажды возникла угроза небольшого, но неприятного осложнения — это когда Владимир Бриндзак вдруг выступил с предложением устроить среди поречан сбор средств на новый крест. Вилем проявил находчивость и категорически отверг его.

— Нет, это будет совсем не то,— сказал он,— у старого креста молилось столько поколений наших людей, столько поречан, что он уже не просто кусок железа. Так и пан священник говорил. Когда крест поставят на новое место, у костела, он будет иметь совсем другое значение и ценность. А Войта Рачек так здорово покрасил крест, что он выглядит как новый.

Слова Вилема произвели на всех присутствующих огромное впечатление — он сразу вырос в их глазах. Эда откровенно восхищался им. А у Адама все же возникло сомнение, но он поделился только с Вилемом.

— Я, конечно, не знаю, да мне вообще-то все равно. Но ничего, что Войта католик? Не осквернил ли он их православный крест?

— Тьфу ты черт. В самом деле.— Вилем задумался.— Мне кажется, что нет. Теоретически, правда, это возможно, но в жизни ведь никогда не ограничивают благотворительность. Самое лучшее — не соваться в эти дела.

Объединенные усилия украсить Поречье достигли вершины в следующую субботу. Каждый трудился именно там, где было нужно, и произошло полное слияние обеих групп поречан. Исчезли последние тени былых недоразумений. Все, казалось, жаждали общения, были удивительно внимательны и предупредительны друг к другу. Альжбета Мохначова принесла своему мужу, который вместе с Эдой разбрасывал по площади песок, горячий кофе. Она предложила кофе

и Эде. Когда тот выпил, Альжбета, даже не сполоснув чашку, налила себе и тоже сделала несколько глотков. И случилось так, что учитель Альбин Шлапка, один из самых активных деятелей в селе,— правда, в предшествующий бурный период он занял нейтральную позицию, — увековечил фотоаппаратом момент этого кофепития, который войдет в хронику села. Когда Вилем, Михал и Касицкий со знанием дела осматривали новый фундамент для креста, вокруг которого была уже вскопана клумба, пани Маркова, высаживавшая тюльпаны, одинаково мило улыбнулась всем троим. А Кужела прислал из «Венка» по большому жбану пива и на площадь, и к костелу.

Усердно трудился и Густа. Он снял форменный китель и фуражку, а девушки, граблями разравнивавшие песок, стали, хихикая, примерять ее. Милка Бартовичова в ней так и осталась работать.

Площадь необыкновенно похорошела, она просто сияла чистотой. И все, кто смотрел на нее, представлялись себе такими же чистыми, словно бы и душу их умыли. Казалось, что пришло, наконец, время теплых, безоблачных дней и Поречье расцвело, подобно многолетнему растению, что настала поистине благословенная пора. Чем же было вызвано столь удивительное единение, предупредительность и взаимопонимание поречан? Почему село благоденствовало в покое и счастье? Наверно, мало кто сознавал, что во всем этом заслуга Вилема, хотя надо сказать, что его престиж невероятно вырос в глазах односельчан. Ведь ни у кого из них не было оснований считать себя побежденным. Напротив. Всех и каждого переполняло торжество победителя. Скольким полководцам и стратегам или политикам за всю историю удавался такой ловкий трюк, который сплотил бы враждующие стороны в полном единении и с общим для всех сознанием победы? Все поречане были преисполнены гордости, все были счастливы.

С наступлением сумерек в «Венке» было полным-полно народу. Вилем и Адам, усталые и еще неумытые после работы, сидели у окна и с удовольствием потягивали пиво. Они не отрывали глаз от чудесно переменившейся, сияюще-желтой площади. Через открытую форточку вливался свежий воздух, но обоим от переполнявшего их чувства покоя и душевного равновесия казалось, будто они греются на теплом полуденном солнышке.

Вилем задумчиво затягивался дымом сигареты и выпускал его клубами. Цветом своим площадь напоминала ему крышку баночки светло-коричневого гуталина. По мере того как темнело, у нее появлялся более густой, бронзовый оттенок.

На площади показался расфранченный лесник. Он шел не спеша и словно невзначай остановился перед новым домом Рачековых. Выглянула пани Аничка. Неподалеку прогуливалась и стояла кучками молодежь — до «Венка» долетали их беззаботные голоса и смех. Потом у окна закусочной появился Густа. Он пришел на дежурство.

Адам протянул ему через форточку кружку пива, и Густа одним махом опорожнил ее. Он с блаженной улыбкой вернул кружку, откозырял и медленно удалился. Под ногами у него слабо поскрипывал песок.

У Вилема было великолепное настроение. Он продолжал глядеть на площадь, и ему померещилось, что над нею взлетают, рассыпаясь тысячами цветных огоньков, ракеты праздничного фейерверка.

— Густа — парень что надо! — вдруг изрек после долгого молчания Адам, будто теперь лишь вспомнив об этом.

Вилем молча кивнул. Не отводя глаз от окна, он медленно отпил из кружки.

Адам не пошевелился, не обернулся даже, когда Кужела поставил перед ними на столе новые полные кружки. Он не замечал и ритмичного гула голосов подвыпивших поречан, веселившихся за спиной. На душе у него было чисто и светло, на лице застыла улыбка. Согласие, царившее повсюду, представлялось ему просто диковинным. В эти минуты он смотрел на мир и его будущее, словно сквозь осколок бутылочного стекла, как делал это однажды, наблюдая затмение солнца. В нем пробуждалась какая-то неясная надежда, которую он и высказать не умел.

— Вилем,— сказал он немного погодя.— А ведь так у нас еще никогда не бывало. Нет, никогда.— Голос его звучал торжественно.

Незаметно надвинулась ночь. Адам, непривычно растроганный и умиленный, задумчиво глядел на лужицу света, разлившуюся на песке под фонарем, в который наконец ввинтили новую лампочку. И вдруг ни с того ни с сего ему стало как-то тоскливо. Что это? Что с ним происходит? Он не мог понять.

До этой минуты он ощущал только необыкновенную приподнятость. У сельской площади, лежавшей перед ним, было новое, чистое, помолодевшее лицо, слегка припудренное золотистым песком. Ничто уже не безобразило его. Чирей, так раздражавший и возмущавший их в последнее время, был удален, пропыленный бурьян исчез. Казалось, чего же больше? И все же... Господи, в чем причина? Откуда взялась эта внезапная тоска?

В самый разгар торжества его вдруг охватило сиротливое чувство одиночества. С какой радостью он поднялся бы сейчас и с бутылкой в руке пошел бы к тем отполированным задами камням на площади, посидел бы, выкурил сигарету и, глядя по сторонам, слушал стрекотанье кузнечиков. Он любил сидеть там: вытянет, бывало, ноги, погрузив голые ступни в гущу ромашки, и бархатные подушечки ее цветов ласково щекочут между пальцами.

Адам вновь поглядел на лужицу света, разлитую на песке аккуратно посыпанной, будто прилизанной площади. Его передернуло.

Вместо простой и милой подружки, манящей к себе, перед внутренним взором Адама предстала холодная и неприступная незнакомая красотка, волосы которой в соответствии с модой отливали бронзой. Сама бесчувственная, она и в нем не вызывала чувства. Адам не мог отделаться от ощущения, будто у него что-то украдено. От восторженности не осталось и следа. Прилизанная площадь уже не вызывала восхищения.

Он торопливо и даже испуганно оглянулся на Вилема, почувствовав угрызения совести из-за своих неожиданных мыслей. Опасался, что Вилем догадается о них по его глазам.

А Вилем чему-то улыбался.

Угрызения совести у Адама — обычно он их не знал — усилились. И хотя он чувствовал себя обворованным, ему казалось, будто он совершает предательство и должен загладить свою вину. Но в голове была отчаянная пустота.

Адам неторопливо и долго пил кружку за кружкой. Он вслушался в гул, наполнявший закусочную. В этом гуле голосов было столько живости и веселья, что ему почудилось, будто он слышит даже звуки скрипки цыгана Керекеша. Но цыгана тут не было, хотя в ушах Адама почему-то звучала музыка.

— Как видишь, дружище, все удается. если берешься за дело как следует,— заметил Вилем.— Всегда надо ковать железо, пока горячо.

А ведь все, в общем, оказалось даже не таким трудным. Вот я и думаю...— Вилем умолк. Тут и без слов было ясно, что он о чем-то напряженно размышляет.

Адама вновь охватило чувство вины, и это еще больше ослабило его способность трезво рассуждать. Он пытался стряхнуть с себя это чувство. Но в голове еще сильнее зазвучали хватающие за душу жалобные звуки скрипки.

— А кого... кого, интересно, будут выбирать цыгане? — неожиданно для себя спросил он и провел кончиком языка по сухим губам.

Лицо Вилема вытянулось от удивления.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну...— От растерянности Адам даже задохнулся. Он ведь ни о чем таком вовсе и не думал.— Мне кажется, Вилем, что цыгане не слишком жалуют и Михала, и Касицкого. Оба стоят им поперек горла. И тот и другой гоняют их с полей и виноградников, когда те пытаются там хозяйничать. Вот мне и пришло в голову...— он глубоко вздохнул,— что, если бы нам внести в список кандидатов, скажем, того же Керекеша? Ведь еще никогда ни один цыган в списке кандидатов не стоял. А как хорошо это было бы для них! Пусть об их поселке заботится кто-то из их же людей, не вечно кому-то из наших с ними возиться. И потом, когда мы на собрании договоримся о списке кандидатов, Касицкий обязательно будет в нем, уж этого нам не избежать. Но цыгане во время выборов наверняка вычеркнут его, если им подсказать. А у них немало голосов. И так, сообща, мы могли бы его...— Он умолк, не договорив, и молчание его было многозначительным.

— Вот это мысль! Ну и Адам! Молодец! Здорово придумал! Как раз то, что надо! — Вилем едва не подскочил на стуле от восхищения.— В Гавае это наверняка сумеют оценить. Пожалуй, я загляну туда с Альбином. С ними должен поговорить учитель.— Пошатываясь, подошел к ним Людвик Купец. Он держал кружку пива — хотел выпить с Адамом и Вилемом — и горланил какую-то песню. Ему было так хорошо, а собственный рев еще больше поднимал настроение.

Когда они выпили, Людвик поставил пустую кружку на стол и торопливо зашагал к выходу. Выйдя на площадь, он не задумываясь направился к тому месту, где прежде стоял крест. И только уже расстегнув ширинку, вдруг замер.

— Тьфу ты черт! — зло буркнул он и поплелся во двор «Венка», к дощатой загородке под вербами.

IV. Заботы, заботы...

14

В середине апреля установились ясные теплые дни и с ними пришла ежегодная весенняя страда. В Поречье она обычно достигала высшего напряжения в конце апреля и продолжалась до второй половины мая.

Время было послеобеденное. Адам и Вилем стояли возле комитета и грелись на солнышке, которое заливало всю площадь веселым светом. Хотя ее благоустройству был причинен немалый ущерб — в некоторых местах песок смыли ливни и унесли на себе колеса повозок и машин, так что образовались темные плеши,— это не могло испортить настроение Адама и Вилема.

Друзья курили и с интересом наблюдали, как в проеме башни

костела, где должны быть установлены часы, время от времени появляется голова одного из механиков. Вспугнутые голуби, которые после первого жестокого вторжения вновь устроились было в своих гнездах среди балок, в панике перелетали с места на место.

— Ну, все в порядке,— сказал Вилем.— Теперь мы можем быть вполне спокойны. Пожалуй, нам действительно везет.— Он довольно улыбнулся.— Все идет наилучшим образом. Но только это не должно вскружить нам голову, усыпить нас, ведь самое главное — впереди. А как хорошо, когда человеку удается чего-то достичь —это придает ему силы да и охоту продолжать начатое дело.

Вилем за последнее время приободрился и проявлял невиданную активность. С той самой минуты, как они с Марко достигли соглашения и принялись за благоустройство площади, все пришло в движение. В районе план строительства консервного завода включили в программу избирательной кампании; произведя всяческие расчеты, там сделали вывод, что консервный завод смог бы занять больше пятисот человек. Его должны были построить вблизи Павловиц у шоссе, ведущего к Поречью. Это было весьма выгодно поречанам — свой урожай овощей они смогут сдавать чуть ли не у себя дома. И до места работы, если кто захочет поступить на завод, будет рукой подать. Да при этом они не потеряют ни клочка своей земли.

Дел и хлопот у Вилема в эти дни было по горло. Приближались выборы, и в селе готовились к торжественному собранию, на котором избирателям должны были представить нового кандидата в депутаты Национального Собрания республики, что было большой честью для поречан. Список кандидатов в местный национальный комитет все еще не был готов. На совещании, однако, приняли предложение Вилема ввести в новый состав национального комитета представителя Гаваи. Вилем собирался в поселок к цыганам, чтобы обсудить это вместе с ними.

В проем башни влетели голуби, но сразу же испуганно шарахнулись обратно.

— Кто, по-твоему, должен быть председателем комитета вместо Касицкого? — спросил Адам.

— Думаю, что Беда Сайлер,— ответил Вилем.— Он сейчас работает помощником кладовщика в районной заготовительной конторе, значит — он рабочий. В районе наверняка не будут против. Как мне кажется, такая кандидатура будет даже очень кстати.

Адам бросил на Вилема восхищенный взгляд. Все сразу стало ясно. В пронизанном солнцем, насыщенном весенними запахами воздухе, медленно кружась, опускалось белое голубиное перышко. Адам следил за ним, пока оно не легло на землю.

Вдруг в послеполуденной тишине с противоположного конца площади донесся гул автомобильного мотора. Когда машина подъехала к комитету и остановилась около трактора Адама, из нее вышел доктор Фантазир из районной прокуратуры и направился к ним. Адам и Вилем с любопытством смотрели на него.

— Вот это гость! — воскликнул Вилем и весь как-то подтянулся.— Что хорошего вы привезли нам, пан доктор? Проходите!— Он отворил дверь комитета, и они вошли туда.

Адам продолжал стоять на прежнем месте. Он лениво потянулся и с минуту разглядывал новую серо-голубую «волгу»· у нее было слегка помято переднее крыло и треснула фара.

В дверях появился Вилем.

— Послушай, Адам, нужно, чтобы сюда немедленно явился Руда Доллар,— сказал он серьезно.— Поищи его, это служебное дело. Скажи, что его ждет доктор Фантазир.

Руда Доллар был не кто иной, как винодел Руда Михалик. С ним приключилась одна из самых удивительных историй за все время существования Поречья. О нем говорили, перемывали ему косточки даже в Павловицах.

Вскоре после того, как окончилась очередная загульная пора молодого вина, Руда получил ошеломляющее известие: отец, которого он едва помнил и который с тех пор, как уехал в Америку, то есть ровно тридцать лет, ни разу не дал о себе знать, оставил ему в наследство двенадцать тысяч долларов и небольшой домик в Штатах. Руда Доллар — с того дня он и получил это прозвище и никто уж его иначе не звал — по каким-то неизвестным причинам решил самолично отправиться за наследством. Однако некоторые обстоятельства, не менее примечательные, чем само это неожиданное наследство, стали препятствием на его пути. Дело в том, что соответствующие инстанции предложили ему свое посредничество, а Руда, этот нелюдимый тихий человек, который, вероятно, никогда и носа из Поречья не высовывал (к тому же было известно, что он вообще терпеть не может куда-либо ездить), тот самый Руда, которого можно было увидеть только на винограднике с тяпкой или садовым ножом либо с баллоном распылителя и нигде больше, почему-то упорно от этого отказывался. Дело тянулось несколько месяцев, и многие уже были обеспокоены этим. Хотя у Руды была жена и две дочери на выданье, прошел слух, что он, видимо, просто хочет уехать из Поречья и бежать из республики. (Ну, на кой черт он стал бы тратить деньги на дорогу?)

Руда стоял перед доктором, представлявшим для него самое важное звено государственной власти, решавшей его судьбу, и был сам не свой. Его тонкий нос, перебитый в детстве в какой-то драке, побелел, растрепанные волосы падали на лоб, большие серые глаза лихорадочно блестели.

— Пан Михалик,— начал доктор,— ведь вы уже давно могли бы получить свои деньги. Могли бы на них приобрести...— Он сделал широкий жест, намекая на неограниченные возможности.— Почему же вы не даете нам доверенность? В Штатах у нас есть великолепные адвокаты. Они сделают все возможное, потому что им платят лишь за дела, которые они выигрывают. Иначе они не получат ни доллара. Именно в этом гарантия.— Он уставился на Руду.

— Я хочу увидеть могилу отца,— сказал Руда тихо и скромно.

Это был стереотипный ответ; так он отвечал на все вопросы соседей и должностных лиц.

— Сколько времени вы его не видели?

— Тридцать лет.

Отец тогда оставил их тут — Руду, его брата, сестру и мать безо всяких средств. Брат Руды — Карел — погиб в войну, мать умерла. Сестра Мария помешалась и уже пять лет находилась в лечебнице. Таким образом, Руда был единственный наследник. Это пробуждало у односельчан, с одной стороны, зависть, с другой — внезапные проявления дружеских чувств, а также воскрешало самые неожиданные родственные связи, о которых прежде Руда и понятия не имел. Но он игнорировал и первое, и второе.

— Отец писал вам когда-нибудь?

Руда отрицательно покачал головой.

Хотя они знали от знакомых, что отец жив, и мать несколько раз— когда дома было так плохо, что хуже некуда,— писала ему, то взывая о помощи, то проклиная его, отец так и не откликнулся.

— Вы хорошо помните его? — продолжал наседать доктор.

— Нет! — ответил Руда.

Об отце у него осталось лишь весьма неясное, туманное воспоминание.

— Почему же, ничего не зная об отце, ничего не чувствуя к нему, вы так хотите побывать на его могиле?

— Именно потому, что мы очень давно расстались, я хочу хотя бы поглядеть на его могилу,— сказал Руда тихо.— И потом... я... там еще есть дом, и я должен его продать.

Лишь тогда, когда эти слова слетели у него с языка, он понял, что допустил ошибку.

— Пан Михалик,— усмехнулся доктор,— неужто вы умеете продавать в Америке дома? Вы говорите по-английски?

— Ну, где там! — сказал Руда и покраснел.— Но в том городе живут знакомые, две семьи из Мочаран.

— Вот видите, пан Михалик, сами вы ничего не сумеете там сделать. А мы вам все устроим. Наши адвокаты продадут ваш дом. Посчитайте, сколько стоит дорога туда и обратно, да к тому же еще пребывание в Америке. Вы же потеряете столько денег! Пора вам взяться за ум. Вы знаете, во что вам станет одна только дорога? Ведь вы заплатите за каждый доллар тридцать шесть крон — если вас туда пустят, конечно. Ну, что?

— Все равно,— ответил Руда.— Мне эти деньги не нужны.

Доктор Фантазир и Вилем переглянулись.

— Я в них не нуждаюсь и без них проживу.— Уши у Руды покраснели.— Пускай пропадают, раз так...

— А знаете, вас за это могли бы судить,— сказал строго доктор.

— За что? — Руда вытаращил глаза.— Я же просто не хочу ничего брать.

— Что за выдумки! Ведь это твердая валюта, а ваш отец был гражданином нашей республики. Он заработал их там своим горбом, а вы хотите подарить им эти деньги? Насколько я знаю, у вас жена и две дочери на выданье.

— Мне ничего не надо,— сказал Руда.— Мне в кооперативе живется очень хорошо. Я большего не хочу.

— Так зачем же вам туда ехать?

— Мне надо на могилу отца,— ответил Руда.

— Что за чертовщина! — вмешался в разговор Вилем, который пока только терпеливо слушал.— Ты же слышишь, Руда, что говорит пан доктор. Как я понял, если ты будешь так себя вести, то лишишь и себя, и государство изрядной суммы. Верно? — Он взглянул на доктора, тот утвердительно кивнул.— А я знаю, что и тебе, и государству эти деньги нужны,— распалялся Вилем.— И я бы очень хотел услышать от тебя, зачем ты на самом деле хочешь ехать туда!

— Хочу поехать на могилу своего папы,— упрямо повторил Руда. Он уже отупел от усталости, и голос его звучал не так уверенно, как прежде.

— Послушайте, дорогой мой! Я приехал сюда, потому что хватит с нас этой возни! — резко заговорил доктор.— Дайте нам доверенность, и мы все уладим.— Он открыл портфель.— Вот. Достаточно подписать это, и все будет в порядке. А могилу мы для вас сфотографируем.

Руда несколько раз судорожно сглотнул, глядя куда-то в одну точку.

— Нет, так я не хочу,— сказал он. Повернулся и вышел.

Адам дожидался на улице результата разговора. Повертевшись вокруг трактора, поднял капот и стал проверять свечи. Он уже покончил и с этим, когда гость из района вышел в сопровождении Вилема.

Потом они вместе с Вилемом смотрели, как доктор Фантазир с недовольным видом сел в «волгу» и завел мотор. Машина, дергаясь, тронулась с места, набрала скорость и в конце площади круто срезала поворот.

Адам видел, как Руда Доллар выбежал из комитета и, вместо того чтоб идти домой, направился на виноградник. Все было ясно, и Вилем мог ничего не объяснять. Но ему хотелось высказаться.

— Этот Руда,— сказал Вилем,— все время твердит: хочу увидеть могилу отца. Ни черта не понимаю. Просто тронулся человек. Господи Иисусе, ведь это же не шуточные деньги! На них можно купить двенадцать машин. Может, он потому и свихнулся...

— Вполне может быть,— согласился Адам.— Да это у них в роду. Ну, а что доктор?

— По-моему, он человек правильный, и ему осточертели все эти разговоры. Его на мякине не проведешь. Если Руда и дальше будет кочевряжиться, он, скорее всего, сломает себе шею...

В эту минуту к ним подошел Михал. Он собирался делать обход хозяйства, когда увидел отъезжавший автомобиль.

— Какие-нибудь новости, Вилем? — спросил он.

— Приезжал пан доктор из прокуратуры,— поторопился ответить Адам.— Разговаривал с Рудой Долларом.

— Они все еще не хотят его пустить?

— Само собой. А вы бы пустили его, председатель?

Адам насторожился.

— Почему бы и нет?— ответил Михал просто.— Пускай бы ехал за своими деньгами да и белый свет повидал хоть немного. Я бы с удовольствием отправился на такую экскурсию.

Наступило гнетущее молчание. На лице Адама отразилось удивление, даже возмущение. Его разум отказывался постичь рассуждения председателя. Строгое лицо Вилема застыло.

— Какого черта ему туда ехать! Ведь он... Ведь он же палец о палец не ударил, чтобы заработать эти деньги,— негодующе возразил Адам.— Ему никогда и не снилось, что он их получит. Нет, я не завидую ему, но тогда пусть он...— Адам задохнулся.

— Это его деньги,— спокойно разъяснил Михал.— Достаточно подсчитать, чего лишил семью старый Михалик. Ведь он ни разу даже гроша не послал детям. Думаю, что по сравнению с этим все его доллары — сущий пустяк. Насколько я знаю, когда он уехал, Мария была еще в пеленках, Карелу исполнилось четыре года, а Руде — семь. Если бы отец содержал их, скажем, только до шестнадцати лет, то всего это будет — подождите — около тридцати семи лет. Не так ли?— Он с минуту считал в уме, шевеля губами. Потом глаза его округлились от удивления.— Получается около десяти долларов в месяц!

— Каких десять долларов? — спросил Адам.

— Ну, если бы он посылал десять долларов в месяц на каждого ребенка. А на любого другого ребенка у нас в Поречье приходилось даже тогда куда больше. Я уж не говорю о том, чего не купишь ни за какие деньги. Руда долго должен был содержать мать,— продолжал Михал.— Нет, Адам, я бы никогда не променял на эти доллары то, чего он был лишен. И если говорить начистоту, все это наследство — лишь незначительная мзда за то, чего он уже никогда не получит. Бог с ним, пускай Руда едет за этими долларами.

Адам был в полнейшей растерянности. То, что говорил председатель, казалось ему невероятным. Обо всем этом он до сих пор ни-

когда не задумывался — такое просто не приходило ему в голову. В сущности он был добрый человек, но не мог решить — неужто председатель прав? Ему так не хотелось этого.

Он взглянул на Вилема — искал у него поддержки. Лицо у того после слов Михала стало еще строже.

— Да ведь никто у него эти деньги не отнимает,— возмутился Вилем.— Но пусть расходует их тут. Государство само все за него сделает, и Руда получит денежки готовенькими. Сэкономит на дороге, а у нашего государства будет больше твердой валюты, которая ему очень нужна. Ведь наша республика устроила для Руды такую жизнь в кооперативе, какая и не снилась старому Михалику, когда он уезжал отсюда, потому что не мог найти работы... А теперь, черт побери, каждый только и норовит урвать для себя побольше. Каждый хотел бы жить так, чтобы ноги были в социализме, голова — в капитализме, а руки — в коммунизме.

— Это верно,— сказал Адам с облегчением.— А что, если вдруг Руда останется там с этими деньгами?

— Ну что ты! У него же семья. Жена и две девчонки.

— Подумаешь! У отца его тоже была семья, когда он уехал отсюда,— возразил Адам.— И в кармане у него не было ни гроша. А Руду там ждет двенадцать машин. Ну почему, скажи-ка, председатель, он так рвется туда сам?

Михал пожал плечами.

— Может, на него вдруг блажь нашла и он решил, раз такой случай выпал ему, попутешествовать. Или же у него в самом деле защемило сердце оттого, что он папашу своего не знал, и ему хочется хоть могилу его увидеть. А может, и то и другое переплелось...

— Нет, тут дело нечисто,— сказал Вилем. По его голосу чувствовалось, что он никогда не согласится с доводами Михала.— Бьюсь об заклад, что у Руды что-то на уме...

— Я тоже так думаю,— поддержал его Адам.— На кладбище он годами не заглядывает. А там у него мать лежит.

— Насколько я знаю Руду, он наверняка вернется,— со вздохом закончил разговор Михал и отправился по своим делам.

Адам и Вилем молча проводили председателя взглядом.

— Вот видишь,— сказал немного погодя Вилем.— Михал никогда не был с нами и не будет, хоть он уже и член партии. И пусть даже кооперативные дела он ведет хорошо, а верить ему нельзя. Только возникнет какой политический вопрос — ну, скажем, как с этими долларами,— и сразу ясно, что он за птица. Мы все время должны смотреть в оба, как этот кучер правит лошадьми, куда катится воз,— чтоб дышло всегда торчало прямо вперед.

— Не люблю я эдаких людей,— заметил Адам.— Просто не выношу их. Подумать только — такие деньжищи, а Руда... Нет, не понимаю я... Ведь он же знает, что мы не пустим его туда. Его это, наверно, чертовски бесит!

— У нас тут по горло работы с выборами. Надо, чтобы самые лучшие, самые надежные люди заняли по праву свое место, и в это время... Черт! Мне бы их заботы! — сказал Вилем с презрением.— Иногда у меня даже нет уверенности, стоят ли такие типы, чтобы мы старались для них... Да, я как раз собираюсь сейчас отправиться с учителем в Гаваю...

В ту же секунду оба — и Адам, и Вилем — повернули головы: на другой стороне площади глухо прозвучал выстрел из дробовика. Похоже, что с чердака нового дома Рачека.

— Наверно, Войта пристрелил кошку,— предположил Адам.

15

Строительство дома исчерпало физические и душевные силы Войты Рачека. В последнее время он выглядел усталым и озабоченным. Трудности со строительными материалами, а также необходимость строгой экономии — с самого начала выяснилось, что новый дом обойдется куда дороже, чем Рачековы предполагали,— вызвали в жизни Войты неожиданные осложнения, о которых он ни сном ни духом не ведал и ведать не мог. Два года назад, когда они с женой взялись за строительство, Войта по уговору с лесником Смолаком «добыл» в лесу два воза бревен. Адам охотно привез их ему и помог сгрузить. Дело это было довольно деликатного свойства. Войта Рачек и не предполагал, какую ловушку он себе уготовил. Йожка Смолак повадился ходить к ним и так часто заглядывал на стройку, даже в отсутствие Войты, что в Поречье начались всякие пересуды. А у Анички, пани Рачековой, и в самом деле установились близкие отношения с Йожкой Смолаком. Войта охотно прогнал бы лесника подальше от своего дома, но сделка с ним связывала ему руки.

Всякий раз, едва только Войта уходил на работу или ехал в город раздобывать необходимые материалы: известь, скобы, цемент, трубы, разную арматуру или кровельный материал,— как тут же под любым предлогом появлялся лесник. Кое-кто из поречан даже утверждал, что маленькая Марта очень похожа на постоянного гостя Рачековых, который тоже был женат и имел троих сыновей. Войта приходил в бешенство и вообще уже ни в чем не был уверен. Соседи судачили насчет их семейной жизни или же с насмешкой наблюдали за нею.

Большинство односельчан открыто возмущались. Впрочем, было достаточно и таких, кто смотрел и на эти отношения с пониманием, и симпатии их были на стороне пани Рачековой, которая в самый разгар строительной горячки, несмотря на тяжкий труд, просто цвела. Все зависит от того, какая у человека супружеская жизнь, насколько сильна его неутоленная жажда счастья, насколько удовлетворены его желания или же какие «грехи» он скрывает; от того, каково соотношение публично провозглашаемой порядочности и подлинных потребностей плоти и души; от того, считает ли человек семью своим прибежищем либо более или менее надежной крепостью, позволяющей время от времени предпринимать вылазки. На Войту Рачека все смотрели с презрением.

Незадолго до полудня Войта возвращался с поля; он сидел на тракторе рядом с Адамом, когда увидел, как из его сада выходит лесник. Сердце его сжалось. Краем глаза он глянул на Адама.

Адам ничего не заметил, но Войте показалось, что его губы растянулись в ехидной ухмылке. Разговор, который они вели до сих пор, внезапно прервался. Войте послышалось даже, будто Адам сказал: «Черт подери, как же ты теперь поступишь?»

Он знал, что уже давно пора принять решительные меры, но никак не мог отважиться. Сначала надеялся, что ничего серьезного нет, хотя стал осторожно наблюдать за Аничкой. Неуверенность не только не покидала его, а все нарастала. Войта пытался повернуть ход событий и угрозами, и просьбами, но ничего не добился. Он наталкивался попеременно то на удивительную неуступчивость жены, то на ее изобретательность и такое милое обращение, что у него дух захватывало от радости. Войта чувствовал, как постепенно обессилевает от ее сопротивления. Видел, что Аничка с каждым днем все больше отдаляется от

него. Он говорил себе: «Ну, погоди же, я за тебя возьмусь». И мучился, отчаиваясь и злясь.

Адам остановил трактор. Войта слез и направился было к дому, но вдруг передумал. Зашел в «Венок» и, хотя обед был еще не скоро, выпил пива и стопку рома. Легче не стало — уголки губ у него опустились, пиво показалось выдохшимся.

Два дня назад он подметил, каким взглядом проводила Аничка лесника, когда тот проходил мимо их дома. Глаза у нее вспыхнули и раскрылись широко-широко — они сияли. Когда же она посмотрела на Войту, взгляд ее сразу стал холодным. Словно выключили рефлектор. В присутствии Смолака она вся светилась женским счастьем, и это лишь отдаленно напоминало Войте прежние времена. Но вот так ни одна женщина никогда на него не смотрела. В минуты откровенности с самим собой и невеселых размышлений он со все большей досадой и жалостью к себе признавал, что должен казаться Аничке чем-то вроде травы-кислицы. Поэтому хирел на глазах и окончательно терял уверенность в себе. Нет, он должен положить этому конец! Хватит с него такой жизни!

Войта отвел глаза от кружки, ему почудилось, что у стойки раздался смех. И еще ему показалось, что вслед за этим кто-то громко произнес: «Ну и слабак же этот Войта Рачек!»

Он огляделся. Никто ничего не говорил, но кровь бросилась ему в голову. Он чувствовал, как она стучит в висках.

Войта выпил еще одну большую стопку рома и отправился домой.

Прошел по двору. Площадка возле нового дома уже была убрана и приведена в порядок, инструмент сложен у сарая. За домом, в саду, откуда только что выскользнул Смолак, спала в коляске Марта.

Он вошел в кухню. На плите варился обед. Аничка сидела за столом и перебирала для ужина горох, держа на коленях кастрюлю.

Войта огляделся.

Аничка улыбнулась ему. Сегодня опять был «ее день». Исполненная какого-то внутреннего удовлетворения и счастливого волнения, она всегда хорошела.

— Ты уже пришел? Обед будет готов через несколько минут,— сказала Аничка.

С чарующей невинностью она положила руки на стол; волосы ее были в беспорядке. Она еще не заметила, в каком настроении явился Войта. А у него участилось дыхание. Он мысленно представил себе, как эти руки минуту назад обнимали Смолака. Ярость его усилилась, и в то же время ему было невыразимо жаль себя.

— Ага. Ты же видишь, что я тут,— буркнул он.

Аничка насторожилась. Поглядела ему в лицо, чтобы знать, чего следует опасаться. Глаза у Войты были просто бешеные, но держался он неуверенно. Это несколько успокоило ее.

И прежде, еще до того, как она стала неверна Войте, Аничка вела себя осторожно, словно ступала по осколкам стекла. Она и тогда выжидающе наблюдала за ним, терзаемая страхом и угрызениями совести, хотя ничего особенного и не происходило. А потом Йожка словно околдовал ее. Аничку захватило, закружило, понесло. Иногда она пыталась размышлять над тем, что с ней творится, и не могла толком понять, почему так получилось. Ведь ее любовник вовсе не был каким-то необыкновенным красавцем или богатырем. Но, видно, в нем было как раз то, что было ей нужно. И, едва осознав это, она как настоящая женщина стала принимать вещи такими, какие они есть. Она была необычайно изобретательна, и большей частью ей удавалось усыпить подозрительность Войты. Более того, она совершенно неожиданно нашла удачное и успокоительное логическое обоснование.

Иногда она ловила себя на том, что беспричинно улыбается. «Вот удивительно,— думала она,— только теперь я поняла, что я — женщина. Наверное, потому, что узнала, что такое мужчина». До сих пор она и понятия об этом не имела. В ней жила смутная, но жадная потребность отдаться до конца, а с беднягой Войтой у нее так не получалось: он просто не был создан для этого. И все же она по-своему любила его; Марта и в самом деле была его дочерью. Аничка воспринимала его как отца или как брата. Поэтому иногда она даже удивлялась, почему, собственно, Войта ее бранит и угрожает ей. Ведь если у нее хорошее настроение, это и для него лучше: в доме тогда радостно и покойно. Войта должен быть ей только благодарен за это. Иной раз она, бывало, даже нежно приласкает его, поцелует в губы. Порой, когда Войта оскорбит ее, когда он груб и неблагодарен или же, наоборот, когда ей очень хорошо, а то и просто когда ей случалось выпить вишневки, она забавлялась, представляя себе, как бы это выглядело, если бы Йожка пришел с букетом и попросил у Войты ее руки. Бедняжка Войта! Подумав так, Аничка обычно тихонько подкрадывалась к нему, гладила, обнимала его, была к нему особенно мила и внимательна. Так она избавлялась от угрызений совести, которые временами все же мучили ее.

— У тебя опять был этот кобель? — спросил Войта.— Этот наглаженный кобель? (Смолак всегда носил белые отглаженные рубашки, и поэтому Войта в последнее время — вообще-то чистоплотный и аккуратный — злился, когда Аничка давала ему свежевыстиранную рубашку. Он предпочитал ходить грязным и оборванным.) — Хватит с меня! — закричал он.— Или ты прекратишь свои шашни, или я тебя выгоню. Помни, развод будет по твоей вине!

Аничка на момент застыла, удивленно глядя на него. Потом провела кончиком языка по пересохшим вдруг губам и сказала тихо:

— Как хочешь...— Она вздохнула, словно с сожалением.— Но дочка и полдома — мои.

Ошеломленный таким ответом, Войта впился в нее взглядом.

— Что?! — крикнул он в бешенстве. Он-то ожидал, что она испугается угрозы. Лицо его побагровело.

— Как хочешь,— решительнее повторила Аничка, испытующе глядя ему в глаза.

— Ну, хорошо! — еще громче крикнул Войта.— Хорошо же! — почти взвизгнул он.

Повернулся и выскочил в прихожую, хлопнув дверью.

На минуту он в растерянности остановился, как бы ослепнув от ярости. Потом поднял голову, и на глаза ему попалось охотничье ружье, висевшее на стене. Он задумался, поочередно глядя то на ружье, то на дверь кухни. Нащупал на полке шкафа патрон и сорвал ружье с гвоздя. Зарядил его. Еще раз взглянул на дверь и снова задумался ненадолго; палец на спусковом крючке дрожал.

Раздался выстрел. Грохот его, усиленный тем, что все двери прихожей были закрыты, обрушился на Войту и оглушил его. Он упал на холодный пол. Лежал и ждал, когда к нему прибежит Аничка.

Ему почудилось, что в кухне началось какое-то беспорядочное движение, слышались быстрые, торопливые шаги. Но вскоре он понял, что там ничего не происходит — просто в висках у него стучит кровь. Дверь в кухню оставалась закрытой.

Еще с минуту он лежал без движения, осыпанный штукатуркой, упавшей с потолка.

Ждал.

Нет. Никаких шагов, никто не спешил к нему. В возбуждении он даже, казалось, слышал, как падают в кастрюлю горошины.

Войта поднялся, полный отчаяния, и, распахнув дверь, снова ворвался в кухню.

Аничка по-прежнему сидела, положив руки на стол и закусив губы.

— Шлюха ты, поганая шлюха! — Голос его срывался на визг. Он был вне себя от ярости.

— Ну, чего ты от меня хочешь? — спросила она со вздохом.

— Чего?! Эх, ты. Подлая ты девка! — снова завизжал он.— Если б я застрелился, тебе было бы все равно.

Войта угрожающе наклонился к ней; он стоял так близко, что она чувствовала на своем лице его дыхание.

— Ты — да чтоб застрелился?! — сказала она пренебрежительно.

Взгляд ее широко раскрытых глаз обжигал. В них было столько презрения, что он даже вздрогнул. Хотел ударить ее, но его будто парализовало. Он весь трясся как в лихорадке.

— Дрянь! — просипел Войта.— Дрянь ты!

Он вырвал у нее кастрюлю и швырнул ее об пол. Горох рассыпался по кухне. Аничка поднялась со стула.

— Войта,— вдруг тихо проговорила она.— Войта, ступай и убери ружье, пока сюда никто не пришел.

Как побитая собака, униженный, оскорбленный, Войта, пошатываясь, вышел во двор. Сел на чурбан и закурил, жадно затягиваясь. Долго он тупо смотрел перед собой. Потом поднялся. Побрел в прихожую, достал веник и подмел штукатурку, выщербленную дробью. Повесил ружье на стену и хлопнул входной дверью.

Он снова направился к «Венку».

16

С приходом весны у Михала работы стало невпроворот. Едва кончилось прореживание и обрезка виноградных лоз, как нужно было сеять яровые и готовить землю для посадки овощей. В парниках буйно росла рассада. Михал постоянно был в движении — все в хозяйстве держал под контролем. Никто не знал, где и когда он появится. Создавалось впечатление, что председатель вездесущ. Людям всегда казалось, что он стоит у них за спиной. Но как раз когда всюду и вовсю кипела работа, Михалу пришлось уехать на три дня.

Он получил телеграмму с завода, который по заказу кооператива уже давно должен был изготовить для них дождевальную установку, что работа над нею началась, но в чертежах — их Михал послал еще год назад — что-то, мол, неясно. Завод был около Брно, Михалу предстояли две пересадки, и на дорогу в один конец нужен был почти целый день. Но он обязательно должен был съездить, чтобы не пропали плоды их труда за целый год: уже первые засушливые дни в мае могли затормозить рост высаженной рассады, а то и погубить ее. Он знал: чтобы экспедиция его была успешной и на заводе поторопились с выполнением заказа, ему нужно прихватить с собой две бутылки водки и срочно выехать.

Такие деловые поездки невозможно планировать. Михал часто предпринимал их совершенно неожиданно, как только в них возникала необходимость. На этот раз он уезжал с большой неохотой — ведь именно в те дни, когда его не будет, в Поречье состоится первое предвыборное собрание. Но отложить поездку он не мог.

Сразу же после разговора с Вилемом и Адамом на площади возле комитета — это было за день до отъезда — он пошел взглянуть на парники. Там он немного поковырялся в глине, измеряя и сравнивая ко-

решки и высоту рассады. Потом прошелся по хозяйственному двору и заглянул в коровник. А оттуда через поле направился к виноградникам.

Он шел не слишком быстро — скорее, брел. Временами останавливался и вдыхал влажный теплый воздух. Вдоль всего берега, между дорогой и виноградником, цвели черешни. Молодые, острые, как лезвия, травинки пробивались из влажной, распаренной почвы, устремляясь к солнцу. Воздух густо напитался запахом земли, корней, истлевшей листвы и свежих соков, пробужденных весной к новой жизни, сладковатым ароматом цветов, усыпавших ветви черешен, горьковатым ароматом цветочной пыльцы. Михал засмотрелся на деревья. Окружавший его мир казался таким спокойным и приветливым.

Но в то же время на каждом шагу ощущалось неукротимое буйство весны, стремление к размножению, продолжению рода. Широко раскрывшиеся цветы обнажили тугие липкие рыльца пестиков и трепетные тычинки. Они манили и звали носящихся вокруг насекомых своим ароматом, своими видными издалека, сверкающе-белыми венчиками, резко выделяющимися на фоне коричневатой и зеленой листвы. При каждом дуновении ветерка они нетерпеливо рассыпали пыльцу, которая желтоватой мглой повисала в воздухе. Ненасытные, сладострастно выпяченные рыльца улавливали пыльцу и жадно поглощали ее. Но едва только удовлетворялась потребность в оплодотворении, как аромат у цветка исчезал. Ослепительно-белые, маняще-прекрасные лепестки увядали и опадали; они покрывали землю, словно ненужные отходы, а тем временем распускались новые бутоны. Новые тычинки и новые пестики продирались в мир размножения. В кронах деревьев — среди гудящих насекомых, добывающих пищу для будущего поколения,— ожили старые птичьи гнезда. Самцы вились в воздухе, заливистыми трелями выражая самочкам свое любовное томление, а потом стремительно опускались вниз. Воздух звенел от щебета, чириканья, свиста. На защищенном от ветра склоне, где было тепло и тихо, нетерпеливо пробивались к солнцу первые, пока еще не раскрывшиеся бутоны терновника.

Михал снова остановился; к нему вернулось привычное весеннее беспокойство. Сильнее всего он ощущал его, когда начинал таять и пропитывался водой снег, а по речке шел лед, когда он вдыхал запах размокшей почвы, еще холодный сырой воздух, а на берегах Души краснели налитые свежим соком молодые вербы. Но при взгляде на цветущий терновник Михала всегда почему-то охватывало странное волнение. Он долго не мог найти объяснения, отчего обыкновенный цветущий куст терна пробуждает в нем такое глубокое беспокойство. И вдруг ему показалось, что он докопался до истины. Михал даже вздрогнул, когда эта мысль пришла ему в голову. Наверно, это была чушь, но он никак не мог ее выбить из головы — он высчитал, что именно в такую пору он и был зачат. В юности он несколько раз с трудом удерживался, чтобы не спросить об этом родителей. Однажды, еще до женитьбы, он поделился этими мыслями с Катариной. Они лежали в нагретой траве, словно в гнездышке, и их переполняло чувство радостного пьянящего томления. Катарина смеялась — смеялась у самого его лица, глаза ее до краев были полны любви. Михалу показалось, что он и сейчас слышит, как она смеясь говорит: «И дурашка же ты, Михал! Знаешь, сколько есть мест, про которые я могла бы думать, что меня там зачали?»

Улыбнувшись, Михал зашагал дальше. Под Горкой он встретил на тропинке цыганочку Эву — школьницу лет четырнадцати. У нее было восемь братьев и сестер — столько детей уже успела произвести на

свет ее мать, тоже Эва, которую много лет назад Михал застиг на винограднике, когда поджидал Катарину.

Эва шла со стороны села; на ней было нарядное платье из силона с серебристой нитью, шею обвивали ярко-красные бусы. Она несла две матерчатые сумки. В одной закудахтала курица, и тотчас из другой послышалось хлопанье крыльев. Увидев белую шею птицы, Михал понял, что она с кооперативной фермы.

Девушка нисколько не смутилась — кур она купила на ферме и несла их, счастливая и гордая. У нее и впрямь был необычный вид, и Михал не мог понять, с чего это она так вырядилась.

— Ты смотри, как идет тебе это платье! — сказал он.

Эва поздоровалась.

— Как будете готовить курицу? С красным перцем?

— Да,— с готовностью ответила она.

У нее был приятный голосок, во время всяких торжеств она пела в пионерском хоре.

Михал улыбнулся ей, Эва ответила ему спокойной, сияющей улыбкой, кокетливо тряхнула головкой и гордо зашагала дальше. Она направлялась в Гаваю.

Он недоуменно поглядел ей вслед. «Что это с ней? С какой радостью повстречалась она на своем пути?» — подумал он. Девочка, казалось, несла свое счастье, как знамя.

Ему стало вдруг немножко грустно, что так быстро летит время. Оба его сына уже покинули дом. Владя был в армии, а Павел, второй сын, учился в техникуме в Братиславе. А Михалу стукнуло сорок три. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, так сказать, все ее корешки. И хотя иногда за эти годы пробовал на вкус и запах разные корешки, но со времен безрассудной, немного взбалмошной молодости кое-что, конечно, изменилось. Правда, он до сих пор еще был полон сил и не имел никаких оснований испытывать мировую скорбь. И все же сердце у него больно сжалось.

Добравшись до старого виноградника, он увидел между рядами лоз Руду Доллара и остановился.

— К тебе приезжали?

Руда кивнул. Он не проявил особой радости при виде председателя. После разговора с доктором Фантазиром Руда пошел на новый виноградник, где сейчас кипела работа, но потом удрал сюда, чтоб быть подальше от людей, и укрылся среди старых виноградных лоз. С понурым видом он рыхлил землю тяпкой. Его переполняли заботы и тревога.

Руда показался Михалу еще более тощим, чем обычно; его заплатанные, забрызганные соком молодых виноградных лоз и вином штаны, казалось, вот-вот свалятся.

— Ты все еще хочешь туда ехать? — спросил Михал.

— Хочу,— ответил Руда.

— Гм! — Лицо Михала выражало интерес и понимание.— Слушай, Руда, мне хотелось бы знать правду: почему, собственно, ты так рвешься туда. Можешь мне сказать?

Руда почувствовал на себе испытующий и в то же время полный внимания взгляд председателя. И понемногу пришел в себя. Он долго молчал, глядя вниз, на равнину, которую извилистой дугой окаймляла Душа; потом мельком посмотрел на председателя.

— Почему? Но... Ладно, тебе я, так и быть, скажу.

Он невольно оглянулся. Они были на винограднике одни.

— Если уж мне привалило такое счастье, то надо не зевать, чтобы от этого наследства было как можно больше проку. Ведь мне все равно

придется уплатить государству налог с наследства в долларах. В долларах будет и все то, что я привезу в наличности, а мне дадут за них кронами, так что же еще надо?

Михал недоумевающе смотрел на него.

— Но если я туда поеду и получу наследство сам,— продолжал Руда,— то по американским законам мне разрешается послать что-нибудь в виде подарка. За это не надо платить ни пошлины, ни налога. Из моего наследства, по их правилам, я могу послать ровно две тысячи долларов. Вот я и послал бы каждой дочке по тысяче, и у каждой была бы машина. Я же говорю, что все доллары и так придут сюда.

Михал оторопел. Он на минуту даже утратил дар речи и не знал, смеяться ему или обругать Руду.

— Так,— наконец, весело протянул он.

— Мне написал сосед отца, который родом из Мочаран. Так посоветовал адвокат. У меня есть это письмо.

Руда выжидательно, с опаской смотрел на председателя. Он рассказал ему это потому, что его тяготила тайна, которую он до сих пор никому не доверил, и хотелось снять камень с сердца. Никогда бы и ни с кем он не поделился, если бы не сегодняшний приезд работника районной прокуратуры и разговор с ним, буквально подкосивший его: у него уже не было прежней уверенности. Но он знал, что Михалу довериться можно.

Губы Михала растянулись в улыбке.

— Так вот оно что! — воскликнул он.— Значит, все твои слова про могилу отца...

— Нет, нет, и это тоже! — горячо возразил Руда.— Я и туда загляну. Только,— голос у него сорвался,— теперь я побаиваюсь, как бы у меня все не уплыло из рук.— Он не отводил глаз от лица председателя.

Михал задумался, на лбу его прорезалась морщинка.

— А ты, оказывается, вовсе не простак, Руда! — сказал он тепло.— Знаешь, мне кажется, ты прав. Потому что...— Он запнулся: ему показалось, что на него в эту минуту хмуро смотрит Вилем, он даже видел его пристальный, испытующий взгляд. Михал вздохнул.— Видишь ли, государство, безусловно, делает для нас много, очень много. Но пока некоторые из тех, что сидят наверху, будут латать государственный карман такими доходами, они меньше станут ломать голову над тем, чтобы собственное хозяйство велось как надо. Это будет тормозить дело, а не подстегивать их наводить порядок на производстве и в планировании. Так им легче — заделывают всякие дыры и прорехи, вместо того чтобы предпринимать что-то существенное. Разве не так?

Руда уставился на него.

То, о чем говорил председатель, ему никогда и в голову не приходило. Он знал лишь одно — ему нужно получить как можно больше долларов, и все. Его общественное сознание было не столь высоко, а социальные знания не столь уж глубоки. В политике он не разбирался. Единственно, что он твердо усвоил, было то, что жить они все будут лучше, если в кооперативе будут хорошие виноградники и вина. Остальное его не заботило. Но Руда не был хапугой, нет. Просто он никак не мог взять в толк, почему не может съездить в Штаты за долларами, которые принадлежат ему по праву.

Теперь, послушав председателя, он почувствовал, как напряжение в нем ослабло, и вздохнул с облегчением. Но в то же время им овладело какое-то неприятное чувство — будто он замешан во что-то такое, о чем никогда не думал и с чем не хотел иметь ничего общего.

— Так я... я ведь и эти две тысячи долларов пошлю сюда,— сказал он.

— Я знаю, Руда,— успокоил его Михал.— Вот и поезжай за ними. Желаю тебе их получить.

У Руды загорелись глаза. Его переполняли чувства благодарности и симпатии к председателю, которого он и без того всегда уважал, да и в кооператив, как и большинство поречан, вступил лишь тогда, когда Михал решил взять хозяйство в свои руки. И сейчас, хотя он знал, что председатель ничем не может ему помочь, его согревало сознание, что он не одинок и что Михал одобряет его замысел.

— Тебе надо еще чуточку продержаться,— улыбаясь заметил Михал.— Думаю, что немного погодя тебе на блюдечке принесут этот самый заграничный паспорт. Те — там, наверху, в финансах... словом, у нас не хватает твердой валюты, и они не захотят потерять даже эти доллары. Как я понимаю, бояться тебе нечего.

17

Вилем и учитель Альбин Шлапка по полевой тропке, а затем вдоль виноградников дошли до старого русла Души, изгибавшегося дугой. Здесь в долине, на берегу, заросшем буйным кустарником и травой, в почтительном и в то же время приятном отдалении от Поречья и его жителей, жался и вместе с тем жил своей гордой цыганской жизнью поселок Гавая. В нем была одна-единственная узкая улочка и небольшая площадь, служившая одновременно парламентом, площадкой для игр, детскими яслями, местом отдыха, полем сражения и полевой кухней — с весны до осени здесь обычно все стряпали под открытым небом.

Над улицей и площадью, где царило фантастическое смешение красок и запахов, проплывал еще и приносимый откуда-то ветром запах тухлятины. Хибарки, тесно жавшиеся друг к другу, отличались одна от другой — они были сплетены из различных строительных материалов. Дерево, необожженный кирпич, жесть, глина, толь, солома, изредка черепица — все это создавало удивительное смешение легкости и тяжеловесности. Жизнь тут шла в совершенно ином ритме, чем в Поречье. Гавая гордилась мощным размахом рождаемости. Если бы во всей республике был достигнут такой уровень, то перед нею скоро встали бы большие трудности.

На одной-единственной улице Гаваи жило столько братьев и сестер, дядюшек и тетушек, родных, двоюродных, троюродных, что разобраться во всей этой пестрой картине можно было лишь при выплате государственных пособий на детей. Пособия эти, правда, выдавались, как правило, лишь работающему кормильцу семьи, однако жители поселка ухитрялись получать их даже тогда, когда работающих в семье не было. Сколько детей в Гавае — установить было трудно: детей ведь можно и одалживать! Если вдруг на какое-то время исчезали родители или не удавалось установить отцовство, количество детей в поселке менялось то в одну, то в другую сторону.

Гавая, в которой родилось и выросло уже не одно поколение цыган, по традиции поставляла музыкантов, воришек, лодырей и вечных странников. Те, кто уходили оттуда в города, становились большей частью мусорщиками, разносчиками угля, чернорабочими коммунальных служб, подсобными рабочими на стройках. Женское население Гаваи — если источником его пропитания не служило материнство,— поставляло прорицательниц, гадалок и весьма кратковременных под-

собных работниц в буфетах и ресторанах. Впрочем, те, кто покидали Гаваю, через некоторое время обычно возвращались обратно. Каждый уголок здесь дышал согревающей интимностью, совершенно недоступной пониманию людей со стороны. Такой теплой и манящей, что когда, например, год назад Франтишек Ковач получил квартиру в Павловицах, вся его семья изо дня в день возвращалась ночевать в Гаваю. Пятеро детей Ковача не могли уснуть в тишине холодных стен нового дома — их охватывало щемящее чувство одиночества и пустоты, от которого разрывалось сердце.

На площади Вилем и учитель остановились. Ватага детей, гонявшихся за козой, которая паслась у берега, несколько мужчин с сигаретами в зубах, отдыхавших сидя на двух рваных соломенных матрацах, и кучка женщин, собравшихся вокруг куска брезента, на котором сушились цветки мать-и-мачехи и земляничный лист, сразу же утратили живую беззаботность. Официальные лица из Поречья появлялись здесь крайне редко и почти исключительно с целью привлечения к ответственности, а скорее — с повторной угрозой сделать это. (Обычно провинившихся вызывали в комитет или же решали подобные дела в дни выплаты пособия на детей, когда явка была стопроцентной.) Наиболее частой причиной для таких посещений был тот простой факт, что понятие общественной, или общей, собственности давно укоренилось у обитателей поселка и они по мере возможности последовательно исходили из него в своей практике. Узкие тропки, утоптанные и твердые, как камень, лучеобразно разбегались во все стороны; будто ручейки, вились они по полям, направляясь к садам и виноградникам кооператива. Окрестности были прочерчены ими, словно каналами оросительной системы, по которым вожделенная влага притекала в испытывающий вечно неутоленную жажду поселок. Каналы этой системы были неистребимы; они с легкостью преодолевали все препятствия и даже после глубокой вспашки сразу же вновь пролегали на полях.

Вилем огляделся по сторонам.

Все вокруг выжидающе, даже враждебно умолкло. Над Гаваей физически ощутимо повис в воздухе недоуменный вопрос. В это время года, когда еще так далеко было до сбора урожая, множество ворот, ведущих к искушению и греху, было закрыто.

В ту минуту в конце улочки появилась Эва. Она возвращалась из Поречья по одной из утоптанных тропинок. Шла она сияя, как солнечный луч, поглощенная своими мыслями. Их не могла спугнуть даже возня кур в сумках.

Эва шла, гордо подняв голову. Судя по всему, у нее была для этого веская причина: она казалась себе гораздо более значительной, чем обычно. Словно кроме сумок несла с собой все, что нужно для жизни и счастья.

— Эва! — окликнул ее учитель.

Она удивленно остановилась. Поглощенная собой, она даже не обратила внимания на пришельцев.

— Позови Керекеша,— сказал учитель.

В Эве сразу же проснулась необычайная живость и желание помочь. Казалось, все пройдет гладко. Но тут в разговор вмешался Вилем.

— Что это у вас готовится? — спросил он, глядя на сумки.

— У нее будет свадьба,— выпалил мальчишка, который вертелся возле них.

Альбин задохнулся.

— Эва,— прохрипел он.— Эва!

Она была его ученицей, ходила в шестой класс и этой весной должна была кончать школу.

Эва оцепенела. Сумки в ее руках вдруг отяжелели.

— Подойти ко мне! Я не дам тебе свидетельства,— сказал учитель строго,— если...

— Но мы... мы записываться еще не пойдем,— вырвалось у Эвы; она слегка заикалась.

Потом повернулась и, скользнув как ласка, скрылась за домами.

— Эва!

Она исчезла.

— Это правда? — спросил учитель проболтавшегося мальчишку.

— Не знаю,— угрюмо ответил тот.

— Ты тоже ничего не знаешь? — спросил Альбин у другого мальчишки, который подошел к ним вместе со своими приятелями. Они не знали, о чем идет речь. Тот, к кому обратился учитель, однако, заметил, что в сумках, которые несла Эва, что-то шевелилось; ему даже показалось, что он видел куриный клюв, и он не знал, где Эва раздобыла содержимое своих сумок. Для верности он онемел.

— Ну, так что, Штепан? — снова спросил учитель.

Штепан не отвечал. Он был застигнут врасплох — словно у доски. В горле у него застрял комок. Он рассудил, что самое лучшее сейчас — ничего не знать, и стоял с растерянно-глуповатым видом, будто потерял дар речи. Если бы Альбин не знал Штепана и не слышал, как он вопит на переменах, что случалось в тех редких случаях, когда он случайно забредал в школу, то был бы убежден, что Штепан нем как рыба.

— Правда, что Эва выходит замуж? — спросил учитель.

Вопрос удивил Штепана. И сразу избавил его от всех страхов и опасений. Он с облегчением вздохнул и даже улыбнулся.

— Она уже месяц живет у Червеняков,— сказал он.— Она уже живет там... у них.— Он не понимал, почему учитель спрашивает об этом.

Альбин обратился к Вилему:

— Ты слышишь?

— Да... Стоит войти сюда, как сразу же на что-нибудь наткнешься,— заметил Вилем.

— Я не дам ей свидетельства,— сказал Альбин.

Вилем небрежно махнул рукой, намекая на бессмысленность подобных действий.

— Хотел бы я знать, как ты хочешь воспрепятствовать им, если они не собираются расписываться. Ведь не будет же Густа караулить ее. Тут рано начинают беситься.

Учитель беспомощно вздохнул.

В эту минуту из хибарки, в оконце которой был намек на занавеску, вышел заспанный растрепанный цыган в расстегнутой рубахе, в замызганных брюках и неторопливо направился к ним.

— Слушай, Керекеш,— сразу по-деловому обратился к нему Вилем,— нам надо провернуть два дела.

Цыган беспокойно посмотрел на них и беглым взглядом окинул площадь. Он взвешивал обстоятельства.

— Так вот... ты, наверно, знаешь, скоро будут выборы,— продолжал Вилем.— И мы хотели бы...

— Выборы? — протянул настороженно Керекеш. Но спустя несколько секунд лицо его прояснилось. Он улыбнулся.

Втроем они направились к старому руслу реки, заросшему травой и ивняком; там, усевшись на камнях и удобно вытянув ноги, они долго беседовали.

(Окончание следует)

ГИЛЬЕРМО АТИАС

...и потекли деньги

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского ПАВЛА СЕРГЕЕВА

Рабочим-текстильщикам

«...Мне обещали материальную поддержку, если я вмешаюсь в это дело, и мне сказали, чтобы я ни о чем не беспокоился, потому как потекут деньги...»

(Из признания саботажника, действовавшего в текстильной промышленности)

Давайте прикинем... Вы уж сами решите, как выгоднее вести себя. Только делать это надо очень и очень осторожно. По вашему убеждению, в профсоюзе вас почти что не знают. И вы никогда не совали нос в их затеи? Да-а, в таком случае, пожалуй, трудновато рассчитывать, что сразу же вам поверят... Но откладывать нельзя... А она, говорите, делегатка? И, говорите, с ней однажды потанцевали? А выпивать выпивали? Или того... а?.. Ага, стало быть, с тех пор ни разу не видели?.. Что ж, послезавтра, в пятницу, можете встретиться. Разумеется, авансик наличными, и сейчас же. Пригласите ее поужинать. Но не перепивайте, постарайтесь произвести на нее хорошее впечатление. Вам нужно убедить ее, будто вы всерьез заинтересовались профсоюзными делишками, ну и всем остальным. Сделайте вид, что вы из новичков, в общем — из энтузиастов. Недаром мне вас рекомендовали — знают вас, что насчет женщин вы не промах, хе-хе, сущий дьявол-искуситель! Итак, все ясно? Притворитесь новичком, любознательным, попросите у нее книжек, коммунистических брошюрок, всякой прочей галиматьи. А то, что, по вашим словам, она не красотка, так это, ей-богу, к лучшему: никто за ней не волочится. Не стесняйтесь, выпейте и мой джин, я не прикасался... Э-э, уже восемь...

Задачка! Надо, значит, влезть... А особнячок-то у этого Пижона — блеск... После двух стопок — подходяще... Однако, похоже, Пижон-то не главный, на вторых ролях. Каково тогда поживают главные, к примеру Турок?.. Пошла прочь, поганая тварь! Попридержите-ка собаку!.. Точно, у дона Хермана я был, только что, тут, у него дома... Любопытно, а этому пентюху сколько же платят? Видно, что сытый, чистюля, волосы с брильянтином и костюмчик — первый класс... Это

полицейская ищейка? Как-как? А, немецкая овчарка. Вон что, только попридержите-ка ее и проводите меня до ворот. Шикарный садик! Точь-в-точь — целый парк, конечно, вы правильно сказали. А вы давненько работаете у дона Хермана?.. Понятно. Фартовая житуха... То есть не то я хотел сказать. Я же понимаю, у шофера много забот и за собакой надо ходить. А живете тоже здесь? Завидую вам. Особнячок-то что надо! Сколько всего-то! И много служаночек? Каковы они? Должно быть, подходящие... Верите не верите, а ведь я тоже буду работать у дона Хермана, придется вас и потом побеспокоить. Так как кличут эту псину? Чего это уставилась она на меня, будто еще не знает,— если ей по вкусу кусать там всяких, шут с ней, но со мной теперь уже нечего разыгрывать, не чужие... Приветик! До скорого! Чао, Прези! Ах да, Прозит. Чао, Прозит!

Пятьсот горяченьких — и в моем кармашке, не я буду! Блеск! Если бы кто из ребят увидел меня здесь, на этой улочке, да еще с пятьюстами! Ну, дон Херман, теперь врежем мы этим краснопузым, разным там пеэсам и мапусам[1]! Оболтусы даже не догадаются, кто за них возьмется, думают, что покончили со всеми, думают, что отняли фабрику у Турка и в самом деле стали хозяевами. Близок локоть-локоток, да не укусишь! Пятьсот эскудиков[2], даже пощупать приятно, вот это жизнь! Все как один новехонькие, с пылу-жару, еще краской попахивают!

— Принесите-ка мне бифштексик с угольков, да побольше, да с салатиком. И кружку бочкового!..— М-да, дон Херман этот держится надутым индюком, а на роже-то страх написан, все-таки душа, видать, в пятки ушла. Хм, даже стопку свою не опорожнил, мне отдал. А вот особнячок у него шик!.. М-да, залез я в большую заваруху...— Точно, и горчички принесите, лапочка. Ну, не сердитесь. Так называю вас потому, что сегодня очень я доволен, просто счастлив. И зеленого перчика, если можно... — Особнячок — не особнячок, а дворец: картины, огромные зеркала, а ковры-то, во что это только обошлось дону Херману! И распятие в кабинете, пожалуй, с метр высоты, и гвозди золотые. Конечно, золотые. И бородка у Христа точь-в-точь настоящая, как будто сделана из волос, как будто настоящая, как будто Че Гевары, х-ха!.. Оболтусы, увидят еще краснопузые, все эти пеэсы и мапусы, что к чему... А этот долдон Гомес, из МАПУ, дурень дурнем, кто ему будет верить. Теперь посмотрим. Я должен прояснить весь вопрос — так мне сказал дон Херман. Вначале, конечно, буду действовать потихоньку, полегоньку, деревенщина деревенщиной. Дурни эти краснопузые попадутся на приманку: заглатывают все, что близко... — Принесите мне еще такой же, только салата поменьше, но пусть прожарят сильнее. И понятно-понятно, моя лапочка, еще кружечку бочкового. Вы уж не обижайтесь за «лапочку», все дело в том, что сегодня мне здорово повезло, очень уж доволен, прямо скажем, счастлив. Хотите, пока суд да дело, поставлю пластинку — для вас? Может, поискать Рафаэля, а?..

Дон Херман... Как я его понимаю, значит, он хочет, чтобы я влез в профсоюз и рассказывал ему обо всем, что там происходит... Интересно, на ком еще он строит свои расчеты? Сам он выступает от имени Турка, это ясно. Оттуда — все: и деньжата, чтобы выплачивать

[1] Пеэсы — члены социалистической партии Чили (от ПС — Партидо сосиалиста); мапусы — члены МАПУ (Мовимьенто де аксьон популар унитариа — Движение унитарного народного действия). Обе партии входят в блок Народного единства Чили, пришедшего к власти в 1970 году. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Эскудо — денежная единица Чили.

мне и этому пентюху-шоферу, который и ночью служит дону Херману. И собаке на бифштексы деньги тоже идут от Турка. Прези. То есть Прозиту... Вот такие же бифштексы жрет, какие несет мне лапочка.— А я поставил вашего Рафаэля, потом будет Сандро. Ну как вам клиентик? Не обижайтесь, я сегодня очень довольный. Счастливый! Разве незаметно?.. — Уж если Прозит жрет бифштексы, почему же я, человек, не могу?.. — Еще одну кружечку, и я пойду, не буду больше надоедать вам. Потому как я — человек. Че-ло-век! Вы что, не слышите, лапочка?

...Нет, напиваться не буду, я не дурак. А с двух стопок у дона Хермана и с этого пива со мной ничего не случится... Я могу истратить еще шестьдесят эскудо и доехать с ветерком на такси. И все равно у меня останется тогда более четырехсот, а в пятницу на фабрике получка... Надо будет зацепить ее с утра, эту мымру-делегатку... Ничего не сказала, когда я прижал ее ноги в автобусе. Сама позволила; хоть и сделала серьезное лицо, но не отодвинулась. Протиснул ей ногу меж коленок, а она — молчок. Для начала неплохо. Крючочек заброшен, и на первую приманку она клюнула. Правда, на лицо страшновата, но фигура ничего. Лицо — не главное, на него в это время внимания не обращаешь... Но если бы она к тому же была как эта цыпочка-официантка, тогда бы мы с ней такую куэку[1] оторвали!.. — Я говорю, погуляли бы с вами на славу. Не обижайтесь, лапочка, я счастливый сегодня и я — человек! Еще кружку — последнюю, и больше вас не беспокою. А пока поставлю для вас еще одну пластинку. Как, вам не нравится Рафаэль? И Сандро тоже? А что же тогда вам нравится?.. — Ха, если она к тому же еще и серьезненькая, то это еще интереснее... — Да, да, еще одну! Или лучше две, чтобы вам лишний раз не ходить. И потом я удалюсь. Больше не буду надоедать вам, потому что я добрый сегодня и я — человек!.. — Значит, дон Херман хочет получать сведения о профсоюзе. Они с Турком за деньги хотят повернуть все назад... Я первый бросился в эту кучу и теперь буду вместе с солидными людьми, тут не может быть никаких вопросов. Если бы эта кукла знала, что у меня в кармане пятьсот хрустящих, враз повернулась бы ко мне другой стороной. А то изображает из себя недотрогу! Знаем мы — все они такие в этих кафе. Сандро ей, видите ли, не нравится!.. Так... Я должен приглядываться и прислушиваться ко всему и рассказывать дону Херману об этих краснопузых. Нет ли среди упэистов[2] сомневающихся... Ну и, понятно, разогреть как следует делегатку. Слушать, наматывать на ус и рассказывать ему. Приходить к нему домой. Домой, а не в контору!.. — Эти кружки я пью за вас, моя лапочка! — Домой — это лучше. Явлюсь, как сеньор, он угостит выпивкой, опять авансик подбросит. Пятьсот бумажек! Тогда этот сучий сын Прозит и пентюх-шофер поймут, с кем имеют дело!

■

Вот и она. Идет делегатка. Сейчас зацеплю. Хоть и чувствую себя сегодня погано, а надо. Встану, как ангелочек, спиной к ней, будто не вижу: может, сама заговорит. Если нет, тогда придется начинать мне, придумывать какие-то заходы. Только как? Подсказывайте, миляга дон Хермансито! «Эль сигло»[3] в руку — с ее стороны, чтобы сразу заметила... Нет, прошла, слышно было, как прошла совсем рядом. Интересно, газету-то видела?.. Не заговорила. Теперь надо весь

[1] Чилийский народный танец.
[2] Упэисты — сторонники Народного единства (от УП — Унидад популар).
[3] «Эль сигло» — орган ЦК Компартии Чили.

день до вечера быть начеку, чтобы не ускользнула, так ее растак. Только ради вас стараюсь, дон Хермансито... И ведь никто из этих пятидесяти оболдуев и тридцати оболдуек не догадывается, что вчера я просадил пятьсот эскудо. На пятнадцать человек хватило бы! Пятьсот картиночек! Даже монетки не осталось. Не меньше чем на двести обсчитали. Это уж наверняка — не мог я истратить столько. Я же и пьяный-то не был... Так: официантка мне стоила сто, номер в гостинице — пятьдесят, в кафе заплатил сто пятьдесят — пришлось еще заказывать пиво шпане, которая хотела отбрить меня от официантки... Значит, не хватает двухсот как одного медяка! Только утром хватился... Она, по-моему, не могла слямзить — с нее я глаз не спускал... Так или не так — денег нет, дон Хермансито, а надо еще эту замотать, которая для вас. Просто не знаю, что и делать...

Если делегатка здесь не пройдет, придется тащиться на ихнее собрание — видел на доске объявление — и ловить ее вечером. А я и так еле на ногах держусь, умираю, как спать хочу. И пить. Но, может, после собрания-то оно и лучше, потому что, если сейчас с ней заговорю, она сразу почует перегар... Ё мое, до чего неаппетитная стерва оказалась эта, вчерашняя. Мини-юбка сбила меня с толку: когда она нагнулась выбирать пластинку, даже трусики было видно. Но до чего же плоха — хуже не придумаешь! Надо же — шлюха! Неприступная! А сразу клюнула, как только поняла, чего мне хочется, догадалась, что я при деньгах... Вялая какая-то, размякла вся, груди обвислые — терпеть не могу! Я сразу смекнул, как только увидел ее старушечий лифчик. Конечно, выпивши я был, даже, можно сказать, прилично выпивши. Ну ладно, сто эскудо своих я оправдал. Думаю, что и дурехе понравилось. Только потом она сразу куда-то заторопилась — одевалась, как солдат по тревоге.

Понятно, что смотрю, товарищ, только что-то глаза застило, вроде пелена какая. Конечно, буду вкалывать, как вы говорите, чтобы поднять производительность.

Этот паразит Гомес так и зырит туда и сюда — насчет производительности хлопочет, ха-ха! А мне начхать на нее! Самый настырный из всех, везде нос сует как заместитель уполномоченного, во все дырки лезет! Вот заарканю вашу делегатку, будет тебе производительность, фанфарон!

Интересно, зачем дон Херман водрузил такое огромное распятие на письменный стол среди накладных и счетов? Может, молится, когда остается один?.. Хоть и толстый, но, видать, пробивной — молоток!..

Небось заметили «Эль сигло». Конечно заметили, только Гомес сразу же куда-то улизнул, паршивец. Делегатка тоже наверняка увидела. Эти краснопузые, они все подмечают. Я притворился, будто не вижу ее, хоть прошла она совсем рядом — чуть не задела за меня. Фу ты, вроде еще страшнее стала! С тех пор как отняли фабрику у Турка, она вообще сделалась прямо-таки сержанткой... Но в автобусе все же позволила притиснуть коленки — яснее ясного. Остановок двадцать, наверно, проехали, как я встал у ее сиденья и начал шуровать. Узнала меня, головой кивнула. Я чуть подождал и давай потихоньку давить. А она только нахмурилась, отвернулась и стала смотреть в окошко, но не отодвинулась. Не могла не заметить — далеко ногу протолкнул, не я буду...

А может, в понедельник просто наврать что-нибудь дону Херману?.. Интересно, подбросит еще деньжонок или нет? Пятьсот, наверняка больше не даст — это уж слишком... Вообще-то можно бы ему черт-те чего набрехать: это, мол, было так, а то — вот этак... Поверил

бы Пижон или нет? Только с этими господами, пожалуй, лучше говорить начистоту, а то враз раскусят тебя и выплюнут. Если догадается, что я ему заливаю,— прощайте денежки...

Вот они идут, краснопузые, пеэсы и мапусы! Ну-ка сосчитаю, сколько их тут всего. Та-ак, женщин больше, чем мужчин. Ага, эта толстуха из ткацко-вязального — коммунистка с самых пеленок... Но всего народу немного. Так и скажу дону Херману, обрадую его... После того как отобрали фабрику, везде понатыкали своих оборванцев. И главное, полиция их поддерживает. Да и сами стали действовать дружно, не грызутся между собой, как раньше, коммунисты с социалистами... Наверняка заметят, что и я хожу с «Эль сигло», как пить дать, заметят...

А Прозиту-то бифштексы дают, это точно. Зубы белые, будто у настоящей породистой собаки. И пентюх-шофер тоже тепленькое местечко прихватил, не работа, а божий дар. Почесывай себе зад и перед, Прозита прогуливай по «парку», как он называет. Жрет да горничных щупает, деревня... Я видел одну. Правда, уже в годах, а молоденькая, которая вышла за ней, наверно, ее дочка. Может быть, дон Хермансито и меня поведет прогуляться по парку...

■

Мать честная! Снова идет сюда, и опять с Гомесом. О чем-то говорят. Вроде про меня? Точно, про меня. Интересно, помнит, курносая, про коленки? У входа в зал сразу узнала меня, посмотрела прямо в глаза и задержалась со мной дольше, чем с другими. Наверняка думала о коленках, когда говорила насчет сегодняшнего собрания. Потом отослала куда-то Гомеса и разговаривала со мной одна. Заметила «Эль сигло» и поверила, когда я ввернул, что, мол, всегда покупаю эту газету, потому как в ней пишут о фабрике, которая теперь принадлежит нам. Проглотила дуреха! Повторила мне всякую ахинею насчет производительности, которую краснопузые — пеэсы и мапусы — твердят на всех заводах и фабриках. По-моему, покраснела, как только заговорила, что и я должен подпереть своими плечами производство. Чуть не прыснул, подумав: лучше бы она сказала «подпереть ее коленки». Не я буду...

Но строга! Нелегко будет, дон Хермансито, повернуть ее, как вы хотите. Лучше бы уж я наговорил вам от себя чего-нибудь такого-этакого... Да ведь не поверите...

■

Перед собранием надо шлепнуть стаканчик... Если не опохмелиться, там со стула упаду. Начало в шесть, потом будут тянуть резину — мусолить то же, что и всегда. А мне ведь еще надо прийти пораньше и занять место впереди, напротив сцены, чтобы сержантка заметила, как я буду сидеть лопоухим новичком с «Эль сигло» в руках... Газету-то даже и не развернул, хоть дон Херман и велел читать ее каждый день, чтобы знать всю эту галиматью, которую там пишут, и быть в курсе... Понятно, если я не буду знать, сержантка сразу выведет меня на чистую воду. Или заскучает... Только о чем все-таки говорить-то с ней? Она, должно быть, дока в политических вопросах, а мне хоть бы научиться «аминь» по-ихнему говорить. Ну что ж, дон Херман, читать так читать, вам виднее...

Пропущу одну лампадочку у старой Хулии, больше — ни-ни, иначе окосею... Аж руки дрожат. Так я даже прижать делегатку как следует не смогу. А надо прямо сегодня начинать, разогреть ее, чтобы завтра уже потащить куда-нибудь. Для этого мне и дали пятьсот бу-

мажек: погулять с ней. Дон Херман ясно сказал. Жалко, что теперь придется тратить на губастую сержантку свои законные, а никуда не денешься. Потому как, если не сделаю, что в понедельник буду докладывать дону Херману? Он шутить не любит, врежет по первое число...

— Марио Каро!

Ё мое, даже внизу живота что-то ёкнуло, когда он причалил ко мне. Оказывается, шел за мной! Хмырь этот из спортклуба все время разводит треп насчет того, что Турок, мол, собирался подарить рабочим настоящий стадион. Я немного помню его по старым временам, и, если бы он опять начал заливать про стадион, я бы враз его завернул. Но он оказался хитрее, гад. Сразу имя мое назвал и фамилию. «Марио,— говорит,— Каро». Сам сказал, хоть никто его и не спрашивал. И то, что я работаю в ткацком цехе, тоже знает. Налетел обормотом! Только хотел отшить его, а он снова меня ошарашил: ясненько так назвал по имени самого дона Хермана. Не я буду! Шли мы по переулку позади фабрики. Я там и встал как вкопанный — не знал, что делать и что говорить. Он тоже остановился, глазищи нахальные, зеленые, как у кота. Шлепнул губами и улыбнулся мне, вроде как подружески. Помню, что его зовут Лаутаро, Пузан Лаутаро, но не сказал ему об этом. О стадионе тоже не сказал, вообще ничего не сказал. А что тут скажешь, если он назвал имя самого дона Хермана?.. Пузан потихоньку пошел дальше, болтая какую-то чертовщину, а я, как сирота,— сбоку, спотыкаясь, по обочине тротуара. Сперва о доне Хермане он больше не напоминал, а потом вдруг в лоб: уж не думаю ли я, что дон Херман — лопух?

Почему же лопух? Я хотел заглянуть Пузану в лицо, но он отвернулся и продолжал шагать. И так до самого угла, до забегаловки старухи Хулии. Там мы снова остановились, и опять он посмотрел на меня в упор: «Дон Херман не лопух и хорошо знает, что надо делать и как!» Говорил Пузан не громко, но резко, точь-в-точь полицейский, карабинер... Чтобы не молчать, я пригласил его выпить, но он сказал— раз идешь на дело, лучше не пить. Закончишь, тогда — все что хочешь, хоть утопись в вине!

Но у меня-то рабочий день кончился. Что же, я не имею права пропустить стаканчик? Пузан ответил, дескать, я не должен путать работу и «дело». Так прямо и сказал: «Дело для дона Хермана». А если я на работе делегатку не зацепил, то... И опять засмеялся, а сам говорит резко, точно карабинер, и смотрит вниз или в сторону. Предупредил, чтобы я не путался с девками вроде вчерашней, раз обещал дону Херману охмурить делегатку. Повторил, что дон Херман не лопух и ему надо говорить правду, что мы делаем большое дело, и, если нам платят деньги, значит, дело серьезное. Мне, напомнил, уже отвалили восемьсот эскудо, и я должен понимать — это не на детские забавы!.. Ну, насчет восьмисот эскудо я промолчал, чтобы Пузан не подумал, будто не доверяю дону Херману в денежных вопросах... А интересно, сколько же тогда перепадает Пузану? Но тут мимо нас прошли какие-то два парня из нейлонового цеха, и Лаутаро стал громко говорить о футболе: «Магальянес, мол, покажет им в воскресенье, как надо играть! Потом посмотрел на меня и опять улыбнулся, я тоже должен был улыбаться. Он стоял близко от меня, изо рта у него воняло, и нахальные глаза навыкате вблизи казались еще противнее. Он и вообще-то никогда не был мне по вкусу...

Значит, вот оно что: здесь кроме меня еще есть кое-кто, и, похоже, немало. Я это уловил постепенно из болтовни Пузана. И в руководстве есть. А мое дело с делегаткой — это так себе, не самое главное. Так что же, выходит — целый заговор?

Точно — заговор, не я буду!.. Но ведь тогда сколько же деньжищ

должно на это идти?.. А Пузана понесло: если бы дон Херман захотел сейчас дать команду, знаешь, какая бы бодяга началась! И не только на нашей фабрике!..

Я-то? Будь уверен — я человек надежный. Когда надо давать — даю... Да уж конечно знаю. На него только посмотришь, сразу видно... Сумею ли я правильно распорядиться этими, которые у меня в бумажнике? Что за вопрос, кто же не умеет... Нет, сейчас еще нельзя, сейчас главное — делегатка.

Мне даже неловко стало: Пузан Лаутаро ощупал меня своими глазищами сверху донизу. «Она запросто ляжет с вами». Еще сказал, что на восемьсот эскудо я мог бы и одеться поприличнее, по крайней мере, купить новую рубашку, а то на этой следы помады... На кончике воротничка, говорите? А я и не заметил... Еще сказал: по мне сразу заметно, что я уже потрепал свои восемьсот эскудо. Не надо сходить с ума от денег, тем более что впереди их будет еще немало. Если же начинать с пьянки, можно так напортачить, что... Всему свое время. Будут и пьянки, и девочки будут самые лучшие, а не то что размалеванные мымры, с которыми кое-кто шьется... Только нужно терпение, друг мой Каро...

Он вдруг замолчал и посмотрел на небо. Потом добавил: «Лучше, чтобы больше нас не видели вместе на фабрике. С нынешнего дня будем встречаться на одной квартирке на улице Индепенденсиа. Будет закусь и выпивка». Там у него живет какая-то приятельница... Знают ли меня эти типы из нейлонового, которые прошли мимо? Лучше, чтобы больше я им на глаза не попадался, чтобы взял себя в руки, чтобы досидел на собрании до самого конца. Может быть, мне сразу же удастся выудить делегатку, а это — мой долг...

■

Пришел Турок и уже два часа сидит закрывшись с доном Херманом. А я переживай! Договорился с Матильдитой пойти сегодня в театр — она как раз вечером свободна,— и вот на тебе: торчи здесь, будто олух царя небесного, да слюни глотай... Даже перекусить отойти не могу: если дон Мигель будет уезжать, а меня не окажется у ворот, потом всыплет. Может вообще уволить... Отстань, поганый кобель! Нажрался и крутится тут, трется об ноги, как будто еще чего захотел... Как я, например. Скотина ты, а не немецкая овчарка. Какая к черту немецкая — шелудивый пес. Правда, на вид кажется солиднее сына дона Хермана. Пабло черт-те что воображает из себя. У самого полны гардеробы костюмов, рубашек, обуви, а носит какие-то замызганные джинсы. Даже спит в них. Я бы ни за что такие не стал носить, хотя бы работал на грузовике. Одежда у меня что надо, потому что я шофер богача... Правда, дон Херман без конца ругает меня. Особенно теперь, когда взял моду приглашать к себе в дом — в собственный кабинет — каких-то оборванцев. И что это только с ним сделалось? Видно, смуту готовят. И все молчком, потихоньку — потому и принимает их здесь, а не в конторе. Поит всех, угощает... А все, наверно, для того, чтобы вернуть фабрику Турку. Я их раскусил. Дон Херман завязывает этих пролетариев накрепко, думает, я не вижу. Выходят от него довольные и крутят тут мне мозги. Собаку дурачат и меня тоже... Интересно, по сколько дон Херман им выдает? Тот, пузатый, который приходил вначале,— Прозит его еще за ногу схватил, да так, что я еле смог отогнать собаку,— теперь, смотрю, уже обарахлился. И вид совсем другой стал, не задрипанный, как раньше. Или второй — все выхвалялся тут передо мной и кобелем, здоровенный такой верзила. Наверно, немалый куш сорвал... Факт, сорвал, потому что шел и пересмеивался сам с собой, как ненормальный. А мне

голову морочат. Но я не такой простачок, и вижу побольше их, и про дона Хермана знаю. Эту его милашку, Люси, которая живет в центре, я возил даже в Виньяˡ. Если бы рассказать про все донье Кармен, он бы у нас повертелся! А она, стреляная гильза, ни о чем не догадывается. Его вертихвостка Люси за неделю напяливает на себя столько нарядов, сколько донье Кармен хватило бы на целый год. Старуха бродит побирушкой для Красного Креста и одевается, как пугало... Мне тоже — шиш, получай свое жалованье и будь здоров...

Но я ему для чего-то еще буду нужен, и не только как шофер. Я все вижу. Последнее время дон Херман сам не свой, и все они сейчас напуганные. Потому и хотят сковырнуть правительство Альенде, которое их так прижало... А мне оно ничего плохого не сделало. Даже приятно смотреть, как их телегу останавливают... Только, кажется, против Альенде большую заваруху готовят. Значит, и до меня черед дойдет — и меня потянут... Отстань, шелудивый кобель, сарделька толстая! Трется об меня и штаны нюхает, нехристь. Поищи себе суку и нюхай ее сколько хочешь, если ты и вправду немецкая овчарка. Любая дворняжка уже обделала бы все, как надо: давно махнула бы через забор и нашла бы себе подружку... А мне вот нельзя. Должен торчать здесь — и ни с места. Матильдита теперь подумает, что я пустобрех, когда не найдет меня на том месте, где мы договорились...

...На этих днях хозяин спросил меня, умею ли я стрелять. Так, вроде между прочим, спросил, а сам смотрел в окошко машины. Я притворился, что не понимаю, о чем это он, о какой стрельбе речь. Ответил, умею, мол: когда жил в деревне, ходил на охоту даже на львов. Загнул, конечно. Всего один раз в жизни я стрельнул из ружья да так перепугался, что больше не хотел даже дотрагиваться до него... Я тогда еще мальчишкой был. Помню, хозяйский сын здорово смеялся надо мной... Но что-то они затевают и, ей-ей, меня потянут, чувствую — потянут. Только тогда дон Херман должен мне жалованье прибавить... Надо будет выспросить у этих пролетариев, которые приходят к нему, разнюхать, сколько им перепадает. Правда, мне продаваться за деньги стыдно, я все-таки шофер!..

А вот и Пабло топает в своих джинсах, шалопай бородатый. Корчит из себя невесть что. Ужинать пришел. А Турок все сидит там... Да, да, ваш папа в кабинете с доном Мигелем. Так точно, дон Мигель приехал на этой машине. Как вы ее находите? Конь, а? Я слышал, делали в Италии по специальному заказу. Коробка передач автоматическая, крыша сдвигается. Почему бы и вам, дон Паблито, не приобрести такую же, а эту дрянь «ситроенку» выбросить или отдать какому-нибудь бедняку вроде меня? На то вы и богач. Не сердитесь, дон Паблито, это я пошутил... Что бы я стал делать с «ситроенкой» без денег?.. Нечего насмехаться надо мной, паразит!.. Если вам не трудно, уведите отсюда пока Прозита, вы знаете, как собака ждала вас! Раньше вы много играли с ней, а животные ласки не забывают...

Дурак набитый! Вот уже целый год не видел его за книжкой, с тех самых пор как он связался с петухами из МИРа[2]. Дону Херману боком вышел хлеб, что он скормил на Пабло. Тут на днях я встретил его с какой-то девкой возле поселка, где живет моя сестра. «Сунули нос и в деревню»,— говорит сестра. Такой переполох там затеяли: призывают народ навалиться и силой захватить дома, которые там строит одна компания. Интересно, дон Херман и вправду не видит или притворяется, будто не видит, что из сынка его вышел мирист, а из дочки—

---

[1] Виньа дель Мар — курортный городок на берегу Тихого океана.

[2] МИР (от Мовимьенто де искьерда революсьонариа — Левое революционное движение) — экстремистская организация.

полушлюха-полудура? Она говорит, что без ума от театра. Враки, Терукита! Меня не проведешь побасенками насчет театра и твоих дружков-приятелей. Знаю, чем вы там занимаетесь: марихуану курите да попойки со стриптизом устраиваете. Свой «фиат-600» до ручки довела...

■

Уселся прямо напротив сцены. Пришел чуть ли не самый первый — одним махом заделался краснопузым. Мать честная, умираю, как спать охота! А эта канитель надолго... Кто бы мог подумать, что Пузан Лаутаро ходит тут за мной, что он тоже влез в наше с доном Херманом дело. Правда, еще и раньше было известно, что этот ублюдок — доносчик управляющих и всем им зад лизал, а в спортклубе ошивался для отвода глаз, ничего не делал. Фабричная футбольная команда — дрянь, кто хочешь ее обыграет. Потому что футболисты выходят на поле с похмелья — все они известные закидоны. Даже эти сопляки, из которых местный священник организовал команду, и то разложили их. Баскетболисты — трепачи стоеросовые, а девчонки из женской команды умеют только задницами вертеть — по щиту попасть не могут. О пинг-понге и говорить нечего... Все знают, что Пузан Лаутаро крупно зарабатывает в спортклубе — торгует там выпивкой. А бокс, который мне так нравится, вообще прикрыли. Так что насчет стадиона — это байки Лаутаро. Футбольное поле все в рытвинах, кругом мусор. Турок подарил нам эту свалку два года тому назад, во время праздника, когда Пузана наградили медалью и дипломом. А потом сказал, что каждый, видите ли, должен по мере своих сил участвовать вместе с администрацией фабрики в оборудовании стадиона...

Но теперь Пузан развернулся вовсю: разговаривал со мной, точно приказы отдавал. Неплохо, видать, ему платят. Выследил, гад, и прижал меня так, что и деваться некуда,— пришлось остаться на собрании. Так, теперь мы, значит, работаем с ним на пару, как крапленые десятка с тузом при игре в «очко»... Но если эти краснопузые догадаются о наших делах, оторвут они нам одно место, не я буду. Вон они какие свирепые. Чувствуют за своей спиной и полицию и государственных уполномоченных. Злющие, черти. С Лучо Марина и Рене такую стружку сняли! А за что? За то, что ругали экспроприацию и хвалили Турка: лучше, мол, вернуть его и создать товарищество рабочих с хозяином. Так что, Марио Каро, осторожнее на поворотах, а уж если дело обернется плохо — не зевай и рви когти. Прихватывай как можно больше деньжат — и чао!

Наконец-то выходят на сцену руководители профсоюза и уполномоченные. Хорошо, что она села как раз напротив меня у переднего края сцены. Делегатка — поэтому и не садится, как другие, сбоку стола. Как будто нарочно выбрала место. Сразу меня увидела и кивнула головой, как тогда в автобусе... Ножки ничего, и чулки черные всегда меня горячат. Похоже, она не прочь показать себя, потому что ноги открыла аж до... Не-е, ничего! Ты не так уж много жертвуешь, Марио. Но серьезная: не красится и прически модной не делает. Все, как и должно быть у настоящей красной... Если удастся зацепить ее, скажу, чтобы она просунула свою руку мне вот сюда,— это любой женщине нравится. Жаль только, что не следит за собой. Всякая замызганная потаскуха кажется цветочком, когда подведет глаза да пеструю кофточку напялит. А эта выбрала себе какой-то дурацкий цвет. Если бы она тоже надела облегающую да груди не так стягивала, а то их почти и не заметно. Я, понятно, сразу-то с ней об этом не буду, она и так, наверно, немного стыдится после того раза и считает меня

нахалом. Сперва надо на высоком уровне: потолковать об экс-пропри-ации. Вот так!..

Ну-ка, что там говорят эти краснобаи? Может, что-нибудь перехвачу у них, или какая-нибудь ихняя чепуха сама застрянет в голове. А потом подброшу делегатке. И еще надо, чтобы она видела как следует мою газету...

А вот этот и есть главный уполномоченный, который утер нос самому Турку. Как-то на днях зашел я в бывшую контору дона Мигеля, так этот гусь ходил там по второму этажу, будто по своему дому. Как тут носатому Турку не беситься, если его в один день выперли с фабрики... А у уполномоченного-то, который подпилил ему костыли, лицо неглупое. Видать, не болтун и грамотный. Вроде меня. А?

Мать моя развеселая, неужели они и вправду такие идейные — эти, из новой дирекции, или просто притворяются? Отдадим, говорят, себя целиком работе и победим!.. А мы что с этого будем иметь? Политики-то, понятно, снимут свои сливки. Ну, прибавили рабочим по десять эскудо на обеды, но ведь вкалывать-то как требуют! А кому охота надрываться? Турок, он был хитрющий — этот гусь правильно говорит,— заставлял работать меньше, а многие машины вообще останавливал, чтобы создать нехватку товаров и продавать их подороже. И то, что Турок сбывал продукцию «налево» через других турок-торговцев,— тоже верно. Они платили ему столько, сколько он запрашивал, и накладные любые подписывали, как ему было нужно. А не подпишешь — нитки не получишь!.. Но разве он был не хозяином? Разве еще совсем недавно на этом месте не было свалки, где мусорщики собирали на утиль старую бумагу? А теперь, погляди, какая фабричища стоит: трубы самые высокие во всем Сантьяго! И что же, по-вашему, хозяин такой фабрики не мог поступать как ему хотелось?..

Горлопаны эти «товарищи»: кто бы чего ни сделал, сразу поднимают галдеж. Но если уж мир так устроен — на хитрости держится! Хочешь жить — умей вертеться. Не можешь — пропал. А хозяину такой фабрики, как эта, тем более... За здорово живешь никто не будет работать...

Так, теперь надо хлопать, и погромче, чтобы сержантка увидела, какой я «примкнувший»... Когда будем выходить, подкачу к ней легонечко, будто безо всякого там этого... Подброшу вопрос о производительности, о «революции по-чилийски»... Каково? О национальных усилиях... У них сразу губа отвисает от таких разговоров, у товарищей. Только услышит, как я говорю, вмиг рот разинет. И тогда твое дело в шляпе, Марио...

Еще воробей выпорхнул на трибуну с докладом, а я уже совсем подыхаю на своем стуле. И ноги затекли... Но этот, кажись, последний. Верещит так, что и не поймешь его. Тот маленький старикашка из чесального цеха. Красный до озверения, я знаю, его ничем не утихомиришь. Умирать будет, вцепившись в серп и молот. Говорят, в свое время ему здорово всыпали, старому козлу, за то, что лез во всякую политическую склоку, какая только под руку подвернется. И как Турок терпел у себя этого хрыча, если еще Гонсалес Видела[1] сажал его в концентрационный лагерь Писагуа черт знает в каком году, когда с коммунистами поцапался. Его бьют, а он все равно свою линию гнет. Упрямее осла, чертов старик...

Угрожает! И смотрит, кажись, прямо на меня. Везде ему мерещатся диверсии, даже в собственном супе. Давай кипи, старый горшок!

[1] Габриэль Гонсалес Видела, избранный на пост президента в 1946 году как кандидат коалиции демократических сил, в 1947 году удалил министров-коммунистов из правительства, начал репрессии против рабочего движения. В 1948 году Компартия Чили была запрещена.

А сам ведь даже не догадываешься, какую мы вам с доном Херманом пилюлю готовим. Вот тут же, в этом зале, должны сидеть и другие мои кореши. Интересно, много ли нас? Все сидят спокойненько, как ангелочки. Но когда Пузан Лаутаро выдаст всем нам одинаковые рубашечки — чего тут темнить,— тогда-то и увидим, кто мы и сколько нас. Лаутаро сказал, что соберемся на улице Индепенденсиа. Со жратвой. Там у него «убежище». Хорошо бы еще и с девчонками, как сам бог велел...

■

Пабло так мешает мне, просто ставит в неудобное положение! Когда мы его встретили на входе, едва кивнул. А ведь был любимчиком у хозяина. Дон Мигель мотоцикл ему подарил по случаю поступления в Католический университет. Ничего не хочет помнить, сопляк! К счастью, хозяин не обратил внимания: шел, не глядя по сторонам, молча, как воды в рот набрал, и даже меня не слушал... А шофер-идиот рожу дурацкую скорчил, да еще ворота открыл рывком. Думает, я не замечаю, скотина! Всыплю ему как следует, чтобы не забывал, кто он есть: чуть вылез из грязи... Даже Прозит очумел: облаял Мигеля, когда тот со зла включил сразу третью скорость... Бог даст, доедет без аварии... И у Пабло лицо такое — кого угодно возмутит, обормот паршивый. Неблагодарный! Корчит из себя не поймешь что: бороду отрастил, какое-то рванье напялил. Вместо того чтобы помогать отцу, занимается всякими глупостями. Болтается, как неприкаянный, и ему наплевать, что семья идет ко дну... Мигель даже не притронулся к коньяку, а он ему всегда так нравился. Никому не доверяет, нервный какой-то стал, даже на меня смотрел странно, будто мы с ним не одно дело делаем. Не верит в мой план, считает, что я приукрашиваю и представляю ему все в розовом цвете, чтобы вытянуть из него побольше денег. Турки, они все такие. Это у них классовое. Вообще-то, сам по себе Мигель — джентльмен, умеет вести себя, даже манеры знает. Только по бровям и можно уловить, что не доверяет. Да, со мной он уже не тот: в глаза не смотрит и почти ничего не говорит. Понятно, ему больно за то, что творится на фабрике, но ведь надо же защищаться!.. А наш план он, кажется, вообще считает абсурдным. Создается впечатление, что он и не слушает, сидит, словно в полудреме, как истинный сын Востока, или витает где-то в облаках. Но если он не спустится на землю, его сомнут. Если не будем контратаковать, мы пропали. Он брезгует этими оборванцами, которых приходится нанимать к нам в союзники. Но я ему напомнил, что для него это не новость: сам же он создавал когда-то свои профсоюзы, спортклубы, ясли и тому подобную чертовщину. А когда я упомянул о Лаутаро, его даже покоробило. Не понимает, что сейчас просто необходимо использовать всех, вплоть до последних подонков. Когда меняются времена, меняются и нравы, а он никак не хочет понять. И если мы сейчас не остановим их, то это может остаться навсегда... К нашему счастью, подоспели события в Боливии[1]. Там здорово дали по соплям своим красным индюкам. Мы тоже могли бы одним ударом — как боливийская армия снесла индейца Торреса—раз и навсегда покончить с этой комедией. Так бы и вылетели все вверх тормашками из Ла Монеды[2] со своим доном Чичо[3] и ему подобными... Какой приятный коньячок! Но даже и его скоро невозможно будет купить... Ужинать не буду! Ты что, не слышишь? Нет! Стой здесь и не уходи, пока я не лягу спать! Сеньора пришла? А ну-ка вернись! И чтобы

[1] Речь идет о военном перевороте, свергнувшем правительство генерала Торреса в Боливии в 1971 году.

[2] Ла Монеда — президентский дворец в Сантьяго.

[3] Чичо — уменьшительное от имени Сальвадор (намек на Сальвадора Альенде).

я больше не видел этих ухмылок! А то, видите ли, плечами пожимает! Чего рожу скривил?! И воротами гремел, как бешеный! Думаешь, Мигель не заметил? У тебя есть выходные, а сегодня ты на работе, ясно или нет?.. Надо же, и этот негодяй туда! Нет, это уже сверх всякой меры! В моем собственном доме! И чем все только кончится?.. Но коньяк неплох... еще из старой партии. А Мигель так и не попробовал... Понятно, мы теперь все тут такие — с вытянутыми физиономиями. Нет больше радости в Чили. Но если мы сами позволим себя задавить, будет намного хуже: подметут за нами пол — и все. Пока же, к счастью, они еще нас побаиваются... Только интересно было бы посмотреть на них потом, когда наступит настоящая нехватка товаров. Сразу повернут на сто восемьдесят градусов: чилийцы не вытерпят затягивания поясов. Куда там! Уже теперь видно, что народ отходит от них. А слухи распространяются, один умопомрачительнее другого. Как мне сказал Хавьер Вергара, слухи сейчас рождаются сами по себе... Ну, уж на этот раз мы не будем дураками. Первым делом — никаких коммунистов! Ни одного! Они — змеиное жало. Как сказал на днях Фернандо: молотом по голове, а серпом по ...пониже! Сволочи, что сделали с Чили! Заманили в ловушку, а глупцы демохристиане не знают, как теперь из нее выбраться. Но ведь сами уступили дорогу марксистам! Сейчас-то перепугались, а что толку, когда уже пустили их в правительство...

■

Мигель с трудом выложил пятьсот... А с долларами стал совсем прижимистым. Не хочет разбрасываться ими, и мне неудобно повторять ему одно и то же. Так держится за доллары, что просто неприлично было настаивать. Но, между нами, джентльменами, он сам должен понимать, что оставил мало. Конечно, если он со дня на день готовится бежать из страны, тогда ясно, почему цепляется за твердую валюту,— это логично... Но пятьсот тысяч эскудо все равно мало. Плохо умеет считать Мигель. На оборванцев, понятно, много не уйдет, им можно заткнуть рот мелочью. Ну там десять — пятнадцать тысяч. Но у тех, в руководстве фабрики, появился аппетит. Чувствуют, что наступают последние дни Помпеи, и прямо обнаглели... А Мигель никак не хочет понять, что старые времена кончились. Своих считает неблагодарными... Привык кормить свою публику лишь обещаниями да изредка подбрасывал им кое-какие подарочки, чтобы ублажить. А сейчас, если не платить как следует, эти типы могут отвернуться от нас. Они отлично понимают, что работа, которую нужно делать, весьма тонкая. Надо запутать уполномоченных и потом уже разваливать все производство. Тут не обойдешься болтом, который какой-нибудь голодранец сунет в ткацкий станок, чтобы остановить его. «Это работа очень тонкая»,— сказал я Мигелю, а мне то же самое сказал вчера венгр-техник: «Саботаж, но без спешки!» Надо снижать качество продукции так, чтобы у уполномоченных, которые следят за всем, как сычи, даже не возникло подозрений. Чтобы ткани стали никудышными, а никто бы ничего не заметил, все надо делать постепенно — вот как сказал венгр. И тогда наши простыни, например, или рубашки будут расползаться через два месяца... А он дает всего пятьсот тысяч! Доллары же вообще зажимает. Не знаю, что мне скажут теперь венгр и другие, особенно тот, из лаборатории, который все время твердит, что скоро умрет. Он тоже просит доллары. А за несколько тысяч эскудо они и мараться не станут — требуют куска побольше... Выходит, из того, что дал Мигель, даже мне ничего не останется...

Конечно, я его понимаю, я и сам не переношу эту рвань, ни одного не хочу здесь больше видеть! Весь кабинет провоняли, да и дом тоже! Надо же, еще и выпивкой их угощай, да сам и прислуживай! В моем-то собственном доме! А что делать? Что делать?.. А вот что: пусть сюда приходят только те, кто вхож в контору. Иначе можно подзалететь — что обо мне подумают, если увидят у меня в приемной этих голодранцев? Шутки плохи...

Надо бы прогуляться. Уснуть теперь все равно не смогу — слишком разнервничался. А тут еще Кармен сейчас начнет морочить голову своими дурацкими россказнями о Красном Кресте и ежегодной кампании по сбору средств, которая начнется на следующей неделе... Вот еще одна неприкаянная, такая же, как и ее дети, Терукита и Пабло. Живут, словно на луне, не видят, что земля готова разверзнуться под ногами и все полетит к чертовой матери! Похоже, что никто в стране этого не видит: народ-идиот по-прежнему развлекается как ни в чем не бывало. И, главное, люди нашего круга — тоже! Все приличные заведения полны. Наверно, думают, что пришли последние дни Помпеи, вот и гуляют. И это вместо того, чтобы защищаться. А ведь завтра будет уже поздно!

Поеду-ка к Люси, она, по крайней мере, не теряет присутствия духа, как остальные, и умеет успокоить меня... Не знаю только, поджентльменски ли это, так вот, неожиданно, заявляться... Правда, у нее испорчен телефон... Ладно, еду. Люси — женщина умная и не будет подозревать, что я слежу за ней. Тем более что она понимает мое теперешнее положение, да и сама заинтересована...

Заодно и этого балбеса-шофера проучу. Пусть отвезет меня к Люси и ждет там на улице... В контракте определено, что в рабочие дни он должен всегда быть наготове. Пусть усваивает, дрянь такая! А то возомнил о себе...

■

«Брось ты это! Чего добиваешься? Думаешь повернуть все назад? Только сам мучаешься и нас заставляешь страдать... Того, что у нас есть за границей и что сможем увезти, нам хватит на всю жизнь. А если тебе так нравятся фабрики, можешь заняться ими в какой-нибудь стране получше, чем эта: в Бразилии, Венесуэле или не знаю, где там еще... А может, наконец, дашь нам возможность пожить спокойно в Европе, или в Майами, или не знаю, где там еще... Нам ведь никогда не истратить того, что мы имеем...»

Эстер примитивна, все видит только в белом или черном цвете. Чили для нее сейчас — черное, поэтому она предлагает переехать в белое. Как в рулетке. Ей что Майами, что другое место — одинаково... Я, правда, иногда тоже подумываю бросить все и уехать... Но это было бы оскорблением самого себя — оставить тонущий корабль! Это было бы недостойно меня — потомка арабов, хоть и прозвали тут Турком![1] Они так и следят за мной, особенно эти трусишки из аристократов. А того не хотят замечать, что сами первые побежали. Но вот если я уеду, забросают грязью. Они такие. Но у меня более благородная кровь, чем у них, и надо им это показать. Они еще как следует не знают, что такое араб! Араб выше любой этой нечисти, замешанной на индейской крови, и им этого не опровергнуть!.. Херман хоть и напуган до смерти, но когда дело доходит до денег, глаз от них оторвать не может. Проповедует, что надо бороться за общее дело —

[1] Турками в странах Латинской Америки нередко называют любого выходца из бывшей Турецкой империи, охватывавшей территории ряда нынешних арабских государств, часть Балкан и т. д.

«за наше дело», сказал он,— а сам смотрит на меня, как последний вымогатель. Чего-чего, а уж лицемерия-то он никогда не потеряет... Хорошо, что сейчас можно спокойно проехаться по набережной... Эта машина — самая лучшая из всех, какие у меня были... В первый раз сказал «наше дело» и не заметил, свистун, как эти словечки выскочили из его аристократического рта. Лживый дурак. Еще неизвестно, какие примеси есть в его аристократической крови. Индейская-то наверняка — тут все ее имеют. Баскская кровь! Ну и что? Вонючие крестьяне, подыхавшие с голода,— вот кто такие баски. А в Чили сделали себя, видите ли, арийцами! Черт знает каких только кровей в них нет, в этих испанцах и басках, путавшихся и с индеанками, и даже с негритянками. Вот и у Хермана глаза прямо как у негра: белки розоватые. А когда выпьет, еще заметнее. Волосы индейские, а нос картошкой. И поди же ты: всю жизнь живет сеньором, раскормлен, как индюк. В другом месте он был бы никем. В той же Аргентине, например, со своей спесью прослыл бы просто шутом и никто бы всерьез его не принимал. Я же, по крайней мере, знаю свою родословную! Моя история записана в любом школьном учебнике. Культура — если уж говорить об этом! Тысячелетние традиции — если уж говорить об этом! А не какие-то там сто пятьдесят лет, как здесь. Мы идем от финикийцев и даже еще дальше! И не рассказывайте мне сказок, сеньоры! А мавры? Думаете, четыреста лет они зря время теряли в Испании? То-то и оно. А я точно знаю свое происхождение! Кроме того, я окончил университет, а он? Надутый прыщ-конторщик — вот кто он такой... Трудно нам было заставить их снизойти до нас. Все-таки заставили. И заставили делать то, чего хотели мы. Сами не способные создать промышленность, они тянулись за нами на запах денег. Готовы были скорее подавиться деньгами, чем выпустить их из глотки... Сперва хватали урывками, тайно, а потом обнаглели. Достаточно было одному из них пробраться в дирекцию фабрики или банка, как за ним на запах денег сразу же лезли другие. Пришлось призвать их к порядку и оставить только самых нужных... А как общались с нами? Будто делали нам милость — «связывались с турками». И даже разговаривали при нас на особом жаргоне. Словечек всяких наизобретали, произносили их с ухмылочкой, когда представляли нас как своих «друзей и компаньонов». Слава богу, хоть их женщины оказались не такими идиотками. Да и понятно: благородство расы — его сразу видно, оно написано на лице!.. Если бы не мы, они давно бы уже вылетели в трубу, потому что даже янки предпочитают иметь дела с нами, а не с ними. Большинство предприятий здесь — наши. А они вынуждены толкаться сзади и действовать только тогда, когда это нужно нам. Да-да — все время сзади нас. Фамилии у них очень звучные, но все они — в хвосте списка управляющих!.. Я насквозь тебя вижу, Хермансито. Ты считал себя пробивным и всемогущим, как дьявол, потому что двери банков и министерств были открыты для тебя. Министры и начальники департаментов — все твои бывшие школьные товарищи. И тем не менее все, что ты делал, ты делал по моей подсказке. Ты слушал меня со снисходительной улыбочкой, но аккуратно наматывал на ус то, что я тебе говорил, а потом гордился «собственными» идеями. Тебе всегда не хватало тонкости, и где уж тебе было понять, что это я тебе внушил ту или иную мысль: похлопотать в министерстве экономики или в Центральном банке. Потом ты являлся с готовыми бумагами, подписанными и скрепленными печатями до последней страницы, и считал их плодом своего ума... Тебе ничего не стоило спроституировать или испачкать руки — свои и своих друзей — в любом дерьме. Помнишь дело с пряжей? Деньги переводились отсюда туда, оттуда в другое место — и все под видом

американских кредитов. А ты только посмеивался и называл это нашим «долларовым пинг-понгом». Помнишь?.. Ты воображал, что изобретаешь порох, а на самом деле я указывал тебе уже готовые пути. А как ты пыжился, воображая себя советником всех этих глупцов...

Мой спортивный автомобиль — эта «пининфарина» — вызывает у них, пожалуй у всех, приступы зависти. Им тоже нравятся хорошие вещи, но они — скупердяи с интеллектом тех старушенций, которые копят деньги под матрасом, чтобы приобрести недвижимость. А эта автомашина создана для людей, способных заплатить за нее, если нужно, миллиард. Дон Херман и его дружки смотрели на мою автомашину даже со страхом, а на меня — как на сумасшедшего. «Восточные штучки»,— иронизировали они. Недвижимой собственностью обзаводились, а это — мертвый капитал. А теперь всю эту недвижимость у них могут отобрать. Вот они и дрожат, потому что обратить это в деньги, и тем более в валюту, уже невозможно. Хотя у меня отобрали фабрику — нечто живое, то, что придает Чили промышленный характер, чего с ними эта страна никогда бы не имела...

Что им от меня нужно, этим карабинерам?.. Я знаю, что нельзя ездить по городу со скоростью сто пятьдесят в час... Посмотрим, если на меня составят протокол, значит, в Чили, как говорят коммунисты, действительно происходят «глубокие перемены».

...Так. Удостоверение не произвело никакого впечатления. А раньше пополам сгибались, только услышав мое имя,— оно звучало, как «миллиард». Значит, здесь и вправду все прогнило, если даже полицейские смотрят на меня совсем по-другому и составляют протокол, как на какого-нибудь замухрышку из «ситроенки». Вот такие-то дела. Никаких вам донов Мигелей! «Прошу с такой скоростью не ездить, вы в городе, а не на автостраде!» И ни тени улыбки. Составили протокол, даже не выслушав, что эта машина просто не способна ездить медленнее. Никаких объяснений. И сержант, которого я не раз уже видал раньше и который хорошо меня знает, даже в глаза не посмотрел...

Похоже, лучше послушаться Эстер: бросить все к черту и уехать. В Испании или в Париже можно прожить принцем и дать детям королевское образование. Лучше, конечно, в Европу, а не в Соединенные Штаты... Займусь чисто финансовой деятельностью. Хватит мне уже возиться с промышленностью. Там люди ценят деньги и умеют с ними обращаться. За Европой остается еще почти вся Африка и Азия — места для инвестиций хватит на многие годы. Зачем я буду оставаться здесь или в другой стране Латинской Америки, если тут все идет к черту под хвост?..

А Херман затеял всю эту возню только для того, чтобы выбить из меня деньги. Небось думает: нанесу ему еще несколько ударов в последнем раунде. Ни доллара не дам нахалу!.. По глазам вижу, что ему хочется долларов, а не этих бумажек... Пусть его продолжает «подрывать производство», как он говорит, «чтобы вызвать нехватку товаров, а потом нанести контрудар». Только вся эта шайка-лейка, которая ведет по его заданию саботаж на фабрике, напустит в штаны, стоит лишь правительству шевельнуть пальцем. И меня еще замарают. Продадут, как пить дать продадут! И тот венгр, который выдает себя за ярого антикоммуниста и уверяет, что саботаж — это его кровное дело, тоже продаст. А Херман набирает их все больше и больше. Да они хуже Иуды, и никакой из них «ударной бригады», как он называет, не создашь. Чуть их прижмут, и они выдадут нас с головой...

Херман все приписывает к счетам новые имена. Обсчитывает меня, как официант... Ни одного доллара не дам, клянусь!

■

Делегатка-то оказалась орешком покрепче, чем я думал. Сразу сделала строгое лицо, только к ней подкатился после собрания. А когда пошли к выходу и я стал завязывать разговор, все время отодвигалась от меня. А тут еще этот Пузан Лаутаро глаз с нас не спускал. Я так разнервничался, что всю газету измял в руках. Я, значит, спросил, могу ли, мол, проводить ее, потому что хотелось бы задать ей кое-какие вопросы о работе, тем более что мы ездим одним и тем же автобусом. Делегатка ничего не ответила. Пришлось давить дальше про политику, про повышение производительности. А она опять ни слова. Тогда я ей снова — уже с намеком — насчет автобуса. Молчит! Хорошо, что я успел немножко просмотреть газету и на собрании кое-что услышал — все-таки тема. Наконец заговорила. Сказала, что никогда раньше не видела меня на собраниях. Я даже растерялся. Ей, видите ли, непонятно, что такой здоровый лоб, как я,— и на фабрике работает давно,— а только сейчас вдруг заинтересовался вопросами труда. Что тут ответишь? Пришлось сказать, что увлекался спортом, что люблю бокс. После этого она вообще посмотрела на меня с презрением. Неисправимая красная! Даже того не хочет понять, что и спортсмен может быть культурным и воспитанным человеком.

При таком начале нечего было и надеяться на удачу, и не смылся я только потому, что в понедельник надо докладывать сведения дону Херману... Но тут вдруг она сама переменила тему: когда проходили мимо закусочной, сказала, что хочет есть. Я чуть не подпрыгнул от радости — казалось, всякая надежда пропала, и вдруг пошла моя карта. А она еще заявила, что приглашает перекусить. Ну тут уж я выложился: вежливо поблагодарил ее и ответил, что как-никак, а я все-таки мужчина и поэтому плачу я. Она чуть улыбнулась — в первый раз, а я ввернул еще, что если уж ужинать, то лучше пойти куда-нибудь поприличнее. Согласилась без звука. У меня даже сердце ёкнуло от радости — до чего тонко работаю! Точно так, как приказал шеф: поужинать с ней, расслабить, развязать ей язык...

Разговор у меня пошел сам собой: очень мне хотелось разобраться в профсоюзной работе, в политике — ведь до сих пор я был как слепой. Ей, похоже, нравилось это — и мы не заметили, как прошли несколько кварталов до большого бара, где можно было поужинать. Она смотрела на меня, кивала головой, но близко не подпускала, а просто так, вроде подбадривала. Я притворился глупым птенчиком в политических вопросах и намекал, что не прочь бы постичь науку, чтобы служить своему классу и помочь стране в том положении, в каком она оказалась после победы Альенде, за которого я, кстати, голосовал, правда, несознательно. Как настоящая красная, она сразу клюнула на мои враки и тут же стала называть меня «компаньеро»[1]. Молодец, Марио Каро! Ну и молодец!

Я пригласил ее сесть в уголке, она согласилась. А когда я сказал официанту, чтобы он принес к ужину разбавленного вина и фруктовой воды, потому что компаньера чистого вина не пьет, она даже рассмеялась: «Откуда вы взяли, что не пью? Сухое вино пью». Официант, слюнтяй недоделанный, ехидно покосился на меня, будто хотел сказать, что зря, мол, я поторопился отказаться от вина, если хочу завоевать расположение такой красотки. Сволочь!

Вблизи она ничего. Огонька, правда, не заметно. Но не старая,

[1] Товарищ *(исп.)*.

и зубы красивые, только на одном небольшая щербинка, и то почти не видно. И грудь бы выглядела неплохо, если снять с нее эту монашескую рясу. Я уже прикидывал со всех сторон, какова она собой, как вдруг услышал такое, что чуть не поперхнулся: «Я думаю, вы не просто так ходите за мной. Что-то за этим кроется».— «То есть как это «что-то»?» — спрашиваю, а сам едва на стуле сижу. Хорошо, что она не заметила,— в этот самый момент недоносок-официант начал расстилать скатерть и расставлять приборы. Она сказала, что, наверно, я ее обхаживаю как делегатку, чтобы получить на фабрике местечко потеплее, но что я ошибаюсь — теперь не те времена...

Я, понятно, состроил обиженную рожу и спросил, как это она только может такое говорить,— я и не думал ни о какой личной корысти, и если нужны доказательства, то пусть меня пошлют на самую тяжелую работу или переведут из цеха на склад и даже в уборщики. А она все свое. «У вас,— говорит,— глаза плутоватые, и я не верю, что вам интересна профсоюзная работа». Тут я одним глотком опустошил бокал вина. Не мог сдержаться, так разнервничался, вижу — загоняет меня делегатка в угол!

«Теперь у нас в Чили все по-другому, компаньеро, и вы должны это понять, хотите или не хотите. Мы делаем Революцию».— «Вы ошибаетесь, компаньера,— отвечаю,— вы во мне ошибаетесь: я не какой-нибудь ловкач, который ищет теплого местечка». Она замолчала, но, пока жевала, так смотрела на меня, что я прилип к стулу. Артист из меня плохой, и, по-моему, я даже покраснел...

Слава богу, опять улыбнулась, взяла свой бокал, почти полный, и выпила. Тут у меня немного отлегло, тем более она сказала: «То, что вы новичок в профсоюзе, это неважно» — и опять завела разговор насчет пробуждения классового самосознания. И уже не сверлила меня своими глазищами, от которых я ежился, как школьник.

Вот выпьет еще бокальчик и размякнет, прикинул я и сам уже начал пристальнее вглядываться в нее. Я знаю женщин — даже у самых стойких развязываются тесемочки, если им уставиться в глаза. Но тут она меня опять огорошила, когда сама вдруг подняла бокал и сказала: «За ваше здоровье, компаньеро, и за реквизицию!» Я чокнулся и выпил. «За реквизицию, компаньера,— говорю,— за то, чтобы фабрика осталась нашей». Я было совсем уж приободрился, видя, как она мягчеет и становится добрее ко мне. Даже попробовал прижать под столом ее ногу, как в автобусе,— посмотреть, что она будет делать. «Ваше здоровье, компаньеро, но вы ошибаетесь — фабрика не наша, она принадлежит всем трудящимся страны». И опять пошли эти красные проповеди. Но я почти не слушал: ногу-то не убрала. Не я буду!

Плохо только, что вино действовало на меня сильнее, чем на нее. Понятно, я был с похмелья, ночь не спал, да и нервничал. Чуть даже не забыл, зачем пришел, то есть узнать то, что интересовало дона Хермана. Если бы выпил еще бокал, совсем бы раскис, поэтому навалился на еду. А сам все думаю, что этот праздничек влетел мне уже больше чем в шестьдесят эскудо — и из моего собственного кармана...

Делегатка, как заигранная пластинка, тянула одно и то же насчет того, что мы, рабочие, впервые имеем свой голос и права в управлении промышленностью. А я придумывал, как бы мне вытащить из нее что-то такое, что понравилось бы дону Херману. Но вдруг она задала мне вопрос, который смущал меня всю жизнь: мог ли я, например, учиться в детстве? Я был уже здорово на взводе, и она застала меня врасплох, потому, сам не знаю как, я выдал ей свою тайну. Моя мать дала мне доучиться до последнего класса, жертвуя собой. Она занималась

проституцией в том местечке, где мы жили, но каждое утро гнала меня и сестренку в школу, сама еще полупьяная и с мужиками в доме.

Когда я это рассказывал, чувствовал, что пьянел сильнее, чем мне хотелось. Или это делегатка так действовала на меня своим взглядом? Ё моё, никогда никому в мире не раскрывал я своего позора, а тут вдруг выболтал все женщине, с которой только что познакомился. Самому стало так стыдно, что я выпил еще бокал и, стукнув кулаком по столу, крикнул, чтобы принесли новую бутылку. Она сказала официанту «не надо», дотронулась до моей руки и таким голосом назвала меня «компаньеро», что я вконец расстроился...

■

Если дон Мигель рванет за границу, о нас он и не подумает. И этот Херман сразу сникнет... Дону Мигелю деньги обменяют на валюту, раз его так здорово нагрели с фабрикой. Кроме того, у него наверняка уже есть немалый куш за границей. Болтают, будто в Швейцарии. Не знаю, правда это или нет, но деньги за границей он должен иметь — Турок не дурак... И бросит нас не задумываясь, особенно меня. А я уже давно на мушке у профсоюза, как верный человек хозяина. Только и ждут, когда можно будет начать, набросятся, как псы...

Хорошо еще, у этого обалдуя Марио что-то получилось с делегаткой. Вон они идут. Надо посмотреть: зайдут куда-нибудь или она бросит его на улице. Ведь он — дубина, двух слов связать не может, начнет нести какую-нибудь околесицу. Только разозлит ее своими дурацкими разговорами. Уж не знаю, как он ей будет «развязывать язык», если она в этих делах крепче камня, а в политике подкована на все четыре копыта. Вмиг раскусит, зачем он клинья вбивает...

И у меня еще заданьице — «координация», как сказал хлюст Херман, который корчит из себя аристократа. Понятно? Ко-ор-ди-на-ция! Я должен брать на заметку все, что делают эти типы, внедренные. Так он приказал: следить за ними, завести блокнотик и записывать все. Но делать это с умом, чтобы никто не мог понять ничего, если блокнот сопрут на фабрике или я сам его потеряю. Так как же записывать? А вот как. Марио Каро, например, я дам имя какого-нибудь жеребца с ипподрома, а делегатке — кобылы. Как вам это нравится? Варит котелок у Лаутаро? А мне ничего не стоит разобраться в этих заметках. Я уже по этим записям могу сделать отчет за три дня, а если считать и сегодняшний, то и за четыре. Хлюст Херман не может обижаться, должен оценить работу! Теперь-то уж я твердо поставлю вопрос о повышении оплаты... Если завтра Пальма из чесального цеха испортит машину, как обещал, будет очень кстати — и его приплюсую к списку для дона Хермана. Пальма сказал, что сработает, как часы, так, что комар носа не подточит... Правда, он и соврет — недорого возьмет. Но было бы хорошо — как часы! Он хотел что-то там сделать с электроприводом, а мелкие запчасти, нужные для ремонта, спрятать. Только бы выполнил... Это вам не гвозди или куски железа бросать в машины, не детские шалости, на которых враз погоришь. Потому что у этих типов из комитета бдительности глаз наметанный и ушки на макушке. Я так всех и предупредил — чтобы ходили на цыпочках...

Так. Кажется, сели ужинать. Ну здесь их и оставлю. А Марио-то Каро, выходит, не такой уж дуб — действует. Правда, может быть, просто треплется о чем-нибудь или наоборот — красная его охмуряет. Все-таки дурак набитый. Считает себя неотразимым, потому что вывеска красивая, а ведь не знает ни черта и ума ни на грош! Один форс... Завтра прикажу ему, чтобы все мне доложил, как было, для сообщения дону Херману. Шеф не хочет, чтобы кто-нибудь еще при-

ходил к нему. Хочет иметь дело только со мной. «Только с тобой, Лаутаро. Ты мой координатор». Каково, а? Правда, могут случиться неприятности с этой публикой — будут говорить, что я зажимаю деньги, которые через меня передает дон Херман...

Но в общем дела идут неплохо, грех жаловаться. Особенно мне. Я — человек преданный, Турок и дон Херман это знают. Поэтому и платить мне должны особо. Кроме того, они должны понимать, что если я, допустим, выверну пиджак наизнанку, то погублю им все дело. Шепну, к примеру, пару слов какому-нибудь земляку из комитета бдительности, и все у них полетит к чертовой бабушке. Поэтому мне должны быть привилегии. Да, уж если теперь не ухватить свой кусок торта, то не видать тебе его, Лаутаро, никогда. Тебе всю жизнь не везло...

Уже восемь... А не завалиться ли мне к Лусии без предупреждения? Пошлю ее купить бутылочку и колбасы, а то проголодался и пить хочется... Может быть, сегодня она никуда не пошла. Или наоборот: застану ее, стерву, с кем-нибудь. Она такая, и теперь ее от этого уж не отучишь. А клятвам ее я не верю. Сейчас, когда у меня завелись деньжата, поутихла и опять ластится ко мне. Так же, как бывало, когда я выигрывал на скачках: так и льнула, халява. Думает, я не соображаю, что все ее сладкие слова — ветер...

Пузан Лаутаро! Пузан, ну и что? А в постели Лусия знает, каков я, особенно если в охотку и под градусом...

Вот он, мой тортик-то, вот тут, в кармане. С ним все можно, даже на такси поехать могу... Хотя теперь таксисты боятся останавливаться на улице. Но я крепко выпил — не подумают же они, что я их грабить собрался. Правда, пока еще рано, и можно дойти до улицы Индепенденсиа пешком, чтобы не торчать и не ждать в этом поганом районе. Ведь легче отыскать задницу у святого духа, чем в Сантьяго такси. Вот вам и плоды Народного единства. Тащись теперь аж до самого проспекта и смотри, не проедет ли случайно свободное...

Я знаю, знаю, чего они хотят. Вернуть фабрику Турку — это для Хермана не главное. Главное — подготовить большую заваруху, втравить в драчку народ с оружием. А не так, как было в тогдашнем году, когда прихлопнули генерала Шнейдера[1]. Сперва остановить производство и тут и там — везде! Как мы это делаем на нашей фабрике, чтобы потом народ увидел результат Народного единства: ни еды, ни одежды. Вот тогда-то и заварить кашу. Поэтому дон Херман и прощупывает меня потихоньку насчет оружия: есть ли у тех, кто с нами связан, револьверы или пистолеты. Я думаю, ни у кого нет, кроме Моралито. Но Моралито — отпетый тип, и всем известно, какими делами он занимается. Скажу шефу, что ни у кого нет: может, добудет. Тогда, даже если дело провалится, все-таки останешься с собственным оружием — и то уж неплохо. Потому как эта затея насчет мятежа может оказаться пшиком, особенно теперь, когда и полиция и армия на стороне правительства. В любом случае надо хапать деньги, и как можно больше! Сейчас же — потому что, даже если победят и вернутся к власти эти хлюсты, тогда мы уже ничего не получим. Это я знаю и без книг. Раньше, когда Турок был фабрикантом, он больше любезничал со мной, чем я с ним, если ему надо было показать, как он заботится о спорте и какой он хороший хозяин. Но деньжат не давал. Похлопывал по плечу, улыбался — и все. А та паршивая медаль, которой он меня наградил? Я думал, в ней хоть крупинка золота есть... Шиш!

---

[1] Генерал Рене Шнейдер Черо — главнокомандующий чилийской армией, был убит в октябре 1970 года реакционными заговорщиками, выступавшими против Народного единства.

Я-то знаю... На фабрике среди руководства и администрации есть люди, которые тоже замешаны в нашем деле, только пока еще не все ниточки нащупал. Вот там должны течь большие деньги. И прямо от Турка. Эти служащие — такой народ, глотка у них разработанная, крохами их не накормишь. Тем более если они понимают, что это последнее, что можно сорвать с Турка, а потом надо будет сматывать удочки, потому что профсоюз всех их держит на примете, как хозяйских выкормышей. Уверен, что венгр — один из самых ярых среди них. Он прямо фанатик, и, когда слышит разговор о коммунизме, у него дыбом встают последние волоски, которые еще остались вокруг лысины.

Посмотрим, что мне скажет сейчас Лусия. Если она дома. Только ведь наверняка путается с этими хлыщами с Индепенденсиа — не знает, что я сегодня приду. Нравятся ей молодые хахали, хотя самой уже под сорок.

■

Ты должна извинить меня, Люси, я уже не тот, что раньше, и, может быть, даже покажусь тебе скучным. Эти сволочи вывернули мне всю душу, и я уже не тот. Нет больше радости в Чили... Спасибо, не надо. Впрочем, налей немножко джина, того, что мы пили в прошлый раз. Правда, я уже выпил коньяка... Боюсь, что некстати побеспокоил тебя, дорогая... Ты смотрела телевизор?.. Я понимаю — приходить без предупреждения неприлично. Но ты так хорошо выглядишь без косметики. Как, помнишь, по утрам, когда мы просыпались в Антумалале, на юге. Такая свеженькая, а я лезу тут со своими заботами. Да не выключай ты телевизор, смотри, а я отдохну здесь в моем кресле, подожду, пока окончится передача. Ну что же, если хочешь, принеси мне тапочки «хозяина дома», как ты любишь называть, я надену их, может быть, это отвлечет меня немного. Но на душе так тяжко, словно камень лежит, и, боюсь, тебе будет скучно со мной. Оставь меня здесь, а сама иди досматривай свой фильм. Что за картина? А, вижу — с Хемфри Богартом? Что-нибудь древнее? Иди, иди, не беспокойся, я отдохну здесь...

С СОФОФА[1] дело идет, на мой взгляд, неплохо. Взяли правильное направление и твердо его придерживаются. Положение в промышленности преподносится ясным техническим языком. Это — то, что нужно. И цифры. Убийственные цифры, чтобы раз и навсегда окончить этот сентиментальный диалог с правительством. Он годился вначале, после дела Шнейдера, когда мы попали в тяжелое положение и были дезорганизованы. Но теперь хватит. Нужно, чтобы «Меркурио»[2] прямо и недвусмысленно, основываясь на цифрах, предсказывала бы кризис на будущий год. Я всегда говорил, что чистый террор изжил себя и не даст желаемых результатов. Глупо также изображать коммунистов злыми волками. Они отличные актеры и умеют преподнести себя тихими левыми овечками. И этим самым компрометируют нашу печать. Коммунисты даже, наоборот, сдерживают от крайностей остальных, особенно мелкие партии, и приобретают славу демократов, ловкачи. А Херардо этого не понимает. Посольство тоже. Мы им тысячу раз говорили, что нельзя сосредоточивать весь огонь на компартии, как они требуют: коммунисты не дают для этого поводов. Больше всего шумят другие. Мы неоднократно повторяли это Херардо, а он наверняка сообщал своим друзьям из посольства янки. Мы и сами прекрасно понимаем, что бороться надо против коммуни-

[1] Ассоциация содействия промышленному развитию.
[2] Крупнейшая реакционная газета, выходящая в Сантьяго.

стов, что это они задают тон и постепенно добиваются своего. Именно они одну за другой подрубают опоры всего нашего здания, чтобы потом оно развалилось под собственной тяжестью и похоронило нас всех...

Но как бороться, господа? Мы сейчас не в шестьдесят четвертом году, когда Джонсону ничего не стоило направить свою техасскую ковбойскую лошадь в любую страну, где гидра поднимала голову, например, в Санто-Доминго или в Бразилию. Это было бы нужно сделать и у нас теперь. Джонсон был человек дела, но мир погубил его своими интригами, и всем нам от этого больно. Если бы он и сейчас еще был у власти, у нас не случилось бы подобной катастрофы. Потому что теперь Вашингтон или ретировался, или смеется над нами, бросив нас на волю божью. Правда, может быть, этим янки сейчас просто не до нас, как объясняет Херардо, из-за той западни, в какую они попали во Вьетнаме, а также из-за внутреннего кризиса, раздирающего их страну. Где уж им заниматься нами, если японцы и даже немцы их глотают заживо со всей их мировой империей. Это-то точно...

Бедная Люси и не подозревает, что нас ждет, хотя и умная. Она видит у себя в парфюмерном магазинчике, что торговля идет даже резвее, чем раньше (и это самое смешное в людях — покупают все подряд, как в лучшие времена). Поэтому ей трудно понять, что меня угнетает. О завтрашнем дне она не думает. Может, принимает мои слова за признаки старческого слабоумия. Старческого — в сорок восемь-то лет! Ну, не будем уточнять... Бедненькая, опять я на нее скуку нагоняю. Но если никто не будет беспокоиться, все постепенно развалится и сами мы полетим в тартарары. Потому что эта «революция по-чилийски» — как опиум: никто ее не чувствует и все незаметно засыпают, а марксисты ждут момента, чтобы нанести последний удар. Никто ничего не чувствует, у всех завелись деньги: от последнего босяка до порядочных людей. И тратят все подряд... Я сам с этими делами совсем утопаю в деньгах. Главное, приходится хранить их дома, потому что класть в банк — глупо, если в любой момент все Чили может оказаться в лапах хищников из Народного единства. Только на кой черт нужны эти эскудо, если с ними нечего делать? Поэтому люди и покупают все подряд, как сумасшедшие. Ведь сочтут за глупца, если вздумаешь сейчас вложить деньги в какое-нибудь дело. Правда, есть еще ненормальные в той же СОФОФА, которые попадаются на удочку. Просто не верится. Приличные люди — из наших,— и дают себя обмануть: радуются, что сейчас производство и продажа возрасли. Бесполезно убеждать их, что они губят свои капиталы и губят оборудование, что потом придется вообще остановить производство, потому что не будет ни запчастей, ни валюты для их приобретения. Но все живут, как в сладком сне, даже улыбаются правительству...

А вот Мигель, кажется, приуныл. Конечно, по нему ударили крепче, чем по другим: оставили без фабрики. И его не очень вдохновляет то, что мы собираемся сделать и что каждый сознательный человек, которому есть что защищать, должен делать. Думаю, что он может неожиданно уехать за границу, даже не предупредив нас, и тогда все у нас разладится, как раз в тот момент, когда кризис на пороге.

Понятно, Мигелю можно уехать. Удар застал его с крупными вкладами в Нью-Йорке, а кроме того, в Далласе и на Багамах. Даже в Швейцарии у него должны быть деньги — Турок не дурак. Поэтому и юлит и дает только чилийские эскудо. Притворяется глухим: ни одного доллара. Нет — не дурак, а хочет уехать, послав все к черту.

Но и то надо понимать, что он нездешний, хоть и родился в Чили. У него нет корней здесь, как, скажем, у меня. Мне было бы тяжело оставить родную землю, даже ради какой-нибудь менее прогнив-

шей страны. Всегда, когда ездил в Европу или в Северную Америку, я скучал, хоть и не говорил об этом. Париж и Нью-Йорк — это приятно ненадолго, а в Буэнос-Айресе или в Рио ты вообще чувствуешь себя как дон Никто. Для меня, чилийца, деды и прадеды которого тоже были чилийцами, остаться жить навсегда на чужбине — трагедия...

А венгр — этот желчный болтун — так ничего и не сделал. Вот только что я в машине слушал по радио последние известия: производительность на фабрике растет. Понятно, сведения идут от представителей власти, но если бы это было не так, они не осмелились бы указать цифру: более двадцати процентов! Странно. Хоть это и враки, все равно странно. Если они так заявляют, значит, какая-то правда в этом есть. Ну и, естественно, как тут Мигелю не досадовать? Шандор Телеки долго и скучно объяснял нам обоим на своем техническом языке, как он пытается внести ухудшения в качество тканей. Но если производительность растет, то смысл этого теряется. Пока народ поймет, что ткани стали хуже, чем при Мигеле, будет уже поздно и политическое значение улетучится...

Нельзя исключать, что Телеки — проходимец... Если уполномоченные знают, что он антикоммунист, они с него глаз не спускают, и практически он ничего делать не может... В то же время он больше, чем другие, требует долларов. Даже я не веду себя так бессовестно перед Мигелем. В конце концов я вынужден был выложить этому венгру доллары из собственного кармана. Видимо, он тоже хочет улизнуть отсюда, бессовестный, и оставить нас ни с чем. Вместо того чтобы точно доложить, чем конкретно он занимается со своей группой, морочит нам голову россказнями о «венгерской революции 1956 года». Чего он добивается, стараясь доказать нам свой антикоммунизм? Вспоминает всем известные вещи о событиях в Будапеште, о коммунистах и черт знает о чем... Если мы не будем сопротивляться, то, видите ли, коммунизм поглотит Чили. Кому он это говорит? Глупо!.. Это или крупный шарлатан, или просто свихнувшийся тип, помешавшийся на войне и революции: он сам рассказывал, что во вторую мировую войну воевал и был членом нацистской партии. Совершенно изводит своими рассказами. Видит, что Мигелю все это надоело, и все равно плетет и плетет. Не прерываем его только потому, что мы люди воспитанные... Завтра же вызову его и потребую объяснить это странное увеличение производительности, которое несомненно и обоснованно вызовет гнев Мигеля... Он уже тоже, наверно, слышал об этом... Пусть объяснит мне все как есть и чем там занимаются его люди. В прошлый раз унес ни много ни мало — двести тысяч эскудо. Кроме того, я вынужден был добавить ему триста долларов из своих... Не хотелось бы мне устанавливать новые контакты, но надо будет встретиться и с остальными, чтобы уточнить, чем же занимается Телеки, куда девает деньги, которые мы ему даем, и все-таки — как они объяснят увеличение производства. Придется приглашать их домой, в центре встречаться с ними не совсем прилично...

Кажется, я уже начинаю больше доверять этим босякам, которых вовлекли в наше дело. Обходятся они в медяки, а докладывают все до мелочей. Слушать их скучно, но зато они чувствуют себя под полным нашим контролем.... Интересно, как идут дела у этого примитива бабника, которому я поручил «влюбить» в себя красную делегатку из профсоюза? Любопытно, удастся ли ему? Тогда, по крайней мере, мы бы знали кое-что о настроениях среди рабочих. Кстати, его нужно иметь на примете и на тот случай, если придет час вооруженных выступлений...

Люси, дорогая моя, я чуть не задремал здесь. Это такой хороший отдых. Ведь целый день в делах: то одно, то другое. А здесь у тебя

точно оазис. Садись сюда, любовь моя... Нет, джина я больше не хочу. Понравился фильм моей крошке? Хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебе, как всегда, рассказал о делах?.. Дела идут, хотя и не так быстро, как хотелось бы... Что ты сказала? Ну, твоя вера в армию просто забавна. А мы что же, должны сидеть сложа руки? Да-да, забавна, хоть ты и сердишься, моя маленькая. Армия теперь уже не та. В ней нет уже наших людей, как прежде. Твоя очаровательная головка должна хорошо это усвоить.

А как дела в твоем магазинчике? Иди ко мне, любовь моя, оставим эти разговоры...

■

Не получилось у него с доном Мигелем, а теперь на мне зло срывает. Мог бы и сам доехать до своей зазнобы. Всегда так делал. Нет, притащил меня. Специально, чтобы поиздеваться. Ему, видите ли, плохо обслужили Турка! Злится, что я слышал, как Турок отчитал его. Старый воображала все еще пыжится, как и раньше, хотя пора бы уж и поутихнуть... Крепко их взяли за шиворот и будут давить, чем дальше, тем больше. Правда, я. как шофер богача, да еще шофер с облегченным рабочим днем, тоже кое-что потеряю, но все-таки хотелось бы посмотреть, как их совсем скрутят. Даже дома поотбирают...

Он-то за два часа натешится там вволю, а я сиди вот в машине, как евнух, хотя как раз я бы сейчас — ух!.. Можно было бы соснуть это время, да сон не идет, так я настроился нынче на Матильдиту... Она хоть и сухощава, но лицо доброе, мне всегда такие нравились. Потому донья Кармен и взяла ее из служанок на работу в Красный Крест. Неплохо старуха относится к ней, как к сеньорите...

Надо же, сколько сил я положил, сколько времени пришлось добиваться, чтобы Матильдита, наконец, согласилась сходить со мной в театр, и сам же не пришел. А все из-за этого паразита Когда он не в настроении, то становится прямо собакой. Глаза злющие. Нарочно измывается надо мной — знает, что работы у меня немного, почти весь день болтаюсь без дела... Что правда, то правда, потому как работай я шофером в другом месте — на грузовике, автобусе или на том же такси,— целый день бы не выпускал баранки из рук, да еще скандалы с пассажирами... Уход за Прозитом небольшой — сейчас никто на него не обращает внимания. Пару раз в неделю вымоешь, расчешешь — и хватит, выглядит вполне прилично... Даже собаки у них и те аристократы. От рождения...

А я разнесчастный! Когда приезжаешь к себе в деревню, на тебя смотрят так, будто ты прилетел с Луны. Девчонки разглядывают с ног до головы, наверно, думают, что я тут большая шишка. Не понимают, недотепы, что куда бы я ни сунулся — нет мне везенья. И если там я был на побегушках, то здесь мне еще хуже — помыкают, как хотят. Как вот этот, например, щеголь взял и не посчитался со мной: держит тут, словно на привязи. Если бы наши деревенские знали об этом... Как-то там Рамон? Хотел тоже приехать сюда, родные просили приискать ему местечко. А где искать? Думал поговорить насчет его с Турком, а у того самого отняли фабрику и все пошло прахом. Рамон еще подумает, что я плохой друг. Мне и самому неудобно перед ним — когда приезжаю, он с такой завистью смотрит на мою одежду...

Но если я немного и переменился в городе, то только снаружи... А не считая барахла, которое на себя напялил, да перемены в еде, я остался все таким же... В деревне, по крайней мере, жилось веселее: бывало, соберешься с дружками, скинешься, у кого сколько есть, дерябнешь как следует — и хорошо. Деньжат не было — верили и в долг. А тут в Сантьяго по праздникам шатаюсь все время один, иду

куда глаза глядят. Кино осточертело, а если заглянешь в бар, надуешься пива — потом опять один на улицу. Тоска. Не знаю почему, но здешние девки не смотрят на меня — просто свинство с их стороны. Наверно, еще заметно, что я из деревни. Дело, конечно, в том, что тут парни умеют кривляться, а это девчонкам нравится... Я уж и гриву себе отрастил — еще чуть-чуть, и будет, как у Пабло,— но все без толку. Купил рубашек самых пестрых — все равно ничего не получается. Проходят мимо, не оглядываются... Брать с панели этих?.. Но они теперь здорово подорожали. Понятно, столько желающих болтается по улицам, и все при деньгах...

Хорошо, что есть Матильдита. Конечно, придется просить у нее прощения, только вот как это делается. Она нежненькая и даже, кажется, сочувствует мне, хотя и образованнее меня... Но как вести себя с ней, чтобы она не заскучала? Танцевать я не горазд, в твисте, к примеру, никак не научусь ноги переставлять. Хорошо бы, ей не нравились танцы... А что, если на «Ритмы» пригласить? Вдруг она окажется разговорчивой, тогда, может, и не заметит, что я такой тюфяк. Вот здорово, что вспомнил про «Ритмы»,— на них и приглашу.

Мать честная, гляди-ка, на углу-то вроде драка завязалась. С палками! И, кажись, железные банки пошли в ход. А-а, это красные из «Бригады Рамоны Парры»[1], из тех, кто пишет революционные словечки на стенах. Жарче и жарче... С кем же это? Пожалуй, лучше не высовываться из машины, а то еще схлопочешь пулю в лоб.

Понятно. Схватились с петухами из «Патриа и либертад»[2]. Те все время вылезают по ночам, чтобы где-нибудь подловить коммунистов. Точно — они! На днях возил я дона Хермана на какое-то собрание, затянулось оно часа на три, и с ним ехали двое из таких же. Слышал я, как они говорили, что надо любой ценой приструнить бригадников «Рамоны Парры». Да, похоже, каша заварилась большая — кое-кого и насмерть могут ухлопать. Вон один побежал. Удирает, а за ним топает верзила из «Рамоны Парры». Плюгавый-то наверняка из «Патриа и либертад». И не подумаю защищать — очень мне надо выслуживаться перед доном Херманом. Но, похоже, здорово ему поддали, даже в темноте заметно. Вроде сюда бежит. Будет просить, чтобы я открыл ему дверцу. Будто чувствует, чья это машина, и надеется, что здесь ему помогут. Наверно, увидел марку «мерседес». Но нет, ввязываться не буду. Какое мне до него дело? Если бы этот надутый прыщ дон Херман относился ко мне получше, тогда другое дело. А так ни к чему мне кулаки мозолить, каштаны из огня таскать, да к тому же из-за какого-то придурка, которого я даже не знаю...

Хорошо, что пробежал мимо. Остальные наверняка еще дерутся где-нибудь на соседней улице. Только моя хата с краю — я не вмешиваюсь... Но свалка, похоже, приличная. Даже девчата из «Рамоны Парры» давали жизни петухам — как они бросали банки с краской!

На улице черт-те что творится, а щеголь и не собирается выходить! Заснул небось. Не думаю, чтобы столько времени он возился с доньей Люси. Охота-то у него и есть, да староват он для таких скачек. Ей-то что, она еще и не такое может. Так и крутит задом. Даже меня проняла в тот раз, когда пришлось везти ее в Винья. Застоялась, что ли?.. Села рядом со мной на переднее сиденье и всю дорогу рта не закрывала. Рассказывала всякие анекдоты — обсмеешься. И ляжки

---

[1] Рамона Парра — молодая работница, убитая при расстреле демонстрации трудящихся в Сантьяго в 1946 году. Ее именем названы молодежные отряды содействия правительству Народного единства.

[2] «Патриа и либертад» («Родина и свобода») — контрреволюционная группировка фашистского типа

показывала: эта чертова мини-юбка выше колен, а из-под нее — кружева.

Конечно, я понимаю щеголя: ложиться спать с доньей Кармен — все равно что положить себе в кровать суковатую палку. Только она сама виновата. На два года моложе его, а по своей глупости не следит за собой: седину не скрывает, не красится, поэтому и выглядит старухой. Я бы и то на нее не польстился, как бы ни приспичило. Как сейчас, к слову сказать. Даже за деньги бы не стал... Деревенские женщины — другое дело, пусть того же самого возраста. Особенно из тех, которые сатанеют, когда подопьют, и начинают отплясывать куэку. Там можно и вдохновиться, а с этими святыми мощами — ни за страх божий. Ничего ей, конечно, и не остается для своего удовольствия, кроме Красного Креста.

Ну, вышел, наконец, щеголь. Три часа проторчал, уже около часа ночи. Идет заспанный, видать, крепко выпивши. Может, постесняется, не будет трепаться по дороге.

Разит женскими духами. Забился в угол, молчит. Похоже, недовольный. Не так, как бывает, когда сбросишь с себя лишний груз и чувствуешь во всем теле легкость. Наоборот, видно, что-то щеголя гложет изнутри. Ну и пусть сидит со своей хандрой.

А я поеду помедленнее...

■

Сенсация дня: увеличение производительности на моей фабрике на двадцать процентов. Даже в двенадцать ночи экспроприаторы сообщают об этом! Неплохое успокоительное на сон грядущий...

Эти хамы опять оставили доберманов непривязанными!

— Кафади, Сафира, свой же! Пошли прочь!

Машину оставлю в саду, нет никакого желания загонять ее в гараж. Пусть мокнет. Все равно останется сиротой здесь, в Чили, и превратится в развалину, как любой автомобиль и как любой человек. А может, попадет в хорошие руки. Хотя трудно поверить, что сейчас кто-нибудь осмелится показаться в такой машине на улице. Даже эти, из правительства, вряд ли рискнут — они пока пуритане в вопросе о роскошных машинах. Мокни здесь, мой красавец.

На двадцать процентов! Теперь Херман, венгр и вся эта трусливая свора, не сделавшая ничего из того, что обещала, начнет извиняться. Хватит, сеньоры! Шоколад кончился. И еще долларов хотят, нахалы!

На двадцать процентов! Можно представить себе заголовки завтрашних левых газет. А на следующий месяц — еще десять или пятнадцать процентов! На сколько хотят, на столько и увеличат. Машины там стоят хорошие. Одновременно будет расти и ненависть ко мне. Будут изображать меня как каналью номер один. Никто не захочет понять того, что в капиталистическом мире каждый хозяин крупного производства имеет право на сокращение или, наоборот, на интенсификацию производства, когда это нужно. Но их интересует прежде всего политическая сторона. Они не дураки... Нет, пора мне уезжать отсюда. Эстер права. Оставаться в Чили становится просто небезопасным, даже в физическом смысле...

В кабинет, что ли, зайти. Хотя пить мне сейчас ничего не хочется — от спиртного лишь разгуливаются нервы, не могу заснуть,— но стопку чистой араки[1] пропущу. И выкурю сигару...

Пришел час больших решений, Мигелито. Вот ты в своем доме, в своей библиотеке. Кругом твои любимые вещицы, на стенах — кар-

[1] Арака — рисовая водка.

тины, навязанные в свое время декоратором... Дали, в лучшем случае фальшивый... Брак — тоже... Да, другие были поумнее — отправляли имущество самолетами на следующий же день после поражения. Ты не отправлял, уверяя, что ничего не случится. А теперь вот находишься на грани ареста только за то, что крупный промышленник.

Двадцать процентов! А эти канальи из группы Хермана, да и сам он, продолжают болтать, что жмут на все тормоза, чтобы развалить производство. Слышал я объяснения этого рехнувшегося болтуна Шандора Телеки: пытался убедить меня, чтобы я не беспокоился, поскольку их стратегия, дескать, направлена на подрыв качества, а не объема. Сплошной набор технических терминов, которые и понять-то невозможно. А остальным вообще нечего сказать. Ну что мне скажет Харамильо? Клялись, что производительность будет падать уже сейчас, какие бы меры ни предпринимал профсоюз, сдирая семь шкур с рабочих и оставляя их на сверхурочные часы. Занимаются всякими пустяками, бессовестные! То перепутают какие-нибудь компоненты, то спрячут запчасти или еще не знаю, что там сделают,— но все это мелко в масштабах фабрики. Мушиные укусы. До смерти боятся комитетов безопасности. А когда тянут руки за деньгами, не боятся! Я даже этому пузатому больше доверяю, чем им. Как его? Кажется, Лаутаро. Но что бы они ни делали — все это абсолютный пустяк для фабрики в целом, хотя и заверяют, что уже вывели из строя несколько машин...

Отец бы умер, увидев это! Как в сказке из «Тысячи и одной ночи»! Отобрали все: огромные здания, котельные, склады, тепловоз, вагоны, грузовики, джипы, автомобили. Никакой маг не смог бы сделать этого столь же быстро, как этот Вускович[1], и никакая волшебная птица не унесла бы за один раз столько в своем клюве.

А как все это создавалось?! Постепенно, понемногу. Фабричонка в Реколете, где маленького Мигелито учили поворачивать рукоятки на огромной ткацкой машине. Мастера, помогавшие отцу, еще называли ее «Панчитой». Как-то, помню, взяли они мальчика с собой на загородную прогулку, научили запускать бумажных змеев. Потом турчонок Мигелито — учащийся Высшей школы, затем адвокат, отличавшийся прекрасной памятью, автор «Эволюции трудового права», премированный почетной стипендией Колумбийского университета. И наконец Мигелито — наследник. Он — президент спортивного автоклуба, вице-президент клуба «Лас Кондес», директор «Лос Пичонес» — стрелкового клуба. Он — юридический советник «Арабского стадиона», генеральный секретарь «Арабского центра культуры», почетный директор «Уэлен футбол-клуба», детского футбольного клуба «Крошка Пеле», член «Кружка исламистских исследований», латиноамериканский корреспондент «Гасета де Бейрут», президент «Восточной компании страхования от огня», директор страховой компании «Дамаск», вице-президент Арабско-чилийского банка...

Мигель, Мигелито, ну зачем ты в час ночи пьешь свою араку, если даже не знаешь, что с тобой случится завтра утром? А по утрам, в семь, ты всегда занимался гимнастикой: пять минут гребля на специальном станке, пять — велосипед, две — штанга, три — гантели. Двадцать минут для того, чтобы в здоровом теле Мигелито на весь день сохранился здоровый дух. И этот настоящий гимнастический зал ты должен будешь бросить. Целый музей Мигелито: здесь и шлюпка, и велосипед, punching-ball[2]...

...Дон Хорхе, вас хотел бы видеть дон Мигель. А-а, пусть пройдет,

[1] Педро Вускович — в то время министр экономики в правительстве Альенде.
[2] Тренировочная боксерская груша *(англ.)*.

пусть пройдет. И это говорит дон Хорхе, который никогда никого не принимает в час своего чаепития!.. Проходите, садитесь, Мигель, сын мой... Извините, дон Хорхе, что запоздал: я должен был прийти в четыре, а теперь уже пять... Неважно, сынок, выпейте со мной чаю... Я видел, как у него тряслись руки, когда он брал печенье, как дрожала чашка... «Мы проиграли,— подумал я,— нам уже не победить. А если и победим, то все равно мы сами умрем от дряхлости еще по дороге в президентский дворец...» Вы, Мигель, всегда в боевой готовности — истинный турок. Хорошая у вас здесь колония, сынок. Вы всегда первыми откликались на патриотические призывы. Раньше это делал ваш папа — мы с доном Элиасом были старыми друзьями. И с сеньорой Эленой — вашей мамой — тоже. Да вы наливайте себе чаю, сын мой... Я жевал печенье и знал: все потеряно. «Поворот истории», как это называют коммунисты,— я его чувствовал в пять часов пополудни в полумраке этой столовой. Мы сидели с ним как бы вне времени, его голос был нереальным. Лидер чилийских правых уныло похрустывал печеньем.

«Молодцы, турки, вы всегда наготове, всегда первыми приходите на зов,— повторил он.— Здешние совсем подавлены, а вы... — Он отхлебывал чай и улыбался,— вы, турки, отлично понимаете, какая опасность нависла над Чили. И вы, юноша, тоже хорошо это знаете...»

■

Мать честная, совсем раскис, и делегатка видит это. Язык заплетается, и вообще не знаю, что говорить. Правильно — как раз сейчас отходит последний автобус... Ну, если не успеем на этот, поедем на другом, который идет в Матукану, а там возьмем такси... Не беспокойтесь, компаньера, я провожу вас до самого дома. Да нет, что вы... Просто я немного устал — здорово поработал сегодня, потом наше собрание чуть-чуть затянулось. Нет, не скучно, как вы только могли подумать?.. Усталость, а тут мы с вами еще выпили, вот немного и развезло... Точно, я плохо переношу вино... особенно по вечерам. Не поверите, даже вы можете выпить больше, чем я... Например, сейчас по вас совсем незаметно, что выпили...

Вот здесь, на углу надо бы и начинать: хоть бы облапить ее как следует. Только, едва она на меня посмотрит, у меня сразу, сам не знаю почему, пропадает охота. И это после того, как весь вечер я прижимал ее ногу под столом и она не возражала!.. Даже когда мне надоело давить и я отодвинул свою ногу, она сама положила руку на мою и попросила рассказать о матери... Но лицо-то у нее все-таки порозовело — наверно, разгорелась девка... Только мне на ум ничего не приходит: что бы ей такое сказать для начала. И надо же — кроме нас, на углу никого. А в голову лезет всякая чепуха про работу, и так весь вечер это плел ей. Подумает, что я чокнутый. Развязать делегатке язык! А о чем спрашивать? Пижон Херман должен был разъяснить поподробнее. Ясно должен был сказать, что он хочет знать. И я, раздолбай, не спросил, думал «развязать девке язык» мне ничего не стоит. А теперь вот и сам не знаю, что им нужно...

Идет автобус, компаньерита, и почти пустой. В такое время хоть сесть можно... Но зад у этой делегатки приличный — обратил внимание, когда помогал ей подняться в машину. Пожалуй, я бы и не прочь повозиться с ней. Только не смотрела бы на меня так пристально, как сейчас. Вот там есть как раз два места, можно сесть и поговорить... Вам понравился цыпленок? Правда, худущий и картошка пережарена, но вы должны извинить меня — я никогда не бывал в этом баре...

Конечно, слушаю вас, компаньера. Нет, что вы, не дремлю и не

мотаю головой — просто эта старая развалина так несется и подпрыгивает... Конечно, с великим удовольствием, если вы мне немного поможете своими знаниями, чтобы я лучше разобрался в том, о чем говорили на собрании. И я готов работать там, куда меня пошлете.

...Чего-то даже и зажимать ее неохота, хоть мы и сели в темном уголке. У нее тоже, кажется, жар спадает, если вообще был. Врежет мне теперь дон Херман — не гожусь я в шпики... А вы верите, что мы справимся с фабрикой? — хороший вопрос, Марито, вот так надо работать!.. Только она не отвечает, вроде бы сразу замкнулась. Понятно, должна замкнуться с таким ухажером. Но вопрос-то что надо: буду долбить его, пока не засну или не проем ей печенки... Если доложу дону Херману хотя бы это — уже порядок. Ё моё! Еще пятьсот монет может перепасть! Надо давить!..

А она просит, чтобы я продолжал ей рассказывать о своей жизни. Ну никакой охоты нет копаться в воспоминаниях!.. Конечно страдал. А кто не страдал? Вы не страдали, компаньера?.. Еле ноги таскал, ночевал, где заставала ночь, где можно было хоть чуть укрыться. Нет, на реке не оставался — там собирался всякий сброд, самые подонки: все время драки, поножовщина и тому подобное. Потом?.. Ну а потом поступил уборщиком на фабрику. Лет десять назад... Я вас частенько видел, знал, что вы и другие организовали профсоюз, но я очень застенчивый, поэтому и не сближался с вами. В автобусе тоже встречал вас. Только вы всегда думаете о серьезных делах и не обращали на меня внимания. Правда, один раз, помните, мы ехали вместе...

Сразу замолчала, как почувствовала, что жареным запахло, красная чертовка. Или просто строит из себя монашку? А у меня не хватает смелости привалиться к ней при этой качке, что вытворяет автобус. Была не была, попробую, если не отодвинется — считай, что молоко вскипело, а отодвинется, сделаю вид, будто ничего не случилось, это я нечаянно.

Только надо поворачивать разговор на производительность, на то, что интересует Пижона и Турка... Как это так — зависит от меня, компаньера? Я — простой рабочий и смотрю только за тем, чтобы не было брака...

Такими ответами она просто режет меня. Не дает никакой зацепки, чтобы вытянуть побольше... И еще надо провожать ее до дома, а я уже выдохся... Ничего не добьюсь, несмотря на то, что вечер обошелся мне в семьдесят эскудо — моих собственных!

Сходим здесь? Нет, место мне незнакомое, хотя и находится всего в нескольких кварталах от моей улицы.

Сама взяла меня под руку. Может быть, потому, что темно и она боится? Но район, кажется, тихий, не слышно пьяных криков, и огни почти во всех домах погашены... Ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Я должен держаться скромно и уважительно, но если она хоть чуть даст повод, надо сразу брать ее на абордаж, пока не дошли до дома. Один раз, пусть как попало, но поцеловать ее я сегодня должен, если думаю продолжать эту канитель, как приказал мне дон Херман. А не сможешь, Марито,— значит, и в этом деле ты уже тоже не мастак. Раньше у меня ни одна бы не сорвалась, а сейчас чего-то тушуюсь, несмотря на то что и ногу ее прижимал. Бывало, любую девку, с которой шел под ручку, поворачивал к себе и... Если она опускала голову, я поднимал — и прямо взасос. Только оторвет лицо, а я опять! Не я буду! Но тут, скажи, никак не решусь. Может, оно и к лучшему — так я выгляжу более серьезным, и делегатка сама держит меня под руку, как порядочного. П-шел отсюда, вонючий пес! Надо же, какой лай подняли эти дворняжки. Вам не страшно, компаньера? На улице ни души... А-а, значит, вы почти не выходите вечерами из дома. Ну,

а когда собрание затягивается допоздна, тут, я думаю, хватает ответственных товарищей, чтобы проводить вас? А как насчет любви? Ведь не единым профсоюзом?..

Пожалуй, не надо было об этом спрашивать: не отвечает и не видно, чтобы улыбнулась. Правда, темно. Какая строгая, не так-то легко с ней об этом... Зря вы обо мне плохо подумали, компаньера. Вы ошибаетесь, это я просто так. И даже обижаете, когда говорите, что я похож на донжуана. Какой там донжуан при моей-то стеснительности, вы же знаете меня, я очень стыдливый, стараюсь держаться подальше от шумных компаний. Вы ведь тоже, кажется, такая же...

Это что за орава идет навстречу? Если пристанут, то я пропал, у меня ничего с собой нет. Даже кастета не захватил — неудобно, карман оттопыривает... Нет, похоже, просто гуляют. А вдруг пристанут, когда буду возвращаться? И от делегатки ничего не добился, да если типы еще меня отделают — это уже совсем ни к чему... Надо опять про производительность, потому как кино уже кончается, а я еще ни с чем. Давай, Марио, костыляй быстрее... Прошу делегатку прямо сказать у себя в профсоюзе, что могут рассчитывать на меня, чтобы поручали мне любое дело, какое будет нужно. Тем более ходят слухи, что возможны серьезные стычки, если суд постановит вернуть фабрику Турку... Говорите, что ни в коем случае не возвратим? Правительство поддержит нас? Тем лучше, компаньера, но ведь вы знаете, что на фабрике есть люди Турка, они нарочно могут затеять какой-нибудь скандал или организовать вредительство... Нет, я точно никого не знаю, но земля слухом полнится... Это вы правильно сказали, что теперь не те времена, и мы своими плечами подопрем... Понятно, компаньера, что я верю в комитеты бдительности. В нашем цехе, например, товарищ Гомес ни с кого не спускает глаз, и правильно делает. Но он все-таки не коммунист, как вы, а из МАПУ. Вы уверены, что он не перебежит. Ведь при Фрее-то[1] они перебежали... А-а, понимаю, Гомес нашел путь рабочего класса в Народном единстве, объединившем различные силы вокруг общего идеала. Я тоже в полной боевой готовности, компаньера. Правда, я не вхожу ни в одну партию, но ваша мне нравится.

Уже пришли? Это и есть ваш дом? Похоже, что вас ждут,— свет горит. Уж не муж ли? Я пошутил, компаньера, понятно, что вы не замужем, а то разве пошли бы со мной в кафе. Ах, это ваша младшая сестра! Ну ладно, я довел вас до дверей и, как видите, без донжуанства, на которое вы намекали. Нет, ну зачем же я буду заходить, беспокоить людей в такой час. Ваша сестра, наверно, уже спит. Хотя и слышится радио... Если вы так хотите, я зайду, а вы, кстати, подберете мне книги и журналы, которые, как вы сказали, надо почитать. Я не хочу повторять, вы же сами видите, какой я неопытный в политике, хотя в разговоре с вами и почерпнул очень многое. Я бы сказал — больше, чем из любой книжки...

■

Когда открылась дверь, я так и остолбенел... Как только увидел делегаткину сестру, враз растерялся, не я буду! Стою и не знаю, что говорить и что делать. С делегаткой — чем больше я тужился, тем меньше хотелось, а тут, наоборот, сразу как огонь по мне прошел. Девчонка, наверно, недавно легла спать, потому что вид у нее тоже был немного растерянный, а из-под халата виднелась ночная рубаш-

[1] Эдуардо Фрей Монтальва — один из лидеров христианских демократов Чили, был избран президентом республики в 1964 году, оставил этот пост 3 ноября 1970 года в связи с избранием Сальвадора Альенде.

ка, да и лицо казалось чуть заспанным. Я неловко хлопнул дверью и остановился, как балда, у входа... Сестра из тех девах, какие мне всегда нравились, но никогда не попадались: пухленькая и волосы светло-русые. А мне всю жизнь если удавалось подцепить девчонку, то она оказывалась тощей и чернявой.

И надо же было заявиться сюда с такой мордой: помятой и опухшей, да к тому же три дня небритой. Опять же помада на рубашке — даже Лаутаро заметил... Но сразу видно, что девчонка не промах — никакого сравнения с красной сестрицей. Я тут же сделал стойку — не знаю, заметила делегатка или нет,— и совсем позабыл о своем шпионском задании. Сестра представилась мне, сказала, что работает в кафе, пригласила садиться и нашла немного писко[1], оставшегося на донышке бутылки, которая, наверно, простояла у них не меньше года.

Понятно, если работаешь в кафе, то надо быть бойкой. Сколько ей небось приходится отбривать всякой шантрапы. Придут, закажут кружку пива и уж думают, что имеют право выговаривать девчонке все, что хотят. Ее кафе в конце авениды Аламеда, я там бываю иногда, только этого созданьица в моей записной книжке нет.

Шустрая. Села за стол напротив меня, пока другая искала книги, которые, я сам не знаю когда, буду читать. Если мои дружки увидят меня с этой грудой книг, обалдеют: Марио Каро в чтение ударился!..

...Ноги сперва положила одну на другую, а когда заметила, что я уставился на них,— сжала. Вообще-то я хвастун, но на этот раз, думаю, мои взгляды и вправду не повисли в воздухе, потому что она, по-моему, тоже не сводила с меня глаз. Чтобы хоть что-нибудь говорить, я опять понес всякую профсоюзную околесицу, то есть как мне и полагалось. Она, должно быть, поверила, что я из руководства союза, один из тех, кто провожает сестру после собраний. Хотя очень сильно ошибиться насчет меня она не могла, потому как тех гусей сразу узнаешь по важным лицам, какие они умеют делать, а я что?

И то, что она такая бойкая, мне тоже очень понравилось... Делала вид, что ей интересны мои разговоры: о производительности здесь, о производительности там — эту пластинку я завел для сестры, копавшейся в книгах в соседней комнате,— но сама слушала по радио танец. Я видел, как она в ритм музыке двигала ногами... Если в понедельник перепадет еще деньжат, пойду прямо к ней в кафе — попытаю счастья.

Не знаю, заметила ли делегатка перемену во мне или нет. Сон как рукой сняло, и после стопки писко я разболтался, словно попугай, и даже хуже. И как они живут одни, и не боятся ли, и почему обе такие фартовые, а до сих пор не замужем? Вообще-то я сказал не фартовые, а очаровательные — сам не знаю, откуда у меня взялось такое слово. Даже они рассмеялись...

Тут я и смог узнать, что делегатка думает обо мне. Она объяснила Суси — так зовут ее сестру,— что я ее новый товарищ по профсоюзной работе, что хотел бы разобраться в политических вопросах, почему она мне и одалживала книги. Посмеиваясь, она ввернула, что я еще и полудонжуан и что со мной надо быть осторожней. Суси тоже засмеялась и посмотрела на меня так внимательно, что мне даже стало неловко. А может, мне просто показалось...

Мать моя мамочка, какая темнотища: ни одной живой души не видно на этой окраине где живут сестрицы-компаньериты.

Ну ладно, в конце концов работа для дона Хермана не прошла

[1] Виноградная дешевая водка.

впустую. Делегатка обещала познакомить с руководством профсоюза, чтобы мне дали какие-нибудь поручения. Тогда можно будет копнуть поглубже и разузнать, чем они занимаются. Так что Пижону не придется ругать меня за невыполнение его заданий. Даже язык сумел ей развязать. А это от меня и требовалось. Узнал, что профсоюз чувствует себя уверенно и что правительство поддержит его, даже если суд постановит вернуть фабрику дону Мигелю. Узнал и то, что разногласий между партиями на фабрике нет: люди оставили партийные мундиры за воротами и на работе действуют единым фронтом. Так что мне есть что рассказать Пижону, хоть и не знаю, понравится это ему или нет.

Но сблизиться больше с делегаткой мне будет трудновато. Тем более теперь, когда я узнал ее сестренку. Они между собой чуть похожи, но Суси намного интереснее. И попроще. А на делегатку у меня, наверно, не хватит терпения. Не могу я обхаживать таких деловых и серьезных женщин. К тому же, видать, любит командовать. А уж знает-то намного больше меня. И, наверно, все книги перечитала вдоль и поперек. Чтобы обработать ее по всей форме, нужен тонкий подход... Вообще-то, судя по фигуре, она должна быть слабоватой на это дело... и, может быть, все-таки удастся ее охмурить. Или мне только кажется? А сунешься к ней — возьмет и отошьет. Тогда, считай, пропала вся работа. В автобусе ведь тоже мне могло показаться, что ногу-то не отстранила, а в самом деле просто задумалась о чем-то своем, о профсоюзном, и даже ничего не заметила. Но сегодня вроде стала помягче. Разговаривает. Правда, может, и она меня хочет охмурить да затянуть в свою партию: сейчас красные очень заинтересованы в расширении своих рядов, чтобы их было труднее выгнать из правительства...

А там, кажется, опять стоят какие-то дубы. Лучше пойду другой стороной. Не дай бог встретить тех же, кто видел меня с делегаткой и теперь поджидает. Надо же, и ничего с собой нет! Если навалятся— раздавят. Так и есть! Один перешел на мою сторону и идет прямо на меня. Ё моё, что же делать? Надо бы спрятаться, а где? На улице — никого. Ясно, что меня ждали. Вон и остальные переходят на мою сторону. Смывайся, Марио, а то повыдергают тебе ноги!..

Уф! Не могу больше бежать, а охломоны уже наседают. Затравят без гончих. И сколько ни кричу, ни одна душа не появляется, ни в одном окне нет света... Бегу, наверно, уже четверть часа... Задыхаюсь, спасу нет... Должно быть, наказание за мои грехи: всю жизнь был таким — всех обманывал. А теперь еще хочу опутать женщину, которая даже домой меня приглашала... Если сегодня пронесет, ей-богу, больше не буду подличать! И с ребятами на фабрике тоже... Они ведь мои товарищи, работаем вместе, а я продаю их за деньги. Не я буду, если... Так, завернул за угол, и гады вроде чуть отстали. Только выходит, что я бегу-то обратно к окраине. Поэтому они и не торопятся, знают, что здесь мне от них не уйти...

Ору что есть мочи, и хоть бы кто высунулся! Откуда у меня только силы берутся, чтобы так драпать? Главное, не знаю, куда бегу. Надо чуть приостановиться: передохнуть и посмотреть, где пропали гады, сзади их вроде больше не слыхать.

Что такое? Теперь они уже впереди? Ну держись, Марио, а не сумеешь — конец тебе. Сбоку заходят... Только со мной им придется повоевать, живой в руки не дамся. Встану вот здесь у стены и первого, кто сунется, враз свалю — ударом по-боксерски, как учил... Со всеми, конечно, не справиться: их пятеро или шестеро...

Ё моё! Да ведь это дом-то делегаткин! Если рывком броситься к двери, могу спастись... К счастью, сестры услышали меня, зажгли

свет.. Да, да, это я — Марио Каро, откройте дверь, на меня напали. Да откройте побыстрее!

■

Чуть не убили... Простите за беспокойство, но если бы не вы, отправился бы на тот свет. Извините, у вашего дома я оказался чудом, бежал сам не знаю куда... Человек десять гналось. И откуда их столько собралось? Спасибо. С удовольствием пройду... Еще немного, и сердце бы выскочило — свалился бы. А они, понимаете, уже совсем рядом. Да-да, дверь заприте покрепче, этой шпане ничего не стоит ворваться и в дом. Засов тоже очень кстати... Ну и местожительство вы себе выбрали, компаньера. Спасибо, с удовольствием присяду, простите...

Если бы не так устал, здесь бы можно было пошуровать: обе в ночных рубашках. Делегатка в своей сорочке выглядит очень аппетитно... Бедра приличные, и грудь топорщится. Не то что когда стянет ее униформой! И Суси, полуголенькая, как свежеощипанная уточка, кажется ангелочком господним: вся кругленькая, а груди — во! Так и выпирают, даже побольше будут, чем у старшей сестры... Спасибо за воду, компаньера. Дайте чуть отдышусь, а потом выгляну — не смотались ли эти твари... Вы знаете, сам не помню, куда подевались ваши книги, видно, обронил их где-то, когда бежал. Наверно, там же и валяются — кому они нужны. Не думаю, что эта шваль может интересоваться книжками.

И еще раз извините, если разбудил вас. Я уже чувствую себя лучше. . У вас нет тут какого-нибудь оружия: палки хорошей или большого ножа? Ничего нет? Как вы так можете, ведь живете одни... Ну если у вас здесь никогда ничего такого не случалось, значит, мне просто не повезло. Наверно, эти бандюги забрели сюда из какого-нибудь другого района. Вы же видели, как они развоевались — не уймешь...

Пошли накинуть что-нибудь на себя. Понятно, неудобно ходить тут полуголыми. Видать, порядочные девчонки, но главное, не побоялись открыть дверь, хотя эти гады могли ворваться в дом. Как узнали меня — сразу открыли. А то бы не пришлось мне рассказывать им свои байки. Надо поглядеть, здесь ли еще они, рвань поганая? Отсюда-то, изнутри, от них нетрудно отбиться. Из этих, из длинноволосых. Развелось их, косматых, аж по окраинам шляются! Одного успел рассмотреть — худой, бородатый, в джинсах... Что вы, компаньера! Нет, я и не собираюсь открывать дверь. Так, высунулся в окошко чуть воздухом подышать... Не волнуйтесь, по-моему, уже никого нет...

Возвращается одна. Суси, похоже, намерена не выходить из спальни, а жаль — очень уж хороша. Ну зачем же я останусь, компаньера, что вы?.. Если я выйду, эта кодла опять навалится на меня, и тогда — кино кончилось. Но для девчонок надо сделать вид, будто я решил сейчас же уходить, а то еще посчитают трусом...

Что вы, компаньера, неужели вы думаете, что я и дальше буду беспокоить вас и мешать вам спать? Ухожу, сию минуту ухожу! Хулиганье, наверно, уже смылось. Они тоже соображают: если пристали ко мне один раз, то должны понимать, что из дома я безоружный не выйду. Вы мне одолжите эту палку? Как начну ломать их всех подряд! Сопляки! Вмиг разбегутся — только увидят, что их ждет! А то, понимаете, навалились все на одного. Прямо вам скажу, компаньера: чуть вы не потеряли своего нового товарища.

«Компаньера», «товарищ» — запросто говорю направо и налево. Похоже, красные выворачивают мне пиджак наизнанку. Вот смеху-то будет, когда ребята узнают, что Марио Каро — коммунист.

Спасибо, компаньера, если вас не затруднит, то чашечка кофе

для моих нервов сейчас будет как раз, только жалко, что я не даю вам спать. А, понятно,— значит, сестренка уже легла. Я слышал, как она говорила, что ей завтра идти в первую смену, в шесть утра. А у нее, кстати, как насчет идей?.. Никаких? Как же так, живете в одном доме, тем более вы — старшая? Во, а вы хотите просветить мозги такому старому пню, как я... Надо верить в себя?.. Это-то понятно, что я рабочий, или, лучше сказать, пролетарий, как вы называете, а она служащая... Кажется, в спальне Суси говорит что-то, похоже, недовольна, что мы ее тут обсуждаем. Надо менять пластинку...

Делегатка что надо! Даже кофе мне готовит. Достойная женщина, ничего не скажешь. А я как настоящая свинья: когда приперло меня, тут и понял, что — свинья... Те сволочи здорово на меня навалились и вообще могли убить. Ну я и стал раскаиваться. На скорую руку. А вот почувствовал себя в безопасности, здесь, в доме, и опять забыл про обещания. Соображаю, как бы охмурить девчонок, которые мне помогли, несмотря на то что и сами перепугались. Эх, Марито, неплохо бы тебе простирнуть свою душонку, прополоскать в проточной воде, чтобы смыть всю грязь, сколько скопилось...

Да, сеньорита Суси. Ну конечно испугался. Но лучше вы не разговаривайте, а спите спокойно, вам ведь рано вставать. Я вот только кофе выпью — ваша сестра мне предложила — и уйду. Она мне кажется самой лучшей женщиной в мире... По-вашему тоже? И вы, сеньорита, должно быть, хорошая, вы же из одной семьи, из одного сырья, как мы говорим на фабрике. Ну ладно, спите, а то утром не сумеете проснуться.

Отличный кофе вы сварили, и сахара много — мне как раз такой нравится... Сейчас допиваю и пошел, просто неудобно вас столько беспокоить. С этой палкой, которую вы мне дали, я их живо приведу в чувство. Да и вообще ничего не случится, думаю, они уже драпанули отсюда. То есть как это остаться здесь до утра? Как же можно? Вы должны отдыхать, компаньера...

В этом пальто поверх ночной рубашки она выглядит такой уютненькой, самое бы время подвалиться. Только я не такая свинья. Да и вторая в соседней комнате услышит — поднимет переполох... Неплохой у вас домик. Собственный? Папа построил? Понятно. Видно, что на совесть делал, доски подогнаны одна к одной, а не как попало. Это он? Вон там на цветной фотографии под стеклом? Тоже был товарищем, говорите? Значит, это он вас обучил всему, что вы теперь будете преподавать мне, компаньера? Новому товарищу, такому же, как ваш отец, рабочему, хоть он и был металлургом, а мы — текстильщики. У них там профсоюз всегда был сильным, не то что у нас. Турки соображали что к чему и подрубали профсоюзы на корню. Правильно вы говорите, что они нанимали провокаторов за деньги. Хитрющие были черти и знали, когда надо пускать в ход деньги, чтобы подбросить сколько нужно человеку, который пытался активничать в профсоюзных делах. Сейчас тоже для них наступил такой момент. А кофе хорош...

Кофе выпит, но, кажется, ей самой не хочется, чтобы я уходил. Или это просто любезность, или она тоже чего-то ждет от меня? А я— подонок — все время так плохо думал о ней. Такая уж жизнь... Вот села напротив меня, на место Суси, которая уже посапывает у себя в спальне, как ангелочек. Сидит и не прикрывает голых ног, и вообще она совсем сбила меня с толку. Как бы узнать, чего она хочет. Только движения у нее какие-то резкие, и это сковывает. А вдруг, если я ей скажу что-нибудь ласковое, она возьмет да и выгонит меня в шею?..

Понесла чашки на кухню... Просто не знаю, что делать и что думать. Сломался твой компас, Марио Каро, а без него ты как слепой.

Сразу видно, что не моряк... Может быть, и эти хмыри хотели просто так, по пьянке, попугать? Как их поймешь? А вдруг стали бы драться? Забрался черт знает куда и сижу тут, как Христос в пустыне.

Ну надо же: идет с одеялом и парой подушек, вроде собирается стелить постель. Если будет настаивать, а я откажусь, сочтет меня за пустозвона. Да мне и самому хотелось бы остаться. Не для Пижона дона Хермана, не для доклада ему, а просто приятно было бы переночевать здесь, между этими двумя сестреночками...

Ну я пошел, компаньера, вам уже пора спать, а то вы и так почти всю ночь провозились с каким-то обормотом, который тянет и тянет волынку. Чтобы я переночевал здесь? Вы слишком добры ко мне, компаньера. Уже вон рассветает, а мне тут всего двадцать кварталов до дома. Как вы говорите? Понятно, что мы товарищи, но это не значит, что вы столько должны для меня делать. Вы очень добры, компаньера.

Стелит мне постель на полу у стола. Разложила одеяло и подушки. Все делает решительно и молчит. Если она и в профсоюзных делах такая, то вполне заслуживает доверия, которым пользуется. Ничего не спросила, принесла постель — и точка. Снимает с себя пальто, чтобы дать мне накрыться, а сама опять в одной рубашечке. Меня даже в дрожь ударило, еле держусь. Гасит свет, чтобы я мог раздеться, говорит, что утром разбудит. Надо быть святым придурком, чтобы не воспользоваться сейчас. Монашкин сын и то бы не упустил...

Ну что ж, компаньера, если вы так настаиваете, я остаюсь, вы сами прибавили себе хлопот... Без света я тут ничего не вижу. Это ваша рука? Ничего, если я подержусь за нее?..

■

И кто ее разберет, эту жизнь. С самого детства носит меня, как по волнам. То выпадет хорошая карта, а то вдруг — один ноль. Но хуже всего, если ничего не случается. И ведь что интересно — когда меньше всего ждешь, тут и начинается качка. Будто кто тебя за рукав дергает, то сюда, то туда, и сам черт не разберет куда.

И эту вот качку судьба опять приберегла для меня. Считай, крышка мне была — чуть на тот свет не отправили. Почти убили, а с другой стороны — никогда я не получал такого удовольствия. Все вместе, все перемешалось за одну и ту же ночь...

Делегатка сразу вся как-то напряглась, когда я ее обнял. Но не возражала и слова не сказала, значит, сама позволила. Было темно, она молчала, и я даже засомневался, а потом думаю: была не была — и пошел... Постепенно, словно через силу, она начала отходить, мягчать. Но надо сказать, что нелегко... Сперва я просто ласкал ее — тоже молча, и она вроде не сопротивлялась, но была вся как неживая, как статуя, скажем. И вдруг стала увертываться, а медлить уже нельзя, и я чмокал ее куда попало. А когда перешел к «затяжным» поцелуям, как в кино, то почувствовал, что и она уже отвечает...

К тому времени уже стало чуть-чуть рассветать, мы посмотрели друг другу в глаза, и оба испугались того, что делаем. Я так ошалел, что, продолжая обнимать, назвал ее «товарищем»,— мне хотелось сказать что-нибудь такое ласковое, чтобы ей понравилось. А прозвучало это будто издевка. Она сразу оттолкнула меня, поправила волосы, одернула рубашку и посмотрела этим своим взглядом, который как насквозь меня протыкает. Но я уже до того разошелся, что не стал ни на что обращать внимание и снова начал обнимать ее, целовать повсюду: и губы, и уши, и даже груди. А потом обхватил за талию и прижал так, как я умею это делать,— она аж пискнула. Только и успел разобрать: «Потише, а то разбудим Суси».

Никогда, наверно, не перестану я быть подонком и свиньей — в самый интересный момент опять вспомнил задание дона Хермана и подумал: да, выполняю... Она, видать, истосковалась по мужчине.

Потом она полежала немного рядом со мной, провела рукой по моим волосам и поднялась. Я задержал ее и на прощанье крепко-крепко поцеловал. Она тут же высвободилась и отошла...

Какой уж тут сон. В голову лезут всякие мысли о том, что со мной случилось в последние дни. Столько всего и все как-то кувырком. Прямо все перепуталось: Пузан Лаутаро, дон Херман, Турок, Суси, мать — проститутка и пьяница, дом в котором я сейчас нахожусь, гады, гнавшиеся за мной, пентюх-шофер, отец девчонок с фотографии и черт-те что еще. Даже Гомес из комитета бдительности. Все это проходит перед глазами, я лежу словно в полусне. Больше всего думается о том, что у нас произошло с делегаткой, и даже самому не верится, что это правда. И в то же время я чувствую себя как последний подонок, особенно из-за того, что был возле нее — женщины чистой души, которая стала моей не иначе, как по любви. А я просто мразь, и это, очевидно, останется во мне навсегда. Надо же — продаваться за несколько эскудо, чуть больше или чуть меньше — не важно. Точно, как моя мать... которая уж и не знаю, где теперь живет... Душой я подлец: ни уроки, которые мне дала делегатка, ни ее благородство, видно, не задели меня глубоко. Вот я еще лежу тут в полудреме, а мне уже не терпится похвастаться тем, что у меня случилось этой ночью, и перед Лаутаро, и перед доном Херманом, а все для того, чтобы еще деньжат урвать. Ведь для Пижона Хермана заарканить красную, связать ее вот так аккуратненько, как я это сделал,— это потрясающий успех, все равно что унизить сразу всех ее собратьев...

Раздумывая об этом, я незаметно уснул и проснулся только тогда, когда поднималась Суси.

Открыл я глаза и никак не могу понять, где это я, почему на полу. В комнате стало уже совсем светло, и почти все можно было рассмотреть. Первое, что бросилось в глаза,— это цветная фотография отца девчонок, металлурга. Кино начало понемногу раскручиваться: значит, я нахожусь в доме у делегатки и со мной приключилось то-то и то-то. Тут я почувствовал себя ни больше ни меньше как счастливым.

Суси встала потихоньку, чтобы не разбудить сестру, а я притворился, что сплю. Посмотрел, как она в одних трусиках и лифчике прошла, пританцовывая на каблучках, во двор умываться. И опять от одного ее вида меня бросило в озноб. Она чуть пониже своей сестры, волосы ее посветлее, и есть в ней какая-то мягкость, которой делегатке не хватает... Вот такой — на каблучках, да еще полуголой — цены ей нет! Я чуть не подпрыгнул на своей постели, как только она, умывшись, вернулась со двора и удивленно осмотрела комнату. Наверно, что-то ей показалось не так, она ведь не знала, что я остался ночевать. Увидела на полу белье, подошла взглянуть — и тут только поняла, в чем дело. Я улыбнулся, чтобы не испугать ее, а она быстро прикрыла руками грудь, но ничего не сказала и не ушла. Тогда я приложил палец ко рту, показывая, чтобы она не шумела и не разбудила сестру, и она вдруг тоже улыбнулась мне. Вот так; не ушла, только тихонько спросила меня — я едва разобрал: «Испугались хулиганов, да?» Я опять улыбнулся и показал себе на ухо, что, мол, не слышу... А сам весь так и горю, глядя на нее, и даже приподнялся на локте. Чтобы четче повторить или потому, что дьявол подтолкнул ее, Суси наклонилась над моей постелью и снова спросила, испугался ли я хулиганов.

Тут я не выдержал и обхватил ее за талию да так потянул, что она упала на меня. Она оказалась очень сильной и упиралась руками

и ногами, но все молча, без шума — конечно, не хотела, чтобы проснулась сестра. Я крепко сжал обеими руками ее лицо и впился в ее губы своими. Потом она укусила меня за ухо и исцарапала грудь. Ухо и сейчас болит...

■

Как я и думал, этой стервы дома нет. Сеньора, сдающая ей комнату, не знает, когда она ушла, а сейчас уже за девять. Хорошо еще, старуха пустила меня в дом. Ну да ведь она видит, какой я сейчас решительный... За свиной рулет, который я брал в соседней закусочной, заплатил, будьте здоровы, наличными. Сам за вином сбегал... Но один есть не буду, хоть и очень хочется. И пить тоже. Вломлю ей, паскуде, по всей форме, чтобы знала, каков я есть. Но сначала виду не подам, пусть сперва поврет...

А в комнате, бог ты мой, все вверх тормашками! Кровать не застелена, везде валяются какие-то тряпки, тесемки, даже туалетная бумага. Здесь чулок, там платок, на дверной ручке висят трусики, а тут грязная рубашка. Ну и сокровище я себе отыскал!

А вот швейная машина, которую я ей купил. Было бы чудо, если бы хоть раз ее открывали... И как это она меня сумела охмурить? То ей одно, видите ли, надо сшить, то другое! «Я умею кроить и буду неплохо зарабатывать, ведь на нашей улице нет другой портнихи!»

Не знаю почему, но как только женщины почувствуют, что наш брат стареет, то так и норовят сорвать с него как можно больше. Правда, ко мне-то это не относится. В кровати я еще о-го-го! Лусия может подтвердить. Хотя и устаю немного, да и полнота дает себя знать... Подождем, хочу посмотреть, с каким лицом она явится. У женщин сразу заметно, если перед этим ее кто-то приголубил... А потом еще двести эскудо отвалил кроме машинки — только чтоб шила. Уж как она ластилась, чего только не обещала. Прямо тут же готова была сесть шить, только ей, видите ли, как раз не хватало денег на нитки. Сплошные враки. Во всех этих ящичках у машинки и теперь не найдешь ни катушки, ни нитки. Уж не говоря о ножницах...

Если придет под мухой — все, с ней у меня все будет покончено! Вломлю хорошую оплеуху и уйду! Не желаю быть рогоносцем! Не дождется, чтобы я еще и дальше ее содержал. До такого Лаутаро не дошел!

...Правда, я уже сказал этим троим, что в воскресенье увидимся здесь, на этой квартире. А все из-за дона Хермана. Хочет, чтобы наши люди знали друг друга в лицо. «Так,— говорит,— будет лучше для последующих дел». Начали с Марио Каро, Харамильо из чесального цеха и Баэсы из гаража. Потом надо будет то же самое проделать с остальными. И денег дал, чтобы организовать приличную выпивку. Велел все устроить на высшем уровне, даже с девками, чтобы люди не затосковали от деловых разговоров.

Хлюст знает, что творит. Надо ублажать этих типов. Деньги им тоже я буду выплачивать. Шеф не хочет, чтобы всякая шушера таскалась к нему домой... И со старухой — с хозяйкой дома — я уже договорился насчет воскресенья, чтобы разрешила попользоваться ее двориком. Она согласилась приготовить жаркое и салат. Насчет мяса тоже порядок — достану у кума Ладо на бойне.

А этой чертовки все нет... Но если я начну с ней сейчас ругаться, то сам же и окажусь в проигрыше: в воскресенье сорвется собрание... Надо пока делать вид, что я ничего не замечаю, притвориться дурачком и спокойно выслушать ее объяснения... Если она их даст. Надо быть хитрым. В конце концов все это предпринято ради того, чтобы

остановить красных, а то они и так уже воображают себя хозяевами страны.

Ладно, шлепну один стаканчик, а потом буду сидеть, пока не заявится Лусия. Вино легкое, с «букетом», даже не чувствуешь, как проходит по горлу: похоже, еще старого разлива. А до свинины без нее не дотронусь. Даже аппетит пропал — так зло взяло!

Постель вся разворочена. Матрас — тоже мой подарок. Новый. Раньше я его как-то не замечал, наверно потому, что ложились мы всегда нагрузившись... А простыни и наволочки, видимо, ни разу не меняла, даже воняют...

Наплевать, развалюсь и на этой постели — какая уж есть... Я так злюсь и ругаюсь в душе, словно ради нее дома оставил счастье. Конечно, насчет того, что интереснее мужчине, дома слабовато — не то, что здесь. Но жена, по крайней мере, чистюля. Воспитывалась при монастыре и так следит за чистотой — прямо все у нее блестит. Целый день ходит, как заводная, и трет и чистит все подряд. Бедняжка... Если эта шлюха сейчас не придет — ухожу домой! Забираю закуску и ухожу. Моя старуха обрадуется — очень любит она рулет с острым соусом... А я ей никогда ничего не приношу.

Только ведь придешь домой — опять скандал. Ну и детки мне достались! Сопливка Норма, если и дальше будет так себя вести, кончит проституткой. Целый день шляется по улице, а теперь еще со своими сумасбродными подружками по клубу собирается пристроиться на радио: будут изображать рев поклонниц после выступления певцов... Ерунда, меня не проведешь! Там дикторы живо руки к ним приложат, запросто обработают девчонок. Я эту публику знаю — глазом не успеешь моргнуть, как из девчонки сделают бабу. А у самих-то и гроша ломаного за душой нет. Я думаю, что Норма, паршивка, уже попробовала, потому что очень быстро вся как-то округлилась, такая фигура сделалась, что даже самому страшно. А сколько мне стоило устроить ее на гуманитарный факультет! Но с тех пор так никогда и не видел ее с учебником или тетрадкой. Развесит губы и сидит, уткнувшись в журнал с фотографиями киногероев или в сексроман. В «Меркурио», что покупаю по воскресеньям, и не заглядывает. Ничем не интересуется: ни тем, что делается в мире, ни тем, что происходит здесь у нас.

К Норме вдобавок — Дональд. Рос хилым и вроде немного придурковатым... Только меня не обманешь — просто нахал. Пятнадцати дней не проработает на одном месте, а потом целый месяц бьет баклуши дома. Учиться не захотел, а со службы гонят — бездельник. Так прямо и сказали мне хозяева магазина, где Дональд служил. То он еле ходит, как неживой, то столкнется с кем-нибудь и сломает хозяйский велосипед, то еще что-нибудь. И всегда у него почему-то не хватает товара, который он должен доставлять на дом покупателям. Как же его дальше можно держать? Хозяева тоже не дураки...

Думал пристроить его на фабрику, чтобы направить на путь истинный. Хоть бы уборщиком. Но только решил поговорить с доном Мигелем, как у того отобрали фабрику, и все полетело кувырком. Турок бы его взял, а с этими псами-уполномоченными разве договоришься. Они и меня-то держат на примете, как человека, к которому Турок благоволил, и при первой возможности бросят в лицо историю со стадионом, будто я во всем виноват...

И уж очень парень увлечен бегами. Когда он был маленьким, я брал его с собой на ипподром: чтобы позолотить пилюлю жене, делал вид, что иду гулять с ребенком. В ту пору, очевидно, лошади и погубили его навсегда. Как заработает какую мелочь или у хозяев украдет, скорей бежит в конный клуб или на бега в Ла Пальму. Как-то не-

давно, в субботу, я застал его на ипподроме, хотел отругать: уже два месяца болтается без дела. Но постеснялся — мы были с Лусией и оба навеселе. Если бы не это, я бы ему крепко врезал, прямо там у кассы. Видит, подлец, что в последнее время у меня завелись деньжонки, так что я даже дома побольше стал оставлять, и совсем распоясался. А что ему? Обут, одет и на карманные расходы, наверно, имеет — дуреха мать небось потихоньку дает...

■

Уже одиннадцать, а ее все нет. Где только девку носит? Меня начинает развозить ото сна и от вина: бутыль почти до дна опорожнил. Потаскуха! Я так и думал, только раньше в голову мне не приходило являться без предупреждения... Сижу вот как обалдуй, а уйти не могу — надо насчет воскресенья с ней договориться... Вечно у нее хи-хи да ха-ха, любит выпить, потанцевать, поужинать в ресторане... И, наверно, имеет молодого любовника на то время, пока не захожу. А все за счет Пузана Лаутаро. Это уж слишком! Так и тянут с меня все кому не лень...

А ну-ка заглянем к ней в туалетный столик, авось что-нибудь и обнаружим: письмо, фотографию или еще чего — и узнаем о ее проделках...

Какая-то ерунда все попадается: крем, пудра, пуговицы, булавки, монеты. Вот письма ее сестры с юга — мне это она показывала... Бигуди, старые лотерейные билеты, предсказания судьбы, таблетки от беременности... таблетки-то я сам ей покупаю, а она черт знает для кого их бережет. Так, значит, здесь нет ничего. Что-то я не вижу фотографий, на которых мы снимались вместе, разорвала, что ли? А та моя карточка, которую я ей подарил, наверно, валяется где-нибудь среди заколок. «Чтобы у тебя никогда не угасли чувства ко мне».

Конечно, надо быть набитой дурочкой, чтобы не прятать, а держать что-то другое, подозрительное здесь, где я бываю... Пойду-ка съем кусочек рулета да открою еще одну бутылку. Потом поищу в других местах. Хотя бы просто для того, чтобы не уснуть...

Старуха, что ли, там топчется? Наверно, она. Ходит, подсматривает, уши навострила. Два раза заглядывала, спрашивала, не нужно ли мне чего. Прикидывается, а внутри небось смеется надо мной, что сижу я здесь один и жду как олух. Старая чертовка должна знать многое о проделках Лусии, о всех ее выкрутасах. Только разве из нее вытянешь? Мне она ничего не расскажет — я же их обеих содержу... Если бы у Турка не отобрали фабрику и мне не перепадало столько денег, все бы давно вылетели в трубу, и старуха тоже. Так бы им и надо! Лусии и всей ее братии. Правда, тогда и мне не жилось бы так хорошо... А вот вернут Турку фабрику, житье у меня будет совсем королевское—он меня не забудет. Если же укрепится Народное единство — я погорел. Но лучше всего, пока идет эта возня: большие деньги пускаются в ход, из них кое-что перепадает и в мой карман. Поэтому мне выгоднее — пусть борьба тянется и разгорается все сильнее. Только бы Турок не сдался. Правда, он не дурак и не будет разбрасываться деньгами, пока сам не сдохнет с голоду. Хорошо еще, что старая лиса Херман — ловкач в таких вопросах и умеет разрисовать дону Мигелю в розовых красках нашу работу по саботажу, вдохновить его... Этот тип Харамильо, хотя я ему и не очень верю, может быть, все-таки сломал большую чесальную машину, как обещал. И хорошо бы балбесу Марио Каро удалось вытянуть что-то из красной делегатки, которую он зацепил. Только вряд ли удастся — он лопух, ни спросить ни о чем толком не умеет, ни разобраться в человеке. Но не-

важно — все пригодится, чтобы заморочить голову дону Мигелю. А не заморочим — он бросит нас, и тогда закукуем...

Вторая бутылка кончается, а этой кобылы все нет. Хорошо еще, что рулет приличный. Хлеба, правда, забыл купить. Бедняжка моя, женушка, и на этом я тебя обманул. Ты бы, я знаю, с удовольствием поела рулета вместе со мной... Она меня еще любит. Так уж мы, подлецы, устроены: родной жене предпочитаем какую-то проститутку, которая еще и гуляет за наш счет. И жена ничего не может с этим поделать... За последнее время, кажется, еще больше постарела. А все из-за детей. Особенно из-за Нормы, все время приходится за ней следить, таких дров девчушка может наломать... А вино на славу, допью-ка его прямо из горлышка...

А ну-ка, посмотрим, где еще Лусия может хранить свои секреты. Бабенка бывалая, и у нее должно быть немало воспоминаний. Ко мне-то она попала уже поистасканной. Помнится, познакомились мы на дне рождения у жокея Карвахаля, которого я давно знал как облупленного,— он еще за деньги предупреждал меня, какая лошадь выиграет. Лусия прилично надрызгалась там и болталась как неприкаянная, ну и привязалась ко мне, потому что Карвахаль, сволочь, шепнул ей, что я, мол, при больших деньгах...

Так, под матрасом ничего нет... Даже ночной горшок за собой не вылила, свинья. Грязнуля, и комната-то больше похожа на хлев. А на улицу выходит: размалюется, надушится, подумаешь — только что из турецкой бани.

В шкафу одни платья и всякое тряпье. Да, вот еще пальто с отделкой из меха, который привез ей из промыслового кооператива. Лучше бы жене отдал — с каких пор она ходит в обносках... Так, зонтик, коробки от туфель, аптекарские пузырьки, кипа журналов, больше ничего. Ага, лежит что-то незнакомое...

Ба, мужской пиджак — вот она где, комедия-то! На меня не лезет, должно быть, с какого-то тощего хахаля. Тут ее, голубушку, и прихватил! Что-нибудь обязательно найдется, раз по натуре она шлюха.

Здорово развезло, ничего и не делаю. А надо бы все здесь раскидать, матрас разрезать, платья порвать, пальто испортить, всю комнату перевернуть вверх дном, сломать к чертовой матери машинку и уйти! Чтобы знала, с кем имеет дело! И из горшка вылить на пол. Пусть бы поняла, что со мной шутки плохи! Вот так!..

Да, развезло, сижу как идиот на кровати и ничего не делаю. Прекрасно понимаю, в каком положении я оказался, не первый раз жизнь показывает мне такие фокусы. Но теперь даже разозлиться как следует не могу — до того огруз. А еще нельзя забывать о деле: хочешь не хочешь, а надо организовать здесь воскресную встречу... очень важно, так сказать, и с политической и с профсоюзной стороны...

Придется притвориться простачком, сделать вид, что ничего не заметил. Если собрание в воскресенье сорвется, хлюст Херман голову мне оторвет. Как ему объяснишь, что из-за ссоры с какой-то шлюхой пошло насмарку все, что сделано. Он этого не потерпит. Значит, надо помалкивать и ждать...

Херман — старый паразит! И эта зараза — тоже...

■

Их партия кончилась, Мигель, теперь фортуна должна повернуться к нам. По логике игры, если вам угодно. И уже имеются симптомы. Навалившись всей своей тяжестью на янки, они этим самым подрубают сук, на котором сидит Чили. Конечно, Альенде, национализи-

ровав медь и ничего не уплатив, чувствует себя королем. Больше того, мы вынуждены поддержать его в этом — в противном случае они воспользуются обстановкой и изолируют нас как антипатриотов. Но я хотел бы посмотреть на этих расхорохорившихся задир, когда они почувствуют руку американцев.

Знаете, Мигель, в этих делах Херардо отлично осведомлен, и он сам мне сказал, что скоро почувствуется рука американцев. ЦРУ может продолжить то, что оно считает нужным, и дай боже, чтобы продолжало, но мне кажется, сейчас самое главное — блокировать ввоз в страну самых насущных товаров. Да зачем я вам это говорю, Мигель? Вы же знаете лучше меня, какой фантастический процент американское оборудование составляет в чилийской промышленности. Да не только в промышленности — и на транспорте, и в сырьевой базе, и в кредитных делах, во всем. Вам не кажется, что для Чили это более подходящий метод, чем то, что в своей классической форме применяет ЦРУ в других странах, например в Бразилии или Боливии? Янки должны перекрыть пути снабжения Чили — вот было бы гениально!

Тогда бы я и хотел взглянуть на этих, на дона Чичо и Вусковича, когда начнет парализовываться все, когда нехватка будет во всем, даже в бензине. Разве что русские начнут оказывать помощь этой стране оттуда, издалека. Бензин, топливо тоже должны будут возить за полсвета, через Магелланов пролив. И ничего не поделаешь: той нефти, что дает ЭНАП[1], недостаточно, вы же знаете.

Вы представляете, Мигель: телефонов будет не хватать даже больше, чем сейчас, из-за отсутствия запасных частей и деталей!

Уверяю вас, хорошая карта должна теперь пойти к нам. К счастью, Фрей крепко держит в руках христианских демократов. Итальянец Румор[2] показал им, каким путем надо идти. Да они и сами должны уже это знать, хотя бы из книг.

Вообразите себе, Мигель, то время, когда народ все больше будет чувствовать нехватку продовольствия, а мы будем подливать масла в огонь, уверяя, что скоро за всем появятся длинные очереди. Представляете: большинство такси, автобусов, даже частных машин стоят, потому что все это — американского производства и к ним нет запасных частей. А когда начнут один за одним закрываться заводы — опять-таки из-за нехватки запасных частей и деталей? Наши собственные механические заводы не справятся, и в результате перегрузок сами начнут выходить из строя. Ну, а насчет сельского хозяйства все ясно уже теперь, и правительство даже не скрывает трудностей, чтобы потом не напугать народ сразу начавшимся голодом. Вы, наверно, слышали: уже стали употреблять выраженьице «затянуть потуже ремень». Готово! Производство через год сократится на тридцать и даже на пятьдесят процентов. Мясо постепенно исчезнет: аргентинцы не согласятся отдавать нам его за семечки — им нужна твердая валюта. Не будет кур, а свиней и овец уже сейчас всех перерезали, мне Карлос Корреа об этом сказал. И кто им согласится помочь? Вы полагаете, кроме русских, кто-нибудь будет спасать марксистскую страну Чили? Даже рыбы не будет хватать. За те цены, которые установлены на рыбу, никто ее не будет ловить, разве только самые бедные рыбаки. И народ, к счастью, уже отворачивается от рыбы — ему подай его мясо, его жаркое, его вино...

---

[1] Национальная чилийская нефтяная компания.

[2] Деятель итальянской демохристианской партии. На посту министра внутренних дел Италии был инициатором «жесткого» курса в отношении компартии и других прогрессивных организаций.

Поймите, Мигель, такой нехватки товаров, какая будет здесь, не выдержит ни одно правительство в мире, тем более чилийское, с его избалованным народом. Это вам не Индия. Вы видите, что произошло со знаменитыми бельгийскими курами? Мы распустили слухи, что они недоброкачественны, и теперь никто не хочет их есть — брезгуют. Карлос Корреа очень смеялся над этой историей с курами и весьма удачно пошутил. Он сказал: скоро у нас даже голуби пропадут с площади Оружия. Уверяю вас, Мигель: не только голуби, а собаки и кошки исчезнут и, наконец, даже мыши, как в Китае.

И тогда начнется зубовный скрежет, как говаривал падре Бонилья у нас в колледже. Вот тут я и хотел бы взглянуть на дона Чичо — без единого доллара в Центральном банке и с парализованной страной на руках, страной, гибнущей от голода. И этот голод Народное единство не утолит никакой своей болтовней — медь не поешь. И с медью они еще тоже наплачутся. Херардо считает, что если медные компании на мировом рынке сумеют договориться между собой, чтобы под тем или иным предлогом задержать нам выплаты, эффект будет колоссальным. Одного или двух месяцев было бы достаточно, чтобы дезорганизовать нашу экономику, и не найдется такого мага, который мог бы ее спасти. Даже надев фуражки с серпом и молотом, Соррилья[1] и Вускович ничего не смогут сделать.

Одним словом, игра повернула на наш выигрыш, и вы, как завсегдатай казино, чувствуете это лучше, чем я. Все идет хорошо. Под нажимом янки и при общей нехватке товаров петля затянется на шее правительства. Как бы русские ни торопились к ним на помощь с того края света, все равно они прибудут слишком поздно. Это было бы здорово! Надо поговорить об этом с Хуаном Эстебаном, вы его знаете — это тот молодой художник, который работал на нас в последней избирательной кампании. Он же делал рекламу вашим товарам, не помните? Так вот, я скажу ему, чтобы вместо плаката с русскими танками у президентского дворца он нарисовал бы грузовики, а еще лучше — русские «тройки» с возами кур и овощей. И чтобы они дефилировали пе́ред Альенде, приветствующим их с балкона дворца. Очень бы неплохо получилось, а?..

Выпейте коньячку и успокойтесь — эту «революцию по-чилийски» мы и разобьем по-чилийски, с улыбочкой на устах. Но если вы теперь уедете из Чили, для нас всех это будет ужасным ударом!.. Вы считаете, что все это впустую?.. Конечно, после сообщения властей об увеличении производства на двадцать процентов может показаться, что мы зря тратили столько денег на оплату связанных с нами людей. Но нет, не впустую! Только надо еще немного подождать. Я понимаю, что вас сердит их ненасытность в отношении денег, особенно алчность Шандора Телеки, которому я из собственного кармана должен был выложить триста долларов. Вы слышите, Мигель? Я дал ему доллары! И если я это делаю, то только потому, что верю им. Верю и понимаю, что они не могут вдруг взять да остановить производство, когда и уполномоченные, и профсоюз, и комитеты бдительности постоянно наблюдают за всем. Подождите, Мигель: когда на фабрике, как и в стране в целом, все несколько расслабится, тогда наши люди смогут сделать очень много. Я лично верю Телеки, верю в его стратегию ухудшения качества настолько, чтобы рубашки у людей, или простыни, или не знаю, что еще, стали бы расползаться через пару месяцев. Представляете? Государственные предприятия теряют престиж, и тогда все

---

[1] Америко Соррилья — коммунист, занимал пост министра финансов в правительстве Альенде.

вспоминают о вас, о том, какие хорошие ткани производила ваша фабрика! Я, например, прямо не знаю, что мне делать с рубашками из тканей вашего производства,— не изнашиваются, да и все! Приходится просто выбрасывать их: дарить шоферу, или беднякам через Кармен, или черт знает кому еще.

Если же вам нужна «поддержка народа» — назовем ее так, чтобы придать вес нашим планам,— эту поддержку мы тоже будем иметь. Как-то я говорил вам о той группе рабочих — наших ребят,— которая уже действует, хотя вы и не особенно поверили в это. У меня есть один вполне заслуживающий доверия юноша, руководящий двадцатью или тридцатью рабочими. Он может повернуть их туда, куда нам будет нужно. Я встречаюсь только с ним, чтобы не наскочить на какого-нибудь провокатора, внедренного в группу,— это повредило бы и вам и мне. Он представляет к оплате счета, оформленные по всем правилам. Смешно, но это так. Очень аккуратный человек и пользуется моим полным доверием...

Кстати, Мигель, и в вопросе об оружии, о котором я вам говорил, также есть успехи. Я уже сказал моему секретарю — это я так его называю,— одному очень ловкому парню, пусть подготовит почву для организации из его людей боевых групп. Да вы хорошо его знаете: Лаутаро из спортивного клуба, которому, помните, вы еще вручили медаль. И дело уже завертелось. Сейчас он организует вечеринки, чтобы народ под благовидным предлогом познакомился друг с другом. Я предупредил его, чтобы все было на высшем уровне и в расходах бы он не стеснялся. На них много не уйдет — мелкая сошка. Но как он докладывает об этих людях, да со всеми деталями — обсмеешься! Я вам как-нибудь расскажу... Что касается оружия, то я, разумеется, никому не дам даже рогатки, пока не буду убежден в них полностью. Но это дело теперь хочешь не хочешь надо двигать вперед! Уже много народу и в городах и в селах — повсюду — действует так же, как и мы...

Недостатка в вооружении у нас не будет, Херардо заверил меня с полной гарантией. Оружие готовится первоклассное, как он сказал. Никаких пистолетиков или прочего старья. Все самое лучшее — такое же, какое проверено во Вьетнаме. Отменные вещи, в том числе автоматы и взрывчатка. Теперь я хорошо понимаю Херардо — это будет вклад ЦРУ. Помощь поступит через Боливию...

Вы уже уходите, Мигель? Ну что же, надеюсь, вы еще раз все обдумаете хорошенько и успокоитесь. Незачем отчаиваться раньше времени. И Эстер успокойте, она, бедняжка, напугана да и как не напугаться? Кстати, Кармен просила извиниться перед вами, что не вышла поздороваться. Она очень устала в Красном Кресте и должна была рано лечь спать. Приближается годовщина и кампания по сбору средств. К сожалению, мне не удалось уговорить вашу жену, чтобы и она помогла Кармен в этом,— такая работа была бы ей именно сейчас весьма кстати...

И успокойтесь, Мигель. Незачем самим себе выносить приговор... Сегодня вы приехали не на «пининфарине»? А этой марки я даже не знаю. Замечательно! Доброй вам ночи, как в лучшие времена. Проходите, шофер уже развернул вашу машину. Прозит, на место!..

Как вы смотрите, Мигель, на то, чтобы нам немного поразмяться? Надо, надо дать отдохнуть голове. Люси как раз говорила, что ей тоже хотелось бы развлечься. Можем поужинать вместе, Люси пригласила бы Химену. Помните ее? Ну, ту подружку-художницу, которая так развеселила нас в прошлый раз...

На место, Прозит! Эй ты, ворота открыл?!

■

Мне повезло — я сумел поймать возвращавшееся с ночной смены такси, чтобы поспеть без опоздания на работу. Но пришлось выложить двадцать эскудо: шофер очень хотел спать. Да еще еле уговорил...

Ну и ночка выдалась! Как говорится, двух пташек одним выстрелом! И каких пташек!..

Хорошо еще, что успел заскочить домой, переодеть рубашку, наскоро побриться и вообще привести себя в порядок, а то рожа прямо кирпича просила... А теперь вот стою спокойно вроде ангела господнего, поглядываю себе, как бежит нитка в станке. Никакой фантазер, видя меня сейчас у станка в спецовке, не мог бы догадаться, как я провел эту ночь. Сперва меня почти совсем было ухлопали, но вместо того чтобы протянуть ноги на улице, я сыграл прекрасную игру, да такую, какую ни один из этих губошлепов на всей фабрике не смог сделать за всю жизнь. Несчастные сосунки, даже жалко смотреть на вас! Стоите у своих машин, словно деточки на первом причастии...

До сих пор никак не могу прийти в себя от вчерашнего. Хорошо, что в работе пока нет спешки, будто все, вроде меня, еще не проснулись как следует...

И подыхаю с голоду. Дома успел проглотить только чашку чаю, а хлеб жевал уже в такси. Не знаю, дотерплю до обеденного перерыва или нет — осталось почти четыре часа...

Даже думать неохота. Белое полотно ползет через станок и еще больше нагоняет сон. А думать надо и надо находить какой-то выход из запутанного дела, в которое я влип с этими гулянками, с женщинами, с Лаутаро, с доном Херманом, с Мигелем и даже с той девчонкой-соседкой, которую начал охмурять. У нее сразу уши отвиснут, если я буду уходить к этим озорницам-сестренкам. Но ловко у меня с ними получилось, работа — высший класс! Любой хлыщ из богатых и даже с собственным автомобилем позавидовал бы мне...

Суси утром убежала вприпрыжку, даже не простилась. Я успел ей послать воздушный поцелуй, а она так удивленно посмотрела, будто и не помнила о том, что еще недавно мы были с ней совсем рядышком. Видно, у обеих кровь кипит.

Понятно, работая в кафе, ей весь день приходится отшивать целые стаи всякого сброда, липнущего к официанткам. А к вечеру сама остается ни с чем. Поэтому она и вела себя так: как с цепи сорвалась. Сестра тоже... Если сравнить Суси со всеми женщинами, которые выпадали на мою долю за всю жизнь, она, конечно, достойна кубка и медали.

Только из-за объятий и поцелуев мы даже не смогли поговорить, я не успел сказать ей все ласковые словечки, что мне так нравятся. Оба молчали... Просто не знаю, как не разбудили сестру! Наверно, потому, что были на полу... Нет, хороша Сусита, красивая и с понятием...

Запутался я меж них обеих и, ей-ей, не знаю, что теперь делать. Если работать с делегаткой, то Суси надо бросить,— само собой. Но очень уж неохота. А вообще-то можно сделать хитрый ход и продолжать в том же духе. Уверен, они не расскажут друг другу о вчерашнем. И если каждая будет молчать — я спасен, тогда можно будет, когда захочется, завертывать потихоньку в кафе к Суси.

Опять приходит в голову делегатка, надо бы увидеть ее. Но в наш цех не заглянула. И к лучшему, значит, ей немного стыдно... А утром казалась как всегда. Встала и предложила позавтракать. Я отказался — нужно было съездить домой переодеться. Разговаривала как ни в чем не бывало. Скорее я чувствовал себя неудобно, но это из-за Суси. Правда, расстроилась из-за книг, но понимала, что я потерял их

ненарочно, и не винила меня. Только сказала, что никогда их никому не давала. Кажется, какой-то «Манифест» коммунистов назвала. Шарамыги теперь приложат руки к книжкам, которыми им посчастливилось завладеть,— почитают гады!

И все-таки несмотря на то, что было, мне так и не удалось сократить дистанцию между мной и делегаткой. Когда уходил, хотел поцеловать ее слегка — не дала. Посмеялась, понятно, немного, опять пошутила насчет донжуана, сказала, что донжуаны обычно не очень-то идут в революцию. Я тоже засмеялся, но дистанция осталась. Надо посмотреть, как она будет вести себя со мной, когда зайдет к нам в цех...

В первый раз мне попадается женщина, которая не интересуется тряпками, а думает о книгах. Я лично не прочитал до конца ни одной книжки, а если бы прочитал, наверно бы свихнулся, особенно такую толстенную, как мне дала делегатка. Маленькую, вроде того «Манифеста», может, и осилил бы, а за толстые не берусь. Делегатка говорит, что это были пособия по чилийской истории, чтобы пробудить сознание у трудящихся, выпущены Единым профцентром трудящихся и доступны каждому... Мимоходом я тогда взглянул на них и не думаю, что они мне по зубам...

Вообще я почти ничего не знаю. В школе пропорхал, как птичка, а сейчас только и помню немножко о битвах О' Хиггинса и Артура Прата [1], вот и все. Правда, знаю, что Земля круглая и еще кое-какую ерунду. Этому нас учила одна старушка. Помню, глазки у нее были совсем маленькие. Она приносила в класс апельсин, чтобы показать нам, насколько круглая Земля. Потом ставила нескольких остолопов по краям класса, а одного — посередине. Раз как-то и мне довелось изображать Солнце. Остальные ходили вокруг меня и выкрикивали названия, как будто они планеты... Хорошая была учительница, мне на всю жизнь запомнилось то, чему она учила. Поэтому теперь, когда иду подвыпивши домой и гляжу на небо, сразу вспоминаю о ней — ведь это благодаря ей я знаю, что делается наверху...

Но в общем-то забывается все, чему учился. Иногда купишь газету. Самую маленькую и то до конца никак не дочитаешь, потому что сейчас очень мало пишут о боксе, не как раньше. А футбол мне почему-то никогда не нравился... Если бы не покупал газету, наверно, и читать бы разучился...

Совсем ненормальная эта делегатка, если думает, что я хоть немного пойму в ее книжках. Ни в жизнь! Это надо все в голове перевернуть вверх тормашками, потому как я человек уже взрослый и не мне учить то, чему учатся с детства...

Она, конечно, необычна, очень отличается от других женщин — и тем, что делает, и книгами, которые читает. Поэтому ее и выбрали делегаткой — голова у нее работает. Но в остальном никакого чуда в ней нет: в постели ведет себя как и всякая прочая. Даже лучше, поскольку не лентяйничает, как некоторые... Если бы Суси не была еще интереснее, я был бы очень доволен своей делегаточкой. Тело у нее что надо, и по фигуре она даст сто очков вперед любой нашей фабричной. Но Суси, душечка, так и стоит у меня перед глазами!.. Интересно, а я понравился ей? И не узнаешь, она даже и лица-то моего как следует не рассмотрела, только успела укусить ухо. До сих пор болит...

Так точно, компаньеро Гомес, тут мы и вкалываем — подпираем революцию. А-а, значит, с вами уже говорили обо мне?.. Да, работаем

[1] Бернардо О'Хиггинс (1778—1842) — национальный герой Чили, возглавлявший борьбу за независимость страны. Артуро Прат — командир небольшого корабля, прославился своим героизмом во время Тихоокеанской войны 1879—1883 гг., когда Чили воевало с Перу и Боливией.

на совесть. За все утро, например, только один раз останавливал станок на регулировку. А раньше, бывало, да вы ведь сами помните, компаньеро Гомес, лучше, чем я, по восемь — десять раз останавливали. Придумывали всякие предлоги. Так точно, компаньеро Гомес, можете на меня положиться во всем. Если надо, то я мог бы присматривать за цехом, когда вы отлучаетесь, хотя, кажется, все проявляют сознательность и работают как положено. Не слышно ни болтовни, ни сплетен, как раньше, помните?..

Дурень Гомес смотрит на меня уже по-другому. Но и мне сложнее.

■

В уборной ко мне подкатил Пузан Лаутаро. Уверен, что он поджидал там всю эту братию вроде меня, потому что, поговорив со мной, он остался в уборной. Сказал, что сегодня в семь мы все встретимся у него, на улице Индепенденсиа. Сегодня, а не в воскресенье, как было объявлено раньше. Обрадовал! Когда у меня и глаза-то ни на что не смотрят.

Я его вообще терпеть не могу, а тут он еще застал меня врасплох, когда я думал совсем о другом. И, главное, появился откуда ни возьмись у соседнего со мной писсуара и заговорил таинственным шепотом. Все время оглядывался, как настоящий заговорщик, пока сообщал насчет этого вечернего сбора. Дрейфит Пузан, так и думает, что за ним все время следят.

А я-то собирался завалиться сегодня на кровать, ни о чем и ни о ком, кроме Суситы, не думая, и как следует отдохнуть...

Пузан сказал, что вечеринка на Индепенденсиа будет отменной — он уже заказал жаркое и даже договорился насчет девочек. И все это шепотом, с оглядками, а зачем? Ведь, кроме нас, в уборной никого не было. Не переношу его, прямо с души воротит, как только увижу желтые глаза и поросячье рыло, которым бог его наградил. И когда говорит, изо рта все время летят брызги!

...День прошел, а делегатку я так нигде и не встретил... Может быть, она должна где-нибудь докладывать о том, что произошло вчера вечером? А может, ей просто стыдно, ведь раньше хоть раз в день да заглядывала в цеха.

Ё моё, как запуталось все это дело! И чем больше думаю, тем сильнее теряюсь. Сведений для Пижона почти никаких, и денег он мне больше не даст — не за что. Может быть, это даже лучше — противно думать, что я продаюсь и за деньги обманываю женщину, которая отнеслась ко мне по-человечески. Она же пошла на близость со всем доверием, как и должно быть. А я делаю почти то же самое, что делала моя мать,— торгую собой. Только мать шла на это, чтобы прокормить нас, но я-то сейчас не голодаю, как, бывало, голодала она, у меня есть работа. Просто, чтобы положить в карман еще немного эскудо... Правда, не так уж немного, и они теперь очень мне кстати, когда я совсем запутался... Самое неприятное, что делегатка стала близкой мне,— это факт, и от него не уйдешь, каким бы бессовестным я ни был. Сперва-то я взялся за такое дело из любопытства и еще потому, что коммунисты всегда раздражали меня своими непонятными проповедями. Конечно, в такое время грех было не подработать, тем более что в политике я никогда не разбирался и не любил ее. Но не любить политику — это одно, а предавать женщину, которая стала твоей,— совсем другое. Большая разница. И вот таким свинством я занимаюсь. В понедельник пойду на доклад к Пижону, а сегодня вечером — на сходку у Пузана. Конечно, платят они богато: и деньги отваливают, и вечеринки устраивают. Развлечься, понятно, можно, но

подлость по отношению к женщине, которая стала тебе все равно как подруга,— это уже не то...

Пусть делегатка некрасива и не очень мне нравится на лицо, но она — моя подруга. И того, что она мне говорила, я никогда раньше не слышал. У меня чуть слезы не брызнули из глаз, когда она сжала мне руку после рассказа о матери...

А Пижон Херман наоборот стал омерзителен. Даже издалека. Когда позавчера я пошел к нему домой, в нем я видел только мешок с деньгами и не обращал внимания на то, как он пыжится и смотрит на меня сверху вниз. Все они, паразиты, одинаковы, и удивляться тут нечему. А вот теперь меня стало злить то, что он натравливает одного на другого, такого же. За медяки продаешь ему душу, а если Турку вернут фабрику, то богатыми, как и раньше, будут он да Херман и больше никто. А мы опять останемся при своих интересах...

Да, попал я... И что это еще за вечеринку затеял Лаутаро? Усну там среди его девок, жаркого и прочей ерунды... Сегодня пятница, дадут жалованье, выпью как следует и поеду на эту сходку в такси, хотя бы пришлось заплатить двадцать или тридцать эскудо. Из пьяного Пузану много не удастся вытянуть...

Если бы не вечеринка и не нужно было бы ехать на Индепенденсиа, заглянул бы я сегодня в кафе к Суси. Интересно, какое лицо у нее бы сделалось, если б я зашел вразвалочку, прикинувшись незнакомым? Уселся бы напротив стойки и, как обычный клиент, заказал фруктовой воды. Взял бы у нее стакан — и все так, словно я ее совсем не знаю... Правда, теперь она уже, наверно, ушла, ведь начала-то работу очень рано. Но как-нибудь на днях, когда она будет в вечерней смене, завалюсь к ней...

Делать нечего, надо тащиться на Индепенденсиа. Интересно, сколько же перепадает Пузану, если он даже гулянки устраивает, чтобы ублажить нас. Турок, наверно, бросает деньги, как шальной, надеется, что это поможет вернуть ему фабрику. А Пузан хочет, чтобы все мы, кто участвует в таком деле, знали бы друг друга в лицо. Говорит, что так будет легче организовать саботаж. Не знаю, кто там еще придет, но думаю — такой же отпетый сброд, вроде меня. Наверно, по цехам шуруют: гвозди суют в машины или портят продукцию. Я-то у них новичок, и меня пока заставляют лишь вынюхивать сведения, но потом обязательно «повысят» до саботажника. Неплохую карьеру делаешь, Марио Каро!..

Наконец-то идет автобус, на котором можно доехать до Индепенденсиа. Ну что ж, как говорится, если пошла танцевать, надо прижиматься...

Так я сегодня и не встретил делегатки на фабрике. Видно, не хочет показываться — после вчерашнего ей, конечно, стыдно... Если бы не эта затея Лаутаро, пошел бы сейчас по магазинам поискать книги, которые взял у нее и потерял. Надо бы вернуть, только вот названий не помню, а у продавцов спрашивать неудобно. Даже эта маленькая не знаю, как называлась. Вроде «Манифест», но точно не знаю. Начнешь спрашивать, за недоумка посчитают. Да я и не понял названия, помню только, что брошюрка небольшая, похожая на журнальчик. А делегатка давала мне ее как семейный псалтырь, кажется, она ею очень дорожила...

Здорово, наверно, натаскал ее отец — рабочий с металлургического, тот, что на фотографии: повернул вот на этот путь и научил всему, что должен знать рабочий человек. Поэтому она такой и получилась: голова у нее на месте. А Суси была еще маленькая, когда отец умер, к тому же он еще до этого овдовел. И сразу видно, что Сусита—

совсем другое дело: закваска уже не та. Но зато бог наградил ее коечем другим.

И все-таки много значит, что девчонки имели отца. Крепко он их поставил на ноги, даже дом построил. А я? Мать целыми днями пьяная, в комнате все кувырком, и ей было не до воспитания детей — лишь бы заработать что-нибудь.

Когда дома не было денег, она шла на улицу, но, бывало, и там не везло: не могла никого подцепить, несмотря на то что наряжалась и целый вечер шлялась по поселку. А другой раз заявлялась с пьяной компанией и ногами стучала в дверь, если мы долго не открывали. Гостей оставляла ночевать у нас, а меня с сестренкой выгоняла спать в чулан, к собаке.

Чему могла научить меня эта сеньора, если, прежде чем положить кусок в рот, должна была пройти через всю эту грязь? Хорошо еще, что посылала нас в школу. Правда, может, просто для того, чтобы мы не мешали ей дома. Вечерами приказывали мне бегать за вином: мужчины совали деньги, и я должен был в темноте лететь с бутылью через весь поселок в подпольную лавку. Но иногда мать хотела выпить и в одиночку, а денег не было, тогда она отправляла меня просить у торговца в долг. Мне верили, но если долг и так уже был очень большой, торговец не давал ни капли. В таких случаях с матерью приключалась истерика: она плакала всю ночь, несла какую-то несуразицу и даже будила нас, чтобы рассказать, что ей мерещилось. Мы спросонья ничего не понимали, и это бесило ее еще больше. В одну из таких ночей она запустила мне в лицо стаканом за то, что я дремал и не слушал ее. Попала прямо сюда, слева. И сейчас заметно...

А вот, кажется, уже и Индепенденсиа, где Лаутаро собирает нас. Номер дома у меня записан на спичечном коробке. Зайду посмотрю, что там такое будет...

■

Так я и не поняла как следует этого Марио Каро. Не знаю, то ли он просто шалопай и донжуан, или же подобрался ко мне из-за каких-то личных выгод. Но в любом случае я поступила нехорошо, позволив ему приблизиться, да еще до такой степени... А впрочем, почему нужно стыдиться этого? Я ведь не какая-нибудь мещанская барышня, которая смотрит на вопросы пола как на что-то запретное. Быть левой — это не значит быть пуританкой, хотя обычно именно так я себя и веду, но на этот раз Марио удалось застать меня врасплох. Облапил и закрутил, как ему хотелось,— донжуан, умеет соблазнять женщин... Правда, поклясться я не могу, что именно он, и только он, заставил меня потерять голову... У инстинкта свои законы, и они движут нами. Хотя сыграл не только инстинкт. Как-то разжалобил Марио меня своим рассказом о непутевой жизни: он, взрослый человек, живет как мотылек и сам не знает, зачем живет. Если у него и есть настоящие чувства, он старается скрыть их за показной бесшабашностью, хочет показать себя боксером: рисуется, ходит, выпятив грудь... Не знаю почему, но вообще-то мне немного нравятся такие парни, на них приятно смотреть. А главное, если хоть чуть-чуть затронуть его душу, он сразу становится добрым и тихим, как теленок. Едва не расплакался, когда рассказывал о том, что вытворяла его мать-проститутка. Несчастная женщина...

Я и раньше его видела. Конечно видела. В автобусах. Народу в них всегда полно, и едешь, как сардинка в коробке. Там он как-то раз и начал прижиматься ко мне. Чего уж себя обманывать: я не отодвинулась...

При той жизни, какую веду: целыми днями то собрание, то заседание,— инстинкты заперты, словно львы в цирке, а откроют им дверцу клетки, и они сломя голову выпрыгивают. Все-таки мы живые люди, из плоти и крови. Вот и получилось...

Поскольку все время общаешься с одними и теми же товарищами, с ними устанавливаются отношения взаимного уважения, и твое внутреннее, интимное, как-то остается в стороне, его даже приходится скрывать. Однажды я попыталась поговорить об этом у нас, но товарищи слушали меня с какой-то неловкостью. В тот день мы должны были обсуждать очень важный вопрос: ни больше ни меньше как о визите — тогда еще кандидата в президенты — Альенде на нашу фабрику. И мой разговор, конечно, сразу же забылся среди серьезных дел, которыми мы должны были заняться: нужно было найти художника, чтобы он нарисовал портрет Альенде, соорудить во дворе трибуну. Мне, я помню, поручили раздобыть доски. На этом и закончилось то собрание, где я хотела поговорить о вопросах, к делу совершенно не относящихся. А найдется ли когда-нибудь время говорить об этом, если все и всегда оказывается очень срочным и важным?

Потому товарищи и смотрят на тебя как на деревянную или вовсе не смотрят. Сколько раз они провожали меня после собраний, заходили в дом и часами сидели здесь, разговаривая о политике или о профсоюзных делах. Даже Суси начинала зевать и, не простившись, уходила спать. И ведь никому никогда не пришла в голову такая же чертовщина, как Марио. Он не отводил взгляда, и я даже должна была накинуть поверх рубашки пальто: его глаза так и шарили по мне.

И, понятно, было приятно чувствовать себя женщиной. Можно даже сказать, что я его спровоцировала. Когда, постелив ему на полу, я осталась сидеть в одной рубашке, это не лукавый мне нашептал, а сама себе я подсказала. С товарищами же, ни с одним из них, этого бы не случилось, и думать нечего. А вот с Марио я сама сделала первый шаг. Даже рубашку специально переодела, когда выходила из комнаты. Нет, это не дьявол-искуситель шептал мне, я сама... Я не святоша, хочу чувствовать себя женщиной...

Только обидно, что так и не узнала я настоящей любви: сближалась с людьми, которые в конечном счете ничего общего со мной не имели. С ничтожными личностями; вроде того, давнишнего — сына хозяина магазина, итальянца, даже полуфашиста, так его отец сам называл. Он катал меня на мотоцикле, обращался со мной по своей прихоти. Я умирала от стыда, что «гуляла» с реакционером — надевала темные очки, повязывала на голову платок, чтобы кто-нибудь из знакомых не узнал меня...

Теперь вот и с Марио у меня получается то же самое. Хорошо еще, хоть он что-то хочет понять... Но надо же было случиться этому именно сейчас, в период наибольшей ответственности... Да, впуталась я в историю как раз теперь, когда надо быть особенно осторожной, бдительной. Мы должны все видеть и все слышать, чтобы не дать развернуться саботажникам, которых Турок, несомненно, имеет на фабрике...

Все утро сегодня прошло впустую — ничего не могла делать, а надо было идти на собрание уполномоченных вместе с представителями Национального управления. Как в каком-то полусне, даже Гомес обратил внимание. В голове снова и снова проходит вчерашнее. Не знаю, Суси слыхала, что ли,— утром ушла из дома молча, будто сердитая. Даже не простилась. Может, просто заметила, что Марио ночевал у нас в столовой?..

А в ткацкий цех я даже не заглянула. Так лучше — надо кончать с Марио сразу. Сейчас на мне лежит такая ответственность. Это

только отвлекало бы... А он, глупенький, надеется, что будет учиться со мной... И книги потерял. Правда, на него, бедняжку, напали. Но «Манифест» жалко — память об отце...

И все-таки не могу его понять: не притворяется ли он, выказывая желание учиться? То, что он — шельма, за милю видно, и, похоже, выпивоха. Когда я сказала о нем Гомесу, тот не поверил, что такой может быть нам полезен; это, говорит, какой-то полубандит, раньше был боксером, а недавно Гомес снова видел его с толстяком Лаутаро из спортклуба, самым грязным изо всех приближенных Турка... Но я все-таки думаю, что, скорее всего, он обыкновенный нахал. А сейчас, когда он видит наши старания по управлению фабрикой и увеличению производительности, в нем, видимо, пробуждается классовая сознательность. Вообще-то надо бы подучить его — по идеологии,— только где взять время?.. Не верится, что он может быть сволочью, подосланной саботажниками. Конечно, надо быть бдительными, как мы и решили, только, наверно, это уж слишком — бить тревогу из-за Марио. У него не хватит ума, чтобы совершить что-нибудь серьезное. Хвастун — да, но преступник — не может быть. Ведь почти плакал, когда сидел со мной...

Что это ты так поздно возвращаешься, Суси? Разве ты сегодня не в первую смену? Ужин вон там, только подогрей его. И будь осторожной, сейчас здесь стало опасно возвращаться поздно одной. Ты же знаешь, что вчера чуть не убили этого парня и он даже был вынужден остаться ночевать у нас. Разве ты не видела его, спящего, здесь утром, когда уходила на работу?..

■

Всю жизнь я провел на фабрике, и нет у меня опыта, натренированности политиков профессионалов... Дон Херман, конечно, пройдоха, но как убедительно умеет говорить. Понятно, он должен казаться искренним — лицо заинтересованное... А ведь еще совсем недавно вопил, что надо бежать из Чили, теперь же — первый оптимист! Говорит, что все мы обязаны оставаться здесь, потому что экономический кризис свалит правительство и все вернется к тому, как было. Цирк! Сейчас в этой неопределенной обстановке он загребает денег больше, чем когда-либо. Только от меня сколько получает! И как красиво это делает, каналья. Любит, чтобы все у него выглядело элегантно. В последний раз даже не коснулся денежных вопросов. Чувствовал себя в своей тарелке и держался кабальеро. Очень ему нравится, когда с ним разговаривают, как с советником, смотрящим на вещи с определенной высоты. Только — готов биться об заклад — завтра рано утром обязательно позвонит: «Как дела, Мигель? Отдохнули? Эстерсита чувствует себя хорошо? Успокоилась немного? Я же говорил вам, мой друг,— все уладится... Послушайте, Мигель, мы с вами вчера совсем упустили вопрос об оплате этих людей, а уже конец недели. Народ знаете какой отчаянный и требовательный, особенно рабочие... Нет, нет, не беспокойтесь, я могу подослать своего шофера. Когда вам удобнее?..»

Умеет держаться солидно, прохвост, но из того, что я ему даю, половину наверняка кладет в свой карман. Этих оборванцев — он говорит, что у него их двадцать или тридцать человек,— должно быть, не больше десяти или еще меньше. Хотел произвести на меня впечатление тремястами долларов, которые якобы заплатил Шандору Телеки. Несколько раз заводил разговор. Но я буду делать вид, что не обратил на это внимания. Пусть он снова начинает крутить. Начнет! Унизится, но все равно заговорит! Нет, брат, насчет долларов со мной туго — это моя спасительная соломинка...

Наверно, сейчас не спит, все думает, как ему снова подступиться к разговору о долларах. Уж сколько раз он начинал его. Даже, «как между друзьями». Насчет тех, что он дал Телеки, черт с ними,— это мелочь. Но он хочет обменять у меня крупные суммы чилийских денег на иностранную валюту. Знает или предполагает, что у меня есть здесь и за границей, и боится, что я уеду...

Когда дела приняли грозный оборот в начале президентства Альенде, ты меня почти совсем разжалобил, Хермансито, своими мольбами. В тот вечер прибежал на фабрику в панике — челюсть отвисла — и сказал, что все пропало. Революция, раскрыв заговор против Шнейдера, вот-вот должна покончить с вами. Ты обратился ко мне как к другу, чтобы помочь тебе вывезти твою семью — «мой люд», как ты выразился. И сумел пробудить во мне сочувствие — я поменял тебе немного, что-то тысяч десять или двенадцать долларов. Помню твое лицо: у тебя чуть слезы не капали из глаз от благодарности к «другу, который познается именно в такие моменты». Ну а потом проходили дни, а ты все оставался в Сантьяго, объясняя задержку всякими обстоятельствами. Обвинял своего сына Пабло за то, что он не хотел уезжать с вами, а ты боялся оставить его, иначе он совсем бы запутался в экстремистских авантюрах ультралеваков из МИРа. Ссылался на какие-то обязательства жены — «эти ее вечные штучки». Ругал Центральный банк за то, что не выдавал тебе разрешения на перевод денег за границу. Так вот и остался до сих пор. Кабальеро, ты забыл о своих слезах и уже не думаешь возвращать двенадцать тысяч долларов, а ведь цена их на черном рынке взлетела до неба! Наоборот, хочешь еще обменять на доллары кучу денег. Доллары просто сводят тебя с ума. Но выпрашиваешь ты их, как истинный джентльмен: тонкими намеками, вроде бы между прочим, полушутя...

Если я попадусь на его уловку насчет ужина с Люси и ее подругой-художницей, которая, кстати, мне вовсе не нравится — ноги тонковаты,— уверен, что между бокалами он снова заведет ту же песню: «Это арабский принц, Химена, побольше уважения к нему. Всмотрись в него, ты могла бы написать его портрет. И за ту же цену, которую берет Дали. Брось кривляться, Хименита, как маленькая!» Инстинктивно чувствует, что я уеду из Чили, и торопится сорвать с меня куш...

Но насчет того, что произойдет в этом году, говорит неплохо. И неплохо выдает аргументацию за свою. Было весьма забавно слушать, как он, шагая по библиотеке, разглагольствовал то грозным, то насмешливым голосом. Словно папа римский от экономики. А анализ-то был не его, а демохристианской партии, которую он так презирает. Этот хаос для Чили предсказывал в газетах Пепе Мусалем [1]. Между прочим, он тоже турчонок, Херман...

Конечно, экономический анализ состряпан отменно и может еще заставить кое-кого подумать: уезжать или нет. Нехватки товаров не остановить никому. Недостаток продуктов питания, запчастей, топлива, одежды уже чувствуется, а в ближайшие месяцы у Центрального банка кончаются доллары. Чем же будет оплачиваться импорт? Американцы уже стукнули им по носу — кажется, все ясно. Опять же повысили жалованье рабочим, а что они будут покупать на эти деньги?..

Подсчеты убедительные, и остается только ждать окончания фильма «Народное единство». Когда на экране появится слово «конец», мы поднимемся со своих мест, протрем глаза, чтобы освободиться от виденного кошмара, сядем в наши автомобили и поедем домой. Там пропустим стопочку, чтобы лучше спалось, а утром приедем на наши фабрики, в банки, конторы, министерства, на биржу — каждый

[1] Экономист, сенатор от христианско-демократической партии.

на свое место. «Сеньорита, не переключайте пока на меня телефон, сначала я хотел бы навести здесь у себя кое-какой порядок...»

Подсчеты убедительны, и остается только ждать, когда останки Народного единства вынесут из ворот твоей фабрики...

Это подсчеты для молочницы! Одна корова — один бидон молока, две — два бидона, много — молочная ферма. Еще одна ферма для тебя, Хермансито.

Какие к черту убедительные подсчеты, если те, кто входит в правительство, не собираются оставлять власть, как оставляет место за столом проигравшийся в покер? Они не играют, как ты: если проиграл, выходишь из-за стола, идешь в сад и стреляешь себе в висок — то есть как положено кабальеро. Ведь так, Хермансито? Но эти, из правительства, они не игроки. И им вовсе незачем притворяться кабальеро. Они будут сидеть за столом, даже если у них кончатся фишки. И кто их выгонит оттуда? Ты? Надеяться, что из-за нехватки курятины вспыхнет мятеж против Альенде,— это детский сон, а точнее — старческий бред, перемешанный с разжевыванием печенья за вечерним чаем... Эту мою фабрику мне не вернуть никогда. Времена изменились, все в один миг перевернулось, и корабль пошел ко дну. Я говорю себе: «Уеду»,— и это мне представляется разумным. Правда, сейчас, когда Эстер спит и ночь такая тихая, что, кажется, ты вместе с кроватью выплываешь на балкон, сейчас немного грустно сознавать, что никогда больше не вернешься в Чили. Бедная Эстер: «В любом уголке мира, только не в Чили!» Где угодно, только не здесь. В Чили — исключено. Да, Эстерсита,— в Сирию или в Ливан, в родные края, где нас встретят наши родственники — пастухи коз, еще более бедные и темные, чем здешние крестьяне. Мне рассказывал бывший чилийский посол, еще от Фрея, что, когда он приехал туда, его встретило около пятисот нищих, и у всех та же фамилия, что и у него. Налетели, выпрашивая хоть что-нибудь, хоть носовой платок. Понятно, что мы происходим от финикийцев и можем этим гордиться... Интересно, сохранилось ли хоть одно из тех ярко расписанных красивых суденышек, на которых две тысячи лет назад они прибыли в Марсель?..

Да, эти, в правительстве, умеют защищаться. Пепе Мусалем должен иметь в виду: полный контроль над медью дает им огромные возможности для маневрирования. И аграрная реформа — «быстрая, решительная, массовая», как говорит этот Чончоль[1]... Расширение строительства по сравнению с прежним. Увеличение производства. Сокращение простоев. Все это подкрепляется цифрами, они ведут свой корабль вопреки ветру и волнам. И при этом утверждают, что речь не идет о каком-то рывке, нет — это закономерный процесс. А рывки — изжившие себя капиталистические методы. Каково, Хермансито или Пепито Мусалем? Ваша карта уже прошла, и вы ничего не дождетесь, надеясь на крупный банк. Сейчас идет не та игра!

Правительство знает, что, владея медью, оно владеет всем. А примитивы вроде Хермана не хотят этого понимать. Все рассчитывают на то, что народ в такой стране, как Чили, решительно выйдет на улицы и бросится на смерть из-за нехватки курятины или бифштексов. В стране разрушительных землетрясений, засух, извержений вулканов, экспроприации фабрик! Кто здесь пойдет драться из-за цыпленка? Сам-то ты, Херман, пойдешь или пошлешь своего шофера?

Ведь речь идет не об одном Альенде — все левые навалились на нас. Они распознают нас по запаху — по запаху денег, а его трудно скрыть. Ты, Хермансито, будешь у них одним из первых.

Уверяешь, что карты повернули на выигрыш, а сам обращаешься

[1] Жак Чончоль — в то время министр сельского хозяйства в правительстве Альенде.

с молитвами к Христу на том огромном распятии, что стоит у тебя в кабинете. Просишь его, чтобы Кармен со своим Красным Крестом, Герукита с ее театром и марихуаной, Пабло в джинсах и с бородой, твоя Люси, и ее магазинчик, Прозит и шофер — чтобы все оставались на своих местах, а ты, как главнокомандующий, обходил бы смотром их строй.

«Карты несут нам большой банк»,— уверяет Херман, а те, кто стоит за его спиной, в конце концов присуждают Нобелевскую премию Неруде!.. «В такие же ночи, как эта, в своих объятьях тебя я держал» — прочитал бы я сейчас Эстер, но она, бедняжка, храпит...

Позвони мне, Херман, завтра пораньше утром. Я хотел бы услышать твой голос истинного кабальеро,— быть может, никогда уже больше его не услышу. Позвони, и я обрадую тебя, уверяю, что обрадую. Я скажу, что никогда не уеду из Чили, что обменяю тебе столько долларов, сколько ты захочешь, пообещаю пойти с тобой на ужин к Люси и художнице, продолжать переговоры с Шандором Телеки о чем угодно, с Лаутаро — о чем угодно. Потому что «скоро все встанет на свое место» — ведь так ты мне скажешь по телефону?..

■

Все вроде незнакомые. Одного, правда, того, который сидит у жаровни, я, кажется, видел — работает на грузовике. Двух других совсем не знаю... Морды наглые. Наверно, как у меня... Лаутаро суетится по двору, будто официант, с кувшинами красного вина и стаканами. Вид у него не очень довольный, но старается, как же — проводит мероприятие по заданию шефа! А старушенция с блюдом жаркого, наверно, хозяйка этого дома, у которой Лаутаро снимает квартиру. Так что и ей перепадают крошки от торта Турка. Каждый хапает как умеет и как позволяет возраст...

А мне сквозь запах жаркого чудится, что пахнет мочой, и вспоминается свидание с Лаутаро в уборной. Наверняка под этим деревом мочатся и Пузан со своей девкой, когда напьются, и эти дворняжки, которые крутятся у жаровни. Так что, чего другого, а ароматов на вечеринке достаточно. Не знаю, как она пройдет: типы сидят понурые, и у меня настроеньице еще то. Не хватает только покойника...

А обещанных девок что-то не видать, даже Пузановой потаскушки нет. Наверно, трепался Пузан, чтобы затащить нас на эту сходку, а деньги, которые ему дал на девок дон Херман, забрал себе...

Может, оно и к лучшему — пораньше смоюсь отсюда.

Да-да, спасибо, я уже пробовал. Нет, красного что-то не хочется, я бы выпил белого сухого. Ну что вы, с удовольствием, но лучше — белого...

Хочет как-то оживить компанию, пес шелудивый, только сразу заметно, что тужится через силу, да и весь он фальшивый сегодня больше, чем обычно... Если и дальше все будут молчать, праздник совсем расстроится. Хоть бы Пузан что-нибудь разъяснил нам, а то ведь я доем мясо и уйду. Наверно, все-таки скажет: не для того же собирал, чтобы спросить, как мы себя чувствуем... Да-а, вот бы делегатка увидела меня здесь с этими. Если бы узнала, кто такой Марио Каро, с которым спала! Тот самый Марио, который так хочет учиться и просил у нее книги! Марио-Марито, с невинным лицом послушника сидевший на собрании в первом ряду... Свинья — вот кто такой Марио!.. Спасибо, сеньора, за табуретку... Нет-нет, мне тут в уголке хорошо...

Интересно, зачем явился на эти похороны вот тот, что справа, недалеко от меня? Забулдыга. Я видел, как он залпом шлепнул три боль-

ших стакана вина. А вот этот высокий, похоже, давно работает на фабрике — уже пожилой. Третий пристроился вместе с собаками возле жаровни и все время молчит. Да и никто не разговаривает. Даже Лаутаро со своей кривой улыбочкой не может и слова ни из кого вытянуть. Ну и веселье! Вроде и есть-то уже неохота...

Но вот появилась одна, свеженакрашенная. Наверняка Пузанова. Сразу видно, что гулящая: из-под «мини» аж ягодицы выглядывают. Если бы не такое настроение, можно было бы и приударить за ней, чтобы не заснуть на этих поминках...

Марио Каро. К вашим услугам, сеньорита. С превеликим удовольствием я подвинусь, и вы присаживайтесь тоже — сюда жар не доходит...

Похоже, целый пузырек одеколона на себя вылила, весь двор пропах. И все принюхиваются.

Ваше здоровье, компаньера! Точно, красное вино очень приятное, но я предпочитаю белое. Вы совершенно правы — я друг Лаутаро, а то что бы я здесь делал?

Привязалось ко мне это словечко «компаньера», даже типы вздрогнули и все враз посмотрели на меня, будто я при них дьявола помянул. Да и какая она к черту компаньера, если издалека видно, что шлюха с куриными мозгами? Но все-таки ей можно посочувствовать: представляю, каково терпеть этого вонючего борова Пузана!

Кажется, среди гостей пошел мур-мур: не понравилось им, что Пузанова бабенка ко мне подсела, а с ними только поздоровалась. Молодой балбес и тот высокий у конуры не сводят с нас глаз, и видно, что злятся...

Ну и трепло! Чешет и чешет, как только язык не устанет. Успела сообщить, что зовут ее Лусия, рассказала, сколько платят за квартиру, которую снимают у старухи уже много лет, что старуха — женщина одинокая, что...

Опять появилась хозяйка и вроде не в духе. Наверно, злится на молодую, той даже спичку с пола поднять лень, вот старухе и приходится одной все здесь делать. Вон еле волочет гору грязных тарелок и приборов, а молодой даже в голову не приходит подняться, помочь. Но пьет проворно... Лаутаро тоже сбивается с ног. Наконец, не вытерпел, подошел к Лусии, сказал, что могла бы и помочь, хоть бы фрукты помыла для гостей. А она только рассмеялась и ответила, что на праздниках ей нравится, когда не она, а ее обслуживают. За это она так обожает праздники...

Теперь подходит высокий. Похоже, будет просить прикурить — в руке потухшая сигарета. Рожа ехидная, сразу видно, что нахрапист. Но я отошью его — ясно, не прикурить ему надо, а хочет к Лусии подвалиться... Хорошо, что Лаутаро подозвал его к жаровне присмотреть за огнем. Все же успел рассказать, что работает в чесальном цехе. А на кой мне знать это! Подонок! Даже хуже, чем я,— у меня хоть лицо приличное...

Ну и ну! Донья Лусия вроде начинает прижиматься, не я буду! Во, нахалка! Может, отодвинуться? Что она, совсем окосела или думает, что Пузан слеп? А если и мне напиться с ней и посмотреть, чем мы потом закончим мессу. Все-таки она немножко отвлекает меня, и я забываю о Суси, которая целый день не выходила из головы...

А вот тот, похоже, думает, что хитрее всех: прикрылся газетой, делает вид, что читает, а сам уставился на ляжки Лусии... И у нее, видать, совесть заговорила: неудобно, что все внимание отдает мне, поэтому решила и остальным показать, что у нее есть.

Только один ни на что не обращает внимания, тот молчун у жаровни — шофер с грузовика. Лицо безжизненное, и, если бы он еще

не шевелил кадыком, когда пьет, и не двигал рукой со стаканом, его можно было бы принять вместе с собаками за скульптуру...

И с этим отребьем вы надеетесь вернуть свое счастье, дон Мигель? Один к одному, как на подбор... И я такой же — вот что противно! А разве нет? Все мы одинаково тянем руки за деньгами и готовы на любую подлость, даже против своих же товарищей по работе... Это я не потому, что раскис или испугался. Просто становится тошно, когда смотришь на эту публику вблизи. Все, что здесь делается,— делается на деньги Турка. И собрались мы без всякого желания и без уважения друг к другу, поэтому и весь наш «праздник» кончился не начавшись.

Ну вот Лаутаро прекратил, наконец, уборку стола, отнес последние тарелки и появился прилизанный и нарядный, как мальчик, ухоженный заботливой мамашей. Видать, что-то задумал: вынес скамейку на середину двора, сел и вроде собирается говорить. Как на профсоюзном собрании. Понятно, за деньги этот хмырь может прочитать даже молитву...

Точно, хочет говорить. Торопится, пока гости не налакались. Позже его никто слушать не будет.

Начинает с того, что если мы тут собрались все вместе, значит, нас связывает одна и та же идея: мы не хотим позволить, чтобы марксисты уничтожили прежнее Чили — страну мужественных людей, которые выигрывали все битвы в истории, когда только хотели!.. В одном ряду с нами шагает и хозяин нашей фабрики дон Мигель, который борется, чтобы спасти от политиков то, что стоило стольких трудов его отцу и ему самому... Хозяин просил сообщить о своем согласии образовать вместе с нами смешанное предприятие, все доходы от которого он, как добрый компаньон, будет делить с нами пополам... Что может быть лучше для нас? Быть компаньонами или получать гроши от правительства?! И это наше первое собрание друзей и компаньонов просил провести тоже дон Мигель, чтобы мы ближе узнали и оценили друг друга. Ведь нам придется немало поработать вместе против левых обманщиков... Битва разгорается все жарче, битва за то, чтобы не дать болтунам из правительства обманывать народ насчет роста производительности!.. Мы должны во что бы то ни стало остановить их, мешая на каждом шагу! В том числе и путем поломки машин. Понятно, всем нам очень больно делать это... Под конец Пузан сказал, что нас много и поэтому надо организоваться, чтобы подстраховывать друг друга...

У меня прямо все переворачивалось внутри, когда я слушал его байки. Насчет смешанного предприятия — треп! Делегатка мне все разъяснила: сейчас Турок в безвыходном положении, поэтому играет на понижение и готов наобещать что угодно. Но противнее всего, что Пузан хочет выдать эти донмигелевы штучки, в том числе и саботаж, за патриотизм. Да этим вот обормотам, которые «идут в одном ряду», и на родину и на фабрику наплевать! Что их интересует— и меня тоже! — это побольше наличных, да поскорее, и гулянки со жратвой и выпивкой. И все они знают, что потом, если Турок вернется, никаких золотых гор у них не будет.

А теперь Пузан, как в светском салоне, представляет нас друг другу. Ну и прохиндей! Он ловчее всех вылавливает фасоль из донмигелевой похлебки!.. «Рамон Харамильо из чесального цеха... Ренан Баэса — из транспортного... Фернандо Парра — из мастерских... Марио Каро из ткацкого. Теперь мы все друзья!» — и Лаутаро предлагает всем чувствовать себя здесь свободно, погулять, «как в добрые старые времена». Мяса достаточно, вина — хоть опейся. Поднимает ста-

кан, наверно, хочет предложить тост за дружбу, только после такого доклада говорить больше не может: глотка пересохла.

А Лусия не смотрит на него и не слушает: продолжает давить на красное вино и на меня. Пока ее Пузан путался в своем выступлении и делал серьезное лицо, как у настоящего оратора, она подхихикивала и толкала меня локтем в бок... Сразу было видно, насколько он надоел Лусии и вообще не нравится, и ей безразлично, увидит он или нет, что она положила свою ногу на мою. Ну а гости, понятно, смотрели, дергались на своих местах — прямо глаз с нас не спускали, а Лаутаро, по-моему, даже и не слушали...

Пузан тем же командирским голосом, каким разговаривал вчера со мной, спросил Харамильо, сделал ли тот, что обещал, с машиной. Засмотревшийся на нас высокий едва расслышал вопрос. Потом кивнул головой: мол, да, сделал. Баэсу спросил, у скольких грузовиков отвернул гайки и болты. Тот, полуобернувшись на стуле, пальцами, как немой, показал: у пяти. Заметно, что он уже здорово нализался. Потом Лаутаро подошел к Парре и спросил, сломал ли он большой компрессор. Парра ответил, что не смог — комитет бдительности установил у компрессора постоянный пост. Видно, что Пузан остался недоволен. Отпил глоток вина и сказал, что тогда надо было сломать какую-нибудь другую машину, пускай поменьше, но все равно Парра должен что-то делать — этого требует наш договор!

О требованиях и договоре сказал громко, на весь двор. А в докладе ничего о требованиях не говорил: все только «красные» да дон Мигель. Ушлый, гад! Теперь стал вещи называть своими именами — раз мы получили деньги, значит, должны делать то, что нам приказывают!

Про мою работу ничего не сказал, и остальные это заметили. Баэса поднялся от жаровни, подошел к Лаутаро и что-то шепнул. Потом показал на меня и спросил, делаю ли я что-нибудь такое же вроде них и если делаю, то что... Где-то я уже встречал этого типа.

А Пузан улыбнулся и ответил, что у меня секретная миссия и я выполняю ее по прямому указанию дона Мигеля. Поэтому пока мне нельзя заниматься ломкой станков. Это объяснение не очень понравилось Баэсе. «Где тут у вас уборная? — спросил, а уходя бросил шуточку, которая всем пришлась по душе: — Я и не знал, что у нас тут есть Джеймс Бонд — мастер по секретным миссиям и по бабам».

Все сразу посмотрели на меня и рассмеялись, даже Лаутаро. Я не знаю, на кого намекал Баэса: на эту, которая чуть ли не верхом на меня влезла, или видел нас с делегаткой, когда мы шли в бар. Надо выяснить. А если и дальше будет кочевряжиться, врежу ему — вроде как по пьянке. Всякая продажная тварь еще будет издеваться надо мной! Сволочь! Грузовики ломает и не думает, что кто-нибудь из наших же ребят может погибнуть!

Идет обратно. На ходу застегивает ширинку и все еще улыбается, доволен своей шуточкой, падло. Человечище-то, видать, сильный, только я ему все равно вломлю — против меня слаб. Нижним крюком так и сложу его пополам. Он наверняка и пришел-то сюда пьяным — от одного сухого так не окосеешь... Встал посреди двора и пальцами показывает цифры. Два грузовика и два «пикапа» — к чертовой бабушке! Уже, наверно, готовы: или в канаву кувырнулись, или столкнулись. Он у них что-то испортил в тормозах и в карбюраторах. Плюс двенадцатитонный грузовик — всего как раз пять! У грузовика он сегодня утром расслабил передний мост, так что грузовичок — поминай как звали, уж небось врезался во что-нибудь. Пять! — снова на пальцах показывает он, обращаясь к Лаутаро. «Так что я выполнил требования. А вот куда запропастились девочки, которых вы обеща-

ли? Если уж говорить о договоре, мы тоже требуем выполнения! Девочек-то не привели, всего одна, да и ту захватил Джеймс Бонд».

Сперва я хотел подняться и подойти к нему, но потом подумал, что это вовсе и не оскорбление, а похвала: ведь это на моем крючке висит рыбка, а у них — шиш. Если бы он подшучивал насчет делегатки, я бы ему вломил!..

Пузан вместе со всеми смеется над словами Баэсы и делает вид, что тот обращается вовсе не к нему. Но потом начинает успокаивать, заверяет, что девчонки должны подойти с минуты на минуту. Он, понимаете ли, договорился насчет их с одним сутенером — с Оскаром,— и тот точно обещал. Всего-навсего запаздывают...

В это время Лусия начинает хохотать как сумасшедшая. Хлопает меня по спине: «Значит, это вы — Джеймс Бонд, да? А я и не догадывалась!»—и лезет целоваться, но я увертываюсь... Наблюдаю за Лаутаро. Он допивает стакан, шлепает ладонью по дну, чтобы вышибить прилипшую там ягодку, потом вдруг со всего размаха бросает стакан на цементный пол и идет к нам. Улыбается так, что не поймешь, сердится или нет. Я его не боюсь, знаю, что он трус, и не думаю, что осмелится пырнуть меня ножом, но на всякий случай ухо держу востро, смотрю, что будет дальше.

Он подошел и так дернул Лусию за руку, что она отлетела на середину двора. Юбка у нее задралась выше пояса. А она даже не рассердилась: лежит и продолжает хохотать как припадочная. Все, конечно, подошли поближе, чтобы получше рассмотреть, а Парра потребовал: раз Лаутаро не выполнил договора насчет девочек, то Лусия должна быть общей...

Я не заметил, как к Пузану подошла старуха и взяла его за рукав, только услышал, как она ему говорила, чтобы он не обращал внимания на Лусию: она всегда немного чумная, а когда выпьет, то и вовсе теряет голову. Потом стала уговаривать Лаутаро не устраивать скандала в ее доме и напомнила, что новая порция жаркого уже подгорает.

Но Лаутаро не захотел ее слушать, резко выдернул свою руку, и старуха, не удержавшись на ногах, повалилась рядом с Лусией. У нее тоже закинулась юбка.

— Вот они, наши девочки! — заржал Баэса, поднимая полный стакан вина.— Вот они, красавицы! Я выбираю вот эту — поспелее, которая в длинном трико, потому что другая уже принадлежит Джеймсу Бонду.— И опять показал на меня пальцем.

Все покатились от смеха, только у Лаутаро лицо позеленело — никогда таким его не видел. Ничего не говоря, он растолкал сгрудившихся мужчин, отодвинул ногой старуху и этой же ногой начал бить Лусию. Сперва она еще продолжала смеяться, а потом смех стал смешиваться с рыданиями. Приподнявшись на четвереньки, женщина попыталась упрыгать от Пузана, но он бежал за ней и на ходу продолжал бить ее ногой по заду. Гости гогоча двигались за ним и подбадривали хозяина.

Трусики у Лусии окончательно разорвались, она уже ревела по-настоящему. Увидев меня, запрыгала в мою сторону, просила защитить ее...

■

Да, Суси, надо стараться, моя крошка... Будем учиться вместе, потому что, как я уже сказал, всю нашу жизнь мы болтались, как это... как маятники: туда-сюда. Болтались без толку, без пути и дороги, и шли, сами не зная куда. Возьмите себя, Сусита, вы ведь жили, как красивая маленькая зверушка. Да и я тоже. Вы... Ты причесываешься

по утрам, подкрашиваешь брови и губы и едешь на работу. В автобусе чувствуешь себя королевой, потому что знаешь, какая ты красивая. Вот это ты действительно знаешь хорошо — и это правда. И тебе кажется, что автобус, кафе с его вечной суетней, а потом дом — и есть весь мир. А я? Изредка бреюсь, если есть чистая рубашка, надеваю и тоже чувствую себя в автобусе, как кум королю. Потом целый день жду, когда кончится работа, чтобы весь вечер шляться по улицам — иногда даже до центра дохожу,— и тоже думаю, что это и есть весь мир. Вот так, у каждого из нас свой мир, но, оказывается, ни один из них не мир. Оказывается, мы видим только маленькую дольку мира, как улитки, высунувшиеся из раковины... Ты спрашиваешь, не свихнулся ли я, потому что уж больно чудно заговорил. Нет, Сусита, по-моему, это не свих — вовремя спохватиться и понять, что мы тычемся в жизни, как слепые котята,— оставили нас слепыми с самого детства.

Когда-то учительница в школе рассказывала нам, что Земля — это планета, и она вертится вокруг Солнца. Раз я даже изображал Солнце, не я буду! И вот с тех пор не могу забыть, что живу на планете, которая крутится. Мне нравится думать об этом. Учительница на апельсине показала нам, где мы находимся — и ты, Суси, тоже,— в каком месте мы ходим по Земле и вертимся вместе с ней, а сами даже и не замечаем этого... И так во всем. Мы не знаем, кто крутит этот мир и почему одни в нем имеют все и даже больше, а я и ты — ничего, кроме работы. Ты не думай, Сусита, что я заделался красным или каким-нибудь там борцом. Просто когда я увидел тебя, то сразу как-то понял, кто я такой. В эти дни ясно, как никогда, я вдруг понял себя... Хочешь знать, кто я такой? Подлец — вот кто! Подлец и свинья!

Мне надо рассказать тебе все-все, Суси, потому что я хочу очистить свою душу до самого дна, чтобы иметь право любить тебя. Я ведь продался, как последняя проститутка, и за несколько эскудо готов был идти против своих же товарищей по работе. Готов был выступить против них, но не лицом к лицу, а из-за угла, обманом, подставляя ножку, чтобы они споткнулись как раз тогда, когда только что сумели подняться и расправить плечи.

Я обманывал твою сестру, вел с ней грязную игру, чтобы платившие мне могли бы сорвать то, что она хочет сделать для товарищей на фабрике,— организовать и вдохновить на увеличение производительности. За предательство мне давали деньги, и если бы ты знала об этом, ведь не пришла бы ко мне, Суси? Ведь правда ты бы не позволила целовать себя грязному изменнику, который пробрался в ваш дом, чтобы обмануть твою сестру и тебя? Сейчас мне стыдно, Сусита, за то, что я хотел сделать с твоей сестрой — женщиной, готовой отдать все силы, чтобы фабрика работала лучше, и показать всем, на что способны мы — рабочие. А я, как последняя сволочь, в душе издевался над ней. Считал ее сумасшедшей, фанатичкой, выкрикивавшей лозунги, красной монахиней, осеняющей себя серпом и молотом...

Да, таких дней, как эти, у меня никогда не было, Сусита. Кроме того, что мне вбили в голову и что я сам понял, я еще узнал тебя, тебя, которая...

Ну ты, раззява, смотри, куда прешь! Тут, на Индепенденсиа, не так темно, чтобы натыкаться на людей...

Пожалуй, пройду пешком до Мапочо [1]... Этот придурок, который налетел на меня, перебил все мысли. А я уж и в самом деле вообразил, что разговариваю с Суситой...

Едва не задохнулся я там, и небольшая прогулочка поможет мне

[1] Река, протекающая через Сантьяго.

стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую я окунулся на вечеринке у Пузана. Правда, после того как я дал этому сброду кое-какие разъяснения, стало маленько полегче... Сперва было просто чуть муторно, а потом делалось все хуже и хуже. Вот тогда-то я и сблевнул на них всю дрянь, которая во мне скопилась...

Отлупив свою полоумную девку, Пузан запер ее в комнате, а потом с прежней улыбочкой опять вышел во двор. Сказал как ни в чем не бывало, что жаркое должно уже прожариться. Я смотрел на него и остальных и бесился оттого, что вся эта мразь такая же, как и я, и у меня нет никакого права презирать их. Всем нам одинаково платили, а теперь вот бросили еще по куску мяса, чтобы заткнуть пасть, как собакам...

А тут еще Баэса все куражился и приставал со своей дурацкой шуточкой насчет Джеймса Бонда. И я начал понемногу заводиться. Но сперва еще тоже улыбался, видя, как Пузан тужился, чтобы оживить вечеринку и не дать ей превратиться в балаган перепившихся и переругавшихся шутов.

Понятно, с чем же тогда он пойдет завтра на доклад к Пижону, который дал ему деньги на «сплочение коллектива» предателей, если все сорвется из-за вздорной девки Лусии?

Но пьяный Баэса уже не мог остановиться и пристал к Пузану с вопросом: почему тот заодно с Лусией не отлупил и Джеймса Бонда, который соблазнил его любовницу? Правда, Баэса тут же оговорился, заявив, что Джеймс Бонд на поверку оказался слабаком... Ну уж когда Баэса стал травить меня в открытую, я не выдержал и навалился на него. Вытряхнуть из него душу мне ничего не стоило, труднее оказалось свалить Пузана, который бросился разнимать нас и упрашивать, чтобы мы не ссорились. Обещал заставить Баэсу заткнуться. Но я врезал и ему, и он сковырнулся спиной на жаркое, перемешав мясо с углями. Хотел добавить еще, да Харамильо помешал...

После этого я им все и выложил. Выложил и ушел!

Теперь, наверно, подыхают там со страха: ведь я сказал, что рву с ними начисто и раскрою всю ихнюю шайку перед профсоюзом, даже если и мне самому придется отвечать. Назвал их продажными тварями, которые за гроши продают своих товарищей по работе. «За деньги,— сказал я,— вы готовы вредить не только фабрике, но и губить рабочих, отворачивая гайки у автомобилей, вместе с которыми погибнут и люди! Завтра же утром на фабрике узнают об этом! — закончил я.— И об участии Хермана в подготовке диверсий тоже узнают, не я буду!..»

Харамильо хотел было успокоить меня, но побоялся еще раз хватать меня за руку, хоть и молотобоец: я так посмотрел на него, когда вырывался, что он решил больше не ввязываться.

Потом я еще сказал, что все их дерьмовые договоры выгодны только хозяевам, потому что, если фабрики возвратятся прежним владельцам, мы останемся теми же оборванцами, как и были. Хозяева хотят снова набросить мешки на головы рабочих, которые не жалея сил борются за увеличение производства. Да, да, набросить мешки и держать их в темноте всю жизнь, потому как, если сейчас народ не устоит, его зажмут на много лет вперед... И под конец я спросил их: разве сами они вышли не из народа?

Лаутаро вылупил на меня глаза, а подбородок у него дрожал от страха. Он едва мог пробормотать, что я просто перепил или это делегатка меня так обработала. Потом добавил, что мне надо немножко отдохнуть.

Я ответил, что он-то и есть самая грязная сволочь изо всех, пото-

му что уже давно потерял и стыд и честь. И еще я спросил, уж не хочет ли он отправить меня отдыхать к его распутной девке...

— Это вам, Марио Каро, так не пройдет,— прошипел он,— договор есть договор!

Отвернувшись чуть в сторону, будто разговаривая сам с собой, пока Баэса отряхивал ему спину от золы и углей, Пузан продолжал:

— Вам платили по договору и, если вы его нарушите, не удивляйтесь тому, что с вами будет!

— Что у меня с тобой будет, гад? Или с этой падалью? Ничего у меня с вами не будет! — крикнул я.— Лучше подготовьте-ка свои задницы к встрече с рабочими, когда они узнают о ваших делах!

— Это вам надо приготовиться, Марио Каро,— услыхал я, как бормочет Пузан, отодвигая в сторону Парру, который опять хотел подойти ко мне, похоже, надеясь успокоить...

...До Мапочо пешком, а там, если повезет, подцеплю такси — и прямо домой к сестрам, чтобы рассказать им все. Все! Даже если придется ползать перед ними на коленях. За двойное удовольствие — двойная расплата... И черт меня дернул с ними сразу с двумя!.. Нет, перед обеими вместе не смогу говорить...

Я лучше буду рассказывать тебе одной, Сусита. Мы вместе кружимся на одном шарике-апельсине... Не знаю, что влечет меня к тебе: фигурка ли, лицо или твоя насмешливая улыбка? Что мне больше всего в тебе понравилось? Бедра, волосы, пахнущие свежей соломой, или глаза, которые все время смеются, даже когда лицо серьезно? А может быть, твои маленькие ушки, твоя талия или грудь? Твои белые стройные ноги, или желтое пальтишко, в котором ты пошла на работу, или ночная рубашка — ты была в ней, когда я вбежал к вам, запыхавшись, и увидел тебя? Что больше всего запало мне в душу?.. Вместо того чтобы погибнуть, я узнал тебя и понял, что с тобой готов на все, даже жениться, завести свой дом, детей, о чем я раньше и думать-то не хотел! Вот ведь как бывает: бежал от смерти, а прибежал к Сусите... Будто мы искали друг друга всю жизнь!

Я был жалким шалопутом, Сусита, и должен обо всем тебе рассказать...

Ага, вон остановилось такси. Вылезли четверо, и не надо упускать машину — успеть бы добраться до сестер не позже двух ночи. Если решил начать честную жизнь, надо идти прямо. Уверен, что они поймут меня. Только такси уезжает...

А эти четверо, похоже, крепко поддавши. Вот переходят через улицу, на мою сторону, идут по тротуару. Даже в такой час не дадут человеку подумать в одиночку...

Ё моё! Они — Пузан Лаутаро и остальные, что жрали жаркое. Вон вижу физиономию Баэсы. Если начнут запугивать, надо держаться, Марио, даже перед четырьмя парами кулаков. Ясно, зачем идут, гады,— хотят надавить. Приближаются молча, впереди Лаутаро.

В руке у Пузана пистолет. Потому он так смело и шагает во главе. На что рассчитывают, ублюдки? Я же им ясно сказал, что раскрою их дела перед рабочими, разоблачу их как предателей и от своего слова не отступлю! Я стал теперь немножко другим...

Вот она, морда Лаутаро, прямо передо мной. Всегда она была мне противна. Глаза кошачьи, наглые, слюнявый рот скривился в улыбке... Ничего не говорит Пузан, целится прямо в меня...

Кружимся мы с тобой на одном шарике-апельсине, Сусита...

■

ДЖОН БЕРРИМЕН

Перевод с английского и вступление
В. БРИТАНИШСКОГО

Исследователь творчества Берримена и его биограф, американский критик У. Марц пишет, что в поэзии Берримена «трагическое видение находит свое дополнение в комическом, в его яростном и столь часто разрушительном чувстве юмора. Это по преимуществу поэт страдания и смеха...». Уточним сразу же, что смех Берримена становится с годами все более мрачным, в его последних стихах смех переходит то в крик отчаяния, то в рыдания или проклятия. Комическое в поэзии Берримена — так же как в комедии его сверстника Стенли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир» (1963) — оборачивается сатирой и гротеском.

Самое парадоксальное, что Берримен, чувствовавший себя чужим в Америке, метавшийся, не находивший себе места и покончивший, наконец, самоубийством,— это не иммигрант, не аутсайдер, не паупер. Берримен — американец до мозга костей, коренной южанин и даже сын банкира.

Он родился в 1914 г. на юге Оклахомы, детство провел в городке Анадарко на реке Уошито. Названия городка, реки и самого штата восходят к индейцам, переселенным на эту территорию с более восточных земель в 1820 г. Об этом давнем событии вспоминает, между прочим, Фолкнер в романе «Город». Южная Оклахома вряд ли особенно отличается от северных округов фолкнеровского штата Миссисипи, а городок Анадарко можно представить себе по аналогии с тем городком, в котором жил Фолкнер и который изображен в его трилогии под названием Джефферсона.

Один из обитателей Джефферсона, «белая ворона» среди его бизнесменов и пройдох, страстный любитель поэзии, Гэвин Стивенс, говорил о поэтах: «...их интересует только правда — вот почему та правда, которую они говорят, настолько правдива, что даже тех, кто ненавидит поэтов какой-то врожденной, примитивной ненавистью, эта правда наполняет восторгом и страхом». В этих словах обнажаются не только прекраснодушие и восторженность Стивенса, но и «одержимость», очень характерная для многих фолкнеровских персонажей и для самого писателя. Таким «одержимым» был с юности и Джон Берримен — поэт, жаждавший понять правду «о времени и о себе». Привязанность к поэзии и любовь к правде очень рано привели его к первым конфликтам.

Четыре года Джон провел в привилегированной школе для мальчиков в Южном Кенте, штат Коннектикут. Биограф приводит слова поэта о том, что это была «школа мускулов», то есть из мальчиков воспитывали атлетов. «...Джон возненавидел Южный Кент душой и сердцем. Ему порядком доставалось, ему часто приходилось драться — обычно с ничейным результатом. Он начинал думать о литературе и стал бунтарем, потому что был интеллектуалом, а эта школа, как он видел, не любила интеллектуалов. В Южном Кенте мальчиков били палкой...» Читатели, наверно, уже вспомнили фильм Стенли Крамера «Благослови зверей и детей».

С тех пор ощущение конфликта с окружающей действительностью, ощущение собственной отчужденности, неприятие американского образа жизни уже не покидают Берримена и его поэзию. Между тем внешне биография Берримена выглядела как нельзя более благополучно. Берримен получил самое дорогостоящее, самое блестящее образование: он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке (1936), а за-

тем — Кембридж в Англии (1938). Он преподавал в самых фешенебельных университетах: Гарварде и Принстоне, а с 1955 г. до конца жизни занимал кафедру в университете штата Миннесота в Миннеаполисе. Он имел достаточно средств, чтобы посетить после войны не только Ирландию и Испанию, но даже Индию и Японию. Он опубликовал девять книг стихов (первую — в 1942 г.) и получил едва ли не все поэтические премии Америки: премию Шелли в 1948 г., премию Гарриэт Монроу (премию журнала «Поэтри») в 1957 г., премию Пулитцера в 1965 г., премию Боллингена (которую присуждает американская Академия) в 1968 г., Государственную премию за лучшую поэтическую книгу 1969 г. На этот поток поощрений он реагировал по-своему:

...есть что сказать, хозяев—к черту, в нем—
сознанье: время—за него, он прав,
душа работе предстоящей рада,
все премии получены, начнем
работать для себя...

Впрочем, и раньше Берримен работал «для себя», а не «для хозяев». Независимостью суждений и резкостью оценок отличается уже поэзия молодого Берримена, насыщенная социальным и политическим содержанием. В 1937—1938 гг. Берримен, студент Кембриджа, побывал во Франции и в Германии. Особенно потрясло его, как вспоминал он много лет спустя, посещение Гейдельбергского университета, который к 1937 г. стал, по словам Берримена, «одной из цитаделей нацизма». Стихотворения «1 сентября 1939 года» и «Луна и ночь и люди» написаны в 1939—1940 гг., уже по возвращении в США. Чтобы оценить самостоятельность и резкость антифашистской позиции Берримена в этих стихах, нужно вспомнить, что до декабря 1941 г. США оставались нейтральной страной, американские изоляционисты утверждали: «Это не наша война». Берримен понимал, что война с фашизмом не может быть «не нашей» для честных людей всего мира. Поэт был негоден к военной службе по зрению. Но правду о войне он видел лучше многих других, он видел, чем угрожает миру фашизм:

...Близок час,
Когда ни книг, ни музыки у нас
Не будет, ни любви, ни права мыслить...

Берримен знал и ценил классическую европейскую культуру. Самая светлая книга в творчестве Берримена — сонеты о любви — полна восхищения книгами Бальзака, музыкой Баха, поэзией Гельдерлина. Впервые опубликованные лишь в 1967 г., сонеты были написаны 32-летним поэтом в 1946 г. за несколько месяцев. (Женщину, которой они посвящены, Берримен, со свойственной ему одержимостью, любил всю жизнь, любил страстно и мучительно.) На протяжении всей книги сонетов молодой поэт не скрывает дерзости своего замысла: он состязается с Шекспиром, которому в пору создания сонетов тоже было тридцать. Как ни оценивать самый факт такого состязания и его результаты, но среди современных мастеров английского сонета Берримен показал себя одним из крупнейших.

Перевод сонетов Берримена на русский язык имеет свои специфические трудности. В английском ямбе, по традиции, восходящей к Мильтону, а отчасти еще к Шекспиру, допускаются значительные «вольности» в отношении отхода от «правильной» схемы ударений. Берримен, эмоции, ритм и синтаксис которого отличаются максимальной напряженностью, обращается именно к этой традиции и даруемые ею «вольности» использует в полной мере. Воссоздание его стиха по-русски требует, соответственно, нарушений схемы «правильного» русского ямба.

В переводах стихотворений «1 сентября 1939 года» и «Луна и ночь и люди» несколько непривычным для русского читателя может показаться и «смешанный» стих Берримена, который воспроизведен переводчиком: в оригинале естественно и как бы бессистемно перемежаются строки рифмованные и нерифмованные, строки ямба и строки свободного стиха (верлибра). В контексте современной русской поэзии, где верлибр используется редко, «смешанный» стих может быть воспринят читателем как «дезорганизация» белого или рифмованного стиха, тогда как в контексте современной американской поэзии, где верлибр последователей Уитмена (а теперь уже — и Уильямса) господствует почти безраздельно, «смешанный» стих Берримена выглядит, наоборот, как попытка «организовать» этот современный «хаос», попытка ввести море верлибра в какие-то берега.

Подобное сочетание стиха рифмованного, белого и свободного, при очень четкой строфической структуре, характерно и для главного произведения Берримена — книги стихотворений «Песни-фантазии» (первая часть опубликована в 1964 г., вторая — в 1968 г., в полном окончательном виде книга вышла в 1969 г.). В стихотворениях этой книги Берримен пишет о себе то в первом лице: «я», то в третьем лице: «Генри Боунз», «Мистер Боунз», «Генри» или просто «он». Читателя, знакомого с теми романами XX века, где рассказчики, сменяясь, повествуют друг о друге, уже не затруднит такая форма автобиографического романа Берримена. Пожалуй, именно романом в стихах правильнее всего назвать эту книгу, хотя каждое стихотворение, каждая «пес-

ня-фантазия» из 385, составляющих книгу, обладает относительной самостоятельностью. Сам Берримен называл эту свою книгу «поэмой».

В «Песнях-фантазиях» 60-х годов Берримен отстаивает свое право на «фантазию» как право художника остаться самим собой, не поддаться агрессивному натиску прессы и телевидения.

...В газеты не гляжу, боюсь их как огня,
ТВ и радио — ни-ни, в город — ни шагу:
сижу, как в крепости, закрывшись
взаперти...

Даже слава, пришедшая к Берримену в последние годы, не только не вызывает у него «восторга», а приводит его в ужас, потому что приходит она в тех же «кошмарных» формах интервью и телефильмов, которые должны подчинить поэта все тем же стереотипам «массовой культуры».

Безумие напирает на Генри со всех сторон:

...Бейсбол и целый мир безумный, сволочной...
на Генри рушатся...

Берримен не видел выхода из «безумного мира». Не видели его и те американские поэты, близкие Берримену, которые в 60-х годах один за другим уходили в смерть. Большая группа стихотворений среди «песен-фантазий» Берримена представляет собой плач по этим поэтам: по Сильвии Плат (ушедшей в 1963 г.), по Рэндаллу Джарреллу (ушедшему в 1965 г.), по Дельмору Шварцу (ушедшему в 1966 г.). В этих стихах Берримен называет своих сверстников-поэтов «погубленным поколением», включая в свой список и поэтов, умерших «естественной» смертью, которую Берримен естественной не считает. Английский критик М. Додсуорт в статье 1970 г. о творчестве Берримена, касаясь этих стихотворений, писал: «Современная американская цивилизация наколдовывает смерть на поэтов». Она «наколдовала» смерть и на Берримена: 7 января 1972 г. Джона Берримена не стало.

1 сентября 1939 года

Дождь уже падал над польскими городами.
А человек, над озером бродя,
Рвал на клочки блестящий целлофан.
Кусок квадратной формы где легко,
Где туго рвался, противопоставив
Упрямое сопротивленье силе.
А человека мучал шум дождя.

Из Лондона приехавшие дети
Плескались в озере. Но человек
Не слышал. Он перо нашел в песке,
Держал в руке, поломанное, смятое,
Как независимость, надежда. Тень под ногами
Лежала среди камней, как наша ученость —
Среди развалин погибших библиотек.
Дети играли. Но человек был печален.

Медведь [1] подкрался к Орлу [2], из черной пасти
Рев изрыгая; звери [3] застыли в страхе.
Европа затемнила города.
И плакал человек, он вспоминал

---

[1] Герб города Берлина.

[2] Белый орел — польский герб.

[3] Имеются в виду британский лев, галльский петух и др. геральдические животные в гербах государств Западной Европы.

Полет и оперенье белой чайки.
Волны лизали берег; целлофан
Мелькал в волнах, разорванный на части.
Звери тряслись, Орел взлетел и пал.

Луна и ночь и люди

В ночь капитуляции Бельгии луна всходила
Поздно, луна запоздалая, луна зловещая
Для англичанина, американца
И для француза. Ночью холодало.
Люди теплее куталйсь, солдаты
Мерзли, не по сезону, и, конечно,
Беженцы кашляли, и вид и голос
Одних пугал других. И холодало.

Здесь, на шоссе, был мелкий инцидент:
Полный благих намерений болван
Вдруг резко принял вправо и в момент
Стал ангелом, бряцающим на арфе,
Или низвергся в ад, или исчез.
Не думайте, что это ни при чем.
Он был частица этой ночи, этой
Земли, частица горькой, скудной почвы,
Питающей воспоминанья.

Мы
Сидели с Майклом, глядя друг на друга,
За шахматами, пили и играли.
Европой, а не шахматной доской
Мы были заняты. Игра велась
Обычно. Только было очень трудно
Осмыслить ход противника и свой.
«Ужасно»,— лондонец сказал, а мы,
Мы говорили с Майклом: близок час,
Когда ни книг, ни музыки у нас
Не будет, ни любви, ни права мыслить.
Мир скоро превратится в мир немых,
Как пишет Генри Адамс [1]. Адамс прав.

В ту ночь бесславно кончил Леопольд [2]
Предательством — или таков финал
Благих намерений, что он питал,
Дорог, что в ад мостил? А между тем
Луна всходила поздно, холодало,
Много людей погибло, ни о ком
Мы ничего не знаем, а война
Идет, а в сердце — холод, ночь, луна.

---

[1] Генри Адамс (1838—1918) — американский историк.
[2] Король Бельгии, подписавший капитуляцию.

Из книги «Сонеты Берримена» (1967)

Сонет 8

Колледж ничтожеств (и два-три джентльмена),
Тупиц (и мыслящих парней пяток),
Моднейших песенок, мудрейших строк
Не слышал ты — их слышат только стены
Солидных старых школ. Ты, несомненно,
Болото, но тобой дышал цветок:
Ты душу девушки взрастить помог,
Прекрасной, как Изольда и Елена.
Хвалю тебя, твоих деревьев сень:
Ведь все ее товарищи былые
Здесь выросли. Здесь, близ тебя, проснется
Она сейчас, встречая новый день,
И серые, нет, серо-голубые,
Глаза раскроет... Сей колледж спасется.

Сонет 11

Я жду и жду тебя. Тропа в лесу
Вьется средь жимолости и сосны,
Плюща, опутавшего сплошь кусты,
Красно-коричневой хвои. Сижу,
Курю, шагаю взад-вперед. К утру
Туман с холма уполз, уже слышны
Птиц колокольчики. Зелень травы
После дождя мерцает на свету.

Прыгает кролик. Быстрая, как ртуть,
Что ж медлишь, милая? Машины мчат.
Стволы чернеют против солнца. Зябко.
Ветер играл бы локоном... но — в путь!
Зачем этот прозрачный, легкий свет
Дрожит в листве так трепетно и зыбко?..

Сонет 12

Мятеж с самоубийством рвется в бой,
Страх борется с желаньем в этом теле,
И теплится надежда еле-еле,
И жаждет страсть; владеет хаос мной;
Крик попугаев когти в мозг больной
Вонзает... нет тебя... в тот день сидели
Мы вместе, только что, на той неделе...
Самка слепит настырной желтизной.
Драчливая, как черт. Ты, чей мартини
Я муками слащу, несомый горем
К бессонной вечности, во мрак могил!
Ты грезишь нынче не о клавесине —
О песни Гельдерлина, схожей с морем.
Мощный и хищный, вал морской взманил.

Сонет 29

Поэт умрет, и приплетется слава
Украсить гроб его (а не чердак):
Rue Fortunée давно Rue de Balzac,[1]
А Bach-Gesellschaft[2] — Бахова держава;
Смерть даст свободу мастеру и право
Стать выше человечества. Итак,
Кладите лавр на гроб, кадите в знак
Признанья, но не мудрствуйте лукаво
О днях, когда любовью лишь одной
Он жил, когда, страдая и любя,
Он знал: нет, не придет, нет, ждать напрасно,
И ждал весь долгий день... Мастеровой
Твой и людей, жду славы и тебя
Спокойно, безнадежно, беспристрастно.

Сонет 66

Языковед и звездной высоты
Знаток — ничто не облегчит мой труд:
Твои, звезда, искусство, совесть, суд,
Потомкам поздним передать черты,
Чтобы, пока богиней красоты,
Ночных бессонниц и сердечных смут
Твоя сестра Венера будет тут,
Осталась бы и ты... почти что ты.

Браню английский: он упрям, как бык,
Сколько стрекалом в бок его ни колешь,
Слова не выжмешь! Как назвать твой взор?
Какой эпитет воссоздаст твой лик?
Прозренье, озаренье: я всего лишь
Служитель света твоего... твой хор.

Из книги «Песни-фантазии» (1969)

■ ■ ■

Барды, замерзшие, нагишом, по шею в воде,
во мраке прошлого, все кончено, в отличие от
этих, сидящих тут:
пишут, одеты, тепло, светло, все впереди,
в журнале «Поэтри» дебют еще их ждет,
их не читают, но прочтут,

еще ни труб, ни фанфар, ни торжественных встреч,
ни поощрений, ни дамских нежных похвал,
(да, брат) ни славы,
в грубошерстных свитерах, отверженные
среди Большинства,
ведь каждый из деловых людей слыхал:
поэзия — лишь для забавы.

[1] Улица, на которой жил Бальзак, сейчас называется его именем.
[2] Общество любителей Баха.

Я говорю, что поэзия существовала всегда,
что надо работать тщательно, без подвоха,
почаще вспоминать о старых мастерах.
Я говорю, что главное — это страх потерять себя,
а все, что сделано, хоть хорошо, хоть плохо,
для публики, все превратилось в прах.

■ ■ ■

Он в славу стал входить — но что такое слава? —
желанье славы в нем давно угасло, право,
уже ничем он не был одержим
и славой тоже — но одной английской фирме
вдруг вздумалось его прославить в телефильме,
пусть, он сказал, раз это нужно им;

работать он любил и, говорят, умел —
очаровательные англичане
таскали камеры и свет
за Генри вслед, в кабак и снова в кабинет,
он — свой, ребята — свой: все выполняли долг,
но где ж восторг, восторга нет,

ждал славы столько лет — где ж в этой славе сладость?
От славы, он сказал, во мне тоска и слабость,
но буду продолжать свой труд по мере сил.
Суть, видимо, не в славе. Суть не в этом.
Суть в том, чтоб он, как прежде, был поэтом,
как прежде, одержимым был.

■ ■ ■

Мне снились вымершие города,
я видел Мачу-Пикчу [1], Кембридж (Масс.)[2], Ангкор,[3]
Идет ли дождь на Мачу-Пикчу, город гор,
или на Кембридж (Масс.), такой, как тут,
что мертвецы в гробах и те, с ума сходя
при виде вызванного магами дождя,
от ужаса встают.

А дождь все шел — толпа людей живых,
все было, как у нас, как некогда у них,
толпа людей живых,
снующих взад-вперед, дерущихся рабов,
друг другу яростных врагов —
а дождь все шел.

Бейсбол и целый мир, безумный, сволочной,
чертова бездна ...ских новостей
на Генри рушатся. Что он решит?
Что будет делать он с самим собой?
Уж я не говорю о бомбах H & A.
Генри молчит.

---

[1] Развалины древнего города инков в Южной Америке.

[2] Кембридж — город в США, штат Массачусетс, где находится Гарвардский университет.

[3] Ангкор — город-памятник средневековой архитектуры кхмеров (в Камбодже).

■ ■ ■

Нет! Нет! И нет! Пришли, чтоб вырвать интервью,
нацелили в меня всю технику свою,
три кинокамеры, три микрофона в ряд —
прогресс ушел вперед с тех пор, как телефон
изобретен людьми, и нас же губит он:
я пробовал второй поставить аппарат,

так сразу два звонят, замучали меня,
и днем, и вечером, и ночью, чуть прилягу,
простые, срочные — попробуй запрети.
В газеты не гляжу, боюсь их как огня,
ТВ и радио — ни-ни, в город — ни шагу:
сижу, как в крепости, закрывшись взаперти.

Но дрогну иногда, и мир ворвется внутрь,
влюбленные идут вдоль улицы, как ряды
деревьев, ничего не слыша,
из мрака полчища мужчин спешат на штурм,
женщины пляшут и хохочут, шум воды
все близится, она все выше, выше.

■ ■ ■

Генри отправится за океан,
там люди интересней, им видней
Америка, чем нам, с обычной нашей
хвастливостью: мы — лучшая из стран,
Америка летит вперед, за ней
весь мир ползет по-черепашьи,

весь мир — провинция. Мир, полный тайн —
преступность в Лондоне и спорт в Испании,—
пусть пищу даст свободному уму,
пусть Генри уяснит, читая «Таймс» и «Тайм»,
своих хозяев скрытые желания.
Чернил побольше надо взять ему,

есть что сказать, хозяев — к черту, в нем —
сознанье: время за него, он прав,
душа работе предстоящей рада,
все премии получены, начнем
работать для себя, от всех сбежав,
даже от друга и жены, так надо.

Элегия памяти У.К.У.[1], *милого человека*

От Генри (Старый Свет) — Уильяму (тот свет):
Покойся в мире, Билл, который столько лет
трудился честно до конца:
ты песней покорил все страны и сердца,
ты столько девушек пленил и женщин тоже не одну,
а сам любил жену.

[1] Уильям Карлос Уильямс (1883—1963) — известный американский поэт (см. «Иностранную литературу» № 8, 1971).

Вставал чуть рассветет, писал за томом том,
бесчисленных детей счастливым стал отцом,
к поэтам молодым
ты был так ласков, Билл, так ими был любим,
что если б Генри зависть знал, то лишь к судьбе такой,
тем более что путь закончен твой.

Для Генри слишком долог путь, лежащий впереди,
и слишком много корректур — попробуй прогляди,
а он бы предпочел конец
и сладкий твой покой, когда завершена
жизнь высшей мудростью, которая венец
всей нашей жизни и последняя жена.

■ ■ ■

Босх в Прадо, готика (такой-то век),
парки в Киото, и озера в штате Юта,
и на Манхэттене любой притон
знакомы Генри, и лосось ирландских рек,
текущих вдоль границы Севера и Юга,
обед у Ла-Перуза au gratin [1],

и горы Окленда в памяти Генри живы,
и годы Гарварда (ведь Генри был учен),
и вся поездка в Азию его.
Не то чтобы он стал мудрец, но поразмыслить он имел
о чем:
когда по сказочным бродил он храмам Шивы,
кто стал бы порицать фантазию его!

На лаврах он почил, свершив свой смелый перелет
над США, штатов на пять иль шесть он сверху бросил взор,
в ужасе падал в пустоту
и в тесном туалете ждал, когда же, наконец, умрет,
смеялись, глядя на него, сверкающие вершины гор,
бедняжка беременная жена еле сдерживала тошноту.

---

[1] В изысканном обществе — буквально: обжаренные в сухарях *(франц.)*.

■

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

Письма Асперна

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского Е. КАЛАШНИКОВОЙ

I

С самого начала я обо всем рассказал миссис Прест; и, по правде сказать, я бы недалеко ушел без ее дружеского участия: ведь счастливая мысль, подвинувшая дело вперед, принадлежала именно ей. Это она усмотрела кратчайший путь и развязала гордиев узел. Говорят, женщины редко способны возвыситься до вольной и непредвзятой оценки положения вещей, если требуется найти из него выход, но женщинам порой приходят в голову смелые решения, до простоты которых никогда не возвысится мужчина. «А вы постарайтесь попасть к ним в дом в качестве жильца» — своим умом я бы ни за что до этого не додумался. Я ломал голову, прикидывал так и этак, измышляя способ познакомиться с барышнями Бордеро, пока миссис Прест не подала мне эту спасительную идею: стать знакомым легче всего, сделавшись домочадцем. Сама она едва ли знала о барышнях Бордеро больше меня; напротив, я привез из Англии некоторые достоверные сведения, для нее явившиеся новостью. В незапамятные времена имя Бордеро связывалось с одним из самых прославленных имен нашего века, а теперь носительницы этого имени живут в Венеции уединенной, замкнутой, почти нищенской жизнью, в полуразрушенном старом дворце — вот все, что было известно моей приятельнице. Миссис Прест поселилась в Венеции лет пятнадцать тому назад и с тех пор совершила там немало добрых дел; но ни разу ее благотворительность не коснулась двух тихих, загадочных и словно бы даже не вполне респектабельных американок — считалось, во всяком случае, что за долгие годы на чужбине они утратили свои национальные корни, не говоря уже о том, что самый звук их имен указывал на отдаленное французское происхождение,— к тому же они не просили помощи и не искали внимания. Вскоре после приезда в Венецию миссис Прест нанесла было им визит, но увидеть ей удалось только «меньшую» — так она называла племянницу, хотя впоследствии я мог убедиться, что ростом та куда выше тетки. Она услыхала, что мисс Бордеро больна, и заподозрила нужду в доме, а потому немедля отправилась предложить помощь — для успокоения своей совести, чувствительной к чужим

бедам вообще, а к бедам американцев особенно. «Меньшая» приняла ее в большой холодной обветшалой венецианской sala, центральном помещении дома, с выложенным мраморными плитками полом и поперечными балками, зеленевшими под высоким сводом, и даже не предложила сесть. Последнее обстоятельство не предвещало ничего хорошего мне, желавшему не просто сесть, а усесться плотно, и я высказал свои опасения миссис Прест. Она, однако же, глубокомысленно возразила: «Так ведь я пришла облагодетельствовать их, а вы будете просить, чтобы они вас облагодетельствовали; тут большая разница. Если они так горды, это вам пойдет на пользу». И она предложила немедля показать мне дом, свезя меня туда на своей гондоле. Я сознался, что уже не раз бродил около этого дома, но приглашение принял; для меня отрадно было даже находиться поблизости. Приехав в Венецию, я назавтра же отправился взглянуть на этот дом — он подробно был описан мне английским собратом, от которого я узнал о существовании писем,— и, штурмуя его взглядом, стал обдумывать план предстоящей кампании. Насколько мне было известно, Джеффри Асперн никогда не бывал в этом доме, но, казалось, неслышный отзвук его голоса витает в окружающей атмосфере.

Миссис Прест не было дела до писем, но ее занимал мой интерес к ним, как всегда занимали радости и огорчения друзей. И все же, сидя с нею вместе в каютке гондолы и глядя, как скользят мимо прекрасные виды Венеции, оправленные в рамку окна, я чувствовал, что кажусь ей немного смешным и волнение мое при мысли о возможной добыче смахивает в ее глазах на типический случай маниакального помешательства. «Можно подумать, что вы надеетесь найти в этих письмах разгадку тайны бытия»,— сказала она, и я лишь возразил, что если бы мне пришлось выбирать между столь ценным открытием и пачкой листков, исписанных рукой Джеффри Асперна, я без колебаний знал бы, на чем остановить свой выбор. Она было усомнилась вслух, так ли уже велик его гений, но я не стал защищать его. Божество не нуждается в защите; божество — само себе защита. И притом теперь, после долгих лет относительного забвения, Асперн так высоко взошел в небе нашей литературы, что виден всему миру; он — один из тех, кто нам освещает путь. Я только позволил себе заметить, что он никогда не был дамским поэтом, и получил вполне резонное возражение: «А как же мисс Бордеро?» Помню, до чего странно мне было услышать в Англии, что мисс Бордеро еще жива; все равно как если бы мне сказали, что жива миссис Сиддонс, или королева Каролина, или знаменитая леди Гамильтон — для меня она в той же мере принадлежала к ушедшему поколению. «Сколько же ей должно быть лет — не меньше ста!» — воскликнул я тогда; но позднее, сопоставив даты, пришел к выводу, что она вполне могла не переступить еще грань обыкновенного человеческого долголетия. Все же возраст ее был почтенный, а с Джеффри Асперном она встретилась совсем юной. «В этом ее оправдание»,— произнесла миссис Прест несколько сентенциозно, но при этом как бы стыдясь своих слов, столь несоответствующих истинному духу Венеции. Будто нуждается в оправданиях женщина, любившая божественного поэта! Того, кто был не только одним из умнейших людей своей эпохи — а ведь эта эпоха, отроческие годы столетия, славилась блистательными умами,— но и одним из самых жизнерадостных и самых красивых.

Племянница, по словам миссис Прест, была не столь древней; пожалуй, даже следовало предположить, что она лишь внучатая племянница. Возможно, так оно и было; я ведь не имел иных сведений, кроме тех, которые мог почерпнуть из скудного запаса Джона Кам-

нора, английского почитателя моего кумира, а он ни племянницы, ни тетушки в глаза не видывал. Как уже говорилось, Джеффри Асперн заслужил в наши дни всеобщее признание, но никто не пошел в этом признании дальше нас с Камнором. Многолюдные толпы стекались в храм его славы, мы же смотрели на себя, как на жрецов этого храма. Мы считали — и на мой взгляд справедливо,— что сделали больше, чем кто бы то ни было, для возвеличения памяти Асперна, хотя бы одним тем, что нам удалось многое прояснить в его жизни. Это не было для него опасно, так как он мог не опасаться правды,— а чего еще, как не одной лишь правды, искали мы сквозь даль времен? Его ранняя смерть была единственным, что, так сказать, омрачало память о нем; разве только в бумагах, хранившихся у мисс Бордеро, крылось еще что-то. Ходили слухи, будто около 1825 года он «дурно обошелся с ней», столь же, впрочем, смутные, как и другие слухи — будто она была не единственной, кого он, пользуясь простонародным выражением, «обморочил» в свое время. Но нам с Камнором удалось обстоятельно разобраться в каждой из слышанных историй, и всякий раз мы могли, не греша против своей совести, отвести обвинение. Быть может, из нас двоих я был более снисходительным судьей; по крайней мере, мне всегда казалось, что трудно было вести себя достойнее в подобных обстоятельствах. А обстоятельства нередко бывали и сложными и рискованными. Половина его современниц, мягко говоря, кидались ему на шею, и, пока свирепствовало это поветрие, весьма, кстати, заразительное, неизбежны были некоторые тяжелые случаи. Я был прав, сказав миссис Прест, что он не дамский поэт; да, он не таков для нынешних поклонников, но иное было дело, когда в звуках песни слышался живой голос ее сочинителя. А этот голос, по всем свидетельствам, обладал редким очарованием. «Орфей и менады» — вот мнение, которое сложилось у меня прежде, чем я стал знакомиться с его перепиской. И надо сказать, почти все менады оказались неразумными в своем поведении, а многие — просто невыносимыми; не раз мне приходило в голову, что, окажись я на его месте — чего даже и вообразить нельзя,— у меня никогда не нашлось бы столько доброты и понимания, сколько неизменно выказывал он.

Разумеется, более чем странно — и я не хочу занимать место попытками это объяснить,— что мы вели свои поиски, сосредоточивали свои усилия там, где приходилось иметь дело лишь с тенью и прахом, с отзвуками отзвуков, тогда как единственный живой источник сведений, не иссякший до наших дней, остался нами незамеченным. Мы были убеждены, что никого из современников Асперна уже нет в живых; нам ни разу не довелось заглянуть в глаза, в которые он смотрел когда-то, коснуться старческой руки, словно бы хранившей тепло его пожатия. И глубже всех других была нами погребена бедная мисс Бордеро; а между тем она-то одна жила еще. С течением времени мы даже перестали удивляться, как это нам не удалось напасть на ее след раньше, находя объяснение в том, что она так старательно затаилась от света. У бедной женщины были в конце концов на то свои причины. Но поражал самый факт, что во второй половине XIX века, в эпоху газет, телеграмм, фотографов и репортеров, кому-то вообще оказалось возможным затеряться в безвестности. Она, кстати, не прилагала к этому особых усилий — не укрылась в какой-нибудь захолустной глуши, а смело выбрала город, где все напоказ. Пожалуй, ее отчасти спасало изобилие в этом городе других, куда более заметных достопримечательностей. Да и случай подчас помогал — взять хотя бы то обстоятельство, что в прошлый мой приезд, пять лет назад, миссис Прест ни разу не упомянула при мне ее имени, а ведь я тогда около трех недель прожил в Венеции, можно

сказать, под самым боком у нее. Впрочем, моя приятельница не говорила о ней ни с кем и едва ли не позабыла вообще об ее существовании. Но, разумеется, миссис Прест не обладала темпераментом издателя. Тем обстоятельством, что старуха все время жила за границей, тоже не объяснишь, как ей удалось ускользнуть от нашего внимания,— наши розыски бессчетное число раз заставили нас не только писать, но и лично ездить во Францию, в Германию, в Италию — страны, где Асперн провел столько лет своей слишком недолгой жизни; не говоря уже об Англии, пребывание в которой оказалось таким значительным для него. Мы себя утешали мыслью, что в предпринятых нами публикациях — кое-кто, кажется, и сейчас находит, что мы в них переусердствовали,— лишь косвенно, полунамеком затрагивалось то, что было связано с мисс Бордеро. Странно сказать, но даже располагай мы письменными свидетельствами — о судьбе которых нам не раз доводилось задумываться,— это был бы самый нелегкий для биографа материал.

Гондола остановилась, старый дворец был перед нами — одно из тех венецианских строений, за которыми это пышное название сохраняется, даже если они вконец обветшали. «Что за прелесть! Он весь серо-розовый!» — воскликнула моя спутница, и, пожалуй, точней его нельзя было описать. Дом простоял не так уж долго, два-три столетия, не более, и вид у него был не столько запущенный, сколько присмирело-грустный, точно от сознания, что жизнь не удалась. Но широкий фасад с каменной лоджией во всю длину piano nobile, или парадного этажа, был не лишен архитектурной затейливости, подчеркнутой обилием пилястров и арок, а предзакатное апрельское солнце румянило облупившуюся от времени штукатурку в простенках. Выходил он на чистый, но угрюмый и довольно пустынный канал, по сторонам которого тянулись узкие тротуары. «Сама не знаю отчего,— сказала миссис Прест,— но мне этот уголок всегда казался скорей голландским, чем итальянским; пусть здесь и нет островерхих крыш, а похоже больше на Амстердам, чем на Венецию. Потому ли, по другому ли, но уж очень кругом опрятно, глаз не привык; и хоть вдоль берега можно пройти пешком, пешеходов почти не встретишь. Во всем этом есть что-то противоестественное — если вспомнить, где мы находимся,— точно в протестантском воскресенье. Может быть, люди просто побаиваются барышень Бордеро. Ведь они слывут чуть не колдуньями».

Не помню, что я ей отвечал,— меня беспокоили два новых соображения. Первое заключалось в том, что если старуха живет в таком большом, внушительного вида доме, значит, не так уж она бедна и едва ли соблазнится случаем сдать внаем несколько комнат. Я высказал это опасение миссис Прест, но та сразу же возразила: «Если б она жила в доме поменьше, о каких бы комнатах для сдачи внаем могла идти речь? Ютись она в тесноте, у вас не нашлось бы предлога для знакомства с ней. К тому же здесь, в Венеции, и особенно в этом quartier perdu [1], большой дом ровно ни о чем не свидетельствует; можно жить в таком доме и терпеть крайнюю нужду. Есть полуразвалившиеся старые palazzi [2], которые вы можете снять за пять шиллингов в год, была бы охота. Что же до их обитателей — о нет, не зная Венецию, как я ее успела узнать, вы и представить себе не можете положения этих людей. Они живут ничего не тратя, потому что тратить им нечего». Второе соображение, которое у меня возникло, связано было с высокой голой стеной, огораживавшей небольшой участок около дома. Я назвал ее голой, но она порадовала бы глаз художника

[1] Глухом квартале *(франц.)*.
[2] Дворцы *(итал.)*.

пестротой пятен, образованных слезшей побелкой, заделанными трещинами, оголившимся кирпичом, бурым от времени, а над нею торчали верхушки чахлых деревьев и остатки полусгнившего трельяжа. Видимо, при доме был сад, и мне пришло в голову, что здесь я могу обрести искомый предлог.

Я смотрел из гондолы на всю эту картину, залитую золотым светом Венеции, до тех пор, пока миссис Прест не спросила, намерен ли я тотчас начать действовать (и следует ли ей в этом случае меня дожидаться) или же предпочту приехать в другой раз. И тут, признаюсь, я выказал малодушие — не сумел решить сразу. Хотелось верить, что мне удастся стать обитателем дома, и боязно было потерпеть неудачу — ведь тогда, как я объяснил своей спутнице, в моем колчане больше не осталось бы стрел. «А почему, собственно?» — спросила она и, видя мои колебания и нерешительность, добавила: не проще ли, мол, еще до всяких попыток навязаться в жильцы — что́ даже в случае успеха может быть чревато для меня множеством неудобств,— не проще ли предложить некоторую сумму наличными. Быть может, я таким образом получу, что мне нужно, не рискуя своим покоем по ночам.

— Дорогая миссис Прест,— воскликнул я,— не посетуйте на меня за горячность, но вы, должно быть, забыли о тех обстоятельствах — а ведь я подробно излагал их вам,— которые заставили меня искать у вас совета. Старуха не желает, чтобы кто-либо даже словом коснулся ее реликвий; для нее это нечто личное, интимное, сокровенное, а до веяний времени ей дела нет, бог с ней совсем! Начать с разговора о деньгах — значит сразу же загубить все. Я могу приблизиться к цели, только усыпив ее бдительность, а усыпить ее бдительность возможно лишь с помощью дипломатических уловок. Лицемерие, двойная игра — вот единственное, что мне может помочь. Факт прискорбный, но ради Джеффри Асперна я готов на любую подлость. Начну со светской беседы за чашкой чая, а там уже приступлю к главному.— И я пересказал ей все происшедшее после того, как Джон Камнор почтительнейше обратился к старухе с письменной просьбой. Первое его послание осталось вовсе без ответа, когда же он написал вторично, то получил коротенькую записку от племянницы, в которой довольно резко говорилось, что мисс Бордеро совершенно не понимает, из-за чего ему вздумалось их тревожить. Никаких «автографов» мистера Асперна у них нет, а если б и были, они уж наверно не стали бы их никому и ни для чего показывать. Она совершенно не понимает, о чем идет речь, и просит оставить ее в покое. Я не испытывал никакой охоты получить подобный же отпор.

— Хорошо,— помолчав минуту, сказала миссис Прест с явным вызовом в тоне,— а может быть, у нее и в самом деле нет ничего? Раз они настаивают на этом, почему вы так уверены?

— Джон Камнор уверен, и было бы слишком долго объяснять вам, как сложилась у него эта уверенность, или, скажем, догадка, но настолько твердо укоренившаяся, что ее не поколебать никакими баснями старухи, которую, впрочем, нетрудно понять. К тому же он придает большое значение скрытой улике, содержавшейся в ответе племянницы.

— Какой скрытой улике?

— Тому, что она назвала его «мистер Асперн».

— Не вижу, что это доказывает.

— Доказывает личное знакомство, а раз было знакомство, наверняка есть и вещественные следы его: письма, сувениры. Не могу передать вам, до чего это словечко «мистер» меня волнует; точно оно — мостик, перекинутый через бездну лет, по которому я могу

приблизиться к своему герою; и до чего усиливает мое желание увидеть Джулиану. Ведь не сказали бы вы «мистер Шекспир».

— Не сказала бы, даже будь у меня целый ящик его писем.

— А вот будь это любовные письма и знай вы, что за ними кто-то охотится, может, и сказали бы! — И я добавил, что Джон Камнор, сейчас, более чем когда-либо, убежденный в основательности своих предположений, не преминул бы сам отправиться в Венецию, да только опасался, что ему не удастся войти в доверие к тетке и племяннице, которые наверняка заподозрят в нем лицо, обращавшееся к ним; ведь никакое притворство, никакое вымышленное имя не могли служить порукой, что обман в конце концов не будет разоблачен. Если бы его спросили прямо — не он ли их неудачливый корреспондент, он бы не решился солгать; для меня же, по счастью, подобной неловкости не существовало. Я был чист — мог все отрицать, не прибегая ко лжи.

— Но все равно вам придется взять другое имя,— сказала миссис Прест.— Джулиана почти не общается с миром, однако же, по всей вероятности, ей известно, кто проявляет интерес к наследию Асперна. Может быть, у нее даже есть ваши прежние публикации.

— Об этом я подумал,— сказал я и достал из бумажника визитную карточку, на которой было изящно выгравировано достаточно внушительное nom de guerre [1].

— Что за расточительство — еще один признак вашей безнравственности! Можно было просто написать чернилами или карандашом.

— Так правдоподобнее.

— Я вижу, охота придает вам смелости. Но вот неудобство — из-за этого маскарада вы не сможете получать свою почту.

— Ее будут оставлять для меня в банке, а я каждый день стану за ней наведываться. Кстати, и повод для прогулки.

— А других разве не найдется? — спросила миссис Прест.— Меня-то вы, надеюсь, будете навещать.

— Да вы, наверно, сбежите на жаркие месяцы из Венеции задолго до того, как я чего-нибудь достигну. Я же готов изнывать тут все лето — а если понадобится, и дольше, как вы можете догадаться. Что до Джона Камнора, то он будет бомбардировать меня письмами, адресуя их моей padrona [2] для передачи мне — под принятым мною именем.

— Но она может узнать его почерк,— сказала моя спутница.

— Надписывая адрес на конвертах, он изменит почерк.

— Вот уж истинно два сапога пара! А вам не приходило в голову, что даже не отождествляя вас с мистером Камнором, они могут заподозрить, будто вы подосланы им?

— Могут, разумеется, и тут я вижу один только способ отразить опасность.

— Что же это за способ?

Я с минуту помялся:

— Приволокнусь за племянницей.

— О-о! — воскликнула миссис Прест.— Вы на нее сперва посмотрите.

II

«Главное — это сад, главное — это сад»,— твердил я себе несколько минут спустя, дожидаясь один наверху, в длинной, полутемной, голой sala, пол которой, выложенный мраморными плитками, смутно

[1] Псевдоним *(франц.)*.

[2] Хозяйке *(итал.)*.

поблескивал там, где сквозь щели в ставнях пробивалось немного света. Внушительное это помещение было, однако, каким-то холодным и неуютным. Миссис Прест отплыла на своей гондоле, назначив мне рандеву через полчаса у ближнего причала; я же дернул ржавую проволоку звонка, и мне открыла совсем юная и недурная собой рыжеволосая, белолицая служаночка в деревянных башмачках и в шали, на манер капюшона накинутой на голову. Она не поленилась сбежать вниз, вместо того чтобы с помощью нехитрого механического приспособления отворить дверь сверху; правда, сперва она, как водится, окликнула меня из окошка верхнего этажа — мера предосторожности, обычно принимаемая в Италии, прежде чем впустить человека в дом. Меня всегда раздражал этот пережиток средневековых нравов, хоть, казалось бы, при моем влечении к старине — пусть несколько особого рода — это должно было мне нравиться; но коль скоро уж я решил добиваться в этом доме расположения любой ценой, я вытащил свою фальшивую визитную карточку и с любезной улыбкой помахал ею над головой, словно это был талисман, обладающий магическим действием. И, видимо, она такое действие возымела, ибо, как уже было сказано, девушка тут же самолично спустилась вниз. Я попросил ее передать карточку хозяйке, предварительно написав на обороте по-итальянски: «Не соблаговолите ли вы уделить несколько минут приезжему, путешественнику-американцу?» Служаночка не выказала враждебности — что уже можно было счесть некоторым успехом. Она порозовела, она улыбнулась и поглядела на меня не без страха, но и не без удовольствия. Ясно было, что мой приход явился событием, что гости — редкость в этом доме и что она охотно предпочла бы место повеселее. Когда она захлопнула за мной тяжелую дверь, я почувствовал себя как бы ступившим одной ногой в крепость и тут же пообещал себе, что сумею там удержаться. Девушка застучала башмаками по каменному сырому полу к высокой лестнице — еще более каменной на вид,— и я последовал за ней, не дожидаясь приглашения. Она, вероятно, думала, что я подожду внизу, но это не входило в мои расчеты. Мы поднялись в sala, и она, не останавливаясь, пробежала в дальний конец и скрылась в каких-то неприступных глубинах дома, а я остался на пороге, оглядываясь кругом с бьющимся сердцем, как будто попал в приемную дантиста. Сумрачная величественность sala создавалась главным образом ее благородными пропорциями и великолепными резными дверьми, которые чередовались через равные промежутки и вели, должно быть, во внутренние комнаты. Двери были увенчаны выцветшими от времени орнаментальными щитами, а в простенках висели темные картины — прескверные, насколько я мог заметить,— в истресканных, потускнелых рамах, представлявших все же большую ценность, чем сами холсты. Вдоль стен жалось несколько стульев с соломенными сиденьями, но кроме них не было ничего, что скрадывало бы пустоту обширного помещения. Судя по всему, оно использовалось лишь как проходной коридор, да и то не часто. Добавлю еще, что к тому времени, как дальняя дверь, за которой исчезла служанка, распахнулась снова, глаза мои успели привыкнуть к полутьме.

Мой мысленный возглас, приведенный выше, не следовало понимать в том смысле, что я рвался собственноручно возделывать огороженный клок земли около дома; хотя женщина, шедшая ко мне по мерцающим плиткам пола, легко могла именно так истолковать ту горячность, с которой я бросился к ней навстречу, восклицая — предусмотрительно по-итальянски:

— Сад, сад — умоляю, скажите мне, что это ваш сад!

Она остановилась в недоумении; потом холодно и печально ответила по-английски:

— Здесь нет ничего моего.

— Так вы англичанка, какая удача! — восторженно вскричал я.— Но ведь сад несомненно принадлежит этому дому?

— Да, но дом не принадлежит мне.

Она была высокого роста, худощавая, бледная, в неопределенного цвета одеянии, напоминавшем домашний капот. Говорила тихо и безо всякой манерности. Если это была племянница, то она повела себя со мной в точности, как некогда с миссис Прест — не предложила мне сесть. Так мы с ней и стояли друг против друга посредине торжественно-пустынной sala.

— Тогда не будете ли вы столь любезны объяснить, к кому я должен обратиться. Моя назойливость вам, верно, кажется неприличной, но мне, видите ли, необходим сад — положительно необходим, клянусь честью.

Ее лицо не было ни молодым, ни красивым; но оно было открытым и ясным. Глаза большие, но не блестящие, волосы густые, но не убранные по-модному, руки тонкие и изящной формы, но, возможно, не вполне чистые. Вдруг она судорожно сжала эти руки и воскликнула в испуге и замешательстве:

— Ах, не отнимайте его у нас, мы сами так его любим!

— Стало быть, вы бываете там?

— О, да! Если бы не этот сад...— И она улыбнулась бесцветной, неопределенной улыбкой.

— Да, ведь это роскошь, не правда ли? Оттого именно, предполагая провести в Венеции месяц или два — а может быть и все лето — в литературных занятиях, требующих тишины и покоя, я и возмечтал о саде, где можно было бы читать и писать, в то же время большую часть дня проводя на воздухе. Вы меня поймете, я уверен.— Тут я улыбнулся со всей светскостью, на какую мог отважиться.— А теперь, нельзя ли мне взглянуть на этот сад?

— Я не знаю, я не понимаю,— забормотала бедная женщина, видя, что деваться ей некуда, и явно безуспешно пытаясь свое робкое недоумение противопоставить моему чудачеству.

— Разумеется, лишь отсюда, из этого великолепного окна — я только, с вашего позволения, открою ставни.— И я поспешно зашагал в глубь залы — однако же на полдороге остановился, как бы ожидая, что моя собеседница последует за мной. Вынужденный действовать довольно напористо, я в то же время заботился о том, чтобы произвести впечатление человека изысканно-учтивого.— Я обошел, кажется, все дома, где сдаются внаем комнаты, но мне так и не удалось найти ни одного с садом. Оно и неудивительно — в таком городе, как Венеция, сады редки. А я, как это ни странно для мужчины, не могу жить без цветов.

— Что уж тут у нас за цветы.— Она сделала несколько шагов, словно я тянул ее за невидимую веревочку, и ей, при всем ее недоверии ко мне, ничего не оставалось, как подчиниться. Я двинулся дальше, а она, идя следом, продолжала: — Их немного и притом самые простенькие. Разводить цветы слишком дорого: нужен особый человек.

— А вы возьмите меня,— предложил я.— Я стану работать бесплатно; а еще лучше, найму садовника за свой счет. И у вас будет самый прекрасный цветник во всей Венеции.

Я услышал сдавленный возглас — то ли протеста, то ли невольного восхищения столь смело набросанной мною перспективой. Потом она выговорила с усилием:

— Но мы вас не знаем, мы вас совсем не знаем.

— Вы знаете меня столько же, сколько я знаю вас, даже больше — вам по крайней мере известно мое имя. А если вы англичанка, то я почти ваш соотечественник.

— Мы не англичанки,— сказала она безропотно, глядя, как я отпираю и отвожу в сторону ставни на одной половине широкого и высокого окна.

— Вы так прекрасно говорите по-английски; кто же вы, осмелюсь спросить? — Сверху, из окна, сад и в самом деле имел неказистый вид, однако я сразу увидел, что его нетрудно будет преобразить. Моя собеседница, вконец смущенная и растерявшаяся, ничего не ответила на мой вопрос, и тогда я воскликнул: — Уж не хотите ли вы сказать, что вы тоже американки?

— Не знаю. Были американки.

— То есть как это «были»? А теперь нет?

— Так много лет прошло. Теперь мы, кажется, уже никто.

— Вы много лет живете здесь? Что ж, это меня не удивляет — у вас такой прекрасный старинный дом. Вероятно, вы все любите отдыхать в саду,— продолжал я,— но уверяю вас, я вам нисколько не помешаю. Облюбую себе какой-нибудь дальний уголок, и вы меня ни видеть, ни слышать не будете.

— Мы все любим отдыхать в саду? — рассеянно переспросила она, не подходя ближе и глядя на носки моих ботинок. Кажется, она думала, что с меня станется схватить ее и выбросить в окно.

— Ну да, вся ваша семья — все, кто живет здесь.

— Мы здесь живем вдвоем — кроме меня еще одна моя родственница. Она очень стара. Она никогда не спускается вниз.

Волнение вновь охватило меня, когда я услышал эти точные приметы Джулианы; однако я сумел совладать с ним.

— Вдвоем в таком огромном доме! — Я сделал вид, будто не только удивлен, но чуть ли не возмущен этим.— Сударыня, но, стало быть, у вас тут избыток свободного места?

— Свободного места? — повторила она, словно бы тешась непривычным для нее звучанием собственного голоса.

— Еще бы — ведь нельзя же предположить, что две тихие, скромные женщины (а вы-то, во всяком случае, таковы, я это вижу) занимают полсотни комнат! — И в порыве радостной надежды я выложил то, ради чего пришел: — Не согласились бы вы, за хорошую плату разумеется, сдать две-три комнаты мне? Для меня это было бы просто спасением.

Итак, прозвучала первая нота мелодии, посвященной моей заветной цели. Не стану приводить все фиоритуры, которыми я ее украшал. В конце концов мне удалось внушить своей слушательнице, что перед нею человек нимало не злонамеренный, хотя и со странностями,— в последнем я даже не пытался ее разуверить. Я рассказал опять про свои ученые занятия, требующие тишины и уединения; про свою любовь к цветам; про то, как я понапрасну обшарил всю Венецию в поисках квартиры с садом; и про все старания, которые я намерен приложить, дабы в самом непродолжительном времени этот чудесный старый дом просто утопал в цветах. Должно быть, именно цветы помогли мне выиграть дело, ибо, как выяснилось впоследствии, мисс Тина — таково было несколько неожиданное имя сверхчувствительной старой девы — питала к ним неутолимое пристрастие. Говоря о «выигранном деле», я подразумеваю, что на прощанье она пообещала передать мою просьбу тетушке. Я полюбопытствовал, а кто такая эта тетушка, и в ответ услышал: «Как кто — мисс Бордеро!» — произнесенное с некоторым даже удивлением,

словно мне и самому следовало знать. Была в мисс Тине этакая непоследовательность, придававшая — в чем мне еще предстояло убедиться — своеобразный интерес ее особе. Обе дамы усердно сторонились окружающего мира, его дел и его пересудов, но в то же время не могли допустить и мысли, что этот мир попросту не знает их. По крайней мере, у мисс Тины еще не вполне иссякла потребность в общении с живыми людьми, а такое общение, пусть в самой малой мере, было бы неминуемо, если бы я здесь поселился.

— Мы никогда ничего такого не делали; у нас никогда не бывало жильцов и вообще посторонних в доме.— За этим признанием последовало другое: — Мы очень бедны; нам очень трудно, почти не на что жить. В комнатах — тех, где вы могли бы поместиться,— почти ничего нет, никакой мебели. Не знаю, на чем бы вы стали спать, что́ есть.

— С вашего позволения я привез бы кровать и несколько столов и стульев. C'est la moindre des choses [1], дело двух-трех часов, и только. Я знаю место, где по сходной цене можно получить напрокат все, что мне на этот короткий срок потребуется, без чего нельзя обойтись; мой гондольер доставит это сюда на лодке. В таком большом доме, как ваш, наверняка найдется вторая кухня, где мой слуга — он у меня мастер на все руки (сей персонаж был только что создан моим воображением) — мог бы поджарить мне кусок мяса. Я прост в своих привычках и вкусах, кроме цветов мне мало что нужно! — В заключение я рискнул заметить, что если они так бедны, тем более им бы следовало сдавать часть дома внаем. Они чересчур непрактичны — видано ли, чтобы такое имущество пропадало без всякой пользы.

Мне сразу стало ясно, что она, моя голубушка, не привыкла к тому, чтобы с ней разговаривали подобным тоном — шутливо-энергичным и в то же время не чуждым, пожалуй даже исполненным участия. Она, конечно, вправе была срезать меня за это непрошеное участие — но это ей, слава богу, не пришло в голову. Мы расстались на том, что она изложит мою просьбу тетке и что я на следующий день явлюсь за ответом.

— А тетка откажет, она решит, что вся история выглядит весьма louche [2]! — объявила мне миссис Прест, когда мы немного спустя уже плыли снова в ее гондоле. Сама же она подала мне эту мысль, а теперь — вот и полагайся на женщин! — явно считала ее неосуществимой. Такой пессимизм меня раззадорил, и я прикинулся весьма обнадеженным своими переговорами — даже прихвастнул, что почти уверен в успехе.— Ах, так у вас вот что на уме! — разразилась в ответ миссис Прест.— Дескать, вы за пять минут до того обворожили бедную женщину, что она теперь сама ждет не дождется вас и сумеет уговорить старуху. И если вам в самом деле удастся водвориться в доме, вы сочтете это своей личной победой.

Я и счел это в конечном счете победой — но победой литератора, а не мужчины, вовсе не избалованного подобными завоеваниями. Когда я наутро явился в старый дворец, рыжая служанка провела меня через верхнюю sala, которая показалась мне столь же бесконечно длинной, но на этот раз более светлой, в чем я усмотрел доброе предзнаменование,— и распахнула передо мной ту дверь в глубине, откуда накануне вышла особа, меня принимавшая. Я очутился в просторной, но довольно обшарпанной гостиной, со следами отличной росписи на потолке и с высокими окнами, у одного из кото-

[1] Совершенные пустяки *(франц.)*.
[2] Подозрительно *(франц.)*.

рых одиноко сидела в кресле странная фигура. Вспоминаю словно сейчас — и почти с тем же замиранием в груди,— как, переходя от одного оттенка чувств к другому, я исподволь проникался сознанием, что вижу перед собой ту самую Джулиану, которую Асперн воспел в некоторых из наиболее мастерских и наиболее прославленных своих творений. Впоследствии я попривык к ней, хоть полностью мне это так и не удалось; но тогда, в первый раз, сердце у меня колотилось так сильно, точно на моих глазах и ради меня совершилось чудо воскресения из мертвых. Мне казалось, будто в образе старой женщины, сидевшей у окна, заключен и выражен отчасти и его живой образ, и я в этот первый миг встречи с нею ощутил себя ближе к нему, чем когда-либо до того или после. Да, я отчетливо помню всю смену волновавших меня чувств, вплоть до легкой и неожиданной тревоги, которую я испытал, обнаружив, что в комнате нет племянницы. С ней я успел освоиться за короткий вчерашний разговор, но тетка, эта тень, явившаяся из прошлого, так устрашала меня, что сколь ни желанным было для меня это свидание, я предпочел бы не оказаться с ней наедине. Что-то в ней было странное, что-то буквально не от мира сего. Потом меня точно кольнула мысль, что, в сущности, я ведь ее вовсе не «вижу перед собой», так как над глазами у нее торчит безобразный зеленый козырек, не хуже маски скрывающий почти все лицо. Мне даже пришло было в голову: уж не нарочно ли она его надела, чтобы беспрепятственно разглядывать меня, сама оставаясь невидимкой. А может быть, за этой маской прячется жуткий лик смерти? Божественная Джулиана в виде оскаленного голого черепа — на миг это видение возникло передо мной, но тут же растаяло. Потом я подумал о том, что ведь она и в самом деле невероятно стара — так стара, что может умереть в любую минуту, не дав мне времени достигнуть намеченной цели. Но тут же явилось новое предположение, более утешительного свойства. Она умрет через неделю, она умрет завтра — и тогда я беспрепятственно ворвусь к ней и переворошу все ее пожитки.

Меж тем она не шевелилась в своем кресле и не произносила ни слова. Крошечная, вся словно ссохшаяся, она сидела, слегка пригнувшись вперед и сложив руки на коленях. Платье на ней было черное, кусок старинного черного кружева прикрывал голову так, что волос не было видно.

От волнения я не мог вымолвить ни слова; тогда она заговорила первая, и я услышал фразу, которую меньше всего можно было ожидать.

III

— Мы живем очень далеко от центра, но этот маленький канал очень comme il faut [1].

— Очаровательнейший венецианский уголок, ничего прелестнее и вообразить нельзя,— торопливо подхватил я. Старуха говорила тихим, слабеньким голосом, в котором была, однако, приятная, выработанная воспитанием мелодичность, и странно было думать, что звукам этого самого голоса внимал когда-то Джеффри Асперн.

— Садитесь вон там, пожалуйста. Слух у меня отличный,— спокойно сказала она, словно подразумевая, что мне вовсе нет надобности кричать — как я это, вероятно, сделал,— хотя кресло, указанное ею, находилось на некотором расстоянии. Я сел и пустился в объяс-

[1] Приличен *(франц.)*.

нения: я, дескать, сам понимаю, сколь неуместно было вторгнуться в дом без приглашения, даже не будучи представленным должным образом хозяйке этого дома, и мне остается лишь уповать на ее снисходительность. Но, может быть, другая дама, та, с которой я имел удовольствие беседовать накануне, передала ей сказанное мною о саде? Право же, только это побудило меня отважиться на столь бесцеремонный поступок. Я с первого взгляда влюбился в ее владения; сама она, верно, слишком привыкла к тому, что ее здесь окружает, и не догадывается, какое сильное впечатление все это может произвести на человека со стороны, а я вот даже решил, что ради подобного чуда стоит пойти на риск. Смею ли я усмотреть в ее любезном согласии выслушать меня доказательство, что я не совсем обманулся в своих надеждах? Ничто не могло бы меня обрадовать больше. Честью заверяю, что я — человек вполне добропорядочный и безобидный, и, допустив меня в качестве, так сказать, сообитателя этого дворца, дамы почти не заметят моего присутствия. Я охотно подчинюсь любым правилам, любым ограничениям. К тому же я готов представить рекомендации или поручительства лиц, пользующихся достаточным уважением в Венеции, в Англии или в Америке.

За все время моей речи она не шелохнулась, но я ощущал на себе ее пристальный, испытующий взгляд, хоть мне видна была только нижняя половина сморщенного, лишенного красок лица. Старость отточила черты этого лица, но старость старостью, а было в них природное изящество, в свое время, должно быть, неотразимое. Когда-то она была очень светлой блондинкой с удивительно нежным румянцем на щеках. Я умолк; она помедлила еще несколько секунд, потом заговорила:

— Если вы такой любитель садов, почему бы вам не поселиться на terra firma [1] — там их сколько угодно, и получше этого.

— Но там нет такого сочетания,— возразил я, улыбаясь, и вдохновенно пояснил: — Сад посреди моря — вот что меня пленяет.

— Какое же тут море, у нас даже из окон воды не видно.

Я насторожился — уж не хочет ли она изобличить меня в обмане?

— Не видно воды? Помилуйте, сударыня, да я к самому вашему крыльцу подъехал на лодке.

Но она, очевидно, уже потеряла нить своих мыслей и в ответ на это сказала задумчиво:

— Так ведь надо иметь лодку. У меня ее нет, и мне уже много лет не приходилось ездить в гондоле.— Она произнесла это так, словно речь шла о каком-то диковинном и редком занятии, известном ей больше понаслышке.

— О, я счастлив буду предоставить свою в ваше распоряжение! — воскликнул я; но еще не окончив фразу, почувствовал, что в подобной поспешности есть нечто вульгарное, а кроме того, делу может повредить, если старухе покажется, что я чересчур уж ретив, точно человек, которым движет некий тайный умысел. Но она сидела все с тем же непроницаемым видом, и у меня шевельнулась неприятная мысль, что она гораздо лучше успела рассмотреть меня, чем я ее. Она не стала благодарить меня за мою несколько расточительную любезность, упомянула только, что дама, принимавшая меня накануне,— ее племянница, которая скоро сюда придет. Она нарочно велела ей не торопиться, так как желала сперва поговорить со мной наедине — у ней на то есть свои причины. Сказав все это, старуха снова замолчала; а я терялся в догадках — что это за таинственные причины, и какие сюрпризы меня еще ожидают, и могу ли

[1] Материке *(итал.)*.

я отважиться на какой-либо умеренный комплимент по адресу моей вчерашней собеседницы. В конце концов я рискнул заметить, что буду очень рад возобновить знакомство с последней; она вчера так терпеливо меня выслушала, хоть я наверняка должен был показаться ей по меньшей мере чудаком. На это последнее замечание последовал со стороны мисс Бордеро очередной неожиданный ответ:

— У нее прекрасные манеры, я сама занималась ее воспитанием.— Я хотел было вставить, что этим, должно быть, объясняется грациозная непринужденность, свойственная обхождению племянницы, но вовремя удержался — старуха уже продолжала: — Не знаю, кто вы такой, да и не хочу знать; это теперь так мало значит.— Все это нетрудно было истолковать как знак, что аудиенция окончена и сейчас мне будет сказано, что я могу отправляться восвояси, поскольку она уже достаточно насладилась лицезрением эдакого образца беззастенчивости. Тем удивительнее прозвучали для меня следующие слова, произнесенные дребезжащим, старушечьим голоском: — Можете получить сколько угодно комнат, если заплатите хорошие деньги.

Я на миг замялся, прикидывая, сколько именно она может иметь в виду. Моей первой мыслью было, что речь и в самом деле пойдет об очень крупной сумме; но тут же я рассудил, что крупная сумма в ее представлении — не совсем то же, что в моем. Впрочем, заминка, вызванная этими соображениями, была так коротка, что она едва ли успела ее заметить, и я почти тотчас же ответил: — Заплачу с величайшим удовольствием, и притом вперед,— благоволите только назвать цифру.

— Извольте: тысяча франков в месяц,— проворно откликнулась она из-под зеленого козырька, по-прежнему скрывавшего выражение ее лица.

Цифра была, что называется, ошеломительная; умозаключения мои не оправдались. Подобных цен попросту не существовало в Венеции; за тысячу франков я бы мог снять целый дворец в отдаленном районе, и не на месяц, а на год. Но я готов был на любые траты в пределах своих возможностей, и мое решение созрело немедленно. Уплачу ей, не поморщившись, сколько она спрашивает, но уж впоследствии постараюсь сквитаться, заполучив вожделенную добычу даром. Впрочем, запроси она впятеро больше, я бы не стал спорить: слишком уж это было непереносимо — торговаться с Джулианой Джеффри Асперна. Довольно и того, что вообще пришлось вести с нею речь о деньгах. Я рассыпался в уверениях, что ее желания полностью совпадают с моими и на следующий же день я буду иметь счастье вручить ей плату за три месяца вперед. Она весьма благосклонно приняла эту весть, не выказывая ни малейшего намерения хотя бы приличия ради предложить мне сперва посмотреть комнаты. Ей это попросту в голову не пришло, а меня только радовала подобная беззаботность. Не успели мы заключить это небольшое соглашение, как дверь скрипнула, и на пороге появилась младшая из двух дам. Завидя племянницу, мисс Бордеро воскликнула почти ликующе: — Он дает три тысячи — он их принесет завтра же!

Мисс Тина застыла на месте, переводя свой кроткий взгляд с тетки на меня и с меня на тетку; потом она выговорила чуть слышно:

— Три тысячи франков?

— Вы имели в виду франки или доллары? — спросила меня старуха.

— Я так понял, что речь шла о франках,— мужественно улыбнулся я.

— Это очень хорошо,— сказала мисс Тина, словно сама чувствовала, насколько бестактным мог показаться заданный ею вопрос.

— Тебе-то что? Ты же все равно ничего не понимаешь,— отозвалась мисс Бордеро, не резко, но с какой-то странной снисходительной холодностью.

— Да-да, в денежных делах — конечно! — поспешила согласиться мисс Тина.

— Но, без сомнения, есть предметы, в которых вы разбираетесь очень тонко,— счел я уместным заметить. Для меня было что-то болезненно неприятное в том, какой оборот приняла наша беседа; во всех этих рассуждениях о долларах и франках.

— В детстве ее учили всему, что положено знать благовоспитанной девице. Я сама следила за ее воспитанием,— сказала мисс Бордеро. И тут же добавила: — Но с тех пор у нее знаний не прибавилось.

— Я все время находилась при вас,— ответила мисс Тина очень кротко и, уж разумеется, без тени сарказма.

— Да, и если бы не это...— подхватила тетка куда более язвительно. Она явно намекала, что если бы не это, племянница и вообще бы осталась невежда невеждой; но, по-видимому, мисс Тина не была уколота намеком, хоть и покраснела, слыша, как постороннего человека посвящают в подробности ее жизни. Мисс Бордеро меж тем вернулась к главной теме нашего разговора:

— В котором часу вы завтра явитесь с деньгами?

— Чем раньше, тем лучше. Если вам удобно, я буду здесь ровно в двенадцать.

— Я всегда дома, но у меня есть свои часы,— сказала старуха, как бы подчеркивая, что она вовсе не в любое время доступна.

— Вы подразумеваете часы, отведенные для визитеров?

— Визитеров у меня не бывает. Но если вы принесете деньги к двенадцати, я вас приму.

— Чудесно, постараюсь быть точным,— сказал я и, вставая, добавил: — Позвольте скрепить наш уговор рукопожатием.— Мне нужна была хотя бы эта маленькая формальность, ибо я догадывался, что других не будет. К тому же пусть нынешнюю мисс Бордеро никак нельзя было назвать привлекательной, пусть даже в ее усохшем от старости существе было нечто отпугивающее, но я испытывал неодолимое желание хоть миг единый подержать в своих руках руку, которую когда-то с нежностью пожимал Джеффри Асперн.

Она не сразу ответила; ясно было, что мое предложение не встретило сочувствия. Но она и не отшатнулась, к чему я уже почти был готов, только сказала холодно:

— В мое время это не было принято.

Несколько задетый таким отпором, я, однако, не подал виду и весело обратился к мисс Тине:

— Но вы, надеюсь, не откажетесь?

Она тотчас же протянула мне руку, торопливо шепнув:

— Да-да, в знак того, что все улажено!

— Вы заплатите золотом? — спросила мисс Бордеро.

Я внимательно поглядел на нее:

— А вы не боитесь, между прочим, держать в доме такие большие деньги? — Меня не столько раздражала старухина жадность, сколько удивляло несоответствие между огромностью суммы, о которой шла речь, и столь ненадежным способом ее хранения.

— Кого же мне бояться, если я даже вас не боюсь? — хмуро отозвалась она.

Я засмеялся:

— Что ж, в сущности, теперь вы под моей охраной, так что, если угодно, могу вручить вам условленную сумму золотом.

— Благодарю,— с достоинством отвечала старуха и легким кивком дала понять, что аудиенция окончена. Я откланялся и вышел, думая о том, что не так-то легко будет провести ее. Уже в sala я заметил мисс Тину, вышедшую вслед за мной, и решил, что она, верно, хочет исправить небрежность тетки, даже не предложившей мне осмотреть помещение. Но она молчала, только смотрела на меня, улыбаясь едва заметно, однако ж без грусти, и в выражении ее лица было что-то отрочески-бесхитростное и наивное, вступавшее в почти забавное противоречие с поблекшими чертами. Она не была дряхлой, как ее тетка, но показалась мне вдруг куда более беспомощной, потому что в ней чувствовалась внутренняя хрупкость, не свойственная мисс Бордеро. Я ждал, когда она спросит, не желаю ли я посмотреть комнаты, но не торопил событий: ведь в мои планы теперь входило как можно больше времени проводить в ее обществе. Прошла целая минута, прежде чем я решил наконец начать разговор:

— Я и не надеялся на такую удачу. Очень любезно было со стороны вашей тетушки принять меня. Должно быть, это вы замолвили за меня словечко.

— Это она ради денег,— сказала мисс Тина.

— Вы с ней говорили о деньгах?

— Я сказала, что вы, наверно, хорошо заплатите.

— А как вы могли это знать?

— Я сказала, что вы богатый человек.

— С чего вы это взяли?

— Сама не знаю, должно быть, мне так показалось по вашему тону.

— Вот те на! Придется мне изменить тон,— воскликнул я.— Ибо, к сожалению, вы ошиблись.

— Сколько я знаю,— сказала мисс Тина,— таково уж обыкновение всех forestieri [1] в Венеции — платить большие деньги за то, чему на самом деле не бог весть какая цена.— Она словно бы желала меня утешить этим замечанием, дать мне понять, что я хотя бы не одинок в своей безрассудной расточительности. Мы шли по sala бок о бок, и я, вновь отмечая про себя величественные масштабы этого помещения, вслух высказал догадку, что оно едва ли составит часть моих будущих апартаментов,— но, может быть, одна из этих дверей ведет туда? — Нет, вы можете сразу подняться в верхний этаж,— ответила мисс Тина, словно бы в уверенности, что я и сам должен знать свое место.

— Стало быть, именно в верхнем этаже находятся комнаты, предназначенные мне вашей тетушкой?

— Тетушка считает, что, чем обособленнее вы будете жить, тем лучше.

— Она несомненно права.— И я почтительно выслушал последовавшие объяснения: наверху, мол, ничто не помешает мне обставить все по своему вкусу; туда ведет другая лестница, но тоже отсюда, из бельэтажа, и для того чтобы спуститься в сад или же подняться к себе, я должен буду всякий раз проходить через sala. Последнее обстоятельство давало мне существенное преимущество; я уже предвидел, что именно на нем будет основан весь механизм моих взаимоотношений с обеими дамами. Я спросил, а как мне сейчас найти дорогу в мое будущее жилье, и тем снова поверг мисс Тину

---

[1] Иностранцев *(итал.)*.

в замешательство, что с ней, видимо, часто случалось при общении с людьми.

— Не знаю, право, найдете ли вы. Пожалуй — пожалуй, придется мне проводить вас.— Ей это явно раньше не приходило в голову.

Мы поднялись в верхний этаж и прошли через длинный ряд пустых комнат. Самые лучшие выходили окнами в сад; из некоторых других за черепичными крышами противоположных домов можно было увидеть голубую лагуну. Везде густым слоем лежала пыль, кое-что было даже попорчено вследствие долгого небрежения, но я прикинул, что, потратив несколько сот франков, можно три или четыре комнаты сделать пригодными для жилья. Затея моя оборачивалась довольно дорого; но теперь, когда осталось только водвориться в доме, мне уже не хотелось тревожиться по этому поводу. Я стал было перечислять своей спутнице, какие усовершенствования я намерен произвести в первую очередь, но она возразила, несколько даже живей обычного, что я волен делать все, что мне угодно,— казалось, она желала уведомить меня, что обе мисс Бордеро ни в малой мере не склонны интересоваться моими действиями. Я сразу же догадался, что такой тон она взяла, следуя указаниям тетушки (замечу кстати, что со временем я научился безошибочно, как мне казалось, распознавать, когда она говорит свои слова, а когда — подсказанные старухой). Она словно бы попросту не замечала царившего вокруг запустения и ничего не пыталась объяснить или оправдать.

Должно быть, сказал я себе, сколь ни прискорбна такая мысль, Джулиана и ее племянница попросту неряшливы, как итальянские простолюдинки; впрочем, поздней мне пришло в голову, что роль критика едва ли пристала жильцу, чуть ли не силком навязавшемуся хозяевам. Мы смотрели то в одно окно, то в другое, ибо в комнатах смотреть было решительно не на что, а уходить мне не хотелось. Я пробовал спрашивать мисс Тину о тех или иных зданиях, видневшихся в перспективе, но ни разу не получил ответа. Ясно было, что вид из этих окон совершенно незнаком ей — словно она уже много лет сюда не поднималась; и она даже не делала попыток скрыть это, чересчур поглощенная, как я это вскоре понял, чем-то другим.

Вдруг она сказала — без всякой связи с предыдущим:

— Не знаю, может быть, вам это безразлично, но деньги для меня.

— Деньги?..

— Да, те, что вы будете платить.

— Бог мой, эдак мне захочется продлить свое пребывание до года или даже двух!

Говоря это, я мило улыбался, но мне уже начало действовать на нервы, что у этих женщин, так неразрывно связанных с Асперном, только и разговору что о расчетах и платежах.

— Что ж, тем лучше для меня,— почти весело откликнулась она.

— Вы мне не оставляете выбора!

Мисс Тина недоуменно глянула на меня, но тут же продолжала:

— Она хочет, чтобы мне больше досталось. Она думает, что скоро умрет.

— О, не дай бог! — воскликнул я с искренним испугом. Я вполне отдавал себе отчет в том, что Джулиана, почувствовав приближение конца, может уничтожить письма Асперна, но до тех пор наверняка не выпустит их из рук; должно быть, она всякий вечер перед отходом ко сну перечитывает их или хотя бы прижимает к своим увядшим губам. Дорого бы я дал, чтобы хоть на миг стать свидетелем этого обряда. Я осведомился у мисс Тины, страдает ли ее почтенная тетушка каким-нибудь злостным недугом; но в ответ услы-

хал: нет, она просто очень устала, ведь она прожила такую необыкновенно долгую жизнь. По крайней мере сама она говорит, что с нее довольно и она хочет умереть. К тому же все ее друзья давным-давно лежат в могиле; уж тут одно из двух: либо им надо было остаться здесь, либо ей уйти вслед за ними. И еще одно часто повторяет ее тетушка: чтобы жить, нужно терпение, а терпения у нее больше нет.

— Но ведь так же не бывает, чтобы человек умирал, когда ему захочется, правда? — сказала мисс Тина. И тут я рискнул заметить: если на те средства, что у них есть, они сейчас существуют вдвоем, то ведь, останься она одна, этого и подавно хватит. Столь сложное соображение заставило мисс Тину призадуматься, но минуту спустя все же последовал ответ:

— Видите ли, сейчас она обо мне заботится. И она думает, если ее не будет, у меня ума не хватит справляться самой.

— Скорей можно бы предположить, что вы заботитесь о ней. Она, видно, очень гордый человек.

— Неужели вы успели это заметить? — воскликнула мисс Тина с оттенком радостного удивления.

— Я порядочно времени провел с нею наедине и признаюсь, она поразила меня — поразила и возбудила мой живейший интерес. А ее гордость заметить нетрудно. Едва ли мне доведется часто беседовать с нею, когда я буду жить в доме.

— Да, вы, пожалуй, правы,— утвердительно кивнула моя собеседница.

— А вам не кажется, что она отнеслась ко мне с некоторым подозрением?

В ясном, незамутненном взгляде мисс Тины я не увидел ничего, указывающего, что я попал в точку.

— Вряд ли, иначе она так легко не допустила бы вас в дом.

— Это называется легко? Она себя надежно застраховала, во всяком случае,— сказал я.— Где, по-вашему, ее уязвимые места?

— Я бы вам не сказала, даже если бы знала.— И не дав мне времени возразить, мисс Тина с грустной улыбкой добавила: — А вы думаете, у нее есть уязвимые места?

— Я недаром задал этот вопрос. Скажите мне, и я буду обходить их самым тщательным образом.

В ответ она посмотрела на меня с тем робким, но откровенным и даже приязненным любопытством, которое я в ней подметил при первой нашей встрече, потом промолвила: — А тут и говорить нечего. Мы существуем так тихо, так незаметно. Не отличишь один день от другого. У нас нет никакой жизни.

— Если б я мог надеяться, что внесу с собой хоть немного.

— О, нам и так хорошо,— сказала она.— Мы знаем, чего хотим.

Мне не терпелось порасспросить ее о многом: как все же им удается сводить концы с концами, бывает ли кто-нибудь в доме, есть ли у них родня в Америке или еще где-нибудь. Но я счел, что сейчас еще не время, лучше отложить расспросы до другого случая.

И я ограничился тем, что спросил:

— Хоть вы-то не будете гордой? Не станете от меня прятаться?

— Мое место при тетушке,— сказала она, отведя глаза. И тотчас же, без всяких прощальных церемоний, повернулась и исчезла, предоставив мне самому выбираться как сумею. Я еще побродил по залитой теперь солнцем пустыне старого дома, желая разобраться в создавшемся положении. Даже служаночка в деревянных башмаках не явилась, чтобы меня провсдить, и я в конце концов рассудил, что это признак доверия.

IV

Возможно, так оно и было, но тем не менее прошло полтора месяца, настал июнь, и миссис Прест уже готовилась к сезонному отлету, а мои дела нисколько не продвинулись вперед. Придя к своей приятельнице накануне срока, назначенного для ее отъезда, я должен был сознаться, что похвастать мне нечем. Мой первый шаг был неожиданно стремительным и успешным, но ничто пока не предвещало второго. Вечерние чаепития в обществе хозяек дома — картина, которую мы себе рисовали когда-то,— казались неизмеримо далеким миражем. Миссис Прест меня обвинила в недостатке смелости, но я ответил, что без удобного случая и смелость не проявишь; можно расширить брешь, если она есть, но нельзя ломиться в глухую стену. На это она возразила, что мне уже удалось пробить брешь, достаточно широкую для пропуска целой армии, и что время, которое я растрачиваю попусту, хныча у нее в гостиной, лучше было бы с пользой употребить на театре военных действий. Я и правда довольно часто ее посещал и откровенно выкладывал все свои огорчения, думая, что это хоть сколько-нибудь меня утешит. Но в конце концов я нашел, что не такое уж утешение, когда тебя вечно высмеивают за нерешительность, тем более что на самом деле я жил в постоянной готовности к действию; и я даже почти обрадовался, когда моя насмешливая приятельница закрыла свой дом на летний сезон. Она ожидала, что мои взаимоотношения с барышнями Бордеро составят для нее занимательный спектакль, и была разочарована тем, что взаимоотношений, а стало быть и спектакля, не получилось. «Разорят они вас,— сказала она мне перед тем, как покинуть Венецию.— Выкачают все ваши деньги, не показав вам и лоскутка бумаги». Во всяком случае после ее отъезда я с большим усердием сосредоточился на своей задаче.

За все это время мне и в самом деле ни разу, кроме одного случая, не пришлось хотя бы на миг встретиться с моими странными хозяйками. Тем единственным исключением было утро, когда я принес им свою чудовищную дань — три тысячи франков золотом. Мисс Тина уже дожидалась в sala и сразу же протянула ко мне руку за деньгами, таким образом лишив меня возможности увидеть ее тетушку. Старуха накануне сказала, что примет меня сама, но ей, видно, ничего не стоило нарушить свое слово. Деньги лежали в объемистом замшевом мешке, как были получены из банка, и, чтобы принять их, мисс Тине пришлось сложить обе ладони горстью. Сделала она это с величайшей серьезностью, хоть я пытался придать чуть шутливый характер всей церемонии. И так же серьезно она спросила, взвешивая золото на ладонях, хотя в голосе ее словно бы звенела радость: «А вам не кажется, что это слишком уж много?» Я ответил, что все зависит от того удовольствия, которое я надеюсь получить взамен. И тут она покинула меня так же стремительно, как и накануне, успев только вымолвить совсем для меня новым тоном: «Удовольствие, удовольствие — не бывает удовольствий в этом доме!»

После того я долгое время ее не видел, казалось даже удивительным, как это в повседневном житейском обиходе мы никогда не сталкивались хотя бы случайно. Можно было только предположить, что она тщательнейшим образом избегала подобных случайностей; впрочем, дом был так велик, что в нем нетрудно было потерять друг друга. Когда я уходил или возвращался, то всякий раз, проходя через sala, с надеждой ждал, не мелькнет ли где-нибудь хоть краешек ее платья, но и этой скромной надежде не дано было сбыться. Казалось,

она так и сидит с утра до вечера в комнатах у тетушки, даже не выглядывая за дверь. Я старался представить себе, что они там делают вдвоем, неделя за неделей и год за годом. Никогда еще мне не приходилось наблюдать столь упорной воли к одиночеству; эти две женщины не просто затаились в тиши — они напоминали животных, которые, спасаясь от преследования, притворяются мертвыми. У них никто не бывал, незаметно было никаких признаков связи с внешним миром. Ведь случись кому-нибудь прийти в дом, рассуждал я, или же мисс Тине выйти из дому, это не могло бы ускользнуть от моего внимания. Я совершил даже поступок, за который готов был сам себя презирать, хоть и оговорился мысленно, что один, мол, раз куда ни шло: попробовал навести своего слугу на разговор о привычках и нравах хозяек дома и дал ему понять, что буду благодарен за любые сведения на этот счет. Но сведения его оказались на удивление скудны для дошлого венецианца; впрочем, там, где всегда соблюдают пост, много крошек с полу не подберешь. Вообще же он был исправный слуга, хоть и не такое совершенство, каким я его расписывал мисс Тине при нашей первой встрече. Он помог моему гондольеру доставить в дом целую кучу мебели; а когда все было перенесено в верхний этаж и расставлено по нашему с ним совместному усмотрению, сумел наладить мой домашний быт в меру тех требований, которые мне, кроме него, некому было предъявлять. Короче говоря, его заботами я мог существовать со всей приятностью, какую допускали мои не слишком удачно складывающиеся дела. Я было понадеялся, что он влюбится в служанку мисс Бордеро или же, напротив, почувствует к ней резкую антипатию; в обоих случаях было бы неизбежно столкновение, а столкновение повело бы к переговорам. Мне почему-то казалось, что эта девушка общительна от природы, а поскольку я не раз видел, как она бегает взад и вперед по разным домашним надобностям, то поводы к общению, наверно, нашлись бы без труда. Но ни единой капли не привелось мне глотнуть из этого источника: как выяснилось вскоре, все чувства Паскуале были безраздельно отданы одному предмету, так что прочих женщин он попросту не замечал. То была некая молодая особа с сильно напудренным лицом, ходившая в желтом ситцевом платье и обладавшая неограниченным досугом, что позволяло ей часто навещать Паскуале. Занималась она — когда имела к тому охоту — низанием бисера для украшений, изготовляемых в Венеции в несметных количествах; карманы у нее были всегда полны этого товара, и мне не раз случалось находить бисеринки на полу своей комнаты. От ее бдительного взора не укрылась бы возможная соперница в доме. Мне же, разумеется, не к лицу было собирать разные прислужничьи сплетни, и с рыженькой Олимпией ни разу в разговор не вступал.

Старуха даже не позаботилась прислать мне расписку в получении платы за три месяца, и это лишний раз подтвердило мне, что она твердо решила не иметь со мной ничего общего. Несколько дней я ждал расписки, потом, убедившись, что ждать напрасно, долго ломал голову в поисках причин, побудивших ее пренебречь столь непременной и общепринятой формальностью. Сперва меня так и подмывало самому ей напомнить; но потом я отказался от этой идеи, вопреки своим представлениям о том, что было бы в данном случае правильно,— счел, что важнее всего сохранить мир. Казалось бы, если мисс Бордеро подозревает меня в каких-либо тайных умыслах, моя деловитость должна ослабить ее подозрения; и все же я решил не быть деловитым. Возможно, этот промах с ее стороны был намеренной дерзостью, ироническим жестом, призванным доказать ее

уменье одерживать верх над теми, кто вздумал над нею одержать верх. Если так, то лучше пусть она считает, что ее уловки остались незамеченными. На самом же деле, как я это понял впоследствии, старуха просто желала подчеркнуть, что благосклонно оказанная мне милость имеет четко обозначенные границы и я об этом не должен забывать. Она предоставила мне часть своего дома, но ничего не намерена была к этому прибавлять, даже клочка бумаги со своей подписью. Замечу попутно, что поначалу это меня не обескуражило — в самой парадоксальности положения была для меня особая прелесть. Я уже решил посвятить это лето задуманному литературному предприятию и, тешась предстоящей мне игрой со случаем, не думал о том, что сам могу оказаться игрушкой в чьих-то руках. В Венеции всякое дело требует терпения, а мне, пылкому поклоннику Венеции, был близок ее дух — тем более что в данное дело я вложил немалые средства. Дух Венеции сопутствовал мне повсюду, неотделимый от бессмертного образа поэта, суфлировавшего мне мою роль,— образа, в каждой ожившей черте которого светился гений. Я вызвал его из небытия, и он явился; я беспрестанно видел его перед собой; казалось, его лучезарная тень вновь сошла на землю заверить меня в том, что мое предприятие он считает в равной мере и своим и что мы вкупе и влюбе доведем его до благополучного конца. Он словно говорил мне: «Будь снисходителен к ней, бедняжке; у нее есть свои предубеждения; дай срок, и все образуется. Тебе сейчас трудно в это поверить, но, право же, она была очень хороша в 1820 году. А пока наслаждайся тем, что мы с тобой в Венеции — ведь нет на свете лучшего места для встречи старых друзей. Взгляни, как прекрасно тут созревание лета; как тают и сливаются воедино небо и море и мерцающий розоватый воздух и мрамор старых дворцов». Моя личная эксцентрическая затея становилась частью венецианской романтики и венецианской красоты — я даже чувствовал некое мистическое родство, некую духовную сопричастность с теми, кто в прошлом отдавал себя здесь служению искусству: они трудились во имя прекрасного, во имя своего призвания — разве я не делал того же? Прекрасное было в каждой строчке, вышедшей из-под пера Джеффри Асперна, и я хотел, чтобы все им написанное увидело свет.

Проходя через sala по дороге к себе или от себя, я всякий раз норовил замешкаться там и подолгу — сколько позволяло мое чувство приличия — не спускал глаз с двери, которая вела в обиталище мисс Бордеро. Со стороны могло показаться, что я колдую или пытаюсь осуществить сложный гипнотический эксперимент. А я только молил бога, чтобы дверь отворилась, или думал о тех сокровищах, что таились за ней. Сейчас мне даже кажется странным, отчего это я ни разу не усомнился, что драгоценные реликвии находятся именно там, ни на миг не утратил сладостного ощущения своей непосредственной близости к ним. Они были досягаемы — они пока не ускользнули от меня; и этим моя жизнь как бы смыкалась с той блистательной жизнью, часть которой они когда-то составляли. Я настолько увлекся этой волнующей мыслью, что в своей одержимости готов был уже и мисс Тину отнести к прошлому. Она и правда была — и в моих глазах оставалась — частицей прошлого, эта тихая старая дева, но все же не столь давнего, как времена Джеффри Асперна, которого, подобно мне, знала только понаслышке. Но она много лет жила вместе с Джулианой, она видела и держала в руках вещи, хранившие его память, и — при всей ее глупости — какие-то частицы тайны не могли не пристать к ней. Той самой тайны, воплощением которой была для меня старуха и мысль о которой заставляла мое

сердце прошлого биться сильней. Оно подчас и в самом деле билось сильно, особенно в вечернее время, когда я, вернувшись откуда-нибудь, брел со свечой к себе наверх и вдруг останавливался под гулкими сводами sala. В эти минуты полной тишины, особенно ощутимой после долгого шумного дня, тайна мисс Бордеро словно плавала в воздухе, и то обстоятельство, что она еще живет, казалось удивительней, чем когда-либо. Это были самые острые впечатления. Нечто подобное — только в иной форме, с примесью некоторого оттенка взаимности — я испытывал и в те часы, когда сидел в саду с книгой и смотрел поверх ее страниц на закрытые окна хозяйских покоев. В этих окнах никогда не мелькало и признака жизни, как если бы из страха, что я могу их увидеть, обе дамы предпочитали проводить свои дни в темноте. Но отсюда напрашивался вывод, подтверждавший мои догадки: им, стало быть, есть что скрывать. Эти неподвижные ставни были выразительны, как зажмуренные веки,— я тешил себя надеждой, что чей-то взгляд незаметно следит за мной из-под опущенных ресниц.

В оправдание разговора о своих ботанических пристрастиях я старался как можно больше времени проводить в саду. Это, впрочем, стоило мне не только времени, но и денег (и немалых, черт побери!). Когда с устройством жилья было покончено и можно было заняться чем-то другим, я пригласил опытного цветовода, мы вместе осмотрели сад и уговорились, когда и за какую цену он будет приведен в порядок. Пошел я на это скрепя сердце: сад был мне куда милее такой, как сейчас, запущенный, весь в буйных зарослях сорняков — образ упадка, трогательный и характерный для Венеции. Но приходилось быть последовательным, ведь я же пообещал, что утоплю дом в цветах. К тому же я все еще лелеял фантастическую мечту, что цветы приведут меня к успеху — гигантские букеты станут моим победным оружием. Я забросаю старух лилиями, я розами буду штурмовать их крепость. Тяжелые двери дрогнут под мощным напором благоухания. Сад и в самом деле был доведен до крайней разрухи. На свете нет больших лодырей, чем венецианцы, и в течение многих дней растущие кучи мусора были единственным плодом усилий моего садовника. Потом началось рытье бесчисленных ям и катание тачек с землей; измученный нетерпением, я уже подумывал, не послать ли мне за своей первой «жатвой» на цветочный рынок поблизости. Но мои приятельницы по своим наблюдениям сквозь щели в ставнях наверняка знали, что с их сада пока еще не соберешь такой жатвы, и это могло посеять в них недоверие ко мне. Я взял себя в руки и вот наконец после долгих ожиданий увидел, как распустились первые два-три цветка. Это придало мне бодрости, и я уже спокойно ждал появления новых и новых. Лето меж тем было в полном разгаре, еще немного — и оно медленно пошло на убыль. Сейчас, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, они были счастливейшими в моей жизни. Я почти не покидал сада, кроме разве самых жарких часов. По моему указанию в дальнем конце устроили беседку и поставили в ней кресло и низенький столик; я садился там со своими книгами и папками — какое-нибудь дело всегда находилось под рукой — и писал, и раздумывал, и томился ожиданием и надеждой, а золотое время шло и шло, и растения жадно вбирали солнце, а безмолвный старый дворец бледнел в его лучах, но с приближением вечера вновь оправлялся и обретал свои краски, а ветерок с Адриатики шелестел моими бумагами на столе.

При том, как скудно вознаграждались мои старания поначалу, казалось бы, мне очень скоро должны были надоесть все эти догадки о подробностях священного ритуала скуки, которыми барышни Бор-

дерo заполняли свой досуг в пустых затемненных комнатах, о том, всегда ли они вели такую жизнь и как им в прежние годы удавалось избегать даже вынужденных встреч с соседями. Может быть, в то время они жили по-иному, имели иные привычки, иные средства к существованию: ведь были же они когда-то молоды или по крайней мере средних лет. Не счесть было вопросов, которые хотелось бы тут задать, как и ответов, которые даже не приходили на ум. Я встречал многих своих соотечественников в Европе и знал причуды, нередко там на них нападавшие; но барышни Бордеро являли собой совершенно новую разновидность американских экспатриантов. Было ясно, что слово «американский» потеряло всякий смысл в приложении к ним — десяти минут, проведенных у старухи, достаточно было, чтобы в этом убедиться. Ничто в их облике не говорило о том, откуда они родом; все национальные черты и приметы были ими давным-давно растеряны. Ни та, ни другая не вызывали в памяти ничего знакомого; если бы не язык, они равно могли бы сойти за шведок или испанок. Да и то сказать, мисс Бордеро добрых три четверти века провела в Европе: из стихотворения, которое Асперн посвятил ей во второй свой приезд из Америки — мы с Камнором после долгих трудов довольно точно установили его дату,— явствовало, что уже тогда, двадцатилетней девушкой, она жила по эту сторону океана. В стихах говорилось — и я думаю, не только для красного словца,— что именно ради нее он снова приехал в Европу.

Но нам ничего не было известно об обстоятельствах ее жизни в ту пору, равно как и о ее происхождении, хотя, скорей всего, оно было, как принято выражаться, скромным. По теории Камнора она служила гувернанткой в доме, где бывал поэт, и вследствие этого в их отношениях с самого начала было что-то недоговоренное, а может быть, даже намеренно скрываемое. Я же сочинил свою романтическую версию, согласно которой она была дочерью художника-живописца или скульптора, покинувшего Новый свет еще на заре нашего века и отправившегося учиться у старых мастеров. Условия сюжета требовали, чтобы сей благородный муж был вдов, беден и незадачлив и чтобы у него была еще одна дочь, всем складом резко отличная от Джулианы. Необходимо было также, чтобы обеих молодых девушек он взял с собою в Европу, где и провел остаток своей нелегкой и нерадостной жизни. Предполагалось, что мисс Бордеро в юности была капризна и склонна к опрометчивым поступкам, хотя в то же время великодушна и обворожительна, и что она пренебрегла несколькими случаями сделать выгодную партию. Какие же страсти изглодали ее, какие приключения и горести вытянули из нее все соки, с каким запасом воспоминаний пришла она к своей долгой, унылой старости?

Обо всем этом я спрашивал себя, плетя ткань своих домыслов под жужжание пчел в цветнике, окружавшем беседку. Спору нет, большинство из тех, кто читал некоторые стихотворения Асперна (не столь туманные, как шекспировские сонеты — коим, на мой взгляд, они не уступают в божественном совершенстве), вполне уверены, что Джулиана не всегда придерживалась крутой стези самоотречения. Был неотделим от ее имени этакий душок нераскаянной страсти, смутный намек на то, что она не во всем точно соответствовала идеалу добропорядочной девицы. Значит ли это, что воспевший ее поэт предал ее, отдал, как говорится, на потеху поколениям потомков? Никто не укажет пальцем той именно строки, которая опорочила ее имя. Да и может ли опорочить чье-нибудь имя то, что его обессмертило, связав с творениями непреходящей красоты? По моей

версии, у девицы еще до встречи с Джеффри был возлюбленный-иностранец, и, возможно, любовь эта окончилась драмой, недостойным разрывом. Она жила с отцом и сестрой в своеобразной среде старомодной артистической богемы, съехавшейся из разных стран в те времена, когда только академичное считалось эстетичным и художники, умевшие выбирать лучших натурщиц для своих contadina [1] и pifferaro [2], ходили в шляпах с высокой тульей и с волосами до плеч. То было общество, где не умели ценить ни случаи сделать выгодную партию, ни преимущества раннего вставания и равнодушнее, чем в нынешних артистических кругах, относились ко всякой древней рухляди и глиняным черепкам; оттого-то мисс Бордеро не накопила и не унаследовала ничего такого. В комнате, где она со мной беседовала, я не заметил ни одной из тех безделушек, что возбуждают зависть легендами о том, как дешево они достались владельцу. Вероятно, это обстоятельство лишь свидетельствовало о бедности, но оно как нельзя лучше отвечало тому сентиментальному интересу, который я всегда испытывал к ранней поре жизни моих соотечественников в Европе. В переезде американцев за океан в 1820 году было нечто романтическое, чуть ли даже не героическое, если сравнить с беспрестанным мельтешением, свойственным нашему времени, когда фотография и прочие новшества отняли у людей способность удивляться. Мисс Бордеро со своими родными плыла в Европу на парусном судне, которое много дней и ночей швыряло по волнам; путешествия тогда длились очень подолгу, а впечатления изобиловали самыми резкими контрастами; потом она тряслась на империалах желтых дилижансов, ночевала в придорожных гостиницах, и ночью ей снилось услышанное от дорожных спутников, а прибыв в Вечный город, восторгалась красотой римских шейных платков, изделий из жемчуга и мозаичных брошек. Для меня во всем этом было что-то трогательное, и воображение часто возвращало меня к тем временам. Если сейчас повод к этому дала мисс Бордеро, то, разумеется, прежде такую роль, и с куда большим эффектом, не раз играл для меня Джеффри Асперн. Анализируя его творчество, я все глубже оценивал значение того факта, что он жил еще до эпохи, которую можно было бы назвать эпохой всеобщего взаимопроникновения. Порой я даже мысленно сетовал на то, что ему вообще довелось познакомиться с Европой, и гадал, что было бы написано им, не имей он этого опыта, несомненно его обогатившего. Но коль скоро судьба распорядилась иначе, я следовал по его стопам и старался вообразить, как должен был сказаться на нем общий порядок вещей, господствовавший в старом мире. Впрочем, это был далеко не единственный предмет моих раздумий; его отношение ко всему существенно новому представляло для меня еще больший интерес. В конце концов, большая часть его жизни прошла на родине, и его муза по общему суждению была и осталась американской музой. Именно это я в нем и оценил поначалу: что в годы, когда наша страна была грубой, неотесанной и провинциальной, когда никто еще и слыхом не слыхивал о той «атмосфере», в отсутствии которой ее теперь упрекают, когда ее литература шла одиноким путем, а об искусствах пластических и помышлять было нечего,— в те годы он сумел жить и писать, став одним из первых; и быть свободным, и широко мыслить, и ничего не бояться; и все понимать, и чувствовать, и находить выражение всему.

---

[1] Крестьянок *(итал.)*.
[2] Дудочников *(итал.)*.

V

Я редко сидел дома по вечерам; работать или читать в комнатах мешали тучи зловредной мошкары, слетавшейся на свет лампы, а при закрытых окнах было нестерпимо душно. Поэтому я проводил вечерние часы либо в гондоле — виды Венеции при луне особенно хороши,— либо на великолепной площади, что служит как бы обширным преддверием причудливому собору св. Марка. Я располагался за столиком перед кафе Флориана, ел мороженое, слушал музыку, болтал со знакомыми; бывалый путешественник припомнит это скопление столиков и легких стульев, точно береговой мыс, вдающееся в гладь озера Пьяццы. Летним вечером площадь, сияющая огнями, полная многоголосого гомона, опоясанная бесконечной аркадой, гулкой от перестука шагов на мраморных плитах, вся — точно огромный зал со звездным небом вместо крыши, где так хорошо не спеша попивать прохладительные напитки и столь же не спеша разбираться в богатых впечатлениях, накопленных за день. А если я не был расположен предаваться этому занятию в одиночку, всегда находился партнер в лице какого-нибудь туриста, на время решившегося расстаться со своим Бедекером, или художника, который уже обжился в Венеции и теперь радовался тому, что вновь наступила пора неповторимых эффектов освещения. Знаменитая базилика, с ее низкими куполами и выпуклой вязью орнамента, с редкостным чудом ее мозаик и скульптур, казалась призрачной в мягком вечернем сумраке; а с Пьяццетты тянуло морским ветерком, таким легким, словно его рождали колебания невидимой завесы там, где две парные колонны стоят точно косяки ворот, давно уже никем не охраняемых. В такие вечера я иногда с состраданием вспоминал о барышнях Бордеро, томящихся в своих покоях, венецианские масштабы которых не спасают от духоты венецианского июля. Казалось, их жизнь бесконечно удалена от жизни Пьяццы, и, право же, поздно было ожидать, что кто-нибудь или что-нибудь заставит суровую Джулиану изменить своим привычкам. А вот мисс Тина с удовольствием полакомилась бы флориановским мороженым. В этом я был уверен и даже подумывал иногда — не принести ли ей порцию. К счастью, мое долготерпение в конце концов дало некоторые плоды, и эта сумасбродная затея осталась неосуществленной.

Как-то в середине июля я вернулся домой раньше обычного — уж не помню, что послужило причиной,— и вместо того чтобы сразу подняться к себе наверх, вышел в сад. Было очень жарко, настолько, что, кажется, и вовсе не уходил бы в помещение; во всяком случае постель меня не влекла. Плывя в гондоле домой, под тихие всплески весла в темной воде канала, я думал только об одном: хорошо сейчас растянуться на садовой скамье, в благоуханном вечернем сумраке. Вероятно, таким мечтам немало способствовали запахи канала, и как только сад дохнул на меня своим ароматом, я почувствовал, что не зря стремился сюда. Что за чудесный воздух — в таком, должно быть, звенели мольбы Ромео, когда он, окруженный цветами, простирал руки к балкону своей возлюбленной. Я даже глянул на дворцовые окна: не нашлось ли, часом, охотника последовать веронскому примеру — Верона ведь совсем недалеко; но всюду было темно как всегда, и как всегда всюду было тихо. Быть может, Джулиане в ее молодые годы случалось летним вечером шептаться с Джеффри Асперном, склонясь к нему из открытого окна, но мисс Тина не была возлюбленной поэта, а я не писал стихов. Последнее, впрочем, не помешало мне испытать порыв горделивого самодовольства, когда я,

дойдя до дальнего конца сада, увидел, что в беседке сидит моя младшая padrona. То есть я просто различил контуры человеческой фигуры и, далекий от мысли, что одна из моих хозяек могла проявить подобную смелость, даже заподозрил было, не прокралась ли в сад какая-нибудь соседская служанка на свидание со своим дружком. Я уже хотел удалиться, чтобы не спугнуть ее, но тут фигура выпрямилась во весь свой рост, и я узнал племянницу мисс Бордеро. Справедливости ради замечу, что ее мне тоже пугать не хотелось,— и как я ни мечтал о таком случае, у меня достало бы мужества отступить. А то получалось так, будто я ей подстроил ловушку, вернувшись домой раньше обычного, да еще и пройдя сразу в сад. Но она сама заговорила со мной, и тут меня осенило: а может быть, зная, что меня никогда не бывает дома в это время, она каждый вечер спускается в сад подышать свежим воздухом в одиночестве. Конечно, мне это и в голову не приходило, и никакой ловушки я не подстраивал. Не разобрав слов, с которыми она ко мне обратилась, я принял их за возглас досады, вызванный моим появлением; но она повторила сказанное — каково же было мое удивление, когда я услышал: «Господи, как хорошо, что вы пришли!» Это у нее было общее с теткой — говорить то, чего меньше всего ожидает собеседник. Она так стремительно выбежала из беседки, словно собиралась броситься мне на шею.

Оговорюсь немедля, что это испытание меня миновало,— она мне даже не подала руки. Просто ее обрадовал мой приход, и она тут же объяснила причину: вечером ей жутковато вне дома одной. Деревья и кусты так странно выглядят в темноте, и непонятные звуки слышны со всех сторон — будто там урчат и возятся какие-то звери. Она стояла совсем рядом и успокоенно озиралась кругом, не выказывая никаких признаков интереса к моей особе. Мне стало ясно, что привычка к ночным прогулкам едва ли свойственна ей, и я вновь почувствовал невообразимое простодушие этого существа, так поразившее меня еще при нашей первой встрече.

— Вас послушать, так подумаешь, что вы заблудились в лесной глуши,— засмеялся я.— Для меня загадка — упорство, с каким вы избегаете этого маленького рая, когда вам достаточно сделать три шага — и вы здесь. Знаю, вы намеренно прячетесь, когда я дома; но в мое отсутствие могли бы, кажется, хоть ненадолго выходить в сад. Поистине ваша с тетушкой участь суровей, чем участь затворниц кармелитского монастыря. Непонятно, как вам вообще удается существовать без воздуха, без моциона, без всяких сношений с другими людьми! Из чего же складывается у вас то, что принято называть жизнью?

Она посмотрела на меня так, словно я обращался к ней на чужом языке, и ее ответ столь мало заслуживал этого названия, что подействовал на меня раздражающе:

— Мы рано ложимся спать — вы даже не представляете себе когда.— Я хотел было заметить, что тем сильней мое недоумение, но следующие ее слова оказались несколько более вразумительными: — До вашего приезда мы жили менее замкнуто. Но все равно я никогда не выходила по вечерам.

— Никогда не прогуливались по этим дорожкам, где все цветет и благоухает около самого вашего дома?

— О-о,— сказала мисс Тина,— раньше здесь не было так красиво!

Это можно было толковать в лестном для меня смысле, и я усмотрел тут признак некоторого успеха. В качестве следующего шага неплохо было намекнуть, что у меня есть повод для недовольства;

и я спросил, отчего же, если ей нравится эта созданная мною красота, она ни разу не поблагодарила меня хотя бы за цветы, которые я вот уже три недели в таком количестве посылаю ей каждое утро. Я не в обиде и, как она могла заметить, продолжаю их посылать, но меня с детства учили, что на внимание принято отвечать вниманием, и мне было бы приятно порой услышать от нее хоть одно любезное слово.

— Но я вовсе не думала, что эти цветы для меня!

— Они для вас обоих. Почему бы мне делать между вами разницу?

Мисс Тина задумалась, словно в поисках объяснения — почему в самом деле. Но не нашла его, и вместо объяснения последовал неожиданный вопрос: — Зачем вам так хочется познакомиться с нами поближе?

— Нет, видно, разницу все-таки делать надо,— сказал я.— Ведь это не ваш вопрос, а тетушкин. Вы бы мне его не задали сами от себя.

— Она мне не приказывала задавать вам этот вопрос,— возразила мисс Тина, нимало не смутившись. Робость и прямота сочетались в ней самым удивительным образом.

— Но она часто удивлялась моим действиям и выражала свое удивление вслух. Причем так настойчиво, что мало-помалу внушила и вам эту мысль о моей чрезмерной напористости. А я, между прочим, считаю, что вел себя весьма скромно. И ваша тетушка, должно быть, утратила всякое понятие о человеческих отношениях, если готова забить тревогу из-за того, что разумные, благовоспитанные люди, живя под одной кровлей, время от времени перекинутся словечком между собой. Что может быть более естественным? У нас общая родина, кое-какие общие вкусы — я, например, как и вы, нежно люблю Венецию.

Очевидно, мисс Тина была способна воспринять смысл только одной фразы собеседника, даже если его речь состояла из нескольких, и, как только я кончил, она торопливо и возбужденно отозвалась:

— Но я вовсе не люблю Венецию. Я бы охотно уехала куда-нибудь подальше отсюда.

— Она вас всегда держала взаперти? — спросил я и тем доказал, что умею быть столь же непоследовательным в разговоре.

— Это она мне сегодня велела выйти; она часто велит,— сказала мисс Тина.— А я всегда отказываюсь. Я не люблю оставлять ее одну.

— А что, она очень слаба, ее здоровье ухудшилось? — спросил я, обнаружив неуместное волнение. Я это понял по тому, как взглянула на меня в полутьме мисс Тина. Несколько сконфуженный, я поторопился изменить направление разговора и предложил бодрым голосом: — Давайте усядемся где-нибудь поудобнее, и вы мне расскажете о ней.

Мисс Тина не стала возражать. Мы выбрали скамью в менее уединенном, словно бы даже менее располагающем к доверительности месте, чем беседка; и мы все еще сидели там, когда я услышал звон, возвещавший полночь,— чистый и ясный звон венецианских колоколов, который с особой, несравненной торжественностью разносится над лагуной и куда дольше дрожит в воздухе, чем звон любых других колоколов. Мы час с лишком пробыли вместе, и наш разговор, как мне казалось, сильно подвинул меня на пути к успеху. Мисс Тина легко приняла новое положение вещей; три месяца она избегала меня, но теперь держалась так, словно за эти три месяца я пре-

вратился в испытанного друга. При желании я мог заключить, что если она и избегала меня, то делала это далеко не бездумно. Сейчас она точно не замечала времени, ничуть не смущаясь тем, что я так долго удерживаю ее вдали от тетки. Говорила она охотно, отвечала на вопросы и спрашивала сама и не воспользовалась естественной паузой в разговоре, чтобы заметить, что ей, мол, пора домой. Могло показаться, будто она ждет чего-то — каких-то моих слов — и хочет облегчить мне возможность их произнести. Я это особенно почувствовал, когда она рассказывала, что в последнее время тетка сильно сдала и в ее повадках что-то изменилось. Она заметно ослабела, порой силы вовсе оставляют ее; но в то же время она гораздо больше прежнего стремится к уединению. Оттого она и ее, мисс Тину, гонит из дома — не хочет даже, чтобы та была в своей комнате, расположенной рядом с тетушкиной спальней; называет ее «скучной» и «нудной» и твердит, что при ней чувствует себя хуже. Часами она сидит в своем кресле не шевелясь, будто спит; ей и раньше случалось подолгу просиживать так, то ли задремав, то ли уйдя в свои думы; но время от времени она, бывало, подаст признаки жизни, что-то скажет, окликнет племянницу, которая по ее требованию безотлучно находилась тут же. А теперь, продолжала моя горемычная собеседница, она зачастую так долго остается неподвижной, что пугаешься, уж не умерла ли она,— и притом почти ничего не ест, не пьет, чем только еще держится. Но вот что замечательно: она все-таки почти каждый день встает с постели; правда, нелегкое это дело — одеть ее, усадить в кресло на колесах, выкатить из спальни. Не хочет отставать от старых привычек — ведь в прошлые годы, когда в доме еще порой бывали гости, она принимала их не иначе как в большой гостиной.

Я не знал, что и подумать обо всем этом — о непривычной словоохотливости мисс Тины, об услышанном от нее удивительном известии, что чем больше слабеет здоровье старухи, тем решительней она отказывается от всяких племянницыных забот. Как-то это плохо вязалось одно с другим, и я даже задавал себе вопрос, нет ли тут подвоха, не ловушка ли это, рассчитанная на то, чтобы заставить меня раскрыть свои карты. Неясно было только, зачем бы это моим любезным хозяйкам (любезными, впрочем, я мог назвать их только из вежливости) — какой им интерес изобличать в чем-то столь выгодного жильца. Но на всякий случай я решил соблюдать осторожность и не дать мисс Тине нового повода спросить, что у меня на уме. Бедняжка — еще до того как мы с ней пожелали друг другу доброй ночи, я пришел к твердому убеждению, что насчет ее самой в этом смысле можно не беспокоиться. У нее на уме не было ровно ничего.

Она поведала мне больше, чем я мог надеяться. Не понадобилось даже что-либо выпытывать. Как видно, одно сознание, что ее слушают, и слушают участливо, располагало мисс Тину к откровенности. Она больше не думала о моих тайных побуждениях и так разговорилась, описывая блестящую жизнь, которую они с теткой вели когда-то, что не могла остановиться. Разумеется, блестящей эта жизнь была в глазах мисс Тины; по ее словам, когда они впервые поселились в Венеции много-много лет назад — я заметил, что она не слишком сильна по части хронологии,— недели не проходило без приема гостей или приятной прогулки по городу. Они познакомились со всеми достопримечательностями; даже ездили на Лидо (она произнесла это так, словно я предполагал, что туда можно добраться пешком), привезли с собой три корзины всякой снеди и расположились пикником на траве. Я спросил, кто составлял их общество, и она сказала: «О, ми-

лейшие люди — Cavaliere [1] Бомбичи и Contessa [2] Альтемура, с которой они были очень дружны; также кое-кто из англичан — Чертоны и Гольди и миссис Сток-Сток, самая их любимая приятельница; ее, бедной, давно уже нет в живых. Как, впрочем, и большинства членов их дружеского кружка — так именно выразилась мисс Тина; осталось лишь несколько — и то удивительно, как эти оставшиеся еще не вовсе забыли их: ведь уже много лет, как они перестали кого-либо принимать у себя. Она назвала имена двух или трех старых венецианских дам; одного доктора — он очень хороший специалист и был всегда очень внимателен к ним, хотя только в качестве друга, так как давно уже не практикует; потом еще avvocato [3] Починтеста, который прекрасно пишет стихи и даже посвятил одно стихотворение тетушке. Все они и сейчас навещают их каждый год, преимущественно в день Capo D'anno [4]; в прежнее время они с тетушкой всегда дарили им какие-нибудь пустячки, собственноручной ее, мисс Тины, работы — бумажные абажуры, салфеточки под графины с вином или вязанные из шерсти напульсники для холодной погоды. Последние годы подарков уже почти не было; сама она не знала, что придумать, а тетушка утратила интерес и ничего не подсказывала ей. Но гости все-таки приходили; в Венеции если кто подружится, так это уж навсегда.

Было немало трогательного в этом проникновенном описании былых светских утех; память о пикнике на Лидо не потускнела за долгие годы, и бедная мисс Тина, видно, искренне верила, что прожила бурную юность. Ей и в самом деле довелось соприкоснуться с Венецией, вернее, с миром венецианских сплетниц, бережливых домохозяек, врачей и адвокатов — недаром я в этот вечер впервые подметил у нее знакомую мне воркующую, почти ребяческую манеру говорить, свойственную венецианцам. О том, что эта лишенная твердой основы речь стала для нее не чужой, можно было судить по тому, как легко приходили ей на язык местные имена и названия. Правда, она мало что знала о предметах и людях, к которым они относятся, но еще меньше знала о чем-либо другом. Ее тетка со временем замкнулась в себе — потеря интереса к салфеточкам и абажурам была одной из внешних примет,— а в одиночку ей не под силу было поддерживать светские знакомства; оттого-то все ее думы и воспоминания и обращены были к стародавним временам. Если бы не целомудренная благопристойность этих воспоминаний, казалось, можно было бы даже различить за ними причудливое рококо Венеции Гольдони и Казановы. Я то и дело ловил себя на том, что воспринимаю и ее как современницу Джеффри Асперна; уж очень мало в ней было сходного с моими современниками. А между тем, думал я, возможно, она даже не слыхала о нем; что удивительного, если Джулиана не пожелала откинуть перед этими невинными очами завесу, скрывавшую алтарь ее былой славы. Но тогда вряд ли она знает о существовании писем; я было порадовался такой вероятности — ведь если так, можно не опасаться ее подозрений,— однако вдруг вспомнил, что полученное Камнором обескураживающее письмо было написано рукой племянницы. Даже если она писала под диктовку, она не могла не знать, о чем идет речь, хотя в письме и отвергалась всякая мысль о знакомстве с поэтом. Но при всех обстоятельствах я готов был поручиться, что мисс Тина не прочла ни одной строчки его стихов. К тому же, поскольку обеим дамам на протяжении многих лет удавалось избегать любопытных расспросов и взглядов, мисс Тине, скорее всего, и в голову не приходило, что кто-то «охотится» за письмами Асперна. Никто за ними не мог

[1] Кавалер *(итал.)*.
[2] Графиня *(итал.)*.
[3] Адвокат *(итал.)*.
[4] Новый год *(итал.)*.

охотиться, потому что никто про них не знал. Обращение Камнора было лишь случайной попыткой, предпринятой наудачу и ни к чему не приведшей.

Когда пробило полночь, мисс Тина встала; но еще сделала со мной два или три круга по саду, прежде чем остановиться у дверей дома. «Когда мы опять увидимся?» — спросил я, и она с готовностью ответила, что выйдет завтра вечером. Впрочем, может быть, и нет — ей бы хотелось выйти, но она редко поступает так, как ей хочется.

— Вот если бы вы хоть раз поступили, как мне хочется,— непритворно вздохнул я.

— Вам? О нет, я вам не верю! — возразила она, подняв на меня свой простодушный и серьезный взгляд.

— Отчего же вы не верите мне?

— Оттого, что я вас не понимаю.

— В таких-то случаях и следует полагаться на доверие.— Больше я ничего не сказал, хоть и не прочь был продолжить разговор; но я видел, что она совсем озадачена, и мне не хотелось обременять свою совесть сознанием, что я дал ей повод подумать, будто веду с ней любовную игру. А как еще можно было истолковать настойчивые просьбы о доверии, обращенные мужчиной к женщине в тиши итальянской летней ночи? Щепетильность моя была не лишена оснований: мисс Тина медлила и медлила, и я чувствовал, что она далеко не убеждена в возможности новой ночной прогулки и потому стремится продлить нынешнюю. Кроме того, ей явно хотелось говорить о том, что касалось нас с нею; словом, она вела себя так, как может себя вести только очень бесхитростная и не очень умная женщина.

— Меня теперь особенно будут радовать ваши цветы, раз я знаю, что они предназначены и для меня.

— Неужели вы могли думать иначе? Назовите мне ваши любимые, я позабочусь, чтобы вы получали их вдвое больше.

— О, я все цветы люблю! — воскликнула она, а потом спросила почти интимным тоном: — Вы еще будете работать, когда вернетесь в свою комнату — читать, писать?

— Нет, летом я по ночам не работаю. Свет лампы привлекает насекомых.

— Разве вы этого не знали прежде?

— Знал, разумеется.

— А зимой вы работаете по ночам?

— Читаю много, но писать почти не пишу.— Она слушала так, словно подобные мелочи представляли для нее необычайный интерес, и вдруг, глядя на это некрасивое доброе лицо, я почувствовал соблазн, пересиливший соображения благоразумия. Да, да, она ничего не подозревает, не заподозрит и впредь. А мне, право, больше невмочь ждать, я должен запустить пробный шар.— Читать в постели — вредная привычка, но я, признаюсь, люблю перед сном почитать хорошие стихи. На моем ночном столике всегда лежит томик одного из великих поэтов, чаще всего — Джеффри Асперна.

Я зорко следил за ней, произнося это имя, но ничего примечательного не увидел. А что, собственно, я надеялся увидеть? Разве Джеффри Асперн не принадлежит человечеству?

— Да, мы его тоже читаем — вернее читали,— сказала она как ни в чем не бывало.

— Это мой любимейший поэт — я наизусть знаю почти все его стихи.

Мисс Тина секунду колебалась, но жажда общения одержала верх.

— О, стихи, это что! — Чуть заметный свет загорелся в ее гла-

зах.— Вот моя тетушка — моя тетушка...— Она запнулась, и я замер в ожидании.— Тетушка знала его в жизни.

— В жизни? — переспросил я довольно безразличным тоном.

— Да, он у нее бывал, сопровождал ее в театр, на прогулки.

Я округлил глаза:

— Помилуйте, мисс Тина, да он умер сто лет тому назад.

— Ну и что ж,— почти весело сказала она.— А тетушке полтораста.

— Боже праведный! — вскричал я.— Почему ж вы мне раньше об этом не сказали? Я был бы так счастлив порасспросить ее о нем.

— Она все равно ничего бы вам не рассказала — она этого не любит.

— Да какое мне дело, любит или не любит. Она должна рассказать мне — разве мыслимо упустить такой случай?

— Вам бы надо приехать лет двадцать тому назад. Тогда она еще охотно о нем вспоминала.

— И что же она говорила? — жадно допытывался я.

— Мало ли что — что он был очень увлечен ею.

— А она? Была ли она им увлечена?

— Она его называла божеством.— Мисс Тина сообщила это ровным, лишенным выражения голосом, точно пустяковую местную сплетню. Но меня глубоко потрясли эти слова, оброненные в тишину июльской ночи; они прозвучали как шелест страниц полуистлевшего от времени любовного послания.

— Подумать только! — прошептал я. И снова обратился к мисс Тине: — Скажите, прошу вас — нет ли у нее его портрета? Их, увы, почти не сохранилось до наших дней.

— Портрета? Не знаю,— ответила она с замешательством, которого раньше не было. И отрывисто пожелав мне доброй ночи, пошла в дом.

Я последовал за нею в широкий мощенный каменными плитами нижний коридор, приходившийся под sala бельэтажа. С одного конца он выходил в сад, с другого — на канал; и в том конце тускло светила небольшая лампа, которую обычно оставляли для меня, чтобы я мог освещать себе путь, поднимаясь наверх. Рядом с лампой стояла на столике свеча, видимо принесенная мисс Тиной.

— Доброй ночи, доброй ночи! — отвечал я, следуя за ней, и, покуда она зажигала свечу от моей лампы, успел добавить: — Ведь если бы он у нее был, вы бы, наверно, знали?

— Если бы у нее было — что? — спросила она, как-то странно взглянув на меня поверх пламени свечи.

— Портрет божества. Чего бы только я не дал, чтобы его увидеть.

— Не знаю я, что у нее есть, чего нет. Она все запирает.— И мисс Тина пошла к лестнице, ведущей наверх, явно считая, что наговорила слишком много.

Я ее не удерживал, чтобы не напугать,— лишь заметил вслед, что вряд ли мисс Бордеро упрятала бы такую вещь под замок: владей она столь бесценным сокровищем, она бы им гордилась, повесила бы его на почетном месте в гостиной. А стало быть, никакого портрета у нее нет. Мисс Тина промолчала и стала подниматься по лестнице, держа свечу высоко перед собой. Но на третьей или четвертой ступеньке она вдруг остановилась и, круто повернувшись, устремила взгляд в полутемное пространство, где я стоял.

— Вы что ж, тоже пишете — пишете, да? — Голос ее срывался, она с трудом выговаривала слова.

— Пишу ли я? О, не будем касаться моих писаний вслед за разговором о том, что написано Асперном.

— Но вы пишете о нем, вы хотите выведать подробности его жизни?

— А вот это уже тетушкин вопрос; вы бы сами до этого не додумались,— сказал я, придав легкий оттенок обиды своему тону.

— Что ж, тем более вы должны ответить. Так это или не так?

Я считал себя готовым к любым измышлениям, которых от меня могут потребовать обстоятельства, но когда дошло до дела, я понял свою ошибку. Кроме того, после всего, что уже было сказано, мне почему-то не захотелось лгать. Наконец — пусть это была призрачная безрассудная надежда, но мне казалось, что даже если я скажу правду, мисс Тина в конечном счете не лишит меня своего дружеского расположения. И, поколебавшись несколько секунд, я ответил:

— Да, я пишу о нем и пытаюсь найти новые материалы. Умоляю, скажите, есть ли у вас что-нибудь?

— Santo Dio! [1] — воскликнула она вместо ответа и, бросившись вверх по лестнице, мгновенно исчезла из виду. Да, в конечном счете, может быть, я и вправе был надеяться на ее поддержку, но сейчас она явно находилась в полном смятении. Достаточно сказать, что она снова начала от меня прятаться, и целых две недели я напрасно ожидал ее по вечерам. Терпение мое истощилось, и я отдал садовнику приказ об отмене «цветочной подати».

VI

Но вот однажды под вечер, спустившись вниз с намерением пойти прогуляться по городу, я застал мисс Тину в sala — впервые с тех пор, как я сделался обитателем дома. Она не пыталась делать вид, будто мы встретились ненароком; ее угловатой, непритворной застенчивости были чужды подобные уловки. Мне не пришлось гадать, не меня ли она дожидается,— она сама сказала мне об этом, прибавив, что мисс Бордеро желает меня видеть и, если я никуда не спешу, она незамедлительно проводит меня к ней. Даже торопись я на любовное свидание, я бы не задумался пренебречь им ради такого случая, и я сразу же ответил, что буду счастлив засвидетельствовать почтение своей благодетельнице. «Она хочет поговорить с вами — узнать вас получше»,— сказала мисс Тина с улыбкой, означавшей, что такое желание кажется ей вполне разумным, и мы вместе направились к апартаментам мисс Бордеро. У самых дверей, однако, я остановил свою провожатую жестом и, устремив на нее испытующий взгляд, сказал, что я крайне обрадован и польщен столь крутым поворотом в поведении ее тетушки, но хотел бы узнать, чем этот поворот вызван. Ведь совсем еще недавно меня и близко подпускать не хотели. Мисс Тину мой вопрос не смутил; у нее на все был готов неожиданный ответ, такой простой, ясный и всегда подходящий к случаю, что казалось, она только что его придумала; но самое удивительное заключалось в том, что она говорила чистую правду.

— Ах, тетушка переменчива,— сказала она.— У нас такая скука, ей, верно, надоело.

— Но вы мне говорили, она все больше и больше предпочитает оставаться одна.

Бедная мисс Тина покраснела, словно не одобряя моей настойчивости.

---

[1] Боже правый *(итал.)*.

— Я вам сказала, что тетушка хочет видеть вас, а там уж воля ваша — верить или не верить! Наверно, у всех очень старых людей бывают свои капризы.

— Вы совершенно правы. Мне только хотелось бы выяснить одно: говорили ли вы ей о том, что узнали от меня в тот вечер в саду?

— А что я узнала?

— Про Джеффри Асперна — что я собираю материалы о нем.

— Если бы я сказала ей, разве она послала бы за вами?

— Не знаю. Если ей желательно сохранить его для себя одной, она могла послать за мной, чтобы сказать мне это.

— Не будет она вовсе о нем говорить,— сказала мисс Тина. И уже взявшись за ручку двери, добавила вполголоса:— Я ей ничего не сказала.

Старуха сидела на том же месте, где я ее видел в прошлый раз, в той же позе, с тем же охранительным, полным таинственности козырьком над глазами. Вместо приветствия она повернула ко мне свое полускрытое лицо в знак того, что хоть и молчит, но видит меня отлично. Я не сделал попытки поздороваться с нею за руку, успев уже усвоить себе, что это исключено раз и навсегда. Особа мисс Бордеро была священна и неприкосновенна, и никаким пошлым новшествам не могло быть места в обращении с нею. Зеленый козырек придавал ее облику нечто зловещее; оттого, должно быть, я вдруг перестал сомневаться, что она меня подозревает,— хоть не следует понимать это так, будто я усомнился в правдивости слов мисс Тины. Нет, мисс Тина меня не предавала, но старухе пришел на помощь ее деятельный инстинкт; в долгие, ничем не занятые часы она примерялась ко мне, выворачивала меня на все стороны и наконец разгадала. Хуже всего было то, что такая старуха в критическую минуту не задумалась бы, подобно Сарданапалу, предать свое сокровище огню.

Мисс Тина пододвинула мне кресло со словами: «Вот тут вам будет удобно». Я сел и осведомился о здоровье мисс Бордеро, выразив надежду, что жаркая погода ей не вредит. Она отвечала, что чувствует себя недурно — да, недурно; живет — и то уже хорошо.

— Это смотря по тому, с чем сравнивать,— улыбнулся я в ответ.

— А я не сравниваю — ничего и ни с чем не сравниваю. Иначе для меня бы давно уже все перестало существовать.

Я пожелал усмотреть в этом тонкий намек на блаженство, испытанное ею некогда от дружбы с Джеффри Асперном, хоть это плохо вязалось с решимостью, которую я ей приписывал, хранить память о нем глубоко в своей душе. Зато отлично вязалось с моим представлением об Асперне как о человеке, наделенном необычайным даром светского общения, и лишний раз доказывало, что никакой другой предмет не может быть сочтен достойным разговора, если собираются говорить о нем. Но никто о нем говорить не собирался! Мисс Тина присела около тетушки с таким видом, будто ожидала, и не без оснований, много интересного от нашей беседы.

— Я хотела поблагодарить вас,— сказала старуха,— за прекрасные цветы, которые вы нам посылали. Мне бы давно следовало это сделать. Но я теперь очень редко кого-нибудь принимаю, а писем не пишу вовсе.

Она не благодарила меня, покуда каждый день исправно получала букеты, но стоило ей испугаться, что букетов больше не будет, и она в нарушение всех своих правил сама послала за мной. Я мысленно отметил это; я вспомнил, с какой алчностью она стремилась вытянуть из меня золото, и я порадовался, что так удачно обернулось мое решение прекратить посылку цветов. Она привыкла к этой дани и готова

была пойти на уступки ради ее возобновления. Я не мог не сделать отсюда практического вывода.

— В последнее время я, к сожалению, был не так аккуратен, но завтра же вы снова получите очередной букет — или даже сегодня вечером.

— Ах, лучше сегодня! — воскликнула мисс Тина, словно речь шла о чем-то, не терпящем отлагательств.

— Вам их все равно некуда девать,— заметила старуха.— Не будете же вы свои комнаты превращать в оранжерею — мужчинам это не пристало.

— Превращать свои комнаты в оранжерею я не собираюсь, но я очень люблю ухаживать за цветами, следить, как они распускаются. Ничего недостойного мужчины в этом занятии нет; оно часто служило утехой философам, государственным деятелям в отставке, даже великим полководцам.

— Правда, вы бы могли продавать лишние цветы,— заметила мисс Бордеро.— Много, пожалуй, за них не выручишь, но ведь можно и поторговаться.

— О, я никогда не торгуюсь, как вы, верно, заметили сами. Мой садовник поступает по своему усмотрению, а как, я о том не спрашиваю.

— И напрасно, я бы непременно спросила! — сказала мисс Бордеро; и тут я впервые услышал ее смешок: странным он был для слуха — словно призрак голоса прежней Джулианы вывел вдруг озорное коленце. Мне снова сделалось не по себе: неужели только мысль о деньгах еще способна оживить ту, что некогда была вдохновительницей божественной поэзии Асперна?

— Приходите почаще в сад, приходите хоть каждый день и сами рвите любые цветы, какие понравятся. Они все предназначены для вас,— продолжал я, обращаясь к мисс Тине и маскируя правду, заключенную в этих словах, тоном невинной шутки.— Почему ваша племянница совсем не бывает в саду? — прибавил я, чтоб вернуть внимание старухи.

— А вы заставьте ее бывать: заходите за ней, идучи туда,— услышал я ошеломляющий ответ.— Это ваше нелепое сооружение в дальнем углу — отличное для нее место.

Мне показался обидным такой отзыв о беседке, воздвигнутой по моему замыслу,— тенистом приюте, которым я особенно гордился; впрочем, я уже при первой нашей встрече уловил эти дерзкие нотки, проскальзывавшие порой в речи мисс Бордеро,— слабый отголосок задорно-лукавого тона времен ее бурной молодости, каким-то образом оказавшегося более живучим, нежели чувства и привычки. Но я не подал виду и продолжал, обращаясь уже к ней:

— Быть может, вы и сами решились бы когда-нибудь спуститься в сад? Вам, наверно, пошло бы на пользу посидеть там в тени, подышать свежим воздухом.

— Дорогой сэр, если уж я покину эти комнаты, то не для того, чтобы дышать свежим воздухом, да и не думаю, чтобы он был так уж свеж там, куда я отправлюсь! Что же до тени, то ее там будет предостаточно. Но до этого пока далеко,— добавила мисс Бордеро с хитрецой, словно чтобы погасить надежды, которые могла пробудить во мне столь вольно изображенная картина ее последнего земного убежища.— Немало часов я провела в этом саду, немало повидала на своем веку тенистых беседок. И без всякого страха жду, когда господь призовет меня к себе.

Если мисс Тина и в самом деле приготовилась к изысканной беседе, должно быть, тетушка несколько разочаровала ее — тем более

что приглашен я был, казалось, с лучшими намерениями. Словно желая придать разговору оборот, который в более благоприятном свете представил бы нашу старшую собеседницу, она сказала мне:

— Я ведь вам говорила — это по настоянию тетушки я тогда вышла в сад. Теперь вы и сами видите, что она ничем не стесняет мою свободу!

— Так вы жалеете ее или учите жалеть самое себя? — вмешалась мисс Бордеро, прежде чем я успел ответить.— А ведь ей живется куда легче, чем мне жилось в ее годы.

— Вспомните, что у меня были все основания считать вас бесчеловечной,— сказал я.

— Бесчеловечной? Так сотню лет назад поэты называли женщин. Но вы не пытайтесь им подражать, где уж вам! Теперь поэзии больше нет — по крайней мере, насколько я знаю. Но довольно этих пустых разговоров,— прервала она себя, и я хорошо помню, как по старомодному деланно зазвучали ее слова: — С вами я все только болтаю, болтаю, болтаю! А мне это вовсе не полезно.— Я встал и сказал, что больше не смею отнимать у нее время; но она остановила меня вопросом:

— Вы не забыли, что, беседуя со мной в первый раз, предложили нам пользоваться вашей гондолой? — Я поспешил подтвердить это, дивясь в то же время настойчивости, с которой она стремится выжать все что можно из моего пребывания в доме, и гадая, куда она теперь гнет; а она между тем продолжала: — Вот и пригласили бы девицу покататься, показали бы ей город.

— Что это вам вздумалось, милая тетушка! — жалобно воскликнула «девица».— Я отлично знаю город.

— В таком случае ты сможешь давать пояснения ему,— сказала мисс Бордеро, и в ее неиссякаемой способности на все находить ответ мне почудилось что-то беспощадное. Прожженный старый циник, которого ничем не тронешь и ничем не смутишь,— вот чем она показалась мне в эту минуту.

— Мы с тобой понаслышаны о том, сколько нового появилось кругом за последнее время. Все это любопытно бы посмотреть, и в твои годы — не то чтобы столь уже юные — нужно ловить случай, когда он представляется. Ты достаточно взрослая, мой друг, и можешь не бояться этого джентльмена. Полюбуетесь вместе прославленными венецианскими закатами — бывают еще такие закаты в Венеции? Для меня солнце закатилось уже давно. Но для меня — это еще не значит для всех. А я прекрасно обойдусь без тебя. Это только твое воображение, будто ты так нужна мне. Свозите ее на Пьяццу; красивое было когда-то место,— продолжала мисс Бордеро, обращаясь уже ко мне.— Как там забавный старый собор — надеюсь, не обрушился? Прогуляйтесь с ней вдоль магазинов, пусть возьмет с собой денег, зайдет и купит, если что понравится.

Бедная мисс Тина тоже поднялась и теперь стояла перед теткой, жалкая и растерянная; всякому, кто взглянул бы на эту сцену со стороны, было бы ясно, что почтенная старая дама потешается над нами обоими в полное свое удовольствие. Мисс Тина забормотала было какие-то невнятные возражения, но я поторопился сказать, что, пожелай она оказать мне честь проехаться со мной в гондоле, я приложу все старания, чтобы она не соскучилась. А если ее не прельщает мое общество, гондола с гондольером все равно к ее услугам; малый отлично знает свое дело, и на него вполне можно положиться. Мисс Тина не говорила ни «да», ни «нет», только отвернувшись смотрела в окно, словно вот-вот расплачется; но я не отступался: мол, с одобрения мисс Бордеро, уговориться будет нетрудно. В один из ближайших дней выберем удобный для нее час и отправимся. Прежде чем откла-

няться, я спросил у Джулианы, смею ли я рассчитывать, что мне будет позволено как-нибудь еще навестить ее.

Она немного помедлила с ответом:

— А это такое большое удовольствие для вас?

— Большее, чем я бы мог выразить словами.

— Отдаю должное вашей учтивости. Но знаете ли вы, что это едва ли не смертельно для меня?

— Трудно поверить, видя вас сегодня куда более оживленной, куда более блестящей собеседницей, нежели при первом нашем знакомстве.

— В самом деле, тетушка,— сказала мисс Тина.— Мне кажется, вам это на пользу.

— До чего же трогательно каждый из нас печется о благе прочих,— усмехнулась мисс Бордеро.— Так, по-вашему, я сегодня блестящая собеседница? Да вы просто сами не понимаете, что говорите; должно быть, вам никогда не приходилось бывать в приятном женском обществе. Что вообще вы, нынешние, знаете о хорошем обществе? — воскликнула она и, не дав мне возразить, продолжала: — Не усердствуйте в комплиментах, я ими сыта по горло. А если захотите прийти — что ж, моя дверь на запоре, но можно и постучаться иногда.

Она кивнула мне в знак прощания, и я вышел из комнаты. Позади щелкнул дверной замок, но мисс Тина, вопреки моим ожиданиям, осталась с тетушкой. Я медленно прошел вдоль sala, у самой лестницы помешкал еще. На этот раз надежда моя оправдалась: минуту спустя я увидел знакомую фигуру.

— Превосходная мысль — о прогулке на Пьяццу,— сказал я.— Когда вам угодно будет поехать — сегодня, завтра?

Как упомянуто выше, она была смущена, но я уже замечал — и теперь снова мог в этом убедиться,— что мисс Тина, в отличие от большинства женщин, никогда не пыталась скрывать свое замешательство, убегать, прятаться; напротив, она подходила ближе, словно бы ища сочувствия и защиты. С нею всегда казалось, будто она просит в чем-то помочь ей, что-то объяснить, а между тем трудно было представить себе женщину, более далекую от актерства. К человеку, который был с ней добр, она тотчас же проникалась неограниченным доверием, не робела больше, и ей казалась естественной близость с таким человеком — в том невинном смысле, как она это понимала.

— Сама не знаю,— сказала она мне,— что это вдруг нашло на тетушку, отчего она в одночасье так переменилась, видно, что-то задумала.

Я посоветовал ей доискаться, что именно тетушка задумала, и сообщить мне; мы с ней будем есть мороженое у Флориана, и там под звуки оркестра она мне и отрапортует.

— О, не надейтесь получить такой «рапорт» в скором времени,— сказала она сокрушенно и прибавила, что ни сегодня, ни завтра этого, во всяком случае, ждать не следует. Но я уже успокоился, решив, что теперь нужно только запастись терпением; и в самом деле, недели не прошло, как в один прекрасный вечер мисс Тина уселась в мою гондолу, для какового торжественного случая я приканял еще одного гребца.

Спустя несколько минут мы выехали на Canale Grande [1], и мисс Тина ахнула с таким неподдельным восхищением, словно была путешественницей, только что прибывшей в Венецию. Она успела забыть, как великолепен этот водный путь и какое чувство вольности и покоя нисходит на душу, когда скользишь между мраморными дворцами и отражениями огней в воде. Скользили мы долго, и, хотя моя спутница

[1] Большой канал *(итал.)*.

молчала, я угадывал всю полноту испытываемого ею блаженства. Она не просто радовалась, она ликовала; с нее словно спали оковы. Гондола подвигалась вперед неторопливо, и она могла вволю насладиться этим движением, вслушиваясь в мерный плеск весел; но вот звук стал более громким и будто напевно-текучим — мы свернули в один узкий боковой канал, потом в другой; Венеция словно раскрывала нам свои тайны. На мой вопрос, давно ли она отвыкла от подобных прогулок, мисс Тина отвечала: «Ах, не знаю; очень давно — с тех пор как тетушка стала недомогать». И я не первый уже раз почувствовал, что прожитые годы как бы сливаются для нее в тумане и стерлась черта, отделявшая их от расцвета юности мисс Бордеро. Нам следовало вернуться не слишком поздно, однако мы сделали еще порядочный giro [1], прежде чем высадиться на Пьяцце. Я ни о чем не расспрашивал, намеренно не затевал разговора о ее жизни дома, о том, что мне больше всего хотелось узнать; вместо этого я то подробнейшим образом рассказывал ей обо всем, попадавшемся нам на пути, то пускался в описания Рима и Флоренции или в общие рассуждения о пользе и прелести путешествий. Она слушала со вниманием, откинувшись на мягкие кожаные подушки, покорно следовала взглядом туда, куда я указывал,— и лишь позднее я узнал, что о Флоренции она больше могла бы порассказать мне, чем я ей, так как несколько лет прожила там вместе с теткою. Наконец, она спросила — по-детски нетерпеливо и в то же время застенчиво:

— А когда же Пьяцца? Мне так хочется посмотреть Пьяццу!

Я тотчас же отдал распоряжение больше никуда не сворачивать, и мы замолчали, ожидая, когда гондола прибудет к цели. Спустя короткое время, однако, мисс Тина сама прервала молчание:

— Я, кажется, знаю, что с тетушкой: она боится, как бы вы не уехали.

У меня захватило дыхание:

— С чего это вдруг?

— Ей кажется, вы скучаете. Оттого-то она и переменилась к вам.

— Что же, она решила меня развлекать?

— Она не хочет, чтобы вы уезжали. Она хочет, чтобы вы оставались у нас.

— Другими словами, чтобы я продолжал платить за квартиру,— откровенно предположил я.

Мисс Тину трудно было удивить откровенностью.

— Да, вы правы: чтобы мне больше осталось.

— Сколько же именно она хочет вам оставить? — спросил я развеселившись.— Пусть бы она назвала сумму, и я соответственно рассчитал бы сроки своего пребывания.

— О, как можно! — воскликнула мисс Тина.— Вовсе я не хочу, чтобы вы себя подобным образом связывали.

— А если мне по собственным надобностям желательно задержаться здесь подольше?

— Тогда лучше поищите себе другую квартиру.

— А что на это скажет ваша тетушка?

— Ей это не понравится. По-моему, самое правильное будет, если вы откажетесь от этих своих надобностей и совсем уедете из Венеции.

— Дорогая мисс Тина,— сказал я.— Не так-то просто мне от них отказаться!

На это она ничего не ответила, но минуту спустя снова завела разговор:

— Я, кажется, знаю, какие такие у вас надобности.

---

[1] Круг *(итал.)*.

— Ничего мудреного — ведь тогда в саду я почти напрямик сказал вам, что хотел бы заручиться вашей помощью.

— Помочь вам — значило бы совершить вероломство по отношению к тетушке.

— Отчего же вероломство?

— Оттого, что она никогда не согласится на то, что вам нужно. Ее уже просили, ей уже писали об этом. Она и слышать не хочет.

— Значит, у нее есть что-то ценное! — так и подскочил я.

— Все у нее есть! — устало вздохнула мисс Тина, внезапно опечалившись.

От этих слов каждая жилка во мне взыграла — ведь они были бесценным свидетельством. Я был слишком взволнован, чтобы говорить, да и гондола уже приближалась к Пьяццетте. Сойдя на берег, я спросил у своей спутницы, что она предпочитает — пройтись вокруг площади или посидеть за столиком перед знаменитым кафе; она предоставила выбор мне, напомнив только, что у нас не так много времени. Я, однако, заверил ее, что времени с лихвой хватит и на то и на другое, и мы тронулись в длинный кружной путь под аркадами. От зрелища ярких магазинных витрин мисс Тина снова повеселела; она то и дело замедляла шаг или останавливалась, хвалила одни выставленные товары, неодобрительно отзывалась о других, спрашивала мое мнение, рассуждала о ценах. Я слушал ее рассеянно, давешние слова: «Все у нее есть!» — не шли у меня из головы. Но вот, наконец, мы подошли к кафе Флориана и, с трудом отыскав место за одним из столиков, расставленных прямо на площади, уселись. Вечер был дивный, весь город, казалось, высыпал наружу; сами стихии благоприятствовали возвращению мисс Тины в жизнь. Я видел, как глубоко она затронута, хоть и не говорит об этом; как нелегко ей справляться с обилием впечатлений. Она успела уже позабыть живую прелесть мира, и только сейчас ей открылось, как безжалостно обескровлены были ее лучшие годы. Это не вызвало в ней гнева, но легкая краска недоумения, смешанного с обидой, разлилась по ее лицу, с которого еще не сошла восхищенная улыбка. Она молчала, должно быть раздумывая о тех радостях жизни, что так легко ей могли достаться в удел, а были теперь бесповоротно утрачены; воспользовавшись паузой, я сказал:

— Верно ли я понял, что ваша тетушка, желая удержать меня в доме, решила время от времени допускать меня к себе?

— Она думает: изредка навещать ее будет для вас развлечением. Она готова пойти на эту уступку, лишь бы вы не уехали.

— А почему, собственно, она уверена, что ее общество представляет такой соблазн для меня?

— Не знаю; наверно, вам интересно,— простодушно отвечала мисс Тина.— Вы сами так говорили.

— Точно, говорил, но вряд ли многие так считают.

— Я тоже думаю, иначе многие бы этого добивались.

— Но если ее хватило на такое соображение,— продолжал я,— то могло бы хватить и на другое: что сколь она ни интересна для меня сама по себе, должны быть какие-то особые причины, препятствующие мне поступить, как поступают другие — попросту махнуть на нее рукой.— Растерянный вид мисс Тины показывал, что она не уловила смысл этой довольно сложной фразы; поэтому я добавил: — Если вы не пересказали ей того, о чем я вам говорил в саду, может быть, она сама догадалась?

— Не знаю, она вообще очень подозрительна.

— Не людское ли нескромное любопытство тому виной, не пытался ли кто-нибудь преследовать ее расспросами?

— Нет-нет, не в том дело,— сказала мисс Тина, с тревогой по-

смотрев на меня.— Сама не знаю, как объяснить; было одно происшествие в ее жизни, давным-давно — еще до того, как я родилась на свет.

— Происшествие? Что же это за происшествие такое? — спросил я так, будто мне и в голову не могло прийти, о чем речь.

— Тетушка мне никогда о нем не рассказывала.— И я не сомневался, что она говорит правду.

Ее крайняя искренность обезоруживала меня; я бы предпочел в данных обстоятельствах иметь дело с человеком менее чистосердечным.

— Не думаете ли вы, что тут есть какая-то связь с имеющимися у нее письмами Асперна?

— А ведь в самом деле! — воскликнула моя собеседница, словно даже обрадованная такой догадкой.— Правда, я ни одного из них не читала.

— Ни одного? Откуда же вы знаете, что в них содержится?

— Я и не знаю,— безмятежно отвечала мисс Тина.— Я ни разу не держала их в руках. Но видела, когда она их доставала из шкатулки.

— А часто она это делает?

— Теперь нет. А раньше часто. Она очень любила перебирать их.

— Хотя там, возможно, есть кое-что компрометирующее?

— Компрометирующее? — Мисс Тина повторила это слово так, будто не очень ясно представляла его значение Я почувствовал себя чуть ли не растлителем чистой души.

— Я хочу сказать — пробуждающее неприятные воспоминания.

— О, я уверена, что ничего неприятного там нет.

— Ничего, что порочило бы ее репутацию?

Совсем новое, особенное выражение появилось на лице племянницы мисс Бордеро — она словно бы признавала, что не в силах противостоять мне, и взывала к моей порядочности, к моему великодушию. Я привез ее на Пьяццу, заворожил множеством красот, выказал ей внимание, за которое она от души благодарна,— а теперь оказывается, все это было просто попыткой подкупить ее, заставить в чем-то пойти против тетки. Она по натуре податлива и готова все сделать для человека, который был так добр к ней; но я лучше докажу свою доброту, если не потребую слишком многого взамен. Впоследствии я не раз думал о том, что почему-то она нимало не рассердилась на меня за не чересчур уважительное отношение к репутации мисс Бордеро, хоть сам я счел бы, что это не по-джентльменски, не будь на карту поставлено нечто столь бесценное — для меня по крайней мере. Должно быть, она просто не поняла.

— Вы предполагаете, она сделала что-то дурное? — спросила она немного погодя.

— Упаси меня бог от таких предположений, да и не мое это дело. К тому же,— поспешил я любезно добавить,— если и было что-либо подобное, то ведь случилось оно в другую эпоху, в другом мире. Вот только почему она не уничтожила эти письма?

— Что вы, она так дорожит ими.

— Даже сейчас, зная, что ее жизнь идет к концу?

— Может быть, когда она почувствует, что конец уже близок, она уничтожит их.

— Послушайте, мисс Тина,— сказал я,— вот я бы и хотел, чтобы вы этому помешали.

— Как же я могу помешать?

— Не могли бы вы взять у нее эти письма?

— И отдать вам?

Эти обнажающие суть дела слова нетрудно было принять за издевку, но я уверен, что у мисс Тины и в мыслях не было ничего подобного.

— Хотя бы для того, чтобы я мог просмотреть их. Поймите, не мне лично они нужны, и я вовсе не хочу приобрести их ценою ущерба для кого-либо другого. Просто это было бы таким подарком читателям, таким неоценимым дополнением к биографии Джеффри Асперна!

Она, как всегда, слушала с таким видом, словно все мои разглагольствования касались предметов, совершенно ей прежде незнакомых; и я почувствовал себя ничем не лучше газетного репортера, норовящего пролезть в дом, где кто-то умер. Чувство это еще усилилось, когда она сказала:

— Один господин недавно писал к ней почти теми же словами. Он тоже хотел получить письма.

— И она ответила? — спросил я, слегка пристыженный мыслью, что Камнор действовал куда более честно.

— Только после второго или третьего обращения. Она очень рассердилась.

— Что же она ему написала?

— Она его назвала чертом,— не задумываясь, ответила мисс Тина.

— Прямо так и выразилась на бумаге?

— Не на бумаге, а в разговоре со мною. А ответ писала я по ее приказанию.

— И что же вы написали?

— Написала, что никаких писем у нее нет.

— Ах он, бедняга! — сочувственно вздохнул я.

— Я знаю, что есть, но написала так, как она велела.

— Разумеется, вы и не могли поступить иначе. Но я надеюсь, меня не назовут чертом.

— Смотря по тому, что вам от меня понадобится,— улыбнулась моя собеседница.

— Ох, если я от *вас* рискую услышать что-либо подобное, значит, дела мои плохи! Но я ведь не прошу вас красть ради меня, не прошу даже лгать — все равно это вы не умеете, разве только на бумаге. Мне важно лишь одно — чтобы вы не дали ей уничтожить письма.

— Но что я тут могу сделать? — возразила мисс Тина.— Ведь я ей повинуюсь, а не она мне.

— Зато собственные руки и ноги ей не повинуются. Единственный доступный ей способ уничтожить письма — это их сжечь. Но чтобы сжечь, нужен огонь, а как ей добыть огня, если вы не принесете?

— Я не смею ослушаться ее приказаний,— сетовала бедняжка.— И потом есть ведь еще Олимпия.

Я хотел было заметить, что Олимпию нетрудно подкупить, но счел за благо не произносить это слово и выразился более осторожно: дескать, с девчонкой можно справиться.

— Тетушка с кем угодно справится,— сказала мисс Тина. И вдруг заторопилась домой, уверяя, что отпущенный срок миновал. Но я удержал ее, накрыв своей рукой ее руку, лежавшую на столике.

— Обещайте хотя бы, что вы постараетесь мне помочь.

— Да как же я могу, как я могу это сделать? — твердила она, сбитая с толку и расстроенная. Ее и удивило и испугало, что ей отводят такую значительную роль в чьих-то замыслах, что от нее требуют действия.

— Вот главное: зорко следите за тетушкой и предупредите меня, прежде чем кощунственное преступление будет совершено.

— А как мне следить в те часы, когда я отлучаюсь из дому по ее же настоянию?

— Да, в самом деле.

— Кстати, и по вашему настоянию тоже.

— Силы небесные! Уж не затеяла ли она что-то именно сегодня?

— Не знаю. Она очень хитрая.

— Вы нарочно пугаете меня? — спросил я.

Вместо ответа моя собеседница промолвила тихо и словно бы даже с завистью:

— Она так дорожит ими, так дорожит!

Эта мысль, столь проникновенно высказанная вслух, подействовала на меня как целительный бальзам, и, желая глотнуть его побольше, я сказал:

— Если у нее нет намерения уничтожить перед смертью бумаги, о которых мы говорим, она, вероятно, распорядилась ими в своем завещании.

— Завещании?

— Разве она не сделала завещания в вашу пользу?

— Ей почти нечего завещать. Оттого-то она и гонится так за деньгами,— сказала мисс Тина.

— Коль скоро уж зашла о том речь позвольте мне спросить, на какие средства вы с ней живете?

— На деньги, которые приходят из Америки; какой-то господин в Нью-Йорке — должно быть стряпчий — посылает их нам каждые три месяца. Только это очень немного.

— Но должна же была она распорядиться этими деньгами на случай своей смерти?

Мисс Тина замялась — от меня не укрылось, что она покраснела.

— Кажется, они мои,— сказала она; и весь ее вид в эту минуту так ясно выдавал отсутствие у нее привычки думать о себе, что она показалась мне почти хорошенькой.— Но однажды, это было довольно давно, тетушка посылала за местным avvocato. И еще какие-то люди приходили тогда и подписывали что-то.

— Вероятно, это были свидетели. А вас не просили подписывать? Вот видите,— оживленно заговорил я в приливе надежды,— стало быть, вы наследница. Она завещала письма вам!

— Если она и сделала это, то с очень жесткими оговорками,— ответила мисс Тина, быстро встав из-за столика; и порывистость этого движения придала необычную энергию ее словам. Она как бы предупреждала меня, что наверняка завещательница потребовала, чтобы завещанное тщательно оберегалось от чужих любопытных глаз, и уж кто-кто, а она, мисс Тина, не отступит ни в чем от воли покойной, так что лучше мне на это и не рассчитывать.

— Разумеется, вам придется считаться со всеми ее условиями,— заметил я; и она ничем не попыталась смягчить суровость вывода, который я должен был из этого для себя сделать. Однако же позднее, когда мы, промолчав почти всю обратную дорогу, ступили на узкий тротуар перед домом, она неожиданно сказала: «Что я могу, я сделаю, чтобы помочь вам». Ну что ж, подумал я, спасибо и на том; но среди ночи я проснулся, и заснуть снова мне помешало тревожное чувство: ведь мисс Тина лишь подкрепила давно сложившееся у меня убеждение, что старуха коварна как бес.

VII

Мысль о том, не натворила ли уже она бед, побуждаемая этим своим природным свойством, несколько дней не давала мне покоя. Я ждал вестей от мисс Тины, которую считал чуть ли не обязанной

осведомлять меня обо всем, и в первую очередь о том, действительно ли мисс Бордеро возложила свои сокровища на жертвенный алтарь. Но мисс Тина молчала, а терпеть дольше не было сил, и тогда я решил самолично проверить свои опасения. В один прекрасный день, после сиесты, я послал слугу справиться, не позволено ли мне будет нанести дамам визит, и посланный вернулся с неожиданным ответом: нет ничего проще, так как мисс Бордеро находится в sala, куда по ее приказанию выкатили кресло и поставили у окна, выходящего в сад. Я поспешно спустился вниз и нашел, что все именно так и обстоит; старуха перебралась через порог, столь долго отделявший ее от внешнего мира, и, казалось, была готова вступить с этим миром в соприкосновение — о чем, в частности, говорили какие-то мелочи, чуть смягчавшие обычную суровость ее одежды. Правда, нашествия извне пока не произошло; она сидела совершенно одна, и даже мисс Тины нигде не было видно — ни в sala, ни в смежных покоях мисс Бордеро, куда двери были распахнуты настежь. Окно, у которого стояло кресло, в это время дня оставалось в тени, и в просвет между полураскрытыми ставнями она могла любоваться садом, где многое, впрочем, уже посохло от летнего солнца,— могла смотреть, как ярко-желтые полосы света перемежаются с вытянутыми тенями.

— Вы, верно, пришли сказать, что желаете оставить за собой комнаты еще на полгода? — спросила старуха, когда я подошел, и что-то вульгарное в ее неприкрытой алчности заставило меня внутренне содрогнуться, хоть я имел случай повидать образчик раньше. Здесь упоминалось уже, что стремление Джулианы извлечь выгоду из нашего знакомства, точно фальшивая нота, искажало сложившийся у меня образ женщины, которая вдохновила великого поэта на бессмертные строки; но должен оговориться: одно обстоятельство в значительной мере ее оправдывало — ведь кто, как не я сам, разжег это адское пламя, кто, как не я, навел ее на мысль о средстве наживы, имеющемся у нее в руках. До меня ей это и в голову не приходило; много лет она прожила в доме, на три четверти пустовавшем без всякой пользы; объяснить это можно лишь тем, что огромное помещение не стоило ей почти ничего и что сколь ни скудны были ее доходы, в Венеции они все же позволяли сводить концы с концами. Но вот явился я и преподал ей урок расчетливости да еще разыграл дорогостоящую комедию с садом — как тут было не соблазниться добычей, которая сама шла в руки. Подобно всем, кому на склоне лет доведется узреть свет новой истины, она сразу же стала фанатиком и мертвой хваткой вцепилась в возможность, о которой я только намекал.

У дальней стены стояло несколько стульев; не дожидаясь приглашения — старуху явно не заботило, буду я сидеть или стоять,— я взял один, перенес поближе и сел, после чего начал веселым тоном:

— О, сударыня, какое живое у вас воображение, какой полет мысли! Ведь я — всего лишь бедный литератор, зарабатывающий себе на жизнь каждодневным трудом. Где уж мне снимать дворцы на столь долгий срок. Существование мое не обеспечено. Полгода! Да будет ли у меня через полгода кусок хлеба? Я позволил себе непомерную роскошь, но это один раз. А на длительное время...

— Вы находите, что занимаемые вами комнаты стоят слишком дорого? — перебила Джулиана.— Ну что ж, можете прибавить к ним еще несколько за ту же плату. Мы сумеем договориться — combinare, как говорят итальянцы.

— Если на то пошло, сударыня, они действительно стоят

слишком дорого, неслыханно дорого,— сказал я.— Вы, видно, считаете меня богачом, а это вовсе не так.

Она словно глянула на меня из глубины пещеры.

— Но ведь вы же продаете написанные вами книги.

— Ведь люди же покупают их, хотите вы сказать. Да, покупают, но не так уж много — куда меньше, чем мне хотелось бы. Писание книг — самый неверный путь к богатству. Он годен разве только для гениев — и то не всегда! В наше время литературой состояния не наживешь.

— Может быть, вы неудачно выбираете сюжеты? О чем вы вообще пишете? — не желала сдаваться мисс Бордеро.

— О книгах, сочиненных другими. Я — критик, комментатор, отчасти историк.— Любопытно было, к чему она клонит.

— Кто же эти другие?

— О, те, до кого мне далеко,— великие умы прошлого: философы, писатели, поэты, которые давно лежат в могиле и не могут, бедняги, сами рассказать о себе.

— Что же вы о них пишете?

— Рассказываю, например, про то, каким умным женщинам дарили они порой свою привязанность! — шутливо ответил я. Это был риск, вроде бы достаточно хорошо обдуманный; однако когда я сам услышал свои слова, они показались мне неосторожными. Но сказанного не воротишь, да в конце концов я и не раскаивался: быть может, старуха все же пойдет на сделку. Вполне вероятно, что ей известен мой секрет; так стоит ли попусту тянуть время? Но она не захотела принять мою шутку как признание и только спросила:

— А так ли это похвально — ворошить прошлое?

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Без некоторых усилий до прошлого не докопаешься. Слишком уж оно бесцеремонно затоптано настоящим.

— О, я люблю прошлое, но не люблю критиков,— объявила хозяйка дома с обычной самоуверенностью.

— Я и сам их не люблю, но ценю их открытия.

— Да ведь это все больше выдумки.

— Точнее, им порой удается разоблачить выдумки,— сказал я, невольно улыбнувшись безмятежной дерзости моей собеседницы.— И довести правду до общего сведения.

— Один бог знает правду, людям не дано ее знать, и не их дело до нее доискиваться. Не нам судить о том, что правда, а что нет.

— Да, мы бродим в потемках,— согласился я,— но если отказаться от поисков света, что станется со всем, что есть в мире прекрасного, что будет с творениями тех, о ком я только что говорил,— великих философов и поэтов? Они обратятся в пустой звук, если мы не найдем для них должной мерки.

— Что за портновские речи,— капризно сказала мисс Бордеро и тут же поспешила переменить тон: — Не правда ли, это прекрасный дом? Он построен с удивительным чувством пропорций. Мне сегодня захотелось снова взглянуть на эту его часть, где я давно не бывала. Вот я и приказала вывезти меня сюда. Когда пришел человек с поручением от вас, я только что сама собиралась послать за вами, чтобы справиться, не желаете ли вы пожить здесь подольше. Но прежде мне хотелось полюбоваться тем, что я предоставляю в ваше распоряжение. Эта зала великолепна,— продолжала она голосом аукциониста; мне даже представилось, что при этом она повела вокруг скрытыми от меня глазами.— Едва ли вам часто приходилось живать в таких домах, а?

— Часто это было бы мне не по карману!

— Ну, а сколько вы согласны уплатить за полгода?

Я едва не воскликнул: «Джулиана, не надо — ради *него* не надо!» — и страдальческая гримаса на моем лице отвечала бы истинным моим чувствам. Но я овладел собой и спросил более сдержанно:

— А что мне тут делать так долго?

— Я думала, вам приятно тут жить,— сказала мисс Бордеро с высоты своего ссохшегося достоинства.

— Я и сам ожидал, что мне будет приятно.

На это она ничего не ответила, и я тоже молчал, предоставив ей толковать мои слова как угодно. Но при этом я был почти уверен: вот сейчас она довольно холодно скажет мне, что раз мои ожидания не оправдались, значит, больше и говорить не о чем,— а между тем я уже не сомневался, что так или иначе ей стали известны обстоятельства, зная которые не трудно бы отгадать причину моего разочарования. Однако, к большому своему удивлению, я вдруг услышал совсем другое:

— Если вам кажется, что вы недостаточно хорошо устроены у нас, может быть, мы найдем способ устроить вас лучше?

Я даже рассмеялся, до того это было ни с чем несообразно, и себе в оправдание заметил, что она разговаривает со мной, точно с маленьким мальчиком, который раскапризничался и теперь без поблажки его не унять. Мне решительно не на что жаловаться, продолжал я; разве не величайшей любезностью со стороны мисс Тины было провести со мной вечер на Пьяцце всего лишь несколько дней назад? «Сами вы напросились! — проворчала старуха. И тут же, совсем другим тоном: — Она — прекрасная девушка». Я поспешил согласиться, и она выразила надежду, что я говорю искренне, а не просто из желания быть галантным. Я все меньше и меньше понимал, к чему клонит мисс Бордеро; а она меж тем продолжала: «У нее нет никого на свете, кроме меня — покуда я еще жива». Уж не для того ли она хвалила свою племянницу и подчеркивала отсутствие у нее родни, что хотела представить ее завидной партией?

Я сказал старухе чистую правду: платить дальше столь баснословную сумму за комнаты мне было не по карману; я и так уже израсходовал на свое предприятие почти всю предназначенную для этого наличность. Терпения и времени у меня оставалось достаточно, но деньги я мог тратить впредь, лишь исходя из обычных венецианских цен. При всем моем интересе к незаурядной особе, с которой меня грозили поссорить денежные расчеты, я готов был платить ей в два раза больше того, что спросила бы с меня любая другая padrona di casa [1], но в двадцать раз больше я платить не собирался. Так я ей откровенно и сказал, и моя откровенность, видимо, подействовала, ибо в ответ я услышал:

— Вот и прекрасно: вы сделали то, о чем я вас просила,— назначили свою цену!

— Да, но за полгода я платить не буду. Только помесячно.

— В таком случае я должна еще подумать.— Она явно была раздосадована моим нежеланием связывать себя определенным сроком, и я чувствовал, что ей хочется и поманить меня, и пугнуть, что она бы охотно сказала: «Напрасно вы надеетесь управиться меньше чем за полгода. Напрасно надеетесь даже к концу этого срока оказаться намного ближе к цели». А больше всего я опасался, не норовит ли она обманом склонить меня к согласию, тогда как сокровище уже уничтожено. В какой-то миг моя тревога достигла такой остроты, что я чуть не спросил напрямик, и удержал меня лишь инстинктивный страх разоблачить себя до конца — а вдруг я все-таки ошибаюсь? С этой хитрой

---

[1] Домовладелица *(итал.)*.

старой ведьмой ничего нельзя знать наверняка. Решите сами, рассеялись ли мои сомнения, когда сразу же после слов о том, что ей нужно подумать, и без всякого видимого перехода она нетвердой рукой вытащила из кармана какой-то небольшой предмет, завернутый в мятую белую бумагу, и, подержав его на весу минуту или две, спросила: — Вы что-нибудь понимаете в редкостях?

— В редкостях?

— Ну да, в антикварных вещах, в старинных безделках, за которые теперь платят так дорого. Могли бы вы определить примерную цену такой вещи?

Я уже догадывался, что сейчас произойдет, но самым невинным тоном переспросил:

— А вы что-то хотите купить?

— Нет, я хочу продать. Сколько мне могут дать вот за это? — Она развернула бумагу и протянула мне небольшой овальный портрет. Я взял его, думая об одном: только бы мои пальцы не задрожали, выдавая силу, с которой они в него вцепились, а мисс Бордеро между тем добавила: — Задешево я с ним не расстанусь.

Я с первого взгляда узнал Джеффри Асперна и почувствовал, что краснею. Но старуха следила за мной, и у меня достало благоразумия воскликнуть:

— Какое удивительное лицо! Сделайте милость, скажите мне, кто это?

— Старый мой друг, человек, весьма известный при жизни. Он сам подарил мне этот портрет, но я не решаюсь назвать его имя — ведь может оказаться, что вам, хоть вы и критик и историк, оно неизвестно. Жизнь движется быстро, и новое поколение уже не помнит предшествующих. А в дни моей молодости это имя было у всех на устах.

Возможно, она втайне дивилась моему самообладанию, меня же ее выдержка просто потрясла; в ее годы, при ее здоровье, затеять со мной такую игру единственно для развлечения — найти в себе охоту и силу дразнить меня, испытывать и дурачить. Ибо лишь так я мог себе объяснить эту выходку с портретом, ни минуты не веря, что она и в самом деле хочет его продать или ждет от меня полезного совета. О нет, просто ей вздумалось помахать у меня перед носом этой приманкой, а потом назначить несусветную цену.

— Мне знакомо это лицо, но я никак не вспомню, кто это,— сказал я, поворачивая портрет и так и эдак и рассматривая его с видом знатока. Это был хоть и не шедевр, но образец тщательной работы, миниатюра размером чуть побольше обычной. На ней был изображен очень красивый молодой человек в зеленом сюртуке с высоким воротом и в темно-желтом жилете. Я чутьем угадывал большое сходство с оригиналом, которому в пору написания портрета было, должно быть, лет двадцать пять. До сих пор известны были всего три сохранившихся портрета Асперна, но ни на одном из них поэт не был изображен во всем блеске молодости.— Едва ли мне довелось знавать оригинал, который, судя по всему, принадлежал к прошедшей эпохе, но я видел другие изображения этого же лица,— продолжал я.— Вы усомнились, слыхало ли нынешнее поколение его имя, однако я почти убежден, что передо мной одна из знаменитостей своего времени. Но кто же именно? Попаду ли я в точку, если скажу, что это был человек пишущий? Да, несомненно, он поэт.— Я решил, что заставлю ее первой назвать вслух имя Джеффри Асперна.

Но я не принял во внимание твердость характера мисс Бордеро; мне так ни разу и не случилось увидеть, как эти морщинистые губы складываются для произнесения дорогих мне звуков. Мой вопрос она

попросту пропустила мимо ушей, а вместо ответа протянула руку за миниатюрой, и жест этой немощной, старческой руки был исполнен непреклонной властности.

— Только тот, кто без подсказки узнает оригинал, может дать настоящую цену,— сказала она довольно сухо.

— Стало быть, цена вами уже назначена? — Я все еще не отдавал портрета: не из мстительного желания в свою очередь подразнить ее, а просто потому, что не мог принудить свои пальцы разжаться. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга не шевелясь.

— Я определила для себя самую низкую цену, дешевле которой не продам, а от вас хотела услышать самую высокую, на какую можно рассчитывать.

Она вдруг вся подобралась, как будто страх, что ей могут не вернуть ее сокровище, придал ей силы и она сейчас встанет и выхватит его у меня. Видя это, я поторопился вложить портрет ей в руку со словами:

— Я бы и сам охотно купил, но боюсь, что любая ваша цена будет для меня недоступна.

Она положила миниатюру на колени лицом вниз и шумно перевела дух, будто долго несла тяжелую ношу или бежала со всех ног. Но это не помешало ей через минуту сказать:

— Вы купили бы портрет неизвестного человека, писанный безвестным художником?

— Художник, может быть, и безвестен, но работа его превосходна,— ответил я, чтобы объяснить выказанный интерес.

— Рада, что вы так считаете: этот художник — мой отец.

— В таком случае портрет ценен вдвойне,— весело ответил я, обрадованный, что таким образом подтвердилась моя версия о происхождении мисс Бордеро. Асперн наверняка познакомился с нею, когда приходил в мастерскую позировать ее отцу. Я предложил ей доверить мне миниатюру на одни сутки, до завтра, чтобы я мог посоветоваться со сведущими людьми и выяснить вопрос о цене; но она молча спрятала ее в карман. Это послужило мне лишним доказательством, что она и не собиралась расставаться со своим сокровищем при жизни; верно, только хотела узнать, что может выручить за него племянница, которой оно достанется в наследство.— Но я хотел бы надеяться, что вы не распорядитесь этой вещицей без моего ведома,— сказал я, так и не дождавшись ответа.— Прошу вас все же считать меня возможным покупателем.

— Деньги на стол — вот тогда и разговор будет! — неожиданно грубо отрезала она; потом словно спохватилась, что подобный тон может вовсе меня оттолкнуть, и круто переменила тему, спросив, о чем я беседую с ее племянницей во время наших вечерних прогулок.

— Можно подумать, мы так уж часто прогуливаемся по вечерам,— ответил я.— Мне, разумеется, было бы только приятно, если бы это вошло у нас в обыкновение. Но в таком случае я был бы еще менее склонен обмануть доверие, оказанное мне дамой.

— Доверие? Разве моя племянница умеет доверять людям?

— А вот и она — пусть сама ответит на этот вопрос,— сказал я, увидя мисс Тину, показавшуюся в дверях тетушкиных апартаментов.— Мисс Тина, умеете вы доверять людям? Вашей тетушке очень любопытно это знать.

— Ей во всяком случае доверять нельзя! — отозвалась та, грустно покачав головой, и было видно, что она не шутит и не притворяется.— Она у меня совсем от рук отбилась — найдет на нее стих, так она и думать забывает об осторожности. С ее-то силами странствовать по дому, переезжать из комнаты в комнату! — И она посмотрела на ту,

с кем столько лет тащилась в одном ярме, растерянно недоумевающим взглядом, хотя, казалось бы, привычки и давняя близость должны были приучить ее к любым причудам старухи.

— Я отлично знаю, что делаю. И не считай, что я выжила из ума, хотя тебе, наверно, приятно было бы так думать,— с циничесkой бесцеремонностью сказала мисс Бордеро.

— Но ведь вы не сами собой очутились здесь. Мисс Тина, должно быть, и помогала вам,— вступился я в качестве миротворца.

— Ей непременно захотелось, чтобы мы выкатили сюда ее кресло, а уж если ей чего захочется...— укоризненно, как и прежде, возразила мисс Тина, словно намекая, что тетушка и не того еще может от нее потребовать.

— Я, слава богу, почти всегда получала то, чего хотела! Люди, среди которых я жила, охотно ублажали меня,— отвечала старуха, будто что-то затеплилось вдруг среди пепла ее былого тщеславия.

Я живо подхватил:

— Повиновались вам, хотите вы сказать?

— Не все ли равно — если это из любви.

— Вот я вас люблю, оттого и пытаюсь противиться,— с нервным смешком сказала мисс Тина.

— Надеюсь, следующий раз вы из любви к тетушке привезете ее ко мне в гости,— сказал я с улыбкой, но старуха возразила:

— Зачем же, я и отсюда отлично могу наблюдать за вами.

— Довольно вам утомлять себя, ведь разболеетесь к вечеру! — взмолилась мисс Тина.

— Вздор, моя милая; я давно уже себя так хорошо не чувствовала. Завтра ты меня снова привезешь сюда. Я хочу находиться там, где мне удобно беседовать с этим остроумным господином.

— Но разве в вашей гостиной будет не так же удобно? — рискнул я заметить.

— Вам, пожалуй, даже удобнее было бы,— отозвалась она, нацелив на меня свой зеленый козырек.

— Мне везде одинаково неудобно! Я смотрю на вас, но ведь я вас не вижу.

— Зачем вы ее так будоражите, ведь ей это вредно,— сказала мне мисс Тина с упреком.

— А я хочу понаблюдать за вами — я хочу понаблюдать за вами! — не унималась мисс Бордеро.

— Что ж, надо нам больше времени проводить вместе, а где — это, в конце концов, безразлично. Тогда вам легко будет осуществить ваше желание.

— Ну, на сегодня, пожалуй, довольно. Я уже сыта вашим обществом. Теперь я хочу домой,— сказала Джулиана. Мисс Тина положила руки на спинку кресла и приготовилась его толкать, но я попросил, чтобы она уступила мне свое место.— Что ж, везите, коль есть охота, но только туда, куда угодно мне! — сказала старуха, чувствуя, как плавно и легко покатилось кресло по гладким, отполированным плитам. Немного не доехав до своих дверей, она велела остановиться и долгим прощальным взглядом обвела величественную sala.— Какой прекрасный дом! — проговорила она вполголоса, и я покатил кресло дальше. Когда мы очутились в гостиной, мисс Тина знаками дала мне понять, что моя помощь больше не требуется, и тотчас же навстречу своей госпоже выбежала откуда-то рыженькая donna[1]. Мисс Тина, как видно, хотела поскорей уложить тетушку в постель. Но я, каюсь, не спешил уходить, хоть и понимал неделикат-

[1] Служанка *(итал.)*.

ность своего поведения; слишком уж волновало меня сознание, что вожделенная добыча где-то совсем близко — быть может, именно в этой тусклой, неуютной комнате. Правда, ничто в ее скудном убранстве не наводило на мысль о скрытых сокровищах; здесь не было ни потайных уголков, ни стенных ниш, завешенных тяжелыми драпировками, ни ларцов или сундуков, окованных железом. К тому же скорей можно было предположить, что старуха хранит свои реликвии в спальне, в потрепанном бауле, задвинутом под кровать, или в ящике колченогого туалетного столика, куда едва достает слабый свет ночника. И все-таки я ощупывал взглядом всю мебель, все стоявшие или висевшие предметы, где можно было бы что-то спрятать, всего пытливей присматриваясь к тем, в которых имелись ящики; особенное мое внимание привлек высокий старый секретер с бронзовыми украшениями в стиле ампир — шаткое, но вполне подходящее вместилище для тайных кладов. Сам не знаю почему, я так пристально на него смотрел; право же, у меня не было никакого намерения его взламывать; но в конце концов мисс Тина заметила мой взгляд — и по тому, как она переменилась в лице, я понял, что не ошибся. Где бы ни хранились ранее письма Асперна, сейчас они лежали там, в секретере, под защитой вделанного в него затейливого замочка. Нелегко мне было отвести глаза от пожухлой дверцы, зная, что одна только эта доска красного дерева отделяет меня от предмета моих мечтаний; но я собрал все свое поколебленное благоразумие и заставил себя распрощаться с хозяйкой дома. Чтобы прощание вышло более учтивым, я сказал мисс Бордеро, что непременно узнаю мнение знатоков о возможной цене овальной миниатюры.

— Овальной миниатюры? — изумленно переспросила мисс Тина.

— Тебя это не касается, моя милая,— отрезала старуха.— А вы, сударь, не трудитесь. Я уже назначила цену и от нее не отступлюсь.

— Какова же она, позвольте узнать?

— Тысяча фунтов.

— Боже милостивый! — не удержалась бедная мисс Тина.

— Не об этом ли вы беседуете по вечерам? — спросила мисс Бордеро.

— Подумать только, вашей тетушке любопытно, о чем мы беседуем,— сказал я и на том расстался с мисс Тиной, хоть мне нестерпимо хотелось добавить: «Ради всего святого выйдите вечером в сад».

VIII

События показали, однако, что моя осторожность была излишней: и трех часов не прошло, как в распахнутых дверях комнаты, которая мне служила столовой и где я в это время доедал свой скромный обед, без всякого предупреждения появилась мисс Тина. Хорошо помню, что я ничуть не удивился при виде ее — и отнюдь не потому, что считал чем-то напускным ее обычную робость. Нет, просто я всегда знал, что как она ни робка от природы, это не помешает ей в критическую минуту найти в себе мужество прибежать сюда, наверх. А что такая критическая минута наступила, нетрудно было понять по тому, как отчаянно она ко мне бросилась, когда я встал ей навстречу, и как судорожно вцепилась в мой рукав.

— Тетушке очень плохо, мне кажется, она умирает.

— Этого быть не может,— ответил я с мрачноватой усмешкой.— Она еще нас с вами переживет.

— Умоляю вас, сходите за доктором, умоляю вас! Я послала

Олимпию к тому, который всегда пользует тетушку, но ее все нет и нет; не знаю, где она запропала. Я ей наказывала: если не застанешь доктора дома, узнай, куда он отправился, и разыщи его; вот она, видно, и бегает за ним по всей Венеции. Не знаю, что делать,— тетушке с каждой минутой хуже.

— Позвольте мне взглянуть, чтобы я мог судить о ее состоянии,— предложил я.— Можете не сомневаться в моей готовности помочь, но не будет ли разумнее, если за врачом мы отправим моего человека, а сам я останусь с вами?

Мисс Тина согласилась, и я, кликнув слугу, велел ему сыскать лучшего врача в округе и немедля привести сюда. Сам же я поспешил за мисс Тиной вниз. По дороге она рассказала мне, что вскоре после моего ухода у мисс Бордеро сделался сильнейший приступ удушья — «стеснения в груди», как она выразилась. Потом ее немного отпустило, но она до того ослабела, что никак не придет в себя; посмотреть на нее, так она вот-вот кончится, если уже не кончилась. Я снова сказал, что этого не может быть, что ей еще далеко до конца; и тут мисс Тина, искоса глянув на меня так пронзительно, как ей еще никогда не случалось глядеть, вымолвила: «Вы что же этим хотите сказать? Уж не в притворстве ли обвиняете тетушку?» Не помню, что я ей отвечал, но готов признать: в глубине души я искренне считал старуху способной на любую каверзу. Мисс Тина стала допытываться, что произошло между нами; тетушка сама сказала, что я ее очень рассердил. Я ответил, что ни в чем не повинен — напротив, был в высшей степени деликатен и осмотрителен; но моя спутница снова сослалась на слова тетушки, будто у нас вышла бурная сцена, которая ее сильно взволновала. Ну уж если на то пошло, возразил я, задетый за живое, так это не я, а она устроила сцену, и чем я ее рассердил, ума не приложу, разве что своим отказом заплатить тысячу фунтов за портрет Джеффри Асперна. «Так она вам показывала портрет? О, боже правый, о, я несчастная!» — простонала мисс Тина; бедняжка, видно, почувствовала, что уже не в силах что-либо изменить и что собственная ее судьба теперь целиком зависит от разгулявшихся стихий. Я добавил, что охотно отдал бы за этот портрет все, что у меня есть, но тысячи фунтов у меня нет; на том, однако, разговор окончился, так как мы подошли к дверям мисс Бордеро. Мне до смерти хотелось войти, но я почел своим долгом заметить мисс Тине, что коль скоро я вызвал у больной столь бурное раздражение, мне, быть может, не следует показываться ей на глаза. «Показываться ей на глаза? А вы думаете, она увидит вас?» — воскликнула моя спутница чуть ли не с негодованием. Я и в самом деле так думал, но поостерегся сказать об этом вслух и молча последовал за мисс Тиной в комнаты.

Помню, постояв минуту-другую у кровати, на которой лежала старуха, я спросил у ее племянницы: «Неужели она и от вас всегда прячет свои глаза? Неужели вы так никогда и не видели их?» Мисс Бордеро была на сей раз без зеленого козырька, но из этого не следует, что мне посчастливилось лицезреть Джулиану в ночном чепце: верхнюю часть ее лица скрывал кусок грязноватого тюля или кружева, накинутый на голову наподобие капюшона, который доходил спереди до кончика носа, оставляя открытыми только бледные морщинистые щеки да сборчатые, плотно, словно бы намеренным усилием, сжатые губы. Мисс Тина глянула на меня с недоумением, явно не понимая, чем вызвана моя досада.

— Вы о том, что она всегда чем-нибудь прикрывает глаза? Просто она бережет их.

— Боится за их красоту?

— Какая уж красота теперь! — Мисс Тина покачала головой и еще понизила голос: — Но когда-то они в самом деле были прекрасны.

— Как же — мы имеем свидетельство Асперна на этот счет.— Я еще раз посмотрел на закутанное лицо старухи, и мне пришло в голову, что, быть может, она права, не желая, чтобы кто-либо имел повод обвинить знаменитого поэта в преувеличении. Но тут же я решил больше не тратить времени на мысли о Джулиане — она едва дышала, и уже не во власти человеческой было помочь ей. Я отвел глаза и снова стал обшаривать ими комнату, не пропуская ни одного шкафа, комода или стола с ящиками. Мисс Тина перехватила мой взгляд и, наверно, разгадала его значение; но откликнуться не захотела и отвернулась движением, полным тревоги и гнева. Почувствовав ее безмолвный упрек, я на миг устыдился своего нетерпения, столь непристойного в присутствии умирающей, но тут же вновь вернулся к прерванному занятию, стараясь мысленно наметить вместилище, с которого следовало бы начать свои поиски человеку, вздумавшему наложить руку на реликвии мисс Бордеро, как только она испустит последний вздох. Беспорядок царил кругом ужасающий; комната напоминала уборную престарелой актрисы. На спинках кресел висели платья, там и сям валялись потрепанные свертки непонятного вида, во всех углах громоздились груды коробок и картонок, набитых невесть чем, помятых, выцветших, стоявших тут с полсотни лет, а то и больше. Мисс Тина, оглянувшись, снова поймала мой взгляд и, словно бы прочтя в нем осуждение — будто я имел право судить или осуждать! — сказала, как бы для того, чтобы отклонить возможную мысль, что и она причастна к этому беспорядку:

— Ей так нравится; она не позволяет ничего трогать или переставлять. С некоторыми из этих картонок она не расстается всю свою жизнь.— Потом добавила, наполовину из жалости — ведь мои истинные чувства не составляли для нее тайны: — *То* прежде хранилось вот здесь.— И она указала на низенький деревянный сундучок, задвинутый под диван, где ему только-только хватало места. Этакое чудно́е допотопное изделие, не раз, как видно, перекрашенное — даже последний слой краски, светло-зеленый, изрядно пооблупился,— с затейливыми ручками и ссохшимися ремнями. Должно быть, сундучок этот немало постранствовал с Джулианой в былые времена, когда ее жизнь была полна увлекательных приключений, в которых и он принимал участие. Явиться бы с таким в современный комфортабельный отель!

— Прежде, а сейчас уже нет? — встревоженно переспросил я.

Но мисс Тине помешало ответить прибытие доктора — того самого, за которым была послана рыженькая служанка и которого ей в конце концов удалось настигнуть. Мой слуга, еще не успев исполнить данное ему поручение, повстречал эту пару — Олимпию с эскулапом на буксире — неподалеку от дома и не только поворотил назад, но, как истый венецианец, дошел вместе с ними до самого порога хозяйских апартаментов. Заметив его физиономию, выглядывавшую из-за плеча доктора, я тотчас же знаком приказал ему уйти — вид этой любопытной физиономии напомнил мне, что я и сам здесь нахожусь не по праву; неловкость моя еще усилилась, когда я поймал на себе свирепый взгляд доктора, как видно принявшего меня за более проворного конкурента. Доктор был невысокий толстенький живчик в цилиндре, как принято у людей его профессии, успевавший интересоваться всем и всеми вокруг, кроме своих пациентов. Меня он, даже и поняв свою ошибку, не выпускал из поля зрения и столь явно был не прочь прописать и мне какое-нибудь снадобье, что я счел за благо откланяться и оставить его с женщинами одного,

а сам пошел в сад выкурить сигару. Нервы мои были напряжены; я не мог уйти совсем, не мог удалиться от дома. Сам не знаю, чего я, собственно, ждал, но мне казалось, что я должен оставаться на месте. Я бродил по дорожкам в теплом сумраке надвинувшегося вечера, курил сигару за сигарой и не спускал глаз с окон мисс Бордеро. Все теперь там было по-другому, ставни были раскрыты, в комнатах горел свет. Порой свет передвигался, но плавно, неторопливо, без лихорадочной спешки, которая говорила бы о наступлении кризиса. Что же, старуха умирает или, может быть, уже умерла? Развел ли доктор руками: при таких, мол, неслыханных годах пациентки только и остается, что дать ей отойти с миром. Или же просто чуть более церемонным тоном возвестил о наступлении конца концов? Может быть, остальные две женщины уже мечутся в подобающих случаю хлопотах? Меня томило беспокойство оттого, что я не там, не с ними — словно я опасался, как бы сам доктор не утащил бумаги с собой. И тут мне снова ударило в голову, я даже закусил зубами сигару: а что, если бумаг уже нет?

Так прошло больше часу. Я смотрел на окна в смутной надежде, что увижу мисс Тину в одном из них, что она мне подаст какой-нибудь знак. Ведь заметив в темноте тлеющий кончик сигары, она должна понять, что я здесь и жду вестей. Ни в чем, пожалуй, своекорыстная основа моих тревог не сказалась так наглядно, как в этой бесподобной уверенности, что в решающий час, перед лицом события, которое грозило перевернуть всю ее жизнь, бедная мисс Тина не забывает и о моих заботах. Вышел в сад мой слуга; но он ничего не мог мне сообщить, кроме того, что доктор уже ушел, пробыв у больной около получаса. Из этих слов я умозаключил, что мисс Бордеро жива еще; для засвидетельствования смерти получаса не потребовалось бы. Я услал слугу из дома; иногда его любопытство становилось для меня непереносимым, и сейчас был именно один из таких случаев. Вместо мисс Тины он следил из окна за огоньком моей сигары; он не мог знать, какие мысли волнуют меня, и я не собирался посвящать его в это, но подозреваю, что у него имелись собственные фантастические теории на сей счет, которые ему казались весьма лестными для меня и которые я наверняка счел бы оскорбительными.

Наконец, я решился войти в дом, но поднялся только до sala. Двери покоев мисс Бордеро были распахнуты настежь, в глубине гостиной тускло горела одинокая свеча. Стараясь ступать неслышно, я пошел на ее свет, но в ту же минуту откуда-то вынырнула мисс Тина и остановилась, ожидая моего приближения.

— Ей лучше, ей лучше! — сказала она прежде, чем я успел спросить.— Доктор дал ей какое-то лекарство, она очнулась и понемногу пришла в себя. Он сказал, что непосредственной опасности нет.

— Нет непосредственной опасности? Но ведь не может же он отрицать, что положение серьезно?

— Он и не отрицает, но это оттого, что она слишком переволновалась. Волнение всегда для нее пагубно.

— Кто ж в этом виноват, она сама себя распаляет. Вот хотя бы сегодня, в разговоре со мной.

— Да, ей не следует впредь покидать свои комнаты,— сказала мисс Тина, и видно было, что ее мысли опять где-то блуждают.

— Что толку от ваших слов,— отважился я заметить,— когда по первому требованию вы же и повезете ее куда ей заблагорассудится.

— Не повезу — теперь больше не повезу.

— Научитесь противиться ей, давно пора,— продолжал я.

— Да, да, я непременно научусь — тем более раз вы утверждаете, что так нужно.

— Нужно не для меня, а для вас. Вы пугаетесь и теряетесь, а потом сами должны расплачиваться за это.

— Сейчас мне пугаться нечего,— миролюбиво отвечала мисс Тина.— Сейчас она совсем спокойна.

— А она в сознании? Говорила что-нибудь?

— Нет, говорить не говорила, но брала меня за руку. Возьмет и держит крепко-крепко.

— Да, судя по тому, как она давеча уцепилась за портрет, сил у нее еще много,— сказал я.— Но если она держала вас за руку, как же вы очутились здесь?

Мисс Тина не сразу ответила; и хотя лицо ее было в густой тени — она стояла спиной к свече, что горела в гостиной, а свою свечу я оставил у входа в sala,— мне почудилось, что она простодушно улыбается.

— Я услышала ваши шаги и вышла.

— Но я шел на цыпочках, стараясь ступать как можно тише.

— А я услышала,— сказала мисс Тина.

— И что же, ваша тетушка сейчас одна?

— Нет, как можно — с ней Олимпия.

Я думал о своем.

— Может быть, лучше войдем туда? — кивнул я в сторону гостиной; во мне все усиливалось безотчетное желание быть ближе.

— Там нам нельзя будет разговаривать — она услышит.

Я чуть было не ответил, что можно и помолчать, но вовремя спохватился: ведь это значило бы отложить тот вопрос, который мне так не терпелось задать ей. И я предложил побродить немного по sala, держась подальше от двери больной, чтобы ее не обеспокоить. Мисс Тина охотно согласилась; скоро должен опять прийти доктор, сказала она, так можно будет встретить его у самой лестницы. Мы медленно шли по мраморным плитам, и шаги наши неожиданно гулко разносились в бесполезном просторе величественного помещения. Когда мы, дойдя до дальнего конца, очутились у наглухо запертой стеклянной двери балкона, выходившего на канал, я заметил мисс Тине, что, пожалуй, лучше всего ей быть именно там, так как оттуда она сможет увидеть доктора, едва только он подъедет к дому. Я отпер дверь, и мы вышли на балкон. Над узким каналом было еще жарче, еще душнее, чем в sala. Кругом было пустынно и тихо; казалось, вся округа погружена в мирную дрему. Там и сям мерцали огни фонарей, повторяясь в темной воде канала. По ближнему мостику шел домой одинокий гуляка, накинув куртку на плечи и заломив набок шляпу; в тишине донеслась до нас его песня. Однако и это не нарушило той атмосферы comme il faut, о которой упоминала мисс Бордеро при первой нашей встрече. Немного спустя показалась вдали гондола, и мы насторожились, вслушиваясь в плеск воды под веслом. Но это не была гондола доктора; она прошла мимо, и, когда все снова стихло, я спросил у мисс Тины:

— А где же оно теперь — то, что лежало в сундучке?

— В каком сундучке?

— В зеленом, крашеном, который стоит под диваном в спальне. Вы сказали, что тетушка в нем *держала* свои бумаги; я понял так, что теперь она их переложила в другое место.

— Да, верно, в сундучке их уже нет,— сказала мисс Тина.

— Осмелюсь спросить: вы что же, смотрели?

— Смотрела — ради вас.

— Ради меня? Дорогая мисс Тина, означает ли это, что вы бы отдали их мне, если бы нашли? — Я почти дрожал, произнося эти слова.

Мне пришлось дожидаться ее ответа. Но наконец у нее вырвалось:

— Не знаю сама, как бы я поступила — отдала, не отдала.

— Но, может быть, вы хотя бы посмотрите еще где-нибудь?

Странное, непривычное волнение, с начала разговора звучавшее в ее голосе, не улеглось.

— Не могу, не могу, когда она лежит тут же. Это недостойно.

— Вы правы, это недостойно,— согласился я.— Не будем ее тревожить, бедняжку.— И в моих словах на этот раз не было лицемерия: упрек пронял меня, и мне сделалось стыдно.

Мисс Тина добавила, словно бы чувствуя это и жалея меня, но в то же время стремясь объяснить, что я если и не прямо толкаю ее на недостойный поступок, то во всяком случае слишком упорно дергаю эту струну:

— Не могу я обманывать ее теперь — быть может, в ее смертный час. Нет, не могу.

— Я и не прошу вас идти на обман, избави бог, хоть сам я не без греха.

— Не без греха — вы?

— Да, я плыл под фальшивым флагом.— Меня вдруг неудержимо потянуло сказать ей всю правду, признаться, что я назвался вымышленным именем, опасаясь, что настоящее мое имя может быть известно мисс Бордеро и закроет мне доступ в дом. Я даже рассказал о своей причастности к тому письму за подписью Джона Камнора, которое было послано им несколько месяцев назад.

Она слушала крайне внимательно, чуть ли не раскрыв рот от изумления, и, дослушав до конца, спросила:

— А как же ваше настоящее имя? — Я сказал, и она дважды повторила его, восклицая при этом: — Господи, господи! — Потом заметила: — Оно мне нравится больше.

— Мне тоже! — Я попробовал засмеяться, но смех не вышел.— Уф! Как хорошо, что можно наконец отбросить то, ложное!

— Стало быть, все это было заранее обдумано? Настоящий заговор?

— Какой же заговор — нас ведь всего двое,— возразил я, благоразумно не упоминая о миссис Прест.

Мисс Тина задумалась; я ждал с тревогой, не назовет ли она наши действия низостью. Но ход ее рассуждений был совсем иным, и минуту спустя она сказала вполголоса, словно бы взвесив все с безмятежной непредвзятостью стороннего наблюдателя:

— До чего же вам, видно, хочется получить эти письма!

— О, страстно, пламенно! — признался я, кажется даже с улыбкой. И чтобы не упустить случай, тут же продолжал, начисто позабыв о недавних упреках собственной совести: — Но ведь не могла она сама переложить их куда-то? Она же не встает на ноги! Ей недоступны никакие мышечные усилия! Она не в состоянии что-либо взять и понести!

— Да, но при большом желании и при такой сильной воле...— сказала мисс Тина, как если бы ей самой уже приходили в голову все эти соображения и она могла предположить лишь одно: что глубокой ночью, когда никого не было рядом, старуха все же каким-то чудом обрела в себе силы встать и сделать то, что считала нужным.

— А вы не расспрашивали Олимпию? Может быть, это она помогла мисс Бордеро или сделала все сама по ее приказанию? — спро-

сил я, но моя собеседница поторопилась ответить, что служанка тут решительно ни при чем, не упомянув, впрочем, разговаривала она с нею или нет. Казалось, ей теперь неловко и даже досадно оттого, что она невольно обнаружила передо мной, насколько близко к сердцу принимает мои стремления и тревоги, как много места уделяет мне в своих мыслях.

Вдруг она сказала, по обыкновению без непосредственной связи с предыдущим:

— Знаете, мне кажется, будто во мне и самой что-то появилось новое оттого, что у вас теперь новое имя.

— Оно вовсе не новое; напротив, это доброе старое имя, и я рад, что вернул его себе.

Она искоса посмотрела на меня:

— Оно мне куда больше нравится.

— Слава богу, а то я, пожалуй, предпочел бы сохранить то, чужое.

— Вы это серьезно?

Я только еще раз улыбнулся и вместо прямого ответа заговорил опять о своем:

— Если считать, что она могла сама добраться до бумаг, так ведь она с легкостью могла и сжечь их.

— Запаситесь терпением, запаситесь терпением,— сказала мисс Тина, и ее уныло-назидательный тон не слишком меня утешил, так как свидетельствовал, что она и сама не исключает эту роковую возможность. Однако вслух я сказал, что постараюсь последовать ее совету: во-первых, мне ничего другого не остается, а во-вторых, я помню данное ею обещание помочь мне.

— Так ведь если бумаг уже нет, от моей помощи мало толку,— возразила она, словно желая подчеркнуть, что она не отказывается от данного слова, но факты остаются фактами.

— Вы правы. Но постарайтесь хотя бы узнать, так ли это! — взмолился я, снова задрожав всем телом.

— Вы ведь обещали запастись терпением.

— Как, даже и для этого?

— А для чего же еще?

— Нет, нет, ни для чего,— довольно глупо ответил я, постыдившись открыто высказать то, что на самом деле побудило меня согласиться на ожидание,— надежду, что она не только узнает, целы ли письма, но и пойдет ради меня на нечто большее.

Не знаю, поняла ли она или просто спохватилась, что приличий ради ей следовало выказать больше твердости, но только она сказала:

— Разве я обещала обмануть тетушку? Что-то не помню.

— Не столь уж важно, обещали вы или нет — вы все равно на это неспособны.

Мне кажется, она едва ли стала бы спорить, даже если б нашему разговору не положило конец появление на канале гондолы, везшей доктора. Я отметил про себя, что раз он так скоро повторил свой визит, значит, не считает опасность миновавшей. Мы посмотрели, как он высаживается, а потом вернулись с балкона в sala и пошли ему навстречу. Само собой разумеется, я еще на пороге расстался с ним и с мисс Тиной, испросив лишь у последней позволения зайти потом справиться о состоянии больной.

Я вышел из дому и пошел бродить по городу; дошел до самой Пьяццы, но владевшее мною лихорадочное возбуждение не улеглось. Несмотря на поздний час, многие столики еще были заняты; однако

я не мог заставить себя сесть и беспокойно кружил по площади; только мысль о том, что я наконец выложил мисс Тине всю правду о себе, служила мне некоторым утешением. После пяти или шести кругов я повернул к дому и вскоре почти безнадежно запутался в лабиринте венецианских улиц, что со мною случалось постоянно. Было уже далеко за полночь, когда я, наконец, попал домой. В sala, по обыкновению, было совсем темно, и лампа, которой я освещал себе путь, не обнаружила ничего, заслуживавшего внимания,— к немалой моей досаде, поскольку я предупредил мисс Тину, что приду узнать, как обстоят дела, и вправе был рассчитывать на какой-нибудь условный знак с ее стороны, хотя бы зажженную свечу. Двери, ведущие в комнаты мисс Бордеро, были затворены; из этого я мог заключить, что моя уставшая за день приятельница не дождалась меня и легла. Я стоял в нерешительности посреди sala, все еще надеясь, что она услышала меня и выглянет, уговаривая себя, что не могла она лечь спать, когда тетке так худо; прикорнула, наверно, в кресле у ее постели, надев домашний капот. Я сделал несколько шагов к двери, остановился, прислушался. Ничего не было слышно. В конце концов я решился и тихонечко постучал. Ответа не последовало; тогда, подождав еще минуту, я повернул ручку двери. В комнате было темно; это должно было бы остановить меня — но не остановило. После всех моих откровенных признаний в тех зазорных и бесцеремонных поступках, на которые меня сделала способным жажда завладеть письмами Джеффри Асперна, я не вижу причин воздерживаться от рассказа об этой последней нескромности. Из всего, совершенного мною, это, вероятно, самое худшее, однако были тут и смягчающие обстоятельства. Меня вполне искренне, хоть, разумеется, не бескорыстно, волновало положение Джулианы, и с целью узнать о нем я как бы назначил мисс Тине свидание, на которое она согласилась; теперь по долгу чести я обязан был на это свидание явиться. Мне могут возразить, что отсутствие огня в sala естественно было истолковать как знак, освобождавший меня от этого обязательства, но вся суть в том, что я вовсе не желал быть освобожденным.

Дверь спальни мисс Бордеро была полуоткрыта, и за нею угадывался слабый свет ночника. Я прошел немного дальше и снова остановился с лампой в руке. Я был уверен, что мисс Тина там, около тетки, и хотел дать ей время выйти ко мне навстречу. Я не окликал ее, чтобы не нарушить тишину; я ждал, что свет моей лампы послужит ей сигналом. Но она не шла; в поисках объяснения этому я предположил — справедливо, как потом оказалось,— что она просто заснула у постели больной. А раз она могла заснуть, значит, больной стало получше, и, поняв это, я должен был удалиться так же тихо, как и вошел. Но и на этот раз я не сделал того, что должен был сделать, захваченный, словно помимо воли, чем-то совсем иным. Не четкая цель, не заведомый дурной умысел руководили мной в ту минуту; я просто не в силах был тронуться с места, пронизанный острым, хоть и нелепым, ощущением: вот он, случай! Я бы даже не смог объяснить, что за случай; мысль о краже не сложилась сколько-нибудь четко в моем сознании. Впрочем, даже поддайся я такому соблазну, передо мной тотчас же встала бы та очевидная истина, что и секретер, и все шкафы, и ящики у мисс Бордеро всегда на запоре. Ни ключей, ни отмычек у меня не было; как, впрочем, не было и намерения заняться взломом. И все же в мозгу у меня неотвязно стучало: вот я стою здесь, словно бы один, под защитным и всеразрешающим покровом ночи, а где-то совсем близко, как никогда прежде, находится предмет моих заветных мечтаний. Я поднял свою лампу выше и стал перебирать лучом света одну вещь за другой, словно надеясь, что это

мне поможет. Из спальни по-прежнему не доносилось ни звука. Если мисс Тина спала, сон ее был крепок. А вдруг она, добрая душа, нарочно прикинулась спящей, чтобы освободить мне поле действий? Вдруг она знает, что я здесь и, затаившись в тишине, хочет посмотреть, как я поступлю — как *смогу* поступить. Решусь ли я, если дойдет до дела? Мои сомнения были понятны ей лучше, чем мне самому.

Я подошел к секретеру и уставился на него растерянно и, вероятно, с очень глупым видом; ибо чего в конце концов я тут мог ожидать? Во-первых, он был заперт на ключ; а во-вторых, в нем почти наверняка не хранилось то, что меня интересовало. Можно было побиться об заклад, что бумаги вообще уничтожены; а если даже и нет, то дотошная старуха, заботясь об их безопасности, вряд ли вынула бы их из зеленого сундучка для того, чтобы переложить сюда; вряд ли вздумала бы менять лучшее место на худшее. Секретер слишком бросался в глаза, был слишком на виду, да к тому же стоял в комнате, где она уже не могла сама сторожить свое сокровище. Он отпирался ключом, но пониже замочной скважины была маленькая бронзовая ручка в форме шишечки. Я увидел ее, когда направил туда свет своей лампы. И тут же у меня мелькнула догадка, от которой мое волнение достигло предела, и я подумал: не этой ли догадки ожидала от меня мисс Тина? Ведь если не так, если она не хотела, чтобы я входил в комнату, чего бы, кажется, проще запереть дверь изнутри. Разве это не показало бы достаточно ясно ее решимость оградить от меня свое и тетушкино уединение? Но она этого не сделала — стало быть, ждала моего прихода, хоть и понимала отлично, что меня влечет сюда. Такой путь тонких и сверхпроницательных умозаключений привел меня к мысли, что, желая помочь мне, мисс Тина сама отомкнула секретер и оставила его незапертым. Правда, ключ не торчал в замке, но, должно быть, если чуть повернуть бронзовую шишечку — крышка откинется. Томимый своей догадкой, я наклонился, чтобы разглядеть все получше. Я не собирался ничего делать — нет-нет, у меня и в мыслях не было откидывать крышку, я только хотел проверить свое предположение, посмотреть, *можно ли* ее откинуть. Я протянул к шишечке руку — достаточно ведь было дотронуться, чтобы почувствовать, поддается она или нет; и в последний миг — тяжело мне об этом рассказывать — оглянулся через плечо. То был инстинкт, наитие — ни единый звук не коснулся моего слуха. От того, что я увидел, я сразу же выпрямился и отскочил в сторону, едва не выронив свой светильник. Джулиана в ночной сорочке стояла на пороге спальни, протянув вперед руки, обратив ко мне лицо, свободное от всяких завес, обычно его наполовину скрывавших,— и тут, в первый, последний и единственный раз я увидел ее необыкновенные глаза. Они гневно сверкали, они ослепили меня, как внезапный свет газового рожка слепит пойманного на месте преступника, они заставили меня сжаться от стыда. Никогда не забуду я эту белую, согбенную и трясущуюся фигурку с неестественно вздернутой головой, ее позу, выражение ее лица; не забуду и звук ее голоса, когда она, в ответ на мое движение, прошипела с неистовой яростью:

— А-а, гнусный писака!

Не помню, какие слова я забормотал в оправдание, в извинение; помню только, что я шагнул ближе, торопясь уверить ее в отсутствии у меня дурных намерений. Но она отшатнулась в ужасе, замахав на меня старушечьими руками, и в следующее мгновение с судорожным, словно предсмертным хрипом повалилась на руки мисс Тины.

IX

Я покинул Венецию на следующее утро, лишь удостоверившись, что хозяйка моя не умерла, как того можно было опасаться вследствие испытанного по моей вине потрясения,— впрочем, я по ее вине испытал, пожалуй, не меньшее. Откуда, скажите на милость, могло мне прийти в голову, что у нее вдруг достанет сил самой встать с постели? С мисс Тиной перед отъездом увидеться не удалось; видел я только служанку, и ей оставил записку в несколько строк для передачи младшей мисс Бордеро. В записке говорилось, что я на несколько дней должен уехать. Я побывал в Тревизо, в Бассано, в Кастельфранко, ходил и ездил по разным достопримечательным местам, осматривал дурно освещенную роспись в пропахших плесенью церквах и часами дымил сигарой за столиком какого-нибудь кафе с обилием мух и желтыми занавесками, на теневой стороне сонной маленькой площади. Но весь этот путешественнический ритуал, совершаемый машинально и без души, не развлекал меня. Мне пришлось проглотить очень горькое снадобье, и я не мог отделаться от ощущения оскомины во рту. Я попал, как говорится, в пиковое положение, когда Джулиана застала меня среди ночи изучающим механизм запоров ее бюро; а долгие часы, вслед за тем проведенные в тревоге, не сделался ли я ее убийцей, были ничуть не легче. Воспоминание об унизительной сцене жгло меня, но нужно было как-то выпутываться, как-то объяснить, хотя бы письмом мисс Тине, странное положение, в котором я был застигнут. Но поскольку мое письмо осталось без ответа, я ничего не знал о том, как приняла случившееся сама мисс Тина. У меня все стояло в ушах обидное старухино «Гнусный писака!» — хоть я и не мог бы отрицать, что пишу, и еще менее, что вел себя не слишком деликатно. Была минута, когда я положительно решил, что единственный для меня способ смыть позор — это немедленно убраться вон, пожертвовать всеми своими надеждами и раз навсегда освободить бедных женщин от тягот общения со мною. Однако потом я рассудил, что лучше будет сперва уехать ненадолго — должно быть, у меня уже тогда было чувство (пусть неопределенное и смутное), что, исчезнув совсем, я похороню не только свои личные надежды. Но, пожалуй, казалось мне, будет полезно, если я подольше пробуду в отсутствии и старуха уверует в то, что окончательно избавилась от меня. А что именно таково было ее желание — желание, которое я не мог разделить,— сомневаться не приходилось; давешнее полночное бесчинство наверняка излечило ее от готовности терпеть мое общество ради моих денег. С другой стороны, уговаривал я себя, не могу же я вот так бросить мисс Тину; я продолжал твердить себе это даже вопреки тому обстоятельству, что она осталась глуха к моим искренним просьбам дать знать о себе — я не получил весточки ни в одном из тех городков, куда просил ее писать poste restante [1]. Я бы постарался узнать что-нибудь от своего слуги, да этот олух не умел держать перо в руках. Следовало ли понимать молчание мисс Тины как знак глубочайшего презрения, казалось бы вовсе ей не свойственного? Неизвестность томила меня; и если по некоторым соображениям я не решался вернуться, то по другим выходило, что вернуться непременно нужно, и я хотел только обрести твердую почву под ногами. Кончилось дело тем, что на двенадцатый день я снова очутился в Венеции; и когда моя гондола мягко ткнулась носом в ступени старого дворца, тревожно забившееся сердце сказало мне, как тяжела была для меня эта отлучка.

[1] До востребования *(франц.)*.

Мое возвращение произошло столь скоропалительно, что я даже не успел предупредить своего слугу телеграммой. Он поэтому не встречал меня на вокзале, но когда я подъехал к дому, высунулся в окно и, увидев, что это я, поспешно сбежал вниз.

— Уже лежит в могиле, quella vecchia[1],— сообщил он, взваливая на плечо мой чемодан, и чуть ли не подмигнул мне с веселым видом, словно не сомневаясь, что это известие меня обрадует.

— Умерла? — воскликнул я совсем не в лад ему.

— Выходит, умерла, раз ее похоронили.

— И давно это случилось? Когда были похороны?

— Позавчера. Да это и похоронами-то не назовешь, синьор: Roba da niente — un piccolo passegio brutto[2], и всего две гондолы. Poveretta[3],— продолжал он, что, по всей вероятности, относилось к мисс Тине. По его понятиям похороны устраивались главным образом для увеселения живых.

Мне хотелось разузнать про мисс Тину — как она, где сейчас находится; но я больше не стал задавать вопросов, пока мы не поднялись наверх. Теперь, когда я оказался перед фактом, мне было неприятно думать об этом; особенно неприятна была мысль, что бедной мисс Тине самой пришлось заниматься всем после конца. Откуда ей было знать о необходимых формальностях, о том, как в таких случаях полагается действовать? Поистине poveretta. Вся надежда, что ей помог доктор да и друзья, о которых она мне рассказывала, не оставили ее без поддержки в трудный час — горсточка верных старых друзей, чья верность выражалась в том, что они раз в году приходили в гости. Из болтовни моего слуги я понял, что действительно какие-то две старушки и один старичок приняли в мисс Тине большое участие, приехали за нею на собственной гондоле и сопровождали на кладбище — обнесенный кирпичной оградой островок могил, что лежит к северу от города, на пути к Мурано. Значит, барышни Бордеро были католичками — это мне никогда прежде не приходило в голову, так как тетка не могла ходить в церковь, а племянница, судя по всему, либо тоже не ходила, либо бывала лишь у ранней обедни, в то время когда я еще спал. И, должно быть, даже духовные лица уважали их вкус к уединению: ни разу, за то время, что я прожил в доме, не мелькнул передо мной краешек сутаны. Спустя час после своего приезда я послал к мисс Тине слугу с запиской, в которой спрашивал, не найдется ли у нее нескольких минут для разговора со мной. Вернувшись, он сообщил, что мисс Тина оказалась не дома, а в саду: прогуливалась себе на свежем воздухе и рвала цветы, точно они принадлежат ей. Там он ее и нашел, и она сказала, что рада будет меня видеть.

Я спустился вниз и провел с бедной мисс Тиной около получаса. У нее и всегда-то был какой-то замшело-похоронный вид, будто она донашивала старые траурные платья, которых никак не могла износить; а потому в ее облике мало что переменилось. Только заметно было, что она плакала — плакала обильно и всласть, бесхитростными, освежающими слезами, давая выход запоздалому чувству одиночества и несправедливости. Ей, однако, и в голову не приходило манерничать, рисоваться своим горем; я даже, признаться, был удивлен, когда она повернулась ко мне, прижимая к груди охапку чудеснейших роз, и в сумеречном свете я увидел в ее покрасневших от слез глазах тень улыбки. Бледное лицо в рамке черных кружев показалось мне еще более длинным и худым. Мне думалось: она должна быть

[1] Старуха *(итал.)*.
[2] Все равно что ничего — жалкая маленькая прогулка *(итал.)*.
[3] Бедняжка *(итал.)*.

до глубины души возмущена мною, тем более после того, как в тяжелую минуту я не оказался рядом, чтобы помочь ей советом и делом; и хоть я знал, сколь несвойственно ее натуре злопамятство и сколь мало значения она привыкла придавать собственным делам, я все же мог ожидать какой-то перемены в ее повадке, каких-то знаков обиды или отчуждения, за которыми слышался бы обращенный к моей совести упрек: «Хороших же вы, сударь, дел наделали!» Но верность истине заставляет меня признать, что унылое лицо бедняжки чуть просветлело, что неказистые его черты словно бы даже стали привлекательнее при виде жильца покойной тетушки. Последний был несказанно тронут этим обстоятельством и счел, что оно упростит положение вещей, в чем ему весьма скоро пришлось разубедиться. Но так или иначе, я в тот вечер был ласков с мисс Тиной, как только мог, и оставался в ее обществе столько времени, сколько позволяли приличия. Ни в какие объяснения мы не пускались. Я не спрашивал, отчего она оставила мое письмо без ответа и уж тем более не пытался пересказать его содержание. Если ей угодно было делать вид, будто она позабыла, за каким занятием меня застигла мисс Бордеро и что из этого воспоследовало,— я мог только радоваться: ведь она легко могла меня встретить как убийцу ее тетушки.

Бок о бок мы бродили по саду, и, даже когда разговор не шел об утрате, постигшей мисс Тину, сознание этой утраты нас не покидало — оно было в моем подчеркнутом внимании к собеседнице и в том доверчивом выражении, с которым она смотрела на меня, словно, убедившись, что я не потерял интереса к ней, рассчитывала обрести во мне опору. Мисс Тина не была создана для гордых потуг на самоутверждение; она даже не пыталась делать вид, будто ясно представляет себе, что теперь станется с нею. Я, однако же, избегал заговаривать об этом, ибо отнюдь не намерен был связывать себя какими-либо обещаниями помощи или защиты. Ничего дурного, полагаю, в моей осторожности не было; просто я понимал, что, при ее полном незнании жизни, мисс Тине может показаться естественным, что я — поскольку я несомненно жалею ее — возьму на себя заботу об ее судьбе. Она рассказала мне о последних минутах мисс Бордеро, угасшей, видимо, тихо и без страданий, и о том, как добрые друзья избавили ее, мисс Тину, от всех хлопот, связанных с похоронами, тем более что деньги в доме нашлись — благодаря мне, о чем она не преминула напомнить с улыбкой. Попутно она повторила еще раз, что уж если заслужишь расположение «порядочных» итальянцев, то приобретешь в них друзей на всю жизнь; а когда мы окончательно исчерпали эту тему, она стала расспрашивать меня о моей поездке, о моих приключениях и впечатлениях, обо всех местах, где я побывал. Я отвечал, как мог, кое-что, грешным делом, и присочиняя, ибо то смятенное состояние, в котором я тогда находился, помешало мне многое увидеть и запомнить. Выслушав мой рассказ, мисс Тина воскликнула, словно на миг позабыв и тетушку и свое горе: «Господи, вот бы и мне тоже хоть немного попутешествовать, повидать свет!» Мне тут пришло на ум, что я, в сущности, должен бы предложить ей осуществить это желание, выразить свою готовность сопровождать ее куда угодно; но вслух я заметил только, что небольшую поездку, которая помогла бы ей рассеяться, можно, пожалуй, устроить; мы это еще обдумаем и обсудим. Что касается наследия Асперна, то о нем я речи не заводил, не спросил ни разу, удалось ли ей прояснить что-либо еще до кончины мисс Бордеро и если да, то что именно. Не то чтобы меня не жгло нетерпение это узнать, но мне казалось, что было бы неприлично вновь обнаружить свои корыстные устремления так скоро после случившегося несчастья. Была у меня тайная мысль,

что мисс Тина сама что-нибудь скажет,— но нет, она не обмолвилась и словом, и в ту минуту я даже нашел это в порядке вещей. Однако же, когда я позднее вспоминал наш разговор, мне вдруг показалась подозрительной подобная сдержанность. В самом деле, говорила же она о моих путешествиях, о предметах столь отдаленных, как фрески Джорджоне в соборе Кастельфранко; так неужто же нельзя было хоть намеком коснуться того, что, как ей хорошо было известно, занимало меня больше всего на свете. Ведь едва ли, потрясенная своим горем, она вовсе позабыла о живейшем интересе, питаемом мною к некоторым реликвиям, так свято хранившимся покойницей; а стало быть — и я внутренне похолодел от такой догадки,— стало быть, ее молчание может означать, что реликвии эти больше не существуют.

Мы простились в саду — она первая сказала, что ей пора; теперь, когда она была единственной обитательницей piano nobile, я чувствовал, что уже не могу (по венецианским понятиям во всяком случае) так свободно, как прежде, вторгаться в его пределы. Пожелав ей покойной ночи, я спросил, есть ли у нее какие-нибудь планы на будущее, думала ли она, как ей лучше устроить свою жизнь. «Да, да, разумеется, но я еще ничего не решила»,— воскликнула она в ответ почти радостно. Не надеждой ли, что я все решу за нее, была вызвана эта радость?

Наутро я оценил преимущества невнимания к вопросам практическим, проявленного нами накануне: оно давало мне повод сразу же искать новой встречи с мисс Тиной. Один такой практический вопрос особенно меня беспокоил. Я считал своим долгом довести до сведения мисс Тины, что, разумеется, не претендую на дальнейшее пребывание в доме в качестве жильца, а заодно и поинтересоваться, как тут обстоят дела у нее самой — чем юридически подкреплены ее права на этот дом. Но ни тому, ни другому не суждено было стать предметом обстоятельного разговора.

Я не послал мисс Тине никакого предупреждения; я просто спустился вниз и стал прогуливаться по sala взад и вперед в расчете на то, что она услышит мои шаги и выйдет. Мне не хотелось замыкаться с нею в тесноте гостиной; под открытым небом или на просторе такого помещения, как sala, казалось, говорится легче. Утро было великолепное, но что-то в воздухе уже предвещало конец долгого венецианского лета — не свежесть ли ветерка с моря, что шевелил цветы на клумбах и весело гулял по дому, теперь уже не столь тщательно закупоренному и затемненному, как при жизни старухи. Близилась осень, завершение золотой поры года. Близился и конец моего предприятия — быть может, он наступит через каких-нибудь полчаса, когда я окончательно узнаю, что все мои мечты обратились в прах. После этого мне останется лишь уложить вещи и ехать на станцию; не могу же я — в утреннем свете мне это стало особенно ясно — оставаться здесь чем-то вроде опекуна при некоем пожилом воплощении женской беспомощности. Если мисс Тина не сумела сберечь письма Асперна, я свободен от всякого долга перед ней. А если сумела? Кажется, я невольно вздрогнул, задавая себе вопрос,— как и чем в таком случае я смогу этот долг оплатить. Не придется ли мне в благодарность за такую услугу взвалить все же на себя бремя опекунства? Я шагал из угла в угол, размышляя обо всем этом, и впасть в полное уныние мне мешало лишь то, что я почти не сомневался в бесплодности моих размышлений. Если старуха не уничтожила свои сокровища еще до того, как застала меня врасплох у секретера, то, уж наверно, позаботилась сделать это на следующий день.

Понадобилось несколько больше времени, чем я ожидал, чтобы мои расчеты оправдались, но когда мисс Тина показалась наконец на

пороге, то не выразила при виде меня ни малейшего удивления. В ответ на мое замечание, что я давно уже ее жду, она спросила, отчего же я не уведомил ее о своем приходе. Я чуть было не сказал, что понадеялся на ее дружеское чутье, но что-то удержало меня; как радовался я этому несколько часов спустя, каким утешительным было для меня сознание, что даже в столь ничтожной мере я не позволил себе сыграть на ее чувствах. Сказал же я вместо этого чистую правду — что был слишком взволнован, ибо готовлюсь услышать от нее свой приговор.

— Приговор? — переспросила мисс Тина, как-то чудно́ взглянув на меня; и тут только я заметил в ней странную перемену. Да, она была не та, что вчера,— не такая естественная, не такая простая. Вчера она плакала, сегодня следов слез не было видно, зато появилась поразившая меня натянутость в обращении. Как будто что-то произошло с ней ночью или какая-то новая мысль ее смутила, и касалось это ее отношений со мною, запутывало их и осложняло. Забрезжила ли перед ней та простая истина, что сейчас, когда она живет без тетки, одна, я уже не могу оставаться в доме на прежнем положении?

— Я говорю о письмах. Есть письма или нет? Теперь это вам должно было известно.

— Есть, есть и очень много — больше, чем я предполагала.— От меня не укрылась дрожь в ее голосе, когда она произносила эти слова.

— Так они здесь, у вас, вы мне их сейчас покажете?

— Нет, я, право, не могу их вам показать,— сказала мисс Тина, и в глазах у нее появилось странное молящее выражение, словно пуще всего на свете она теперь желала, чтобы я оставил эти письма ей. Но как могло ей вздуматься, что я способен на подобную жертву после всего, что было? Для чего же я и вернулся в Венецию, как не для того, чтобы увидеть эти письма, чтобы их забрать? Известие о том, что они целы, наполнило меня таким ликованием, что кажется, если бы бедная женщина бросилась мне в ноги, умоляя больше не поминать о них, я бы счел это неуместной шуткой.— Они у меня, но их никто не должен видеть,— жалобно добавила она.

— Даже я? О, мисс Тина! — воскликнул я голосом, полным негодования и упрека.

Она покраснела, и у нее опять набежали на глаза слезы. Видно было, каких мучений стоит ей сохранять твердость, повинуясь грозному чувству долга. У меня в голове мутилось от этого внезапного препятствия, вставшего там, где его, казалось бы, меньше всего следовало ожидать. Ведь сама мисс Тина давала мне понять достаточно ясно, что в ней я имею верную союзницу, если только...

— Уж не хотите ли вы сказать, что она перед смертью взяла с вас клятву? А я-то был убежден, что вы не допустите ничего подобного. О, лучше бы эти письма были сожжены ею, нежели мне столкнуться с таким вероломством!

— Ах, не в клятве дело,— сказала мисс Тина.

— В чем же тогда?

Она замялась немного, потом ответила:

— Она и хотела их сжечь, да я помешала. Они у нее были спрятаны в постели.

— В постели?

— Да, между матрасами. Она их туда засунула, когда вытащила из сундучка. Как ей это удалось сделать, ума не приложу, только Олимпия не помогала. Так она говорит, и я ей верю. Тетушка уже

после сказала ей — для того чтобы она, убирая постель, не трогала матрасов. Перестилала бы только простыни. Оттого постель всегда имела неаккуратный вид,— простодушно добавила мисс Тина.

— Могу себе представить! А каким образом она их пыталась сжечь?

— Да сама она не пыталась: очень уж была слаба последние дни. Но она требовала, чтобы я это сделала. О, это было ужасно! После той ночи она уже не могла говорить. Только показывала на пальцах.

— И как же вы поступили?

— Я их унесла. Унесла и заперла.

— В секретере?

— Да, в секретере,— сказала мисс Тина и снова покраснела.

— Но вы пообещали ей сжечь их?

— Нет, я ничего не обещала. Нарочно.

— Нарочно — ради меня?

— Да, только ради вас.

— Но какой же в том прок, если вы мне даже посмотреть на них не даете?

— Никакого. Я понимаю, я все понимаю,— печально отозвалась она.

— А она думала, что вы уничтожили их?

— Не знаю, что она думала под конец. Трудно было понять — она уже была не в себе.

— Но если ни клятв, ни обещаний вы не давали, что же тогда связывает вас?

— Она не снесла бы этого, попросту не снесла бы. Она так ревниво их оберегала. Вот вам зато портрет — можете взять его, если хотите.— И бедная женщина вынула из кармана уже знакомую мне миниатюру, завернутую в бумагу точно так же, как завертывала ее мисс Бордеро.

— Как это — взять? Совсем взять себе? — У меня даже дух захватило, когда я ощутил портрет у себя на ладони.

— Разумеется.

— Так ведь он стоит денег — больших денег.

— Ну что ж,— сказала мисс Тина все с тем же странным выражением лица.

Я ничего не понимал; вряд ли можно было заподозрить ее в желании поторговаться, подобно тетушке. Скорей, она в самом деле решила подарить мне миниатюру.

— Но я не могу принять от вас такой дорогой подарок,— сказал я.— А заплатить столько, сколько думала получить ваша тетушка, мне не по средствам. Она оценила его в тысячу фунтов.

— Так, может быть, продадим его? — заикнулась было моя собеседница.

— Избави бог! Для меня он дороже любых денег.

— Тогда оставьте его себе.

— Вы слишком великодушны.

— Вы тоже.

— Не знаю, что вас заставляет так думать,— сказал я, и это была чистая правда; судя по всему, бедняжка руководилась какими-то лестными для меня соображениями, проникнуть в которые мне не было дано.

— Благодаря вам для меня многое изменилось,— сказала она.

Я посмотрел в лицо Джеффри Асперна на портрете, отчасти для того, чтобы не смотреть в лицо своей собеседнице,— меня все больше смущало и даже немного пугало причудливое, напряженное и неестественное выражение, не сходившее с этого лица. Я ничего не

ответил на ее последнюю фразу, но украдкой обратился за советом к Джеффри Асперну; вглядываясь в его дивные глаза, сиявшие блеском молодости и в то же время полные мудрого прозрения, я спросил, не знает ли он, что такое нашло на мисс Тину. И мне показалось, что он улыбается мне добродушно-насмешливо, как будто вся эта история забавляет его. Из-за него я попал в затруднительное положение — но ему-то что до того! Так, впервые за долгие годы, Джеффри Асперн не оправдал моих ожиданий. И все-таки, держа миниатюру в руке, я понимал, сколь драгоценно это приобретение.

— Вы хотите подкупить меня, чтобы я отказался от писем? — спросил я наконец, решив стоять на своем.— Но знаете ли, как я ни ценю этот портрет, если бы мне был предоставлен выбор, я бы все-таки предпочел письма. О да, без всяких колебаний.

— Какой может быть выбор, какой может быть выбор! — жалобно воскликнула мисс Тина.

— Да, вы правы. Что ж, если запрет покойницы вам кажется столь непреложным, тут ничего не скажешь. Ведь тогда вы должны считать, что, расставшись с этими письмами, совершите кощунственный, поистине святотатственный поступок.

Она покачала головой, словно не видя выхода из одолевающих ее противоречий.

— Если бы вы получше знали тетушку, вы бы меня поняли. Я боюсь,— ее вдруг пробрала дрожь,— я боюсь! Она была страшна, когда гневалась.

— В этом я имел случай убедиться той ночью. Она и правда была страшна. И глаза ее я тогда увидел впервые. Боже, какие глаза!

— Я их и теперь вижу, они смотрят на меня в темноте! — сказала мисс Тина.

— У вас просто расшалились нервы после всего, что вам пришлось пережить.

— Да, да, наверно!

— Не тревожьтесь, это пройдет,— заметил я со всей ласковостью, на которую был способен. И добавил безнадежным тоном, ибо мне уже стало ясно, что все мои настояния ни к чему не приведут. — Ну что ж, значит, так тому и быть. Я отступаюсь.— Тихий горестный стон был мне ответом, я же продолжал: — Только видит бог, мне жаль, что она не уничтожила эти письма раньше; тогда и разговаривать было бы не о чем. Не пойму, кстати, почему она, при ее нраве, этого не сделала.

— Ах, она только и жила ими! — сказала мисс Тина.

— Тем заманчивей была бы для меня возможность с ними познакомиться,— ответил я уже более спокойно.— Но не стоит мне больше задерживаться в вашем обществе, словно бы с тайным умыслом склонить вас к дурному поступку. Само собой разумеется, комнаты мне больше не нужны. Я намерен немедля уехать из Венеции.— С этими словами я протянул руку за своей шляпой, лежавшей на одном из кресел. Мы все еще неловко стояли друг против друга посередине sala. Двери гостиной были незатворены, но моя собеседница так и не пригласила меня войти.

У нее как-то странно передернулось лицо, когда она увидала, что я взялся за шляпу.

— Как, вы уже хотите ехать, сегодня? — Ее слова прозвучали почти трагически — то был крик отчаяния.

— Нет, зачем же; если я чем-нибудь могу быть вам полезен, я готов отложить свой отъезд на столько, сколько понадобится.

— Хоть бы еще день-другой, еще два-три дня,— выговорила она срывающимся голосом. Но тут же овладела собой и добавила уже бо-

лее спокойно: — Тетушка мне что-то пыталась сказать перед кончиной — должно быть, что-то очень важное. Но так и не смогла.

— Очень важное?

— Да, что-то насчет писем.

— А вы не догадываетесь — что именно?

— Нет, я думала-думала, но не знаю. Мне всякое приходило на ум.

— Что же, например?

— Ну вот хотя бы, что, будь вы не чужим, все было бы по-другому.

Я изумился:

— Как это «не чужим»?

— Будь вы членом семьи. Тогда не было бы различия между вами и мной. Что мое, было бы и ваше, и вы бы распоряжались всем как заблагорассудится. Я бы не могла помешать вам, и никто не был бы ни в чем виноват.

Она произнесла свое нелепейшее объяснение с лихорадочной торопливостью, будто заранее выучила наизусть все слова. Но мне почудился скрытый за словами особый, утонченный смысл, которого я пока не мог уловить. Лишь спустя несколько мгновений она сама, своим видом, помогла тому, что меня осенила догадка, фантастическая в своей невероятности. Растерявшись, я перевел глаза вниз, на миниатюру, которую держал в руке. С каким особенным выражением глянул на меня Джеффри Асперн! «Беги-ка, братец, пока не поздно!» Я сунул портрет в карман сюртука и сказал мисс Тине:

— Пожалуй, и в самом деле я его продам для вас. Тысячи фунтов не даст никто, однако же постараюсь выручить побольше.

Она посмотрела на меня жалкими, полными слез глазами, но сделала попытку улыбнуться.

— А деньги мы разделим пополам,— сказала она.

— Нет-нет, это будут ваши деньги.— И переведя дух, я продолжал: — Я, кажется, знаю, что хотела сказать ваша тетушка. Чтобы письма похоронили вместе с нею.

Мисс Тина задумалась над этим предположением, но потом решительно его отвергла:

— О нет, она бы сочла это недостаточно надежным!

— Ну что вы! Уж куда, кажется, надежнее.

— Ей всегда казалось, что в погоне за материалом для публикации люди способны... — Она не договорила и густо покраснела.

— Осквернить могилу! Боже правый, хорошего же она обо мне была мнения!

— Она была несправедлива, она была пристрастна! — неожиданно пылко воскликнула моя собеседница.

Догадка, осенившая меня несколько мгновений назад, кажется, подтверждалась.

— Э, не скажите, мы и в самом деле страшный народ,— возразил я и, помолчав, добавил: — Но, может быть, какой-нибудь намек содержится в ее завещании?

— Никакого завещания не нашлось — она его уничтожила. Она была очень привязана ко мне,— продолжала мисс Тина более непоследовательно, чем когда-либо.— Ей хотелось, чтобы я была счастлива. И тот, кто был бы ко мне добр... вот о чем она хотела сказать.

Я ощутил почти благоговейный ужас перед сутью хитросплетений, забрезжившей за словами бедной женщины, хоть эти хитросплетения были, как говорится, шиты белыми нитками.

— Вот уж вы не уверите меня, будто ей пришло в голову сделать какие-либо оговорки в мою пользу.

— Не в вашу, а в мою. Она знала, что мне будет приятно, если вы сможете осуществить свои желания. Не о вас она думала, а обо мне,— говорила мисс Тина с непривычной для нее убедительной страстностью.— Вы могли бы прочитать эти письма, могли бы использовать их по своему усмотрению... — Она сделала паузу, почувствовав, что я верно истолковал употребленное ею сослагательное наклонение,— паузу достаточно долгую, чтобы дождаться от меня знака, которого она так и не дождалась. Но хотя на моем лице написано было величайшее замешательство, какое только способна отразить человеческая физиономия, лицо это, я уверен, не было каменным, оно выражало и глубокое сострадание тоже, и она не могла этого не заметить. Много лет потом меня утешала мысль, что ни разу в моих поступках не мелькнула даже тень неуважительного отношения к ней.— Я не знаю, что делать; мне так стыдно, так тяжело! — выкрикнула она не помня себя; потом отвернулась в сторону, закрыла лицо руками и разрыдалась. Если она не знала, что делать, то я, как нетрудно догадаться, знал это еще меньше. Я стоял истуканом, слушал, как ее рыдания гулко отдаются в пустоте sala. Так прошла минута, потом она снова подняла ко мне залитое слезами лицо: — Я все бы вам отдала, и она поняла бы меня там, где она теперь,— поняла и простила бы.

— Ах, мисс Тина, ах, мисс Тина! — только и нашелся я пролепетать в ответ. Я все еще не знал, что делать, но тут вдруг безотчетный, панический порыв метнул меня к двери. Помню, что, стоя уже на пороге, я твердил: — Не надо, не надо! — твердил с тупой, идиотской сосредоточенностью, уставясь взглядом в другой конец залы, точно обнаружил там нечто весьма любопытное. Дальше помню только, как я очутился на тротуаре перед домом. Моя гондола покачивалась у причальных свай, и гондольер, отдыхавший развалясь на подушках, при виде меня поспешно вскочил. Я прыгнул в гондолу и на привычное «Dove comanda?»[1] ответил тоном, от которого он остолбенел:

— Куда-нибудь, все равно куда, в лагуну!

Он работал веслом, а я сидел обессиленный, протяжно вздыхая под надвинутой на глаза шляпой. Что, будь я неладен, могло означать все это, если не предложение мне ее руки? Такова была цена — такова была цена! Но, может быть, она думала, что я сам хочу этого, бедная, ослепленная, не в меру увлекшаяся чудачка? Должно быть, гондольеру с кормы видно было, как горели у меня уши, когда я, неподвижно сгорбившись в тени колеблемого ветром навеса, пряча лицо, ничего вокруг не замечая и не слыша, задавал себе все тот же вопрос: а не мои ли легкомысленные действия повинны в ее ослеплении в ее увлечении? Не дал ли я ей повода думать, что веду с ней любовную игру, пусть даже ради писем Асперна? Нет, нет, нет! Я повторял это себе снова и снова, час, два часа, повторял до изнеможения, но так и не сумел себя убедить. Я не знал, где мы находимся; мой гондольер праздно кружил по лагуне, медленно и редко погружая в воду свое весло. Наконец я разобрал, что мы приближаемся к Лидо с правой стороны, если смотреть от Венеции; и я велел ему высадить меня на берег. Меня охватила потребность шагать, двигаться, чтобы хоть отчасти стряхнуть свое оцепенение. Я пересек узкую полоску земли и, выйдя на морской пляж, направился к Маламокко. Но, пройдя несколько шагов, остановился и бросился ничком на теплый песок, овеянный бризом, утыканный жесткой, сухой травой. Невыносимо было думать, что я поступил так непростительно, сознавать себя виновником хотя и невольной, но жестокой шутки. Но ведь не давал я ей повода — право же, не давал! Я когда-то сказал миссис Прест с

[1] Куда прикажете? *(Итал.)*

своем намерении поухаживать за племянницей мисс Бордеро; но то были слова, так и оставшиеся словами, и самой жертве я никогда ничего в этом роде не говорил. Я старался быть с ней поласковей потому, что она внушала мне вполне искреннюю симпатию; но можно ли счесть это предосудительным, если дело касается женщины ее лет и ее наружности? Тщетны были бы попытки вспомнить по порядку, где я побывал и что передумал за этот долгий тягостный день, весь, до поздней ночи, проведенный в бесцельных скитаниях вдали от дома; знаю только, что мне то удавалось умиротворить свою совесть, то я сам подстегивал ее, вызывая новые угрызения. Но ни разу за весь день я не засмеялся — это я помню хорошо; быть может, кто-нибудь и нашел бы всю историю забавной, но мне она такой не казалась. Вероятно, для меня было бы лучше, если бы я был способен воспринимать все юмористически. Ясно было одно: давал ли я повод, нет ли, я не могу заплатить такую цену. Не могу принять это предложение. Не могу ради связки истрепанных писем жениться на жалкой, нелепой старой провинциалке. Да ей и самой это не казалось вероятным — иначе разве она решилась бы заговорить первая, столь героически выдвинув аргумент реальной выгоды; впрочем, робость была настолько более присуща ей, нежели смелость, что ее рассуждения словно бы заслонили ее чувства.

По мере того как шло время, я все больше досадовал, что мне вообще привелось узнать о существовании писем Асперна, досадовал на неуемную любознательность Джона Камнора, натолкнувшую его на след этих писем. У нас и без них материалу было предостаточно, и трудное положение, в котором я очутился, казалось справедливым возмездием за проявленную нами коварнейшую из человеческих слабостей — неумение вовремя остановиться. Вольно было мне уговаривать себя, что ничего тут нет трудного, что выход прост — первым утренним поездом уехать из Венеции, оставив записку для передачи мисс Тине, как только моя гондола отчалит от крыльца. Однако ж—не лучшее ли это доказательство моего смятения? — когда я попытался заранее сочинить текст, чтобы дома мне осталось только записать его на бумаге, я не мог ничего придумать, кроме: «Как мне благодарить вас за редкостное доверие, которым вы меня удостоили?» Но такое начало вовсе не годилось, оно непременно тянуло за собой положительный ответ. Можно было, разумеется, уехать вовсе без объяснений, но это вышло бы грубо, а мне все еще хотелось избежать грубости. На смену всем этим мыслям пришло удивление: с чего, собственно, я вообще придал такое значение ветхим бумажонкам Джулианы? Теперь мне было противно о них и думать, и я злился на старую ведьму за суеверное пристрастие, помешавшее ей уничтожить их еще при жизни, и на себя — за то, что истратил так много денег в бесплодных домогательствах стать хозяином их судьбы. Не помню, куда и зачем я направился после Лидо, как не помню, в каком часу и в каком состоянии духа я наконец пустился в обратный путь. Знаю только, что на ущербе дня, когда небо уже пламенело закатом, я стоял перед церковью святых Иоанна и Павла и, подняв голову, всматривался в квадратный подбородок Бартоломео Коллеони, грозного кондотьера, что так твердо сжимает бока своего бронзового жеребца на высоком пьедестале, куда вознесло его признание благодарных венецианцев. Это несравненный шедевр, лучшая из конных статуй мира, которая уступает в совершенстве разве что изваянию Марка Аврелия, царственно восседающего на коне перед римским Капитолием; но не о том я думал в эту минуту, я так смотрел на полководца-триумфатора, точно надеялся из бронзовых уст услышать вещие слова. Закатные лучи, падая на него, придают его суровым чертам нечто живое,

одухотворенное. Но он глядел поверх моей головы в даль, туда, где еще один алеющий день медленно погружался в воды лагуны — сколько дней за минувшие века канули у него на глазах в прошлое! — и если мысли его были заняты стратагемами и поисками боевых решений, то эти стратагемы и решения сильно отличались от тех, что волновали меня. Сколько бы я на него ни глазел, он не мог мне дать совета. Потом — или это было раньше? — я долго блуждал по малым каналам, к неослабному изумлению моего гондольера, который никогда ранее не видел меня столь беспокойным и мятущимся без всякой цели и который не мог добиться от меня более членораздельных распоряжений, чем: «Куда-нибудь, все равно куда — просто по городу». Он напомнил мне, что я не обедал, и почтительно выразил надежду, что поэтому ужинать я буду раньше обычного. Но у него было достаточно времени подкрепиться в те часы, когда я, выйдя из гондолы, бродил по суше; так что я мог не считаться с ним в этом смысле и объявил, что по некоторым причинам не намерен притрагиваться к пище до завтрашнего утра. Таково было одно из последствий предложения мисс Тины, не сулившее ничего хорошего: у меня начисто пропал аппетит.

Не знаю отчего, но на этот раз я особенно остро чувствовал тот диковинный дух домашности, общности, родственного сплочения, что в значительной мере определяет собой венецианскую атмосферу. Город без уличного движения, стука колес, грубого конского топота, весь в узких, извилистых улочках, где всегда людно, где звук голосов отдается, как в коридорах жилого дома, и люди ходят, словно боясь наткнуться на мебель, и обувь не снашивается никогда, он похож на огромную общую квартиру, в которой площадь св. Марка играет роль пышно убранной гостиной, а все дворцы и церкви — удобных диванов для отдыха, столов с угощением или деталей затейливой отделки. И в то же время этот великолепный общий дом, знакомый, обжитой и наполненный привычными звуками, напоминает театр, где актеры то бойко взбегают на мостики, то беспорядочной процессией тянутся вдоль стен. А ты сидишь в своей гондоле и, как зритель на сцену (угол зрения тот же), смотришь на узкий тротуар, проложенный кой-где по берегу канала, и венецианцы, снующие на фоне декораций из облезлых фасадов, кажутся тебе членами одной многолюдной труппы.

Я лег в постель поздно, донельзя усталый, так и не сумев сочинить послание к мисс Тине. Не оттого ли утром я проснулся с созревшим решением еще раз повидать бедную женщину, как только она согласится меня принять. Возможно, это было одной из причин, но главная заключалась в том, что за ночь в моем настроении произошла внезапная и удивительная перемена. Я это почувствовал, лишь только открыл глаза, и сразу же вскочил с постели с поспешностью человека, вспомнившего, что он оставил распахнутой входную дверь дома или позабыл на полке горящую свечу. Не поздно ли еще спасти свое добро от гибели? Вот вопрос, от которого у меня перехватывало дух; ибо покуда я спал, непрекращающаяся работа моего мозга вновь разожгла во мне страсть к сокровищам Джулианы. Эта пачка исписанных выцветшими чернилами листков стала для меня драгоценнее, чем когда-либо, и я положительно сатанел от жажды завладеть ими. Препятствие, заключавшееся в условии, которое выставила мисс Тина, уже не казалось мне непреодолимым, и мое распаленное тревогой воображение попросту отказывалось его признать. Нелепо счесть, что тут ничего нельзя придумать, нелепо так легко отказаться от писем Асперна, смирившись с мыслью, что единственная возможность их получить — это связать себя вечными узами с их обладательницей. Можно и не связывать, а письма приобрести. Правда, к тому времени,

когда мой слуга пошел справиться, желает ли мисс Тина меня принять, я так и не придумал способа осуществить это, хотя и призвал на помощь всю свою изобретательность. Положение было тягостное, но как из него выйти? Мисс Тина велела сказать, что ждет меня, и, пока я спускался с лестницы, а потом шел по зале к ее дверям — на этот раз ей угодно было принять меня в тетушкиной обветшалой гостиной,— я тешил себя мыслью, что она и не надеется услышать утвердительный ответ. Не могла она не сделать верного вывода из моего вчерашнего бегства.

Едва переступив порог, я увидел, что она этот вывод сделала,— но увидел и еще кое-что, что для меня явилось неожиданностью. Чувство испытанного поражения подействовало на мисс Тину удивительным образом; занятый своими стратагемами и расчетами, я об этом не думал. Только сейчас я заметил совершившуюся в ней перемену и был ошеломлен. Она стояла посреди комнаты, глядя на меня с неизъяснимой кротостью, и этот всепрощающий, всеразрешающий взгляд придавал ей что-то неземное. Она помолодела, она похорошела, она больше не была ни смешной, ни старой. Это необыкновенное выражение, это чудо душевное преобразило ее, и, пока я смотрел на нее, что-то словно зашептало глубоко внутри меня: «А почему бы и нет, в конце концов, почему бы и нет?» Мне вдруг показалось, что я *могу* заплатить назначенную цену. Тут она заговорила, и звук ее голоса заглушил тот внутренний шепот; но впечатление, произведенное на меня новой мисс Тиной, было настолько сильно, что смысл ее слов не сразу дошел до моего сознания; потом я понял, что слова были прощальные — она желала мне на прощанье счастья.

— На прощанье, на прощанье? — повторил я с вопросительной интонацией, что, должно быть, звучало довольно глупо.

Но она явно не почувствовала этой интонации, она услышала только слова; она уже покорно настроилась на разлуку, и эти слова подтвердили ей, что разлука неизбежна.

— Вы сегодня уезжаете? — спросила она.— Впрочем, это не имеет значения; все равно мы с вами больше не увидимся. Я так решила.— И она улыбнулась удивительной, мягкой улыбкой. Нет, у нее не было никаких сомнений относительно того, что вчера я бежал от нее в ужасе. Да и не могло быть — ведь я так и не вернулся, чтобы опровергнуть это, хотя бы формально, хотя бы из простого чувства человечности. И теперь у нее еще достало силы духа — мисс Тина и сила духа, прежде это как-то не вязалось одно с другим — улыбаться мне в своем унижении.

— Что вы думаете делать, куда направиться? — спросил я.

— О, не знаю. Самое главное я уже сделала. Я уничтожила письма.

— Уничтожили письма? — ахнул я.

— Да, на что они мне? Я их вчера сожгла в печке, листок за листком.

— Листок за листком,— повторил я деревянным голосом.

— Почти весь вечер ушел на это — их было так много.— Комната вдруг пошла передо мною кругом, и на миг у меня буквально потемнело в глазах. Потом темнота рассеялась, и я увидел мисс Тину на том же месте, но метаморфоза кончилась: передо мной снова неказистая, дурно одетая, пожилая женщина. Она, эта женщина, сказала мне: — Больше я не могу с вами оставаться, не могу.— И она, эта женщина, отвернулась от меня, как я ровно сутки назад от нее отвернулся, и побрела к двери своей комнаты. Но уже на пороге она сделала то, чего я не сделал накануне,— помедлила и еще раз взглянула на меня. Никогда я не забуду ее взгляда, воспоминание о нем и сейчас причиняет мне боль, хотя злым этот взгляд ничуть не был. Такие

чувства, как злость, мстительность или глухая обида, были чужды бедной мисс Тине; по крайней мере, когда спустя некоторое время я написал ей, что продал портрет Джеффри Асперна и в качестве платы за этот портрет послал более крупную сумму, чем рассчитывал выручить, она приняла деньги с благодарностью, не сделав даже попытки возвратить их. Я писал, что продал портрет, но своей старой приятельнице миссис Прест, которую я той осенью повстречал в Лондоне, я признался, что он висит над моим письменным столом. Иногда я смотрю на него, и у меня щемит сердце при мысли о том, что я потерял,— о письмах Асперна, разумеется.

Генри Джеймс и его «Письма Асперна»

Генри Джеймс (1843—1916), до сих пор еще незаслуженно мало известный нашим читателям [1], не только пользуется в странах английского языка репутацией признанного классика; его художественное наследие и его эстетические взгляды дают и тему, и аргументы для многих актуальных современных литературно-теоретических споров в Западной Европе, в США. Критическая литература о Джеймсе, выходящая за рубежом, огромна.

Соединенные Штаты и Англия поныне оспаривают друг у друга этого писателя: родившись в Нью-Йорке, он воспитывался и провел большую часть жизни в Европе, преимущественно в Англии, где и умер, приняв незадолго до смерти британское подданство.

Сквозь все творчество Джеймса проходит, поворачиваясь разными своими сторонами, тема сопоставления национальной культуры США с культурой Англии и стран европейского континента. Одна из повестей Джеймса так и озаглавлена: «Международный эпизод». Но в той или иной степени это определение применимо и к «Дэзи Миллер» (известной советским читателям в переводе Н. А. Волжиной), и к «Письмам Асперна», и ко множеству других его произведений. Эта тема была выстрадана писателем на его собственном, личном творческом опыте и составляла скрытую драму его небогатой внешними событиями жизни.

В небольшой повести «Письма Асперна», по праву считающейся одним из лучших произведений Генри Джеймса, во всем блеске проявились особенности его писательского мастерства — глубина психологического раскрытия ситуаций и характеров, тонкая ирония, внимание к точно подмеченным подробностям в сочетании с поэтической, лирически-прочувствованной эмоциональной «атмосферой» действия.

Джеймс отдавал себе отчет в духовном убожестве, вульгарности, ограниченности, деляческом практицизме своих буржуазных соотечественников. По сравнению со Старым светом его родина казалась ему удручающе бедной культурными традициями. В «Письмах Асперна» он даже позволил себе демонстративно переделать историю американской литературы, «подарив» Соединенным Штатам небывалого, вымышленного им гениального поэта начала XIX века Джеффри Асперна, соединяющего в своем творческом облике черты Байрона и Шелли. Такой поэзии — как и многих других непревзойденных сокровищ искусства, какими обладали европейцы,— явно недоставало, как был убежден Джеймс, его стране.

В этом сознании культурного превосходства Старого света над США заключался один из главных стимулов эстетического «паломничества» [2] Джеймса в Европу, которое завершилось в конце концов экспатрицией.

В 1875—1876 гг. он живет в Париже, где сближается с Тургеневым, Флобером, Э. Гонкуром, Золя и Доде. Затем поселяется в Англии — в сущности, навсегда, если не считать двух сравнительно непродолжительных поездок в США в 1882—1883 и 1905 гг. Временами он подолгу жил в Италии, которую хорошо знал и любил и где развертывается действие многих его произведений, в том числе и «Писем Асперна». Свое отношение к родной стране он с горечью определил в письме к своему другу американскому писателю Хоуэллсу: «Так как Америка мне никогда не доверяла, даже в лучшие времена, то и я, действительно, не могу больше доверять ей».

Однако проблема выбора между США и Европой, к которой постоянно возвращался в своем творчестве Джеймс, не всегда решалась им однозначно. Обосновав-

[1] В настоящее время издательство «Художественная литература» готовит однотомник избранных произведений Генри Джеймса.

[2] Одна из его ранних новелл на эту тему так и озаглавлена: «Страстный пилигрим» (1875).

шись в Англии, он видел и пороки британского общества и (как показывают его во многом автобиографические рассказы 90-х гг. о непонятых и непризнанных художниках, в особенности «Смерть льва») чувствовал себя безгранично одиноким. Оторванность от родной почвы мучила его.

Джеймс особенно внимательно вглядывался в судьбу Тургенева, которого любил и как человека, и как писателя, которого считал своим учителем. Тургенев много лет провел вдали от России, но Джеймс понимал, что всем своим творчеством он был кровно связан с жизнью русского народа. «Его произведения — как у каждого великого романиста — сильно пахнут его родной землей и вызывают у того, кто прочел их, странное чувство давнего знакомства с Россией. Кажется, словно мы путешествовали там во сне или жили там в прежнем существовании». В другой статье, написанной позже, в 1884 г., уже после смерти Тургенева, он говорит о том, что судьбы его родины занимали русского писателя больше, чем проблемы литературного мастерства: «Он писал романы и драмы, но великой драмой его жизни была борьба за лучшее будущее России. В этой драме он сыграл выдающуюся роль...» Между строк здесь можно уловить грустное сознание собственного одиночества. Судьба Джеймса — исход его «паломничества» в Европу — в известной мере предвосхитила жизненную драму позднейших писателей «потерянного поколения».

■

В обширном и многообразном литературном наследии Джеймса — автора двадцати романов, нескольких томов автобиографической и мемуарной прозы, критических очерков и статей, путевых заметок и пьес — его новеллистика занимает особое, важное место. Ему принадлежит более ста рассказов и повестей.

В записной книжке под датой 19 мая 1889 г. Джеймс вспоминает о разговоре с Тэном, известным французским литературоведом. Речь шла о Тургеневе. «Я хочу особо отметить здесь,— пишет Джеймс о своем собеседнике,— его восхищение Тургеневым: его глубиной, разнообразием, формой, созданными им безупречными небольшими вещами, которые будут жить благодаря своей законченной объективности... Беседа... была для меня необычайно плодотворна — она оживила, освежила, подтвердила, освятила, так сказать, то желание и ту мечту, которые за последнее время овладели мной с небывалой прежде силой. Мне хотелось бы, чтобы оставленное мною литературное наследие — как бы бедно оно ни было — состояло из большого количества безупречных к о р о т к и х вещей, н о в е л л и повестей, иллюстрирующих самые разнообразные стороны жизни, той жизни, какую я вижу, знаю и чувствую,— все глубокое и нежное — и Лондон, и искусство, и все вообще; пусть они будут тонки, своеобразны, сильны, мудры,— а может статься, получат когда-нибудь и признание».

Эти строки позволяют понять, какими критериями и требованиями он руководился, обращаясь к жанру повести и рассказа, в котором ему действительно удалось создать вещи, замечательные по законченности, выразительности и психологической глубине. Запись эта интересна и ссылкой на Тургенева, опыт которого, как видим, оставался и в эту пору источником вдохновения для Джеймса, хотя он, конечно, и не повторял в своем творчестве автора «Вешних вод» и «Первой любви».

Из французских писателей-реалистов Джеймс выше всех ставил Бальзака, не раз ссылался на него в предисловиях к своим книгам и пытался пропагандировать его творчество среди своих соотечественников («Урок Бальзака», 1905). Из его американских предшественников Джеймсу был особенно близок романтик Готорн с его напряженным интересом к тайным глубинам и провалам человеческого сознания и драматической психологической разработкой социально-этических проблем, осмысляемых зачастую в плане фантастической символики. Книга Джеймса о Готорне (1879) представляет немалый интерес и для понимания его собственных произведений.

Как видно из записных книжек и предисловий Джеймса, отправным пунктом для него как новеллиста чаще всего служили реальные жизненные факты. Иногда это был случайно услышанный и поразивший его воображение анекдот, иногда — воспоминание о какой-нибудь мимолетной дорожной встрече или подмеченное во время прогулки выражение лица, поза, облик попавшегося ему прохожего.

Как писал сам Джеймс, внутренний голос подсказывал ему: «Напиши об этом! Напиши об этом!». Так родились многие из его повестей и рассказов — в том числе и «Дэзи Миллер», и «Письма Асперна», и другие.

В январе 1887 г. Джеймс занес в свою записную книжку поразившую его «курьезную историю» о капитане Силсби — «бостонском знатоке и поклоннике Шелли». Он записал и подробности «любопытного приключения» Силсби, пересказанные ему одним из его знакомых. «Мисс Клермонт, бывшая любовница Байрона (мать Аллегры), жила до недавнего времени здесь, во Флоренции, достигнув глубокой старости, лет восьмидесяти или около того [1], а с нею жила младшая мисс Клермонт — лет около

[1] Клер Мери Джейн Клермонт (1798—1879) была падчерицей Годвина и сводной сестрой его дочери Мери, вышедшей замуж за Шелли. После разрыва с Байроном, который был отцом ее внебрачной рано умершей дочери Аллегры, Клер подолгу жила в доме Шелли и была близким другом этого поэта. Она умерла во Флоренции в глубокой старости, приняв католичество.

пятидесяти. Силсби знал, что у них есть интересные рукописи — письма Шелли и Байрона,— знал это давно и лелеял мысль завладеть ими. С этой целью он задумал план: поселиться у мисс Клермонт — в надежде, что старая леди (по ее дряхлости и упадку сил) умрет при нем и он сможет прибрать к рукам документы... Все произошло так, как он рассчитывал. Старуха умерла, тогда он вступил в переговоры с ее родственницей — старой девой пятидесяти лет — о предмете своих желаний. Ее ответ был: «Я вам отдам все письма, если вы на мне женитесь!» Говорят, что Силсби продолжает у х а ж и в а т ь.

Здесь, конечно, есть небольшой сюжет: две увядшие, странные, неимущие и презираемые старые англичанки, пережившие свое поколение, в заплесневелом уголке чужестранного города хранящие, как свое драгоценное достояние, эти прославленные письма. А затем и тайная стратегия фанатика Шелли — как он сторожит и выжидает, как высиживает свое сокровище. Развязка не обязательно должна повторять то, что рассказывают о бедняге Силсби; во всяком случае, общая ситуация сама составляет сюжет и картину. Она меня очень поразила. Интерес будет заключаться в цене, какую должен заплатить герой, какую старуха — или наследница — потребует за эти письма. Его колебания, его борьба — ведь он действительно готов почти все отдать...»

Этот наскоро записанный набросок «курьезной истории» в сопоставлении с выросшей из него повестью «Письма Асперна» позволяет уяснить особенности творческого метода Джеймса. Художник сохраняет почти без перемен фактическую канву, хотя и переносит действие из Флоренции в еще более романтичную и притом богатую «байроническими» ассоциациями Венецию. Он опускает конкретные, индивидуальные подробности биографии героя, которому поручает роль рассказчика. Это уже не «бостонский шкипер», моряк-оригинал, влюбленный в поэзию, а анонимный охотник за литературными редкостями — профессиональный публикатор, биограф, литературный критик. Его имя, его прошлое остаются в тени. Зато на горизонте повести подымается, озаряя все, что в ней происходит, своим магическим сиянием, новое светило, «созданное» воображением Джеймса,— никогда не существовавший, но получивший у него полное художественное воплощение гениальный поэт-романтик, своего рода симбиоз Байрона и Шелли, но притом американец по происхождению, сумевший, как и сам Джеймс, с юных лет приобщиться и к европейской культуре.

Драматизм повести [1] и ее ироническое звучание, столь характерное для Джеймса, резко усиливаются благодаря постоянно ощущаемому в ней присутствию Джеффри Асперна. Его величие оттеняет мелочность тех лукавых интриг, которые плетутся вокруг его посмертного наследия. Отблеск его любви, навсегда бессмертной благодаря его стихам, придает значительность, даже интригующую романтическую загадочность неряшливой и уродливой старухе Бордеро — ведь это она прославленная Джулиана, воспетая великим поэтом!

Сцена, где умирающая старуха Бордеро застигает своего жильца на месте преступления, когда он готовится выкрасть драгоценные письма Асперна, полна трагического величия. Рассказчик впервые видит великолепные, лучистые глаза прежней Джулианы, ослепляющие его пламенеющей в них яростью. Русскому читателю этот эпизод может напомнить соответствующую сцену «Пиковой дамы» — скорее, «Пиковой дамы» Чайковского, чем Пушкина.

Образ младшей мисс Бордеро — племянницы Джулианы — в трактовке Джеймса углубляется, по сравнению с первоначальным наброском. Благодаря полутонам и большей мягкости очертаний, которыми он пользуется, создавая ее портрет, мисс Тина не только не смешна (как ее прототип), но и трогательна. Как отмечают Маттисен и Мердок, редакторы и комментаторы «Записных книжек» Джеймса, характерно, что автор «Писем Асперна» отступил от исходной схемы, намекнув, что мысль о женитьбе героя на Тине как «цене» писем Асперна исходит от ее тетки Джулианы, а не от самой «невесты». Духовный облик Тины, таким образом, освобожден от своекорыстных матримониальных расчетов; на первый план выступают ее несколько угловатое, старосветское простодушие и честность, заставляющие ее бесповоротно отступить и отказаться от дальнейшего «торга» с рассказчиком, как только она убеждается, что близость к ней для него невозможна.

Джеймс отходит от первоначального наброска и в том, что умалчивает о точном возрасте мисс Тины: убийственная прозаическая цифра «пятьдесят лет» ни разу не названа; в сценах в саду, и особенно в ночной Венеции, героиня молодеет на глазах у рассказчика и читателя. В ней пробуждается, хотя бы и ненадолго, ее нерасцветшая женственность, наивное любопытство, отзывчивость ко всем впечатлениям жизни, которых она так долго была лишена; и судьба этого бесконечно одинокого, никому не нужного существа трогает читателя, как трогает она, вопреки его воле, и самого рассказчика.

В подтексте «Писем Асперна» заключена в зародыше еще одна очень важная для Джеймса мысль, которая в дальнейшем станет центральной в целом цикле его рассказов, написанных в 90-х годах.

---

[1] Пьесы Джеймса не имели успеха, что причинило ему много огорчений. Но инсценировка «Писем Асперна» в последние десятилетия с успехом шла в театрах Англии и других стран.

К замечательнейшим рассказам этого цикла принадлежат «Урок мастера» (1892), «Смерть льва» (1894), «В следующий раз» (1895) и «Узор ковра» (1896). Трагическое противоречие между художником и обществом — в основе всех этих рассказов. Их содержание отчасти уже предвосхищается в «Письмах Асперна» изображением суетных, пошлых и недостойных интриг, которые плетутся вокруг посмертного наследия великого поэта. Гневный возглас Джулианы: «А-а, гнусный писака!» — предвкушает отчасти настроения горечи и негодования, которыми проникнуты картины «литературной среды» в рассматриваемом цикле.

В предисловии к тому собрания сочинений, где были объединены эти рассказы, Джеймс писал, что его занимала более всего «ирония» основной ситуации: «Художник, создавший то, что ему больше всего хотелось сделать, выполнивший свой замысел, остается совершенно одиноким посреди болтливой, непонятливой толпы». Джеймс не скрывал того, что в этих рассказах много автобиографического: автор взял эти «трагедии и комедии» «из своего интимного опыта», «из глубин» «собственного сознания».

Исходя из тенденций позднего творчества Джеймса, где форма нередко доминирует над содержанием, некоторые зарубежные критики видят в нем непосредственного предтечу модернизма.

В типологическом отношении поздний Джеймс, пожалуй, наиболее сопоставим с Прустом: их сближает, в частности, гипертрофированный интерес к самому процессу восприятия жизни, со всеми сложными переходами от ощущения к образу, со сложными субъективными, зачастую бессознательными ассоциациями, причудами памяти и воображения.

«Письма Асперна» принадлежат к тому периоду расцвета творчества Джеймса, когда этот пристальный интерес к внутреннему миру индивидуального сознания гармонически сочетался с пытливым исследованием объективной действительности, а тончайшая отделка формы не становилась самоцелью.

В 1889 г., через год после выхода в свет этой повести, отвечая организаторам летней школы в Массачусетсе, которые пригласили его принять участие в дискуссии по вопросам романа, Джеймс просил передать слушателям школы, что его литературные взгляды могут быть выражены в двух кратких словах: «Одно из них — жизнь, другое — свобода». Поясняя этот лозунг, он продолжал: «Скажите вашим леди и джентльменам, чтобы они всматривались в жизнь пристально и в упор, чтобы они были в этом добросовестны и не поддавались на низкий и ребяческий обман. Она бесконечно велика, разнообразна и богата. Каждый ум найдет в ней то, что ищет...»

В создателе «Писем Асперна» читатель узнает именно этого Генри Джеймса — внимательно всматривающегося в жизнь и свободно изображающего ее сложные взаимопереходы, противоречия и оттенки.

А. ЕЛИСТРАТОВА

■

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В. МАЯКОВСКОГО

«Я ЗЕМНОЙ ШАР ЧУТЬ НЕ ВЕСЬ ОБОШЕЛ»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

Публикация вступление и примечания Н. РЕФОРМАТСКОЙ

О Маяковском, его неповторимой личности поэта и человека, его многообразной, кипучей общественно-литературной деятельности, его выступлениях с чтением своих стихов, поездках по городам Союза и в зарубежные страны написано много воспоминаний. В 1963 году в Государственном издательстве «Художественная литература» вышел первый однотомник «Маяковский в воспоминаниях современников», включивший избранное из всего, что было опубликовано на эту тему в советской периодике: в газетах, журналах, альманахах, сборниках — и вышло отдельными книгами. Продолжая в качестве составителя однотомника работу по собиранию и отбору воспоминаний для нового, значительно расширенного издания мемуаров о Маяковском, предлагаю вниманию читателей два воспоминания из серии «Зарубежные поэты и писатели о Маяковском».

Эту сравнительно небольшую по количеству авторов серию составляют главным образом западные современники Маяковского — поэты, писатели, журналисты, театральные деятели, художники, с которыми познакомился во время своих поездок в Берлин, Париж, Прагу, Варшаву, в Мексику и США советский «полпред стиха» и «открыватель Америки».

Всюду, куда бы ни приезжал Маяковский, он постоянно выступал перед слушателями, чтобы завоевать стихом интерес к своей стране, к Советскому Союзу. И ему это всегда удавалось: на слушателей, не знающих русского языка, действовала побеждающая выразительность интонаций, поражала и захватывала новизна поэтической манеры, сила и красота голоса, темперамент, убежденность трибуна, искренность, проникновенность лиризма.

С выступлениями Маяковского, его беседами о задачах литературы, о его «месте поэта в рабочем строю» связано, в частности, большинство воспоминаний о нем его чешских и польских современников. Воспоминания чешских авторов о приезде Маяковского в Прагу в 1927 году составили специальный сборник, выпущенный в 1961 году в Праге под названием «Наш Маяковский».

Прага встретила Маяковского большим публичным вечером с чтением его поэмы «150 000 000» — уже известной на чешском языке в переводе Богумила Матезиуса с 1925 года и пользовавшейся большой популярностью. Варшава, куда Маяковский приезжал в том же 1927 году,— первым сборником его избранных стихотворений, переведенных на польский язык поэтами В. Броневским, В. Вандурским, В. Слободником, А. Слонимским, А. Стерном, Ю. Тувимом, Б. Ясенским, со вступительной статьей «Вла-

димир Маяковский — поэт новой России» А. Стерна. Как редактор сборника А. Стерн попросил Маяковского написать к нему предисловие; оно называется «Польскому читателю».

Мы публикуем воспоминания о варшавских встречах с Маяковским А. Стерна (1899—1968) по оригиналу, переданному мне автором, в переводе Я. Скжидловской, с небольшими сокращениями. Воспоминания впервые были напечатаны в 1967 году в журнале «Вспулчесност».

Другой автор публикуемых воспоминаний, Гуго Гупперт (род. в 1902 г.),— поэт ГДР, один из лучших переводчиков Маяковского на немецкий язык. Его перевод «Левого марша» был прочитан в 1930 году самому Маяковскому.

*Начиная с 1940 года издано несколько однотомников избранных стихов и поэм в переводе Г. Гупперта (в 1940 году совместно с Л. Лешнитцером). В настоящее время вышло в свет в его переводе пятитомное собрание сочинений поэта *. С Маяковским Г. Гупперт встречался в 1928—1930 гг., находясь в течение многих лет в эмиграции в СССР.*

Воспоминания написаны в 1951 году, переведены с немецкого Ритой Райт. Оригинал и перевод тогда же были переданы Г. Гуппертом в Государственную библиотеку-музей В. В. Маяковского. Публикуются с сокращениями, полный текст был опубликован в 1955 году в журнале «Нойе дойче литератур».

* См. рецензию на это издание в разделе «Среди книг» данного номера «Иностранной литературы».

АНАТОЛЬ СТЕРН

Я пишу эти строки в мае 1967 года. Ровно сорок лет назад, в мае 1927 года, Маяковский прибыл в Польшу [1].

В мае, как известно, соловьи поют особенно хорошо и особенно хорошо цветут розы. И тогда было так, и сейчас. Но Маяковский слышал только пение «стальных соловьев» и мечтал изобрести новые розы:

...отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.

Неужели он и вправду не слышал пенья настоящих соловьев, не вдыхал аромата настоящих роз? Верить в это — значит верить, что ему недоступно было чувство любви. Но в ком, как не в нем, пылало всепоглощающее пламя самой обыкновенной человеческой любви? Дело тут совсем в ином: Маяковский хотел создать другой, новый мир — других соловьев, другие розы, другую любовь. И высказал это в «Пятом Интернационале» и в поэме «Про это».

Замышлял ли он заменить этим миром мир действительности? Известна беседа одной красавицы с Пикассо: «Cher maître *, скажите, вы действительно так видите мир?!» — «Да это было бы ужасно!» — ответил автор «Герники».

Маяковский жаждал создать эквивалент мира в искусстве, создать новую поэтическую действительность:

Я
поэзии
одну разрешаю форму:
точность математических формул.

Создал ли он такую форму? Он стремился к ней, как, впрочем, и ко множеству иных форм. Достиг ли он своей цели? Но ведь абсолютное воплощение поэтического образа в произведении невозможно. Существует лишь стремление к такому воплощению, и противоречие между поэтическим образом и его реализацией как раз и составляет драму художника. Многие из нас пережили эту драму, но никто не переживал ее так болезненно, как Маяковский. Потому что он был самым одержимым среди множества одержимых тех времен. Я имею в виду русскую поэзию того периода.

Мишель Сефор, выдающийся историк современного искусства, делит художников первого двадцатилетия XX века на пророков и на тех, кто считал себя «чистым художником». Маяковский хотел быть только служителем слова, а на самом деле был пророком. Или, если предпочитаете слово попроще, провозвестником.

И не только в поэзии. Он был ясновидцем в более широком смысле этого слова. И тогда, когда, проникая взором во мрак грядущего и горя желанием приблизить долгожданную минуту, возвещал:

в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.—

и когда в «Пятом Интернационале» предвосхитил эпоху космонавтов и межпланетных путешествий.

Впрочем, разве он не говорил сам о себе, что он,

может быть, просто
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

Метафора? Вероятно. Но метафора на то и существует, чтобы во внезапном,

[1] См. примечания на стр. 214.
* Дорогой мэтр *(франц.)*.

мгновенном озарении обнажить скрытую от нас суть вещей, чтобы средствами изображения, трудно объяснимыми разумом, открыть человеку его самого и ту оболочку действительности, в которой он живет.

Тринадцатый апостол был апостолом бунта и революции, он восстал против доселе существующего евангелия и его двенадцати апостолов. Тоже метафора, но для Маяковского, видимо, «правда достовернее самой правды», раз именно так он намеревался назвать «Облако в штанах».

Я уже не раз писал о встрече и беседах с Маяковским в Польше. Воспоминания мои неоднократно публиковались и в Советском Союзе, и в других странах. И чем больше времени отделяет меня от тех дней, тем рельефней они мне представляются. Чудится, будто слышу глубокий сочный голос Маяковского, поразительно точно передающий состояние его души. Вот комнатенки художницы Тересы Жарновер, потонувшие в папиросном дыму; здесь, в узком кругу друзей, Маяковский трубным своим голосом славил одновременно и «век машин», и польский бигос. Проплывают мимо тени умерших моих друзей: Броневский, Вандурский, Ясенский, а вот и Мечислав Щука, революционный создатель нашего новейшего искусства, он-то как раз и предложил Маяковскому приехать в Польшу. Щуке первому суждено было покинуть мир: два месяца спустя он сорвался с крутого склона Замарлой Турни в Татрах. Но в те дни Щука по-братски обнимал могучие плечи советского поэта, такого же, как и он сам, певца машин. Маяковский в то время начал издавать «Новый Леф», Щука — коммунистический «Рычаг» («Дзвигню»). Борьба за новое искусство была художественным лозунгом двух этих журналов. Революционное презрение к мещанской рассудительности было боевым лозунгом двух этих людей.

Примерно тех же лиц можно было встретить в просторной квартире представителя ТАСС Ковальского — те же лица и те же страстные разговоры, а иной раз и споры. Маяковский жадно расспрашивал нас о стране, о новых течениях у нас. Спрашивал и сам отвечал на вопросы.

Встреч было много: в советском посольстве на улице Познаньской (послом был тогда Антонов-Овсеенко, маленького роста человек с большими, скрывавшими все лицо очками — легендарный герой «Авроры»), в гостинице «Бристоль» — Маяковский жил то там, то в посольстве. (Как сейчас помню номер 302-й на четвертом этаже, с «изящной», забавно обитой плюшем мебелью, которая довольно резко контрастировала с огромным, угловатым, на американский лад одетым Маяковским.) Встречи устраивались и в ка-

бачках, и у друзей — разве все упомнишь! Обстановка менялась, но Маяковский везде был один и тот же: везде славил мир, который родился в его стране, славил новую поэзию.

Общественное мнение в Польше, так же как и в других странах, где побывал Маяковский, сразу же разделилось на два враждебных лагеря. Когда я поместил большую статью в «Вядомостях литерацких» (22 мая 1927 года) под заголовком «Поэт ста пятидесяти миллионов — Владимир Маяковский» (это был единственный в то время восторженный отзыв в печати о советском поэте), то немедленно, на следующей же неделе, последовал ответ в одном из реакционных журналов («Поляк-католик», 28 мая). Автор статьи «Происки большевизма» писал: «Беспрецедентный скандал, заключающийся в том, что в Польшу был впущен и принят ПЕН-клубом ведущий большевистский поэт Маяковский, не произвел сколько-нибудь сильного впечатления... «Вядомости литерацке» захлебнулись от восторга, однако они все-таки не осмелились поместить бесстыдно революционную статью А. Стерна на первой странице... Место этой статье — в любом из большевистских журналов. Подобную статью мог бы написать писатель из Москвы — с такой же горячей влюбленностью, с таким же блестящим знанием большевистской литературы». Статья содержала и немало «комплиментов» по адресу Броневского и других писателей...

В печати появились также интервью с Маяковским — самое исчерпывающее дал независимый левый публицист Т. Венява-Длугошевский (брат знаменитого кавалериста, любимого адъютанта Пилсудского) в издаваемом им еженедельнике «Польска вольность» [2], а также Х. Адлер — в «Хвили» [3]. Черносотенная «Поранна газета Варшавска» 22 мая 1927 года издевательски писала (за подписью «Н») об этом: «Интервью с Гомером Советов», даже не подозревая, сколь точно это определение. В том же номере газета поместила фотографию поэта, так ловко отретушированную, что Маяковский выглядел на ней гангстером. Одновременно с этим в таких органах, как варшавский «Курьер Поранны» (15 мая) или катовицкая «Полония» (22 мая), были помещены весьма объективные библиографические справки пресс-агентства и вполне приличные фотографии. На одной из них из-за слишком густой печатной краски лицо Маяковского напоминало черный лик святого с икон Рублева. Глаз не оторвешь: настоящий «тринадцатый апостол» — страдалец и бунтарь.

Давно уж не публиковал я воспоминаний о Маяковском. Следовательно, не писал и о тех превращениях, которым подвергся образ поэта во мчащемся потоке времени. Не писал я также о новых документах того периода, не так давно попавших ко мне в руки. Известно, что в обширной мемориальной и историко-критической литературе о Маяковском уже использовано почти все, что могли сообщить его современники. Понятно поэтому, что новые документы особенно ценны, даже если они носят характер сенсации. Ведь как-никак благодаря даже мельчайшим, неизвестным доселе подробностям мы лучше познаем климат того далекого времени, вызываем из прошлого не выдуманное, не деформированное фантазией, а настоящее лицо поэта.

Один такой документ — письмо Мечи-

«Октябрьская революция пронеслась над поэзией Кубы, как освежающий ветер, до нас дошли прекрасные стихи Маяковского.

Это влияние не ограничилось одной лишь областью формы. Поэзия Маяковского оказала большое влияние и на содержание. Поэты Кубы стали интересоваться классовой борьбой, стали участвовать в классовой борьбе и стали писать стихи о классовой борьбе».

НИКОЛАС ГИЛЬЕН (Куба)

«В средние века из Марселя в Париж ездили на повозке, в которую были запряжены быки. Сейчас это занимает пятьдесят минут полета на самолете.

В средние века у нас был Франсуа Вийон, однако если посмотреть на лучших поэтов сегодняшнего дня, не кажется, что человеческая мысль сделала в течение веков такие же чудеса прогресса, как техника.

Только читая Маяковского, я почувствовал, что наше сердце, наша поэзия могут, наконец, выбросить эти старые дроги на свалку. И сегодня, перечитывая его, я думаю, что он все еще впереди нас на целых полвека».

ЖАН ПЬЕР ШАБРОЛЬ (Франция)

«Маяковский сломал в поэзии старые ограничения и нашел новые пути для ее развития. Он по-новому связал жизнь и поэзию. Никто после Маяковского не сможет сказать, что жизнь и поэзия не связаны между собой».

МУЛК РАДЖ АНАНД (Индия)

слава Щуки, которому мы обязаны приездом Маяковского в Польшу. Ведь это именно он, с помощью тогдашнего президента ПЕН-клуба Ф. Гетеля, убедил польские власти выдать Маяковскому визу на въезд в Варшаву.

Кем был Щука? Создатель польского авангардного искусства в межвоенном двадцатилетии, пламенный коммунист, противник всякого рода компромиссов в области искусства и общественной жизни, Щука не только был пионером нашего фотомонтажа и новой печатной, так называемой функциональной графики, он заложил также основы современной польской архитектуры. Архитектуре посвятил он последние годы своей короткой жизни (1898—1927). Щука организовал I Международную выставку новой архитектуры в Польше с участием советских графиков и архитекторов и в том же 1926 году основал Товарищество рабочей культуры. Одновременно с этим он с помощью своих плакатов вел в рамках деятельности КПП широкую кампанию за амнистию политзаключенных. В следующем году Щука участвовал в Выставке новой архитектуры в Москве. После его смерти в советском журнале «Советская архитектура» № 6, 1927, появилось сообщение о ней, полное боли и уважения.

Во время работы над монографией о Щуке мне в руки попали его письма, хранившиеся в музее в Закопане, в Татрах. Вот одно из этих писем, непосредственно относящееся к пребыванию Маяковского в Польше. Адресовано письмо к одному из друзей Щуки — Яну Альфреду Щепаньскому (в настоящее время — театральный критик). Письмо это, страстное и бескомпромиссное, как все, что создано Щукой, я привожу в отрывках. Глубокие, значительные раздумья кое-где замаскированы в его письмах иронией: Щука опасался дешевого пафоса. Несмотря на все свое восхищение создателем поэмы о Ленине, он избегает суперлативов, а иной раз прибегает к шутливой форме — прием, достаточно хорошо известный и самому Маяковскому. Вот что пишет Щука о первом впечатлении от встречи с Маяковским:

«Маяковский — очень милый человек. Огромный (6 английских футов), голос изумительный, никогда не слыхивал такого оратора. Очень прост и интеллигентен. Жесткий и резкий в «подозрительном» обществе, открыт и дружелюбен с товарищами.

Самое высшее его достоинство заключается в том, что он — настоящий и искренний аккумулятор революции — выразитель классового мировоззрения... В Польшу предложил ему приехать «Блок»[4]. Никому не пришло в голову лишить нас «чести» принимать его: люди здесь боятся «общественного мнения» — иначе говоря, полицейского кнута и того, что их оттолкнут от денежной кормушки. Маяковскому наносились оскорбления, о чем я потом расскажу.

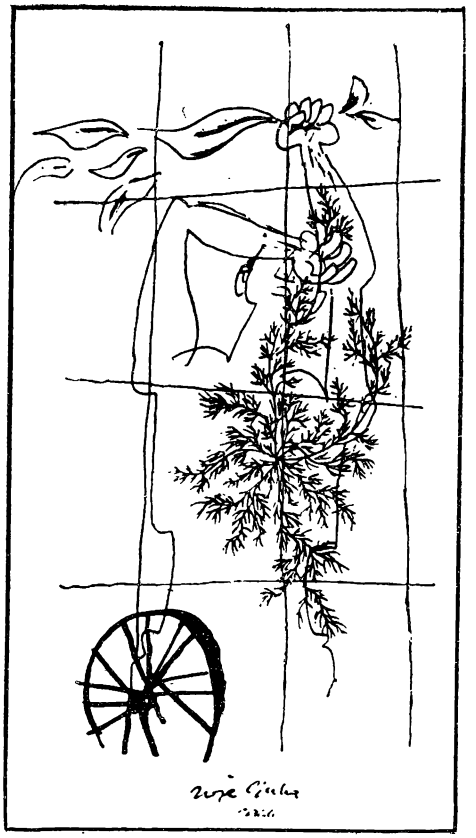


Иллюстрация югославского художника Йоже Цухи к поэме Маяковского «Облако в штанах».

...Шутки в сторону: прочитанный Маяковским «Ленин» — вещь потрясающая. Те, кто почувствительнее,— прослезились. Я толстокожий, но тут, признаюсь, проняло.

...Влодек (Броневский) сказал Володе, будто бы он (Маяковский) пишет свои стихи кровью. На это Володя вытащил вечное перо и, демонстрируя этот полезный инструмент, заявил, что вовсе не кровью, а чернилами.

Остальное расскажу при встрече».

«Сегодня, — продолжает далее Щука,— обнародованы результаты голосования в городской совет. И оказалось, что, несмотря на аннулирование избирательных списков коммунистов и на отсутствие какой бы то ни было агитации, из 480 000 избирателей 65 000 голосовало за коммунистов. Прибавьте тех, кто, не видя реальной пользя для себя в голосовании, для одной лишь демонстрации

отдал свой голос за ППС, Бунд и т. д., прибавьте также молодежь, и окажется, что фактически в Варшаве более 100 000 человек, или десятая часть населения,— сторонники коммунистов!»

Зачем я привожу эту информацию? Да потому, что она объясняет, почему Маяковский, публично выступавший в Берлине, Праге и Париже, в Варшаве воздержался от публичных выступлений. Приезд поэта в Польшу совпал с выборами в Варшавский городской совет, его выступления могли вызвать антибольшевистскую демонстрацию хулиганья из крайних националистических группировок и, таким образом, неблагоприятно сказаться на ходе выборов. К тому же можно было ждать репрессий со стороны полицейских властей, которые могли объявить поэта persona non grata и потребовать его выезда [5]. Поэтому Маяковский придавал большое значение встречам с близкими ему людьми.

Второй документ — воспоминания директора театра Генрика Цудновского. Этот человек не имел ровно никакого отношения к поэзии и современному искусству, зато был одним из тех фанатиков-энтузиастов старого закала, для которых весь мир заключен в стенах театра.

Этот самый Цудновский за несколько лет до смерти (17/IX 1960) вручил мне свои воспоминания о Маяковском с просьбой удостоверить их точность. Вот они:

«В мае 1927 года я шел как-то ночью по Варшаве, ища какой-нибудь ресторан. На углу улиц Згоды и Шпитальной я увидел ресторан «Згода» и вошел в него. Там было полно народу. Я осмотрелся — нет ли места — и тут заметил столик на двоих, за которым сидел известный поэт Анатоль Стерн, в свое время выступивший на вечере поэзии вместе со своими друзьями Ясенским и Чижевским в снятом мною театре на Кринице.

Анатоль Стерн пригласил меня к столику и сердечно представил по-русски сидевшему там же высокому мужчине. Мы пожали друг другу руки.

— Великий Маяковский, крупнейший советский поэт,— сказал Анатоль Стерн.

Фамилию эту я слышал, хотя о том, что поэт этот — один из самых выдающихся художников своего времени, впервые узнал от Стерна.

Во время ужина Маяковский вел оживленную беседу со Стерном о роли сатиры и юмора в поэзии. Потом заговорили о другом, между прочим затронут был вопрос о смерти Есенина; заметно было, что Маяковский глубоко взволнован этим разговором.

Советский поэт поинтересовался, откуда я знаю русский язык. Я рассказал, что с конца 1914 года до революции 1917 года был в России. Сперва — в лагере для военнопленных в Дарнице (близ Киева) как солдат австрийской армии. Там, поскольку я неплохо играл на фортепьяно, мне велели играть в кино для солдат, а потом генерал Жильбер, услышав мою игру, велел перевести меня в офицерское кино в Житомир. Оттуда спустя некоторое время, в результате брусиловского наступления, часть штаба армии юго-западного фронта была эвакуирована, а другая часть штаба очутилась в Тарнополе, где мы пребывали до самой большевистской революции, свидетелем которой я был.

Маяковский слушал с большим интересом. Потом разговор перешел на другие темы и продолжался до самого утра. Мы вышли, Маяковский и Стерн тепло

«Маяковский для Мексики был метеором по краткости своего пребывания и ослепительности своего гения. Но свет этого метеора не угас в нашей стране — он озаряет нас всех и сегодня... он принадлежит и нам, потому что его гений породил расцвет многих мексиканских талантов.

Он вызывал восторженную любовь тех, кто его видел. Его изумительный голос и необычайная звучность его стихов пробуждали безграничный энтузиазм рабочих и крестьян, которым удалось слышать, как он их читал. Позже «Левый марш» превратился в гимн и боевую песню трудящихся».

ДИЕГО РИВЕРА (Мексика)

...голос его долетает
до африканских саванн.
И под звуки тамтама
с удивительной силой звучат
«Левый марш»,
и «Мистерия-буфф»,
и поэма о днях Октября —
«Хорошо!
Хорошо!
Хорошо!»

ГАУСУ ДИАВАРА (Мали)

«Маяковский подобен могучему дереву, пустившему корни в сердцах нашей латиноамериканской молодежи. Его поэзия как молния, как неугасимый огонь в нашем сознании».

ЭЛЬВИО РОМЕРО (Парагвай)

попрощались со мной. Эта столь памятная для меня ночь до сих пор живет в моем сердце».

Самое важное в этих воспоминаниях — свидетельство Цудновского о моем разговоре с Маяковским, темой которого была роль сатиры, а затем его стихотворение «Сергею Есенину». Я не скрывал от Маяковского, что больше ценю его сатирический гротеск, чем сатиру публицистическую: последняя всегда казалась мне разновидностью «общественного служения». Именно так я ответил на вопрос Маяковского, почему в том его избранных произведений мною включены в основном лишь произведения в жанре гротеска. Маяковский возражал мне, но закончил этот разговор весьма обтекаемым утверждением, что просто, мол, существует два рода сатиры. Поскольку верность такого определения была очевидна, наш разговор сам собой исчерпался.

Особенно важной представляется мне наша беседа с Маяковским о его стихотворении, навеянном самоубийством Есенина.

Не скрою: в то время когда происходил наш разговор, я не был поклонником этого стихотворения. Иначе думал я раньше, сразу же после смерти Есенина. Тогда мне были близки те предпосылки, которые склонили Маяковского провозгласить свое поэтическое обвинение самоубийце. Со временем, однако, я изменил свою точку зрения: жестоким показался мне этот приговор (пусть даже провозглашенный во имя самых высоких идеалов) поэту, который не сумел справиться с раздирающими его противоречиями — противоречиями его личности и эпохи.

И когда я в «Вядомостях литерацких» 3 июля 1927 года (уже после отъезда Маяковского) опубликовал свою статью «Во власти черного человека», в статье этой я стремился лишь к одному: объективно раскрыть причины трагедии погибшего поэта.

Именно об этом мы и толковали с Маяковским в варшавском ресторане в мае 1927 года.

Я не в состоянии повторить всего, что говорил автор «Облака в штанах», однако хорошо помню тон его высказываний и их смысл. Да, поэт отстаивал мысль, выраженную в стихотворении «Сергею Есенину». Подчеркнул, как не раз это делал, что не в человеке тут суть, а во вредном влиянии, в нигилистическом отношении Есенина к жизни, к обязанностям гражданина Советского Союза. Маяковский считал, что автор «Пугачева», имевший колоссальное влияние на молодежь своей страны, подрывает социалистическую мораль, самовольный уход из жизни превратил его личную судьбу в миф, травмировавший сознание многих молодых людей.

Как-то я листал журналы 1927 года, в которых рассказывается о приезде великого поэта в Польшу. В одном из них («Хвиля» от 29 мая 1927 года) корреспондент просит Маяковского поделиться с ним впечатлением, которое произвели на него польские поэты. Маяковский ответил:

Иллюстрация чехословацкого художника Вацлава Машки к поэме Маяковского «150 000 000»

«Очень многие выдающиеся польские писатели превосходно знают русский язык и русскую литературу. Между ними я встретил несколько очень мне близких, таких как Броневский и Стерн...» Слова эти широко известны, однако я повторяю их. Не без чувства некоторого смущения, но все-таки повторяю. Почему? Чтобы убедить самого себя, что я был знаком с личностью легендарной. Что я был знаком с гением и говорил с ним, как сейчас с вами. Он был полон противоречий, знал нелегкую цену счастью, за которое боролся, но ничто не могло заставить его свернуть с намеченного пути. Человек этот изведал немало горечи и страданий, и поэтому я до боли любил его, так же как любили его на заре их дружбы Борис Пастернак, Юрий Олеша и многие другие.

И уж коль скоро названо это последнее имя... Когда я вспоминаю минуты, проведенные с Маяковским в Варшаве, я вижу его лицо таким, как описал его Олеша,— «грустным, страстным, вызывающим бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В 1927 году Маяковский совершил свою очередную поездку на Запад — в Германию, Францию и впервые в славянские страны — Польшу и Чехословакию. В Варшаве он был 15—17 апреля, проездом в Прагу, и на обратном пути в СССР пробыл с 12 по 22 мая. С этой поездкой связаны очерки 1927 года: «Ездил я так», «Наружность Варшавы», «Поверх Варшавы».

[2] Интервью с Маяковским редактора еженедельника «Польска вольность» 22 мая 1927 года см. в Полн. собр. соч. Маяковского, М., ГИХЛ, 1961, т. 13, стр. 236—239.

[3] Интервью с Маяковским напечатано в «Хвили», Львов, 29 мая 1927 года. На вопрос сотрудника «Хвили»: «Скажите, пожалуйста, какую роль играет сейчас поэт в России?» — Маяковский ответил: «Важнейшую. Он является учителем народа, воспитателем его ума и совести». Маяковский назвал среди польских писателей «несколько очень мне близких, таких как Броневский и Стерн, узнал, что они переводят нашу поэзию», и высказал пожелание, «чтобы польские писатели побывали у нас. Я — первый советский поэт, который посетил Польшу официально. Мы сделали первый шаг. Ждем ответного визита».

[4] «Блок» — объединение левых польских деятелей литературы и искусства. «Я приехал в Варшаву,— пишет Маяковский в очерке «Поверх Варшавы»,— по приглашению «Блока» (левая писательская организация) и ПЕН-клуба («Клуб пера», имеющий разветвления по всей Европе, объединяющий маститых, положительных и признанных). На вокзале меня встретили и приветствовали чиновник министерства иностранных дел, друг Вандурский и еще несколько писателей «Блока». ПЕН-клуб, очевидно убоявшись своего революционного приглашения, встречать не пришел, а, кажется, сидел в это время и надрывался в дебатах, что же ему теперь, собственно говоря, со мной делать. Вызвали духа, да еще какого революционного». (Маяковский, Полн. собр. соч., М., ГИХЛ, 1958, т. 8, стр. 349).

[5] В очерке «Ездил я так» Маяковский пишет об этом: «Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы.

Список коммунистов аннулирован.

...Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это ни к чему».

Приводим высказывания о Маяковском двух других польских поэтов, упоминаемых в его очерке «Наружность Варшавы»: Юлиана Тувима — автора перевода поэмы Маяковского «Облако в штанах», сделанного еще в 1923 году, и Витольда Вандурского.

Юлиан Тувим (1894—1953) так писал о Маяковском:

«Поэтическое потрясение, которое я испытал, впервые читая Маяковского, можно сравнить только с незабываемым потрясением от грохота и зрелища неба, раздираемого молниями. Мятеж, переворот, гром, пламень — все ново, беспрецедентно, чудесно, поразительно, революционно...

Ощущение, будто в поэзии, в плане художественного перелома, возникло что-то гигантское...

Чего, к моему огорчению, не помню, так это процесса своей работы над переводом «Облака в штанах»... Помню только, что я переводил этот захватывающий «триптих» с восторгом, в каком-то озарении, что я с трудом преодолевал каждую строфу, как тяжелый груз...

Я находился на новой поэтической планете — что ни час, то оглушенный взрывами неведомых до сей поры потрясений и восторгов...

Я долго боролся с «Облаком», а когда перевод был закончен, я сразу начал его популяризировать на моих авторских вечерах, которые тогда происходили часто.

Великолепное творение поэта, тогда еще неизвестного в Польше, молодежь награждала бурными аплодисментами.

В отдельном издании мой перевод вышел лишь в 1923 году».

Поэт Витольд Вандурский (1891—1937), «поэт и работник театра», который, как пишет о нем Маяковский, «ведет свою работу, несмотря на запрещения спектаклей, разгромы декораций и т. д.» и одно время «начинал каждое действие прологом из моей «Мистерии-буфф» («Ездил я так»), вспоминает:

«За все время пребывания Маяковского в Варшаве за ним нахально следила целая шайка сыщиков.

...Запланированные лекции и авторские вечера Маяковского не состоялись, так как их категорически запретили городские власти Варшавы. Вероятно, по той же при-

---

«Был... поэт-гигант, голос которого поразил меня,— Маяковский. Среди одряхлевших поэтических систем, с их классификацией рассветов и сумерек, раздался его голос, подобный молоту строителя. Поэт находил в сердце коллектива силу для новых мелодий. Нежность и ярость замечательного советского поэта остаются поныне высочайшим образцом нашей поэтической эпохи. Он, а не творцы развлекательных попурри, был отныне собратом моим по искусству. О нем я не раз вспоминал в окопах республиканцев у стен осажденного Мадрида в дни боевого моего крещения».

ПАБЛО НЕРУДА (Чили)

«Трудно мне осознать, проанализировать и описать потрясающее впечатление, какое на меня произвело первое знакомство со стихами Маяковского... Потрясение от поэзии, которое пережил я, впервые читая Маяковского, можно сравнить только с впервые пережитым волнением от голоса и вида разорванного молниями неба.

Вихрь, переворот, гром, пламя — все новое, беспрецедентное, чудесное, тревожное, революционное.

Строфа — революция, рифма — революция, образы — революция. Меня заполнило чувство, что в поэзии случилось что-то огромное по своему значению, художественный перелом».

ЮЛИАН ТУВИМ (Польша)

«Жгучая жизнь Маяковского — живой урок для всех революционных писателей».

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА (Аргентина)

чине не состоялась намеченная экскурсия Маяковского в Лодзь, город, который Маяковский очень хотел посмотреть, зная, что там находятся сплоченные рабочие массы. Маяковскому запрещено было покидать пределы Варшавы.

...Приблизительно за два дня до его отъезда в Москву мы встретились с ним в одном частном доме. В узком кругу людей, связанных общей идеологией и симпатией к революционному искусству, Маяковский вел себя совсем иначе, чем на банкете в «Астории». Нас было немного — человек пять-шесть. Маяковский был прост и сердечен. Это была та простая сердечность, внешне грубоватая и стыдливая, прелесть которой имели возможность узнать только друзья поэта. Маяковский спрашивал нас не только о положении в литературе, но и о нашей собственной работе, о планах на будущее. Потом читал много, очень много стихов. Самое большое впечатление произвел тогда на меня отрывок из поэмы о Ленине, в котором поэт дает сжатую, конденсированную, крайне напряженную картину похорон вождя.

Мы сердечно расцеловались с Маяковским. Даже Щука расчувствовался и признался, что отроду не слышал более сильного эпического произведения. Мы расстались очень тепло, ночью, провожая друг друга по улицам Варшавы...»

ГУГО ГУППЕРТ

В двадцатых годах в Германии и Австрии, как, вероятно, и в большинстве стран Западной Европы, круги демократически настроенной интеллигенции знали Маяковского не как автора определенных поэтических произведений, а как живого, активного участника русской революции. Гораздо позднее в газетах появились случайные и по большей части довольно слабые переводы отдельных стихотворений Маяковского — «Приказа по армии искусств» и «Левого марша». Вольные переводы Ивана Голя прошли незамеченными [1], непритязательный в литературном отношении перевод пьесы «Мистерия-буфф», сделанный в Москве Ритой Райт для постановки в цирке, нигде напечатан не был [2], а сугубо экспрессионистическое переложение поэмы «150 000 000» И. Бехера (1924 г.) давало отдаленное представление как о форме, так и о содержании оригинала. Таким образом, у нас тогда не было ясного представления о творчестве Маяковского, но мы все чаще и чаще слыхали его имя. Поэт революции, полный искрометного задора и кипучей энергии, глашатай народных масс, стоявший «на сторожевой вышке партии» *, чтец, правофланговый Красной Армии — таким проходил он, как буря, по вздыбленным революцией городам России, сбивая все старые поэтические вехи, ломая все старые мерки. У нас он пробудил жгучий интерес, зажег в нас новые мысли. Своеобразное влияние личности поэта, участвующего в создании истории, далеко опередило влияние его творчества, и это было очень показательно.

Летом 1928 года, во время Шестого конгресса Коминтерна, когда я впервые познакомился с Маяковским и рассказал ему об этом его поразительном «внелитературном» влиянии, так широко распространившемся повсюду, он совсем не удивился.

— Чего же вы хотите! — сказал он не без гордости.— Это совершенно в порядке вещей. С семнадцатого года русская действительность перекрывает лучшие русские стихи!..

...Жаль, очень жаль, что Германия — не то что Франция — всегда была для меня только транзитной станцией, и к тому же не особенно удобной,— сказал Маяковский, подчеркивая последнюю фразу, когда я упомянул в разговоре про доклад о советской литературе, который мне довелось слушать в Берлине в 1927 году в зале бывшей прусской Палаты господ: Горький, Федин, Гладков, Эренбург, Лидин, Всеволод Иванов, Огнев и Сейфуллина уже могли непосредственно и сильно влиять на читателя, так как их книги были переведены на немецкий, тогда как Маяковский был только принят на веру и оказывал влияние на немецкие умы силой своей биографии, славой своего имени, которое в известном смысле стало примером для подражания.

Знаю, знаю,— сказал Маяковский,— там я изолирован сильней, чем где бы то ни было, сказывается мое проклятое незнание языков.

Даже его личное присутствие в Берлине не могло исправить это грустное положение — все его выступления и встречи проходили почти исключительно в среде советской колонии, во всяком случае, в среде знающих русский язык.

Я рассказал поэту, как руководитель издательства «Малик» Виланд Герцфельде жаловался мне в Берлине в 1927 году: «Маяковский, как видно, абсолютно не поддается переводу! Просто вопиющее безобразие!»

«Всю жизнь я завидовал художникам и музыкантам,— признавался Маяковский,— их язык не нуждается в словаре, они не зависят от переводчиков. С переводчиками— всегда мученье. А без них— форменное проклятие!»

[1] См. примечания на стр. 221.

* Цитата из стихотворения известного немецкого поэта Георга Гервега. *(Прим. автора.)*

Это звучало не очень лестно для переводчиков, но вместе с тем и как-то необидно. Видно было, с какой настоящей болью относится он к судьбе, которая лишает его, непревзойденного поэта-интернационалиста, непосредственного и быстрого воздействия на весь остальной мир, о чем он всегда мечтал.

Примерно так завязался один из моих двух длинных разговоров с Маяковским — оба раза мы встречались в Доме печати, на Никитском бульваре, в 1929 году.

...Разумеется, я старался не пропускать ни одного выступления Маяковского.

Когда перед нами вдруг вырастала его фигура, слышался его голос, у нас начинало колотиться сердце. Маяковский выходил на эстраду с такой непосредственностью, с такой готовностью, будто он — у финиша эстафетного бега. Меня целиком захватили эта простая по-человечески, без романтической приподнятости, естественная манера, почти металлически четкие, напористые движения, чеканный жест. Слушателя и будоражила, и вместе с тем как-то успокаивала атмосфера уверенного спокойствия, деловитости и здоровой силы, которая исходила от Маяковского, когда он стоял на эстраде.

Всегда он как будто приносил с собой невидимый мешок с самыми неожиданными вещами и без всяких фокусов высыпал их на стол перед залом. Причудливые плакаты, объявлявшие о вечерах Маяковского загадочным лабиринтом заголовков, обещали гораздо меньше, чем оказывалось на самом деле. Выступление Маяковского словно лавиной обрушивалось на публику, захватывало, уносило ее за собой — и в этом полном контакте возникал водоворот страстей, буря перепалок, споров и столкновений. А когда Маяковский переходил от разговоров к чтению стихов, и, словно боец из-за брустверa, выходил из-за стола, из-за кафедры, и, широко расставив ноги, в почти монументальной позе, «гремел», плавно жестикулируя одной рукой, засунув другую в карман, у меня неизменно возникало чувство, будто я присутствую на уличном выступлении вдохновенного народного барда. Он читал почти все свои стихи наизусть, не спуская глаз с аудитории. Никогда он не повторялся, ни в одном стихотворении у него не было застывших раз навсегда интонаций. Он был настоящим «солистом» своих вечеров. Сознательно он вызывал в публике действенную поддержку. Если слушатели не реагировали, он подстрекал, будоражил их. Зал для него не был просто объектом, аудиторией. К каждой новой публике он обращался по-особому, индивидуально. Он приспособлял свою программу к «профилю» слушателей, как хороший воспитатель. Организатор поездок Маяковского П. И. Лавут рассказывал мне однажды, с какой чуткостью поэт составлял программы каждого выступления. Перед посещением города, района, зала, где он раньше не бывал, Маяковский всегда справлялся о предполагаемом составе слушателей: придут ли рабочие, из какой отрасли производства, есть ли студенты, работает ли литературный кружок. Эта «оперативная» способность приноравливаться к аудитории соответствовала его необычайной находчивости в дебатах. Меня всегда поражала молниеносность его великолепных и метких ответов. Никогда я не видал, чтобы он, выйдя из себя, разил обидчика его же оружием. Правда, он мог резко, подчас

«Искусство поэта нынешнего дня должно быть орудием, схожим с листовкой, памфлетом или плакатом. Если мы сумеем соединить с классовым содержанием поэмы красоту формы, если нам удастся воспринять урок Маяковского, мы сможем создать великую революционную и человеческую поэзию, достойную тех духовных ценностей, на защиту которых мы должны встать».

ЖАК РУМЕН (Гаити)

«Маяковский — самый смелый поэт революции и человечества. Его значение велико не только для Советского Союза, но и для всего мира. Он как пламя, факел, который осветил дорогу революции».

КАЗИМ АС-САМАВИ (Ирак)

«Маяковский, клянемся быть верными твоей памяти, клянемся следовать твоему светлому примеру; если же мы нарушим эту клятву, пусть народ и поэт призовут нас к ответу».

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН (Аргентина)

«Владимир Маяковский, может быть, самый большой русский поэт, созданный в последние годы революцией. Поэт революции. Без революции он едва ли бы открыл простор для стремительного полета своих ритмов...»

ГЕО МИЛЕВ (Болгария)

«Маяковский учит нас всех, писателей и поэтов, как превратить искусство в орудие пролетариата для строительства социализма».

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)

грубо, парировать какой-нибудь личный выпад, но всегда он целил в глупость или наглость, которые надо было отбить, а не в личность самого противника. И если его ответ мог показаться несдержанным и даже грубым, все же никогда он не переходил какой-то внутренней границы пристойности.

Но тот, кто ожидал, что и в личном общении сила Маяковского выльется в такое же громыхание, тот плохо представлял себе сущность этой силы. Меня поразила и очаровала неописуемая предупредительность, теплота, почти «уютность» Маяковского в частной жизни, сердечная простота и глубокая чуткость в обращении с собеседником. Он покорял этим редчайшим качеством — ласковостью сильного человека. Тут сказывалась его человечность, его ум — они всегда лучше выражаются в полутонах, чем в громогласных фразах. Тоном смягчающей иронии одевал он свои излюбленные веселые гиперболы — он охотно прибегал к ним в разговоре. Никогда раньше мне не приходилось встречаться с человеком, который мог так заразительно действовать на окружающих. Его манера говорить, его пытливый взгляд, его умная улыбка — все вызывало у собеседника тысячи выдумок, мыслей, новых откровений. Чувствовалось, что ты находишься в магнитном поле его ощутимой мозговой работы. И тебя не покидало впечатление, что он — поэт с неожиданно разветвляющимися образными ассоциациями — опирается на реальные знания, которые он никогда не выставляет самодовольно напоказ. Он не был «цитатчиком», редко ссылался на прочитанные книги или на известные авторитеты в искусстве и науке. Но при этом чувствовалась его осведомленность в этих вопросах. Сквозь все его существо, если можно так сказать, просвечивал тонкий и точный, насыщенный знаниями ум. А какая необычайная изобретательность была в нем! Как он умел подойти к каждому явлению, открыть в нем новые, неожиданные стороны — и все это без насилия, без коверкания реальных представлений, без «умничанья». По всей Москве ходили его фразы и остроты, настоящие жемчужины, подхваченные кем-нибудь у Маяковского.

И в частной беседе он оставался сатириком, но не производил впечатления злого или ядовитого. Самый робкий собеседник через пять минут терял всякий страх, не боясь остаться неприкрытым, — ведь Маяковский в личном общении был по большей части доброжелателен, человечен, мягок. Его убийственная ирония, его сарказм — это грозное оружие классового бойца — пускались в ход только тогда, когда на это его вызывал политический противник. Он ненавидел беспредметную самодовольную манеру играть остротами, как шпагой,— удел присяжных остряков.

Если меня спросят, какая черта всего

сильней, всего выразительней определяла облик Маяковского, я безоговорочно буду утверждать: неотъемлемая моральная целостность и чистота. Когда вы пожимали его большую, сухую, но совсем не жесткую руку, когда его взгляд становился внимательным и зрачки чуть расширялись, когда после первых, как бы прощупывающих интонаций он находил самые прямые слова, словно геометрически кратчайший подход к собеседнику,— вокруг чувствовалась та свежесть и чистоплотность, та атмосфера искренности и доверия, которая раскрывает сердца. А когда удавалось проникнуть глубже в его работу и его жизнь, почувствовать их полную безоговорочную созвучность, тогда создавалось ощущение — нет, не ощущение — твердая уверенность, что человек чистый — человек абсолютной чистоты! — стал достойным певцом русского Октября. Только он сумел осуществить редчайшее слияние революции с поэзией. Только он впервые сумел сделать социализм таким личным, таким кровным делом поэзии. И только позднее, после смерти Маяковского, мне стало ясно: в нем я встретил уже оформившегося человека будущего, законченного представителя коммунистической морали.

Прежде чем перейти к рассказу о той вечерней встрече в 1929 году в Доме печати, которая особенно живо сохранилась в моей памяти, я хотел бы привести обрывки воспоминаний, относящихся к 1928 году.

Прежде всего помнится встреча летом — как будто в артистической при Политехническом музее, во времена жестоких диспутов между «конструктивистами» — приверженцами Ильи Сельвинского и «лефовцами» («Лефом» назывался «Левый фронт» — группа литераторов, объединявшихся вокруг одноименного журнала, редактором которого был Маяковский). В Москве еще бушевала дискуссия вокруг поэмы «Хорошо!». Меня познакомили с Маяковским незадолго до этого. От переводчика он узнал, что я сам пережил венские события в июле прошлого года, присутствовал на стихийных и грозных массовых демонстрациях перед парламентом, видел уличные бои, видел, как жгли Дворец юстиции — здание времен Франца-Иосифа, ставшее ненавистным символом фашистского зайпель-шоберовского классового «правосудия». Маяковский живо интересовался подробностями этих двух кровавых дней, ему хотелось побольше узнать о национальных чертах австрийского рабочего[3].

Мне пришлось рассказать ему о бочках с цементом, катящихся по Стадионгассе, о баррикадах у Парка ратуши, о стрельбе на Рингштрассе, о предательском поведении австрийских «марксистов» — Карла Реннера и Отто Бауэра; на моих глазах Отто Бауэр вместе с Юлиусом Дейчем подкатили на пожарной машине к горящему зданию Дворца юстиции, и, пока пожарные старались потушить пожар, лидеры-соглашатели пытались залить водой речей революционное негодование рабочих масс.

— Этот огненный день я описал в финале Октябрьской поэмы,— сказал Маяковский.— Вы знаете это место:

В газету
глаза:
молодцы — вéнцы!
Буржуям
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут.

«Как поэт я преклоняюсь перед Маяковским, которого считаю величайшим поэтом современности. Творчество Маяковского — это первая ракета, запущенная в небо поэзии».

РЕНЕ ДЕПЕСТР (Гаити)

«В нас во всех будет жить Маяковский, как жизнь, как свет, как поборник жизни и мира».

МАРИЯ МЕЙЕРОВА (Чехословакия)

«Сильнее всего из современной поэзии воздействовала на меня революционная русская поэзия. Маяковскому я обязан окончательным разрывом с символическим старьем и отношением к слову, как к оружию борьбы...»

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ (Польша)

«Поэзия Владимира Маяковского служит примером того, каким должен быть народный писатель. В его творчестве каждая личная тема поднимается до общественного значения и общественная тема решается как личная».

АБДЕРРАХМАН АШ-ШАРКАВИ (Египет)

«...Великий перелом наступил в поэзии с Октябрьской революцией. Из ее пламени вырос гений Маяковского. Он поднял знамя гражданской поэзии, связанной с борьбой пролетариата, повел за собой наиболее талантливых поэтов эпохи. С тех пор как стоит мир, никто не оказывал такого мощного и широкого влияния на характер мировой поэзии».

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ (Болгария)

Ну как вам, венцу, это нравится? — спросил он, прочтя эти строки громким голосом. И продолжал: — Великолепно описали в одной газетной корреспонденции, как из окон на улицу летели горящие папки с делами. Замечательный образ: пламя листает тома несправедливости! Это надо бы увековечить. Не уступает штурму Бастилии. Или я слишком далеко хватил?

Я думал,— сказал он, улыбаясь,— что после этого пожарища ваш прелат потребует отставки и предсмертного причастия.

— Нет,— пошутил я,— держится за жизнь, как все больные сахарной болезнью.

— Но даже набожным австрийцам осточертело их церковное государство! — сказал он.— Они рассмотрели навозных мух этого режима при свете пожаров. Великолепная тема!

...Я рассказал тогда о ряде сцен, написанных мною совместно с Лео Кацем (не без влияния «Мистерии-буфф») для праздновавшегося в Вене десятилетия Октября; туда вошел и гимн июльским событиям.

— Их ставили на сцене? — спросил Маяковский.

— Да, дважды.

И я описал оба праздничных представления в переполненном концертном зале при участии актеров, рабочих, студентов; рассказал, какой вой подняла реакционная пресса и как полиция запретила третье представление.

— А я-то представлял себе Вену совсем неправильно — думал, старина... вальсы, мишура... Главный герой — капельмейстер во фраке, играет на скрипке в ресторане. Своим стихом прошу прощения у венцев!..

Весь сезон 1928/29 года я постоянно бывал на всех выступлениях Маяковского в Москве и особенно внимательно следил за печатавшимися в «Комсомольской правде» публицистическими его стихами — суровая, но полезная школа языка, в которой даже толстый русско-немецкий словарь И. Павловского мало чем мог мне помочь!

Иногда я встречал Маяковского в Доме Герцена, здоровался с ним. Встречались мы и в Федерации писателей, и в профкоме. В феврале благодаря членскому билету «Союза работников печати за рубежом», выданному мне в Вене, мне удалось получить стоячее место на премьеру «Клопа» — все билеты были распроданы. И вот как-то вечером после ужина я встретил Маяковского в столовой Дома печати. Он, видно, устал, но настроение у него было хорошее, разговорчивое.

Присутствие моего добровольного переводчика, которому теперь приходилось только изредка вмешиваться и помогать, навело нас на тему «искусство перевода». Маяковский тогда и сказал шутливую фразу о зависти к музыкантам и художникам, которую я привел выше, но я чувствовал, что он всерьез огорчен невозможностью решить эту жизненно важную для него проблему.

Иллюстрация немецкого (ГДР) художника Макса Швиммера к стихотворению Маяковского «Левый марш».

Тогда я еще не знал его высказывания о том, что «жаль Европу», которая из-за трудностей перевода не может наслаждаться советской поэзией, и что «это тем более грустно, что литература революции началась со стихов» [4].

— Вообще я всегда склонялся к мысли,— сказал он в тот вечер,— что корни моей поэзии неотделимы от русской почвы и, значит, мои стихи на всей остальной обитаемой части земли непереводимы. Вы спросите: почему? Да, это придется долго объяснять. Запад по уши влюблен в туманно-цветистую метафору, в музейный ямб, в гладко отполированную рифму. Для меня же все это — ужас и досада. Как же вы сможете мой растрепанный ритм, мои сталкивающиеся слова, разбегающиеся фразы, мою ругань и проклятия, марши и уличные песни, весь мой разговорный и революционный русский язык вырядить в чужую одежду? Я даже хотеть этого не могу, я даже не представляю, как это можно. Немецкого я не знаю, по-польски не го-

ворю. Но поляки — так мне по крайней мере кажется — благодаря близости их языка к нашему сумели приблизительно передать несколько моих вещей. Мне их читали в Варшаве. Их славянское звучание, их темпераментность мне понравились.

Тут я собрался с духом и стал излагать свои доказательства в пользу того, что немецкий язык — очень тонкая, очень благородная и гибкая среда для переплавки мировой литературы. Я цитировал Лютера, Гердера, Гёте, сослался на Томаса Манна, который совсем незадолго до этого писал: «Наш пластичный немецкий язык представляет собой настолько превосходный речевой материал для переводов, что при чтении немецкого текста какой-либо иностранной книги мы можем все-таки чувствовать себя в речевой атмосфере того языка, с которого сделан перевод» [5].

Мне показалось, что я не смог преодолеть сомнений Маяковского, но его забавляли мой пыл и моя серьезность. И тут я сразу выпалил признание, что давно ношусь с мыслью перевести его стихи на немецкий. И когда он удивленно и слегка насмешливо взглянул на меня и, будто удерживая меня от опасного покушения на его жизнь, взял меня за руки и шутливым шепотом пробурчал: «Берегитесь! Берегитесь!» — я встал и прочел вполголоса, но «по всем правилам искусства» первый вариант моего перевода «Левого марша». Лицо Владимира Владимировича от строки к строке становилось все серьезней. Он откинулся на спинку стула, слегка прищурил глаза, вертикальные морщины между бровями стали глубже, он слушал внимательно, повторяя вместе со мной после третьей и четвертой строфы: «Линкс! Линкс! Линкс!» («Левой! Левой! Левой!») Потом, не говоря ни слова, он встал, тяжело опустил обе руки мне на плечи и так ласково посмотрел на меня своими теплыми карими глазами, что я покраснел. Помолчав, он высказал свое суждение деликатно и вместе с тем непосредственно и прямо: «Кроме «линкс» и «Антанты» я ни единого слова не понял! Но вы не верьте ни одному человеку на свете, если вам скажут, что мои стихи нельзя переводить,— даже мне самому не верьте!»

Веселая улыбка тронула его крупные губы. Он прочел восторг в моих глазах и, улыбнувшись, продолжал: «Если вам это доставляет удовольствие — переводите! Я все авторизую. Мне это тоже нравится! А эти веселые строчки дайте мне, перепишите их, и обязательно на машинке!»

В следующий раз Маяковский встретил меня громким приветствием: «А-а, Гупперт, мой немецкий рупор-т! Ну, как земля и небо, еще держатся? У вас есть еще охота ломать об меня зубы? Ваша уверенность, товарищ, делает мне честь! Вы курите?»

На этот раз он особенно интересовался немецким стихосложением и метрикой, и, после того как я ему кое-что объяснил, он спросил, не изменил ли уж Гейне правилам классического стиха?

— Нет, серьезно,—сказал он,—на острове Нордернее мне показывали место, где сто лет назад Гейне изучал метрику морского прибоя [6]. А потом воспел Северное море в безрифменных стихах, в ритме и такте бури. Кстати, я там побывал в игорном притоне, где будто бы Гейне выиграл у русского дипломата, князя Козловского, целую гору золотых...

Маяковский советовал мне связаться с берлинским издательством «Малик», в

«Даже в переводе поражаешься гениальности Маяковского, он умен, парадоксален и эпиграмматичен, и все же у него настолько глубокое дыхание, что редко встречается у лириков. Он напоминает как Петефи, так и Уолта Уитмена; в своей длительности экстаза он превосходит все, что я знаю.

Его поэма «Ленин» — это высшее напряжение от первой до последней буквы. Простых слов он, кажется, не знает. Может быть, он производил бы еще более сильное впечатление, если бы кое-где снижал голос. Но эта движимая мощным пафосом поэма величественна».

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ (Дания)

«Наши поэты понимают: идти вперед — значит учиться у Маяковского. Это не значит писать, как Маяковский, но жить и работать, любить и ненавидеть, познать будущее, как Маяковский. Не переносить слепо поэтику Маяковского в нашу поэзию, но создать чешскую поэтику, чешское выражение борьбы за социализм. В этом смысле нельзя сейчас создать социалистическую поэзию, не учась у Маяковского».

СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН (Чехословакия)

«Маяковскому блестящим образом удалось показать в своих произведениях себя как свободную развивающуюся социалистическую личность... Чувство реальности дало ему возможность с огромной высоты, с высоты победившей революции, пересмотреть весь мир и поэтически открыть его вновь».

И. БЕХЕР (ГДР)

этом издательстве к нему хорошо относятся...— Золотые, правда, оттуда не посыплются,— добавил он,— «Малик» работает смело и быстро, но насчет гонораров там неважно... Сегодня я откровенничаю! — сказал он.— Если хотите знать,— я много думал о переводах. Меня увлекает, меня просто захватывает мысль приехать в Берлин с книжкой: Маяковский на немецком! Как будто немцы будут меня слушать? Вы говорите, будут? Молодежь — наверняка? А разве фашисты не собираются оболванить немецкую молодежь? Ну, как в прусскую башку влезть моим стихам? Нет, тут или такая башка треснет при столкновении, или вся моя поэзия пойдет прахом! Ну, ни пуха вам, ни пера!

...Я точно знаю, что Маяковский не очень серьезно отнесся к тогдашнему моему, не слишком отчетливому, предложению. Но при следующей встрече — на этот раз в Клубе писателей, в суете открытия его выставки «20 лет работы» — он весело окликнул меня:

— Ну, как дела? Растут мои саженцы, зеленеют?

Тогда же на вечере, в день открытия выставки, я впервые услышал, как он читал вступление к поэме «Во весь голос». Он читал его по рукописи, как символ веры, с резкими полемическими ударениями; мне показалось, что он странно возбужден, перенапряжен. Стихи разражались, как гроза. Я еще вижу потрясенный, до отказа наполненный зал, слышу восторги молодежи, окружившей его плотным кольцом, как будто надо было закрыть его своими телами, показать ему свою верность, защитить от надвигающейся опасности. Предчувствие трагического финала... Шел февраль 1930 года. Больше я никогда не слыхал Маяковского.

Я увидел его вновь в том же историческом доме, описанном Львом Толстым,— доме Ростовых с холодной Венерой Медицейской над лестницей вестибюля, в солнечный день ранней весны. Поэт русской революции лежал в зале, на высоком ложе, среди груды цветов, с закрытыми глазами, упрямый и бледный. Я встал в почетный караул. Календарь показывал 17 апреля. И когда я шел за черно-красным гробом через двор и вместе с толпой вышел за катафалком по зеленой улице Воровского, мое обещание павшему трибуну стало внутренней клятвой. И в тот час, не будь во мне потрясенной немоты, слова этой клятвы звучали бы так: Владимир Маяковский, наша тяжелая и благородная борьба за коммуну требует от меня не только преклонения перед твоим делом — надо сделать больше... И я даю тебе слово...

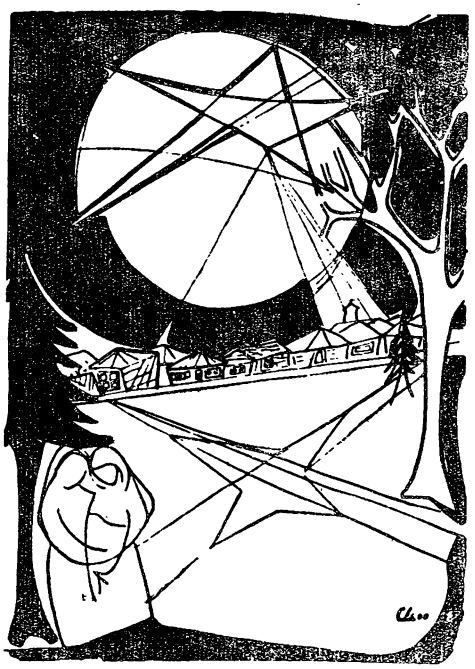


Иллюстрация бразильского художника Клео к книге Маяковского «Стихи».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Первые переводы Маяковского на немецкий язык принадлежали поэту-экспрессионисту Ивану Голю и опубликованы были в 1921 году в дрезденском журнале «Меншен» № 3.

[2] Спектакль «Мистерия-буфф» (перевод на немецкий язык Риты Райт) состоялся в честь делегатов Третьего конгресса Коминтерна 24, 25, 26 июня 1921 года в помещении Первого государственного цирка.

[3] Антифашистская демонстрация венских рабочих 15 июля 1927 года была организована по поводу вынесенного судом оправдательного приговора фашистам, убившим нескольких рабочих. Демонстранты бросились штурмовать министерство юстиции, полиция открыла по ним огонь. Предателями социал-демократами, во главе с О. Бауэром, начавшаяся всеобщая забастовка была сорвана.

[4] Из статьи Маяковского «Польскому читателю», написанной в виде предисловия к сборнику его избранных стихов на польском языке, вышедшему в 1927 году в Варшаве: «Переводить стихи — вещь трудная, мои — особенно трудная.

Слабое знакомство европейского писателя с советской поэзией объясняется именно этим.

Это тем более грустно, что литература революции началась со стихов.

...Переводить мои стихи особенно трудно еще и потому, что я ввел в стих обычный разговорный язык (например, «светить — и никаких гвоздей» — попробуйте-ка это перевести!), порой весь стих звучит, как такого рода беседа. Подобные стихи понятны и остроумны, только если ощущаешь систему языка в целом, и почти непереводимы, как игра слов». (Полн. собр. соч., М., ГИХЛ, 1959, т. 12, стр. 142).

[5] Из статьи Томаса Манна «Космополитизм».

[6] В Нордернее, на берегу Северного моря Маяковский жил в августе 1923 года.

МАЯКОВСКИЙ В КИТАЕ

Перевод с китайского и вступление Л. ЧЕРКАССКОГО

Впервые имя Маяковского прозвучало в Китае пятьдесят лет назад, а в 1929 г. читатели познакомились с первыми переведенными на китайский язык стихотворениями поэта: «Наш марш», «Необычайное приключение...» и «Рассказ про то, как узнал Фаддей закон, защищающий рабочих людей» Маяковского представил Китаю критик-коммунист Цюй Цю-бо, который в 1923 г. писал: «Революция стала его жизнью, он дышал ею, всего себя отдал он революции. Талант Маяковского был приведен в движение чудесным механизмом — новейшим мировоззрением... В истории послереволюционной русской литературы поэт занял весьма высокое место».

После Цюй Цю-бо о Маяковском писали поэты и критики, которым удалось познакомиться с его произведениями в оригинале или в переводах на другие языки, потому что китайских переводов почти не было. В книге «Русская литература» (1927) поэт Цзян Гуан-цы (в начале 20-х годов он учился в Москве) рассказал о русском футуризме и о Маяковском. «Когда мы читаем его произведения,— взволнованно писал он,— мы чувствуем их удивительную силу духа и безграничное мужество». В жизни и творчестве Маяковского по французским источникам пытался разобраться символист Дай Ван-шу, и оказалось, что «поэту дождливой аллеи» был вовсе не чужд поэт, «мечтающий сделать огненные свои стихи путеводителем грядущего мира». Позиция Маяковского, поэта и гражданина, стала позицией Пу Фэна и возглавляемого им «Китайского поэтического общества». В одной из статей, цитируя строки стихотворения Г. Гейне «К политическому поэту», Пу Фэн призывал собратьев по перу превратить стихи в оружие — так поступил Маяковский, провозгласив: «Наше оружие—наши песни». Тянь Цзянь в предисловии к сборнику своих стихов «Тем, кто сражается» страстно требовал от писателей в годину войны быть в гуще жизни, там, где труднее, где идет сражение,— так поступал советский поэт Маяковский.

Китайцы перевели темпераментное эссе американского революционного поэта А. Б. Магила, выпустили в свет в переводах с языка эсперанто истинного подвижника переводческого искусства Вань Чжи-сы первую книгу Маяковского «Во весь голос», несовершенную, с ошибками, но, быть может, чуть-чуть утолившую голод читателей.

Однако в 30-е годы писались и статьи, не принимавшие Маяковского, путаные, тенденциозные, вроде злобного пасквиля поэта Вен Ду-цина, но, к счастью, подобных публикаций было немного, а им противоположных становилось все больше.

В новом Китае, особенно в первую половину 50-х годов, поэзия Маяковского встретилась с широким читателем. В Китае вышло в свет более тридцати книг поэта; поэма «Владимир Ильич Ленин» отдельными изданиями выходила восемь раз, четыре раза издавалась поэма «Хорошо!». В 1957—1960 годы было осуществлено издание «Избранных сочинений» Маяковского в пяти томах, как бы подводившее итоги всей проделанной за многие годы работе. Печатались статьи китайских литературоведов о Маяковском и переводы работ советских исследователей.

Китайские литераторы с благодарностью и любовью писали о глубоком воздействии личности и творчества Маяковского на революционную литературу Китая, на молодое поколение страны. «Стихи певца социалистической революции — «бомба и знамя»,— говорил поэт Юань Шуй-по,— открыли передовым поэтам Китая новые пути творчества». Литературовед и переводчик Цао Цзин-хуа писал: «На протяжении длительной и жестокой борьбы китайский народ слышал вдохновляющий голос поэта: «Мы с вами, китайцы!»

В начале 60-х годов деятельность по переводу и изучению Маяковского резко сократилась, а в канун «культурной революции» прекратилась вовсе. Нечего и говорить, что в последующие годы, вплоть до настоящего времени, имя Маяковского находится под запретом, а его книги не найдешь ни в библиотеке, ни в книжном магазине.

В 1963 г. в некоторых статьях была предпринята попытка фальсификации творчества поэта путем выдергивания из текстов отдельных строк и цитат и «своеобразной» их интерпретации, в полном соответствии с маоистскими концепциями. Так пекинские руководители отметили семидесятилетний юбилей поэта!

Победоносное шествие поэзии Маяковского по свету — реальность наших дней. Стих революции горлана-главаря пришел в Китай более сорока лет назад учителем жизни и поэзии, и, конечно же, он вернется вновь к «сотнемиллионному рабочему Китаю».

Стихотворения, публикуемые в журнале, посвящены Маяковскому. Они принадлежат поэтам среднего поколения — Янь Чэню, Гэ Би-чжоу и Ли Ину, чье творчество, в пору их активной работы в 50-е годы, было близко Маяковскому гражданственностью, глубокой озабоченностью всем, что делается в Китае и во всем мире, верностью боевым традициям. Заметим, что некоторые китайские поэты простодушно считали, что следование Маяковскому, восприятие его художественных принципов — это прежде всего копирование «лесенки», ораторской интонации, стилистических приемов.

Чаще, однако, китайские поэты, испытавшие плодотворное воздействие Маяковского, умело сочетали новую форму с высоким идейным содержанием и настоящей

поэтичностью, в исканиях своих опираясь на прекрасные традиции отечественной литературы.

Любопытно, что стихи, посвященные Маяковскому, китайские поэты из особого пиетета считали необходимым не только писать в форме «лесенки», не только приближенно к Маяковскому по интонации, но иногда и заимствовать его лексику, образы, целые строки, как это сделал Ли Ин в «Песне наших сердец», даже если авторы (это относится и к представленным в журнале) обычно пишут в рамках чисто китайской поэтики.

ЯНЬ ЧЭНЬ

Ты в какие ушел края?

В доме Маяковского

Барабан врагам грозит.
Хорошо!
Пускай грозит он.
Я поэту нанес визит,
Хоть погода не для визитов.
Но пуста квартира твоя.
Ты в какие ушел края?

Палитра влажна и свежа.
Не рассеялся дым табака.
И блокноты твои лежат —
Недописанная строка.
Но пуста квартира твоя.
Ты в какие ушел края?

Путешественник и солдат,
Бьющий недруга наповал,
Запевала,
ты никогда,
Никогда ты не уставал.

Быть может, когда забрезжил рассвет,
В Венгрию ты поспешил, поэт,
И гневным пером, неистов,
Маску сорвал с хортистов?

Быть может, море ты пересек
И там, где от крови ало,
Вместе с народом, смел и высок,
Дуло отвел, что глядело в висок
Египетскому каналу?

Сквозь дебри морских таможен,
Засасывающих тиной,
Ты снова прошел,
быть может,
С краснокожей своей паспортиной?
В бессилье злится чиновник,
Сыщик в бессилье злится —
Шагает вперед
виновник
Ярости их туполицей!

...Стихи
лучами первыми
Без ключа
к фермеру;
Стихи
лучами первыми
Улицами, скверами,
Вот они уже в цехах,
И цеха —
в его стихах!

Таможня встает заслоном
Империи Уолл-стрита;
Наступала поэзия,
словно
Дорога была открыта.

Вздыбился вал, могуч и строг,
Идя на стихи тараном.
Не погасить пылающих строк
Атлантическим океаном!
Жить им и жить в веках
Во всех уголках мира.
Люди
на всех языках
Маяковского
декламируют.

1957 г.

ГЭ БИ-ЧЖОУ

Я видел Маяковского

Окрашен снег переулка
Заката розовой краской.
Машина остановилась
У желтого особняка.
Стоит во дворе товарищ.
Я узнаю его сразу.
Маяковский!
Но только в бронзе.

Чтобы идти в века.
На деревянной лестнице
Слышу шаги весомые;
В прихожей толстая палка,
Пальто,
Что носил поэт,
В гостиной и в комнате рядом
Вещи его
Те же самые,
Рюмки и чашки в буфете
Заливал электрический свет.

Письменный стол. Картин нет.
...Фотография Ленина на белой стене,
Рот открыт
в напряженной речи...
Как я ждал этой встречи!
Теперь понимаю основу основ
Поэта
железных слов.
Вы слышали,
Как он читает стихи особой ковки?
Гнев урагана,
А не шумок бутафорный!
Я видел Маяковского!
Я слышал Вас,
Маяковский!
Кто говорит
Об иллюзии патефонной?

1958 г.

ЛИ ИН

Песня наших сердец

(ИЗ ПОЭМЫ)

Перед лицом жизни вспоминаю о Маяковском

Пять томов
твоих сочинений,
Пять томов
на моем столе.
Поднимаюсь
по строчкам-ступеням
И шагаю
за горы лет.
. . . . . .
Приравняем перо к штыку,
Верностью долгу равны;
Книги —
даю строку —
Времени вручены.
Маяковский,
ты слуга 150 000 000,
Ты хозяин
22 миллионов квадратных километров!
Идешь бульваром Москвы,
Разговариваешь с Москвой
О весне, о шуме листвы,
О тех,
кто грозит войной.
Вещи тебя окружают,
И вот
поэтический отзвук:
Ласково:
«Обожаю!»
И
«Ненавижу!» —
грозно.

Полнеба горит
стихотворной строкой,
Строка,
как пожар в июле;
Поэт
пешеходам
машет рукой
На перекрестке улиц.
Сметем подлиз и сплетников,
Чтобы идти верней!
Удары строчки-плети
По выгнутой спине.
На суд людской выносят
Поэма и плакат
Его Длинноволосье
С гитарою в руках.
О бульдозер стихов,
вырви их
из пылающих лет —
Негодяя,
ханжу,
стрекозла и стрекозку!
...И горюет он,
как поэт,
и бушует,
как Маяковский...
«Левой!» —
твой голос
наследье годам,
«Левой!» —
сквозь время
слышу.
Земля,
с которой ты голодал,
Шагает вперед
и выше.

Пять томов
твоих сочинений,
Пять томов
на моем столе.
Поднимаюсь
по строчкам-ступеням
И шагаю
по всей земле.
Стихов
не коснулась
ржавчина времени,
Пыль забвенья —
не их удел;
Пять томов
твоих сочинений —
И каждый
струной телеграфной
гудел.
И в каждом —
сердце пламенное,
Нет его верней.
Двигатель внутреннего сгорания
Толкает Машину Дней.
Пять томов
твоих сочинений!
Среди строк —
погасшей
нет ни одной.
По пути,
указанному Лениным,
Ты шагаешь
со всей страной!

Напечатано в июле 1963 г.

Критика

ВЕРНЕР НОЙБЕРТ

ПОЗНАНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ

(Новое в литературе ГДР)

Правомерно ли употребление слова «жатва», когда речь идет о художественном творчестве? В определенном смысле на этот вопрос можно ответить утвердительно. Поступательное развитие художественной литературы зависит не только от таланта писателя, но и в значительной мере от общественной атмосферы, то есть от степени интереса к литературе и понимания обществом ее эстетической сущности. Если писатель чувствует, что его произведения встречают заинтересованный отклик, это само по себе становится для его творчества стимулирующим фактором. VIII съезд СЕПГ (1971) и в этом вопросе сыграл важную роль, призвав писателей и художников к овладению всем богатством творческих идей, художественных стилей и выразительных средств.

Такие принципы нашей литературы, как социалистическая партийность, народность, связь с жизнью, подразумевают многообразие тем и замыслов, наличие многих и разных индивидуальных творческих решений. В читательской среде в ГДР идет сейчас интересный процесс, смысл которого состоит в том, что все больше читателей определяют свое личное отношение к тем или иным направлениям и отдельным произведениям нашей литературы. Это не означает, что читатель ориентируется на какого-нибудь одного писателя, считая, что лишь произведения этого автора отвечают его индивидуальным вкусам и эстетическим требованиям. Речь в данном случае идет о том, что возрастающая зрелость литературы ГДР подразумевает все более активное читательское к ней отношение. Художественная литература год от года становится все более важным инструментом духовного развития читателя, аргументом в его споре с самим собой, с писателем, с содержащейся в прочитанном произведении идеологической и эстетической концепцией. Это касается без исключения всех литературных жанров: романа, повести, драмы, телепьес, поэзии, песен. Так создаются предпосылки для постоянной, охватывающей всех читателей литературной дискуссии. Такой массовый, общий разговор о литературе помогает вырабатывать и углублять эстетическое чувство у широкого читателя нашей страны.

Правомерно говорить сегодня о сформировавшейся социалистической психологии читателя в ГДР, для которой характерно все более сознательное восприятие литературного творчества, исторически верный подход как к современной литературе, так и к классической немецкой и мировой литературе в целом. Об этом свидетельствуют такие материальные факторы, как тиражи и спрос на произведения классической и современной литературы. Еще лучшим доказательством могут служить явления из духовной сферы. Как пример можно привести тот факт, что произведения Генриха Гейне (чей 175-летний юбилей в прошлом году был широко отмечен в ГДР) воспринимаются сегодняшним читателем как действенное оружие в нашей нынешней и будущей борьбе за мир, прогресс и реальный гуманизм. Способность к самостоятельной эстетической оценке сейчас настолько возросла, что в лице своего чи-

тателя автор порой сталкивается с критиком, который не уступает иному профессионалу. Недавно в одной беседе Эрвин Штриттматтер так охарактеризовал эти новые отношения между писателями и читателями: «Надо сказать, что у нас появился совершенно поразительный читатель — читатель, который прекрасно понимает художественное произведение в целом и в его деталях. Это весьма критически мыслящий читатель, который знает, чего он хочет и что он может требовать от литературы. Многочисленные письма свидетельствуют, что читатель в ГДР становится все более зрелым. Этот факт должен наполнить радостью каждого пишущего».

Воздействие литературных произведений на читательские массы у нас в отличие от процесса потребления литературы, который происходит в капиталистическом обществе, не определяется сиюминутной новизной той или иной книги. Для нашего литературного процесса в большей мере характерна постоянная органическая связь вновь созданного с тем, что уже вошло в историю литературы, как это хорошо видно по отношению к творчеству Анны Зегерс, Эрвина Штриттматтера, Юрия Брезана, Германа Канта. Одно крупное издательство в ФРГ пыталось объяснить причины слабого спроса на серьезную книгу таким образом: «К нашему сожалению, спрос на эту книгу резко снизился. Это не зависит ни от деятельности издательства, ни тем более от качества этой книги, а объясняется перепроизводством книг в ФРГ, вследствие чего интерес книгопродавцов и покупателей постоянно привлекается лишь к самым последним, только что вышедшим из печати новинкам». Это наглядно свидетельствует о том, что существует принципиальное различие между отношением к книге читательской публики в социалистическом обществе и в условиях государственно-монополистического капитализма, который стремится все подчинить своему влиянию.

Естественно, что и воздействие литературы ГДР существенным образом связано с непрерывно идущим процессом художественного развития, то есть с овладением новыми актуальными темами, обновлением творческих средств и приемов; но у нас самая последняя книга писателя отнюдь не вытесняет в сознании читателей его прежних книг или книг других авторов. Произведения нашей литературы, вступая между собой (как это происходит в Советском Союзе и в других социалистических странах) в своеобразное эстетическое соревнование, как бы агитируют читателя друг за друга.

Книги, вышедшие в свет в 1972 и начале 1973 года, подтверждают, что наше духовное богатство постоянно растет. Писатели обращаются к новым жизненным проблемам, они стремятся глубже проникнуть в психологию человека, понять, какие идейные, какие моральные мотивы им движут. Предмет нашей литературы — не абстрактный человек, человек «в себе», вне конкретных исторических обстоятельств. Речь идет о нашем современнике, участнике строительства социализма и коммунизма.

О литературе ГДР в период между VI (1969) и предстоящим осенью 1973 года VII съездом писателей можно сказать, что осмысление ею исторического содержания современной эпохи, нашей нерушимой связи с Советским Союзом и со всеми странами социалистического содружества приобрело качественно новый характер. Речь идет не о том, чтобы механически подсчитать, как часто в литературных произведениях непосредственно затрагиваются проблемы современной жизни ГДР, СССР и других социалистических стран. Речь идет о важных общественных проблемах, типичных для нашей действительности, которые ставятся в произведениях нашей литературы, о художественном отражении общего для всех нас нового жизненного содержания и жизнеощущения. Речь идет об отражении в литературе непреложного исторического факта, смысл которого состоит в том, что только социализм и коммунизм могут наполнить жизнь каждого человека и всего общества гуманистическим содержанием. Поэтому задача литературоведения и критики — уметь видеть, что даже в еще несовершенных литературных опытах, отражающих, казалось бы, лишь детали, эпизоды нашей жизни, могут ставиться порою важные и серьезные проблемы ответственности человека за дальнейший ход истории, за судьбу общества, в котором он живет, природы, которая его окружает.

Важной чертой литературы ГДР начавшихся семидесятых годов является тенденция к художественному охвату всей полноты сегодняшней жизни человека в условиях социалистического общества. Об этом говорит и постоянно растущее многообразие литературных жанров. Писатель, тесно связанный с жизнью, ищет и находит новые художественные средства, которые лучше всего отразили бы нашу действительность. Например, в литературе ГДР в последние годы произошло внезапное оживление в жанре повести и рассказа. Высокое социалистическое идейное содержание, характерное для новых рассказов и повестей у таких писателей, как Анна Зегерс, Эрвин Штриттматтер, Гельмут Заковский, Юрий Брезан, Вернер Бройниг, Эрик Нейч, Иоахим Новотный, свидетельствует о возрожденных возможностях этого жанра.

Литература ГДР последних лет дает много примеров подобного рода. Все они подтверждают, что сегодня литературное творчество должно измеряться новыми масштабами не только в плане, так сказать, количественном, но и что важный элемент прогресса социалистического искусства заложен в растущей дифференциации тем и художественных решений, в социалистической «переработке» некоторых

ВЕРНЕР НОИБЕРТ
ПОЗНАНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ

жанров, даже в рождении новых. Именно понимание этих художественно-эстетических и литературно-исторических предпосылок должно способствовать правильному восприятию произведений, которые появились в литературе ГДР в последнее время, прежде всего после VIII съезда СЕПГ.

Поскольку у меня нет возможности дать здесь исчерпывающий анализ всех новых явлений в литературе, я коснусь лишь некоторых произведений, в которых, может быть, отчетливее всего проявилось существенное направление литературного развития в ГДР за последнее время.

■

Германская Демократическая Республика существует уже почти четверть века. В созданной за этот период литературе безусловно самой важной темой была тема формирования нового человека. Каждый год приносит произведения, в которых художники по-новому ставят эту проблему, по-новому подходят к действительности, предлагают новые художественные решения. Характерным для 1972 года было то, что в появившихся произведениях и возникших вокруг них широких дискуссиях остро ставится вопрос о нравственных качествах героев с точки зрения норм и требований социалистического общества. Расширение этой темы — конечно не случайность. Оно объясняется растущей зрелостью нашего социалистического общества в ГДР, которое не только дает общий ответ на эти вопросы, но и видит в литературе нравственную силу, способную укрепить его моральные устои.

Анна Зегерс, неожиданно для многих читателей, после большого романа «Доверие» и повести «Через океан» выступила с рассказом из цикла утопических произведений, который назван ею «Встреча с неземным». Создавая фантастические и одновременно сказочные картины, писательница ставит вопрос об ответственности человека за будущее планеты и даже за судьбу вселенной. Ее волнует проблема человечности человека, сохранения и дальнейшего развития его творческих возможностей на путях утверждения мира, верную гарантию которого могут дать лишь социализм и коммунизм. Попытка с помощью фантастики решить весьма земные проблемы, на которые наброшены, правда, необычные, космические одеяния, свидетельствует о том, как научно-технические достижения, и прежде всего освоение Советским Союзом космоса, наполняют реалистическую фантазию писателя новым содержанием и подсказывают ему новые формы художественного выражения. Бросается в глаза, что в этом рассказе Анны Зегерс чисто технические детали изображаемых ею утопических картин отступают на задний план, освобождая место для постановки глубоко человеческих проблем. Здесь социалистический реализм нашей эпохи завоевывает себе новое пространство.

Места, где происходит действие рассказов Эрвина Штриттматтера, по сравнению с рассказом Анны Зегерс кажутся предельно земными. В сборнике «Голубой соловей, или Начало чего-то» (1972) внимание читателя привлекается к тому «космосу», изучение которого сыграет для нашего будущего не менее важную роль, чем космические исследования в прямом, естественнонаучном смысле слова. Речь идет о внутреннем мире человека, обусловленном социальной реальностью, о гранях индивидуального характера, о чувствах человека, его жизнеспособности и способности любить, о фантазии как проявлении духовной жизненной силы, стремлении к совершенствованию, к правде и к счастью. За вопросом о том, существует ли на самом деле голубой соловей, скрывается другой, истинный вопрос — способен ли человек раскрыть в себе все тайны, реализовать все свои творческие возможности.

Реализм в жизни и в искусстве — так можно определить писательскую позицию Штриттматтера в этом прекрасном томике, в котором четыре рассказа и послесловие автора,— проявляется не в плоском, внешнем совпадении искусства и жизни. Реализм, и прежде всего реализм социалистический, умнее, глубже, многостороннее, потому что он основан на вере в человека как в самую важную творческую величину. Исходя из такого понимания искусства, Эрвин Штриттматтер рассказывает читателю примечательные эпизоды своего детства и юности. На передний план автор выдвигает богатство эмоциональных, эстетических красок и настроений. Ощущается внутренняя связь с романом «Чудодей», продолжение которого мы, вероятно, сможем вскоре прочесть. Герой второй части «Чудодея» проходит через войну и послевоенные годы; Штриттматтер показывает попытки реставрации старого немецкого прошлого и помогает понять мотивы, которые определили путь многих людей к новому в новой республике, которая называется ГДР. Долог был путь Станислауса Бюднера в поисках тех форм жизни, которые больше всего соответствовали бы ему и заложенным в нем творческим силам: но ведь нет такого магнита, который со стихийной силой направлял бы человека на верный путь. Он должен сам пробиться через прошлое, воплощенное и в истории его народа, и в его собственной жизни.

Раздумья о пройденном пути, осознание и достижений и неудач, определение своего отношения к окружающим людям, к социалистическому обществу в целом составляют содержание романа Бернгарда Зеегера «Отец Батти снова поет». Автор говорит, что сюжет книги выдуман. Однако не вызывает сомнения, что некоторые проблемы и образы, возникающие в романе,-- результат тех событий и того кризиса, которые пережил сам писатель. Перед нами история болезни и в то же время история выздоровления, история нового рождения человека. Бернгард Зеегер стремится в своем романе (основанном на исто-

рии действительно пережитой им тяжелой катастрофы, после которой он долго был на пороге смерти), описывая собственную болезнь, выявить некоторые болезненные симптомы в жизни общества. Смысл жизни — такова главная мысль романа — состоит в том, чтобы повсюду и всегда привносить в нее социалистическое содержание. Этот идеологический и нравственный принцип относится к каждому человеку, и каждый, кто хочет честно строить социализм, должен ему следовать. Литературные критики заняли различные позиции по отношению к этому роману, в читательской среде мнения также разделились. Однако споры вызвало не это требование. Дело в другом: порою чувствуется, что фигура «отца Батти» (так его называют в семье) чересчур прямолинейно, упрощенно выдвинута писателем на передний план. Для этого героя характерна безапелляционная, категорическая уверенность в собственной правоте по отношению к другим людям.

Различие во мнениях по поводу того или иного литературного произведения — необходимое условие для подлинной дискуссии. И было бы принципиально неправильно прервать дискуссию об этом романе (для этого нет причин), однако нельзя не заметить, что бывают случаи, когда установить объективную истину помогает временной фактор.

Живой читательский интерес и, следовательно, литературную дискуссию вызвал новый большой роман Германа Канта «Импрессум». Он продолжает прочную, заложенную самим Кантом авторскую традицию. Под термином «авторская традиция» у Канта в первую очередь следует понимать его умение извлекать из тех ситуаций, которые он выбирает, иронию (так же Гегель говорит о своей диалектике) и подавать эту объективную иронию в субъективных художественно-языковых одеждах. При этом под иронией следует понимать не только смешное. Кантовская ирония — как ни парадоксально это может звучать — включает в себя трагикомическое и даже трагическое, поскольку автор использует ее как инструмент, с помощью которого он познает многогранную, находящуюся в постоянном движении и изменении сегодняшнюю действительность. Первой фразой этого нового романа, дающей толчок всей огромной массе материала, используемого автором, служит категорическое восклицание одного редактора, человека так называемого «среднего возраста»: «Я не хочу быть министром!» Этими словами начинается роман, начинается исследование нашей действительности в ее различных исторических и даже педагогически-психологических фазах развития. Естественно, что это невозможно без критики и самокритики. Центральный герой романа — Давид Грот — вызывает у читателя то желание отождествить себя с ним, то дистанцироваться от него. Образ этот не расплывчат, наоборот: по мере развития действия контуры его становятся все отчетливее. Внутренняя структура нового романа Германа Канта представляет собой цепь эпизодов, и некоторые из них, надо признать, заставляют задуматься о том, насколько они обязательны для романа. Четкий сюжет здесь скорее бы помог, чем повредил; однако Кант — такой блестящий мастер рассказывания эпизодов, что их можно принять, даже несмотря на относительную самостоятельность по отношению к сюжету.

Обращаясь к уже упоминавшейся выше авторской традиции Германа Канта, можно утверждать, что бытующая точка зрения, согласно которой он пишет только для «интеллектуалов», в своей категоричности неверна. На деле во всех социальных группах населения у Канта находятся заинтересованные, готовые к дискуссии читатели. Вообще в ГДР не существует писателей, которые ориентировались бы лишь на какую-нибудь определенную читательскую группу. Несомненно, есть читатели, которые предпочитают того или иного автора. Но именно романы Канта свидетельствуют о том, что писатели ГДР пишут не для «интеллектуалов», а для читателя с растущими интеллектуальными требованиями к художественному творчеству. В число таких читателей входят рабочие и ученые, крестьяне и ремесленники, словом, все социальные слои, профессии и возрасты. Даже в произведениях, действие которых происходит в интеллектуальной среде, писатели не создают элитарного барьера для восприятия их книг в самых широких читательских кругах.

Это относится, например, к роману Гюнтера де Бройна «Присуждение премии» [1]. В этой книге речь идет о проблеме научной честности и о том мужестве, которое необходимо для того, чтобы не нарушить этот нравственный закон, даже если приходится бороться с самим собой. В романе царит напряженная атмосфера, которая характеризует взаимоотношения двух героев романа: доцента Тео Овербека и его друга, преуспевающего писателя Пауля Шустера. Конфликт, однако, выходит далеко за рамки личных отношений. Автор затрагивает важные проблемы социалистического общества, приводя читателя к выводу, что творческое движение вперед в любой жизненной сфере невозможно без принципиальной, бесстрашной и конструктивной критики. Примечательно, что Гюнтер де Бройн здесь (как и в прежних своих романах) вскрывает мелкобуржуазную сущность «обыкновенного приспособленчества». В молодом с исторической точки зрения социалистическом обществе ГДР он умеет различить еще имеющиеся мелкобуржуазные черты. В романах «Буриданов

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 5, 1973 г.

ВЕРНЕР НОИБЕРТ
ПОЗНАНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ

осел» и «Присуждение премии» чувствуется высокое мастерство рассказчика, по точности описаний и сдержанному юмору напоминающее стиль Теодора Фонтане. Остается, однако, надеяться, что автор в дальнейшем употребит свои аналитические способности для раскрытия более широкого круга явлений в жизни нашей страны. Конечно, Гюнтер де Бройн как писатель предпочитает обращаться к определенным человеческим типам и определенной жизненной среде, однако он недооценил бы самого себя, если бы отказался от попытки создать в своих произведениях образы не только библиотекарей, писателей или ученых.

Становление характера и связанные с этим процессом конфликты и трудности — таково содержание трех рассказов Фолькера Брауна, составившие его сборник «Беззаботная жизнь Каста». Юный Каст предстает перед читателем на разных этапах своего развития: как рабочий, как студент, как художник. С каждым этапом он лучше постигает мир, наш мир реального социализма, с его трудностями и недостатками, но вместо разочарования, которое наши идеологические противники считают неизбежным, Каст приходит к более глубокому пониманию диалектики процесса построения социализма и тех требований, которые общество предъявляет к индивидууму. Рассказы Брауна, очень точно показывающие духовный склад молодого человека наших дней, выполняют одновременно важную педагогическую функцию, что и свойственно художественной литературе,— логикой образов они выступают против механического представления о социализме как о некоем совершенном обществе, в котором автоматически решается любая общественная и личная проблема.

Вопросы, связанные с жизнью юношества, стоят в центре кинорассказа (и пьесы) Ульриха Пленцдорфа под названием «Новые страдания юного В.». Эдгар Вибо — молодой человек, чей духовный облик почти целиком определяется западными кумирами: будь то поп-музыка, чтение или даже модная одежда. Джинсы — для него не просто предмет одежды, они определяют и его жизненную позицию, его мировоззрение. Эдгар — одиночка, который страдает от своего одиночества, но все его попытки установить контакт с другими людьми ни к чему не приводят, и в конце концов он трагически гибнет. Его единственная попытка создать что-то творческое, полезное терпит крах из-за того, что он в одиночку, по-дилетантски взялся за дело. У. Пленцдорф поставил своего героя в «классическую» ситуацию — он сопоставляет Эдгара с кончающим жизнь самоубийством героем «Страданий юного Вертера» Гёте.

Этот рассказ, а главным образом его сценический вариант вызвали в ГДР интересную дискуссию. Одни страстно высказывались «за», другие выступали «против»; была и третья позиция, пожалуй самая конструктивная. Сторонники этой точки зрения, не отвергая самого произведения, задавали автору ряд вопросов, касающихся, прежде всего, образа самого Эдгара Вибо. Нельзя было не отметить того, что многие молодые люди увидели в облике Эдгара — в его манере говорить и держаться — если не идеал, то, во всяком случае, нечто очень привлекательное. Это усугубилось еще и тем, что действующие лица, которые могли бы противостоять Эдгару, выписаны очень бледно, порой даже неудачно. Однако, несмотря на все эти недостатки, следует сказать, что Ульрих Пленцдорф по-своему способствовал привлечению внимания общества к проблеме, которая хотя и не является в ГДР первоочередной, но достаточно серьезна для того, чтобы ей было уделено большое внимание.

Для нашей литературы и искусства отношения между ГДР и ФРГ всегда были важной темой. Годы и даже целые десятилетия эти отношения изображались в некоторых произведениях нашей литературы не столько с точки зрения идеологической борьбы, сколько с точки зрения, так сказать, военно-оборонительной. Все сводилось к изображению агентов и саботажников, которые, без сомнения, существовали и существуют. Однако главная задача состоит в том, чтобы показать идеологическую несовместимость социалистического мировоззрения, с одной стороны, и буржуазного — с другой, показать это на примере живых человеческих характеров и судеб. Эту задачу ставит перед собой Вольфганг Йохо в необычайно плотно написанной повести «Прощание с Парлером». В ходе спора физика Парлера из ФРГ с человеком, воспитанным жизнью ГДР, ее гражданином, выясняется превосходство нашего социалистического строя и одновременно подводится итог двух жизненных и двух общественных путей. Повесть вводит в современность уже ставший классическим для немецкой литературы мотив идейного поединка. (Вспомним, например, Томаса Манна и постоянно встречающийся у него спор о сомнительности абстрактного, только духовно понятого гуманизма.) В этой небольшой повести В. Йохо, ценной тонким изображением реальных человеческих судеб, живет традиция боевого искусства.

Инга фон Вангенхейм в романе «Экзамен» (1973) по-иному подходит к теме несовместимости общественных систем ГДР и ФРГ. Она показывает, что дружеские и родственные отношения зависят не столько от биологических, сколько от социальных и идеологических факторов — в конечном итоге именно они определяют характер отношений между людьми, семьями и даже между государствами. «Экзамен» — большой роман, которому присущ яркий язык, динамичное действие и, не в последнюю очередь, острая попытка вести серьезное повествование в юмористическом тоне. Эта книга — оригинальный вклад автора в жанр современного социального романа. Многие же эпизоды кажутся незавершенными, однако ценность романа вне сомнений.

■

Тема «расчета с прошлым» остается важной составной частью тех поисков жизненной правды, которыми отмечен путь литературы ГДР. В центре романа Фрица Зельбмана «Попутчик» — новый, интересный вариант «попутчика», оппортуниста, человека между двух фронтов, который в темные периоды истории становится соучастником преступлений. Этот образ часто встречается в мировой литературе и при всей оригинальности творческого почерка Зельбмана читатель вспомнит и «Клима Самгина» Максима Горького, и «Верноподданного» Генриха Манна, и «Бэббита» Синклера Льюиса. Действительно, каждая историческая эпоха требует нового литературного анализа подобного социального типа. Он может исчезнуть из жизни лишь в ходе коренных общественных преобразований. Фриц Зельбман исследует его на протяжении более половины века с внимательностью и настойчивостью политика, экономиста и психолога. Он видел своими глазами, как гитлеровский режим ставил таких людей себе на службу. Порою лишь от случайных обстоятельств зависело, становились ли подобные субъекты Борманом, Эйхманом или превращались «только» в Регендропа, как зовут этот «предмет исследования» в романе Фрица Зельбмана. Роман «Попутчик» — это своего рода роман «воспитания», но воспитания отрицательного героя, литературное исследование этого типа, его индивидуальных черт, определяемых семьей, психическим складом, общественными обстоятельствами. Однако книга Зельбмана — не социологическое исследование, а роман. В нем есть трагическое и комическое, он полон сатиры, иронии, сарказма — все это средства, которые автор использует для выражения своей позиции по отношению к герою.

Действие большей части романа происходит в Веймарской республике и в годы фашизма. В ГДР Регендроп внутренне остается чужаком, постоянно готовым к идеологическому бегству во вчерашний день. Причина неотвратимой катастрофы заключена в патологии вечного лавирования, у которой, однако, всегда есть индивидуально-личные и объективно-социальные корни. Регендроп не обладает достаточной силой, чтобы доплыть до нового берега, на котором он, так сказать, фактически уже находится. Образы и ситуации, которые создает в этом романе автор, правдивы и глубоки; Фриц Зельбман стремится показать, что перед нами — не классическая «трагедия рока», ибо мы слишком хорошо знаем сегодня те движущие социальные силы и побудительные причины, которые определяют взлет и падение подобных героев.

Внимательно читая роман Фрица Зельбмана, нельзя не почувствовать постоянный сарказм, который выступает порой даже слишком сильно и превращает художника в комментатора. Фигура Регендропа, приспосабливающегося и изворачивающегося, остается актуальной до сих пор, потому что, говоря словами Брехта, лоно империалистического мира «и сейчас еще плодоносит» и способно порождать такие феномены.

Борьбе народов против фашизма, стоившей многих жертв, посвящен рассказ Курта Давида «Выжившая». Этот рассказ, построенный как анализ одного непроясненного события прошлого в свете сегодняшнего дня, представляет собой важный вклад в решение проблемы духовного преодоления войны и связанного с ней вопроса о вине и ответственности. В новеллистике ГДР это произведение может занять одно из первых мест благодаря важности затронутых моральных проблем и высокому языковому мастерству писателя.

Глубокое понимание истории присуще и повести Вальтера Гориша «Ангелы в чистилище». В ней тонко показано, как даже в условиях жизни кайзеровской Германии 1917—1918 годов в сердцах и умах прорастали ростки ленинизма.

Говоря о теме «вчера и сегодня», нельзя не коснуться, хотя бы в нескольких словах, автобиографических книг. Здесь можно назвать недавно вышедшие в ГДР произведения: «От четок к Красной капелле» Греты Кукхоф, «Счастливая жизнь для техники и исследования» Манфреда фон Арденне, «Молодежь в первой мировой войне» Вильгельма Айльдермана, «На службе у партии» Карла Мевиса, «Медаль» Труды Рихтер. Во всех этих книгах чувствуется непосредственная связь с первым в мире социалистическим государством, с Советской Россией, с СССР. Это в особенности относится к захватывающе написанной биографии Греты Кукхоф, которая находилась на переднем крае подпольной борьбы против готовящейся фашистской агрессии. Я хотел бы назвать еще сборник рассказов и репортажей Яна Копловица «Истории в промасленной бумаге». Такое странное название объясняется тем, что большая часть рукописей этой книги в течение десятилетий пролежала завернутой в промасленную бумагу в земле, куда они были спрятаны от глаз фашистов. Книга была встречена читателями в ГДР с интересом, потому что в собранных в ней рассказах с большой эмоциональной силой показано, через какие неповторимые, порой приключенческие ситуации пришел их герой к рабочему движению. Романтика и будни революционной борьбы сплавились в этой книге в единый сплав.

■

Наша литература развивается на прочном фундаменте социализма, в союзе с СССР и другими братскими социалистическими странами. Проникнутая духом реального гуманизма и социалистического интернационализма, литература ГДР стремится внести свой вклад в сокровищницу мировой социалистической литературы.

г. Берлин

◆

Критика

Г. БРЕЙТБУРД

ГОДЕН К ПЕРУ

«Годен к перу»,— не раз писал о самом себе Чезаре Павезе в своих не предназначенных для печати, выпущенных посмертно «Дневниках». Эти слова означали не только признание обретенного литературного мастерства, не только жизнь, отданную литературе. Павезе вкладывал в них и другой, горький смысл — он говорил о своей «непригодности» к жизни, о том, что сам в тех же «Дневниках» называл «абсурдным пороком», о своем страхе перед одиночеством, о давнем намерении покончить с собой, которое он осуществил вскоре после выхода в свет лучшего своего романа «Луна и костры». Впрочем, Павезе сам признавал, что после окончания каждой из книг им овладевало состояние тяжелой депрессии, он походил на «отстрелявшее ружье»...

Павезе, один из наиболее значительных итальянских и европейских писателей нашего века, прожил недолгую жизнь, которую незачем да и невозможно отделять от его книг. О себе он говорил: «У меня нет биографии. После меня останутся только несколько книг, в которых обо мне сказано все или почти все». Думается, в этом он был прав, хотя книги его как небо от земли далеки от пресловутой «исповедальной прозы».

Чезаре Павезе родился 9 сентября 1908 года на севере Италии — в Пьемонте, в небольшом поселке Санто-Стефано-Бельбо, расположенном в предгорьях Альп, неподалеку от Турина. Здесь, на склонах холмов, выращивали лучший в Италии виноград, отвозили его в Канелли, в Альбу, в Асти, в другие прославившиеся своим виноделием города, а рядом с этим, еще нетронутым, еще сохранившим свои крестьянские традиции миром, рядом была Генуя — порт, откуда уходили корабли во все страны мира.

Отец Павезе, мелкий судебный чиновник, вместе с семьей переехал в Турин, где вскоре скончался от рака. Мать — женщина сурового нрава, всегда казалась Павезе чужой. В семье он был близок лишь с сестрой Марией и сохранил эту близость на протяжении всей своей жизни.

Детство Павезе было разделено между солнцем и тенью, между зимами в Турине и летом в Санто-Стефано-Бельбо. В Санто-Стефано он часами просиживал в мастерской плотника Скальоне, сын которого — Пиноло стал на всю жизнь другом писателя (мы узнаем его черты в образе Нуто из «Луны и костров»).

«Слушать эти речи, быть другом Нуто, знать его близко — для меня было все равно что пить вино или музыке радоваться... И, конечно, Нуто, а никто другой, объяснил мне, что на поезде можно в любое место добраться, а кончится железная дорога — будет порт, откуда уходят корабли: весь мир опутан дорогами, и повсюду порты, везде путешествуют люди, и в назначенный час уходят поезда и корабли. Но везде кто-нибудь да командует, и везде есть люди поумней и есть убогая бестолочь... Пришло такое время, когда, работая в поле, пропалывая под яркими лучами солнца виноградник, нависший над дорогой, я стал вслушиваться в грохот, наполнявший всю долину. Поезд шел в Канелли или обратно, я останавливался и, опершись на мотыгу, провожал взглядом вагоны и таявшие в воздухе клочья дыма, глядел на Гаминеллу, на замок Нидо, глядел в сторону Канелли и Каламандрана, в сторону Калоссо, и мне казалось, что я хлебнул вина, стал другим человеком, стал таким же взрослым, как Нуто, ничуть не хуже его, и придет день, когда и я сяду на поезд: уеду куда глаза глядят».

Так вспоминает об этой дружбе с Нуто

Скальоне сам Павезе в своем последнем романе, желая объяснить, что значила для него деревня, из которой он хотел уехать, чтобы вернуться обратно, повидав мир, чтобы увидеть все «во второй раз». Эта мысль о возврате настойчиво повторяется почти в каждой книге Павезе. В письме Николе Энрикенсу, школьному инспектору в Санто-Стефано-Бельбо, Павезе говорит: «Впрочем, все мы учили в школе, что Альфьери открыл себя и Италию, бродя по миру. Вы даже не представляете себе, какую глубину обнаруживаешь в наших и греческих классиках, когда возвращаешься к ним из американского, или немецкого, или русского двадцатого века; можно сказать то же и о семье и родине. Я люблю Сан-Стефано до безумия, но потому, что вернулся очень издалека».

Глубокая, выраженная в напряженной, до предела точно сфокусированной символике его романов и стихов связь с родной деревней, в ее противопоставленности городу и в то же время в неразрывности с ним — таков мотив всего творчества Павезе. Ставший его биографом Давиде Лайоло, легендарный «Улисс», командир партизанской дивизии «Гарибальди Монферратто», а затем редактор миланской «Униты», однажды рассказал ему, как читал своим партизанам стихи Альфьери и Монтале.

«Они не приняли тебя за сумасшедшего? — спросил поначалу Павезе, а затем добавил:— Значит, среди партизан действительно были крестьяне». И нет сомнения: у истоков всего, что в книгах Павезе некоторые критики считают «мифом», можно обнаружить крестьянские легенды его родных мест.

Чезаре Павезе рос необщительным, замкнутым, иногда целыми днями молчавшим ребенком, учился неважно. Лишь в лицее «Массимо Д'Азельо», где он кончил свое среднее образование, у Павезе появились настоящие друзья. Там он встретил учителя, оказавшего на него большое, быть может во многом решающее, влияние. То был Аугусто Монти, писатель и филолог, человек высокой культуры и непоколебимой твердости антифашистских убеждений, друг Антонио Грамши и Пьеро Гобетти. Он воспитывал в своих учениках любовь к свободе, ненависть к фашизму, самостоятельность мышления, твердость жизненных принципов, непримиримость к верхоглядству. Аугусто Монти начинал занятия чтением текстов Данте, Боккаччо, Макиавелли, Ариосто, Альфьери, Мандзони, а затем комментировал их увлеченно и своеобычно, как бы сближая великую литературу прошлого с событиями современности. Монти учил видеть границу между литературой и беллетристикой, учил гражданственности искусства. Примечательно, что большинство учеников Монти становились борцами против фашизма, среди них был и Джанкарло Пайетта — сегодня один из руководителей партии коммунистов, прямо со школьной скамьи начавший свой долгий путь по ссылкам и тюрьмам.

У Павезе Монти более всего ценил самостоятельность и своеобразие суждений. Ему Павезе посылал первые экземпляры своих новых книг, ждал его оценки, хотя нередко и спорил с ним жестоко.

В годы учебы в лицее Павезе открывал для себя Турин рабочих, Турин коммунистов, ставший крепостью антифашизма.

В одном из ранних своих стихотворений, вошедших в книгу стихов «Работа утомляет», Павезе пишет: «Ночь пришла, погасила огни, в сон врывался лишь ветер. Завтра снова мальчишки станут бродить по холмам, и никто не припомнит стрельбу. Ночью тюрьмы полны молчаливых рабочих. Кое-кто уже мертв, и на улицах пятна их крови». Как-то в послевоенные годы Павезе посетил своего друга Лайоло в редакции «Униты». Воспользовавшись его отсутствием, взял с полки в его кабинете сборник своих стихов и мелким почерком вписал после этих строк: «18 декабря 1922 года. Помни: убийства в Турине (Брандимарте, Баррьера ди Ницца). Убиты: Беррутти, Фанти, Кьолеро, Массаро, Тариццо, Андреоли, Беккьо, Кьотто (мальчик-коммунист), Маццола, Кинтальо... У меня тогда было двенадцать имен».

Павезе отметил, что в его стихах речь шла о карательной экспедиции «сквадристов», во главе с убийцей Брандимарте. В ту ночь фашисты подожгли здание профсоюзов, клуб железнодорожников, клуб имени Маркса, разгромили редакцию коммунистической газеты «Ордине нуово», избили Грамши, расстреляли на улицах Турина тринадцать рабочих.

Мы рассказываем об этом эпизоде не столько для того, чтобы убедить читателей в несомненном антифашизме Павезе. Важно другое — как часто, и с разных сторон, истолковывали лишь в символическом ключе вполне реалистические строки, как часто и порой нарочито забывали, что сама символика Павезе — сгусток реалий.

Дружба Павезе с Монти и его учениками — многие из них стали видными антифашистами — продолжалась. «Вы научили всех нас ставить на последнее место в жизни беллетристов»,— писал еще молодой Павезе учителю в годы близости с теми, кто боролся против фашизма не только пером. Университет еще больше сблизил Павезе с ними, людьми высокой твердости и требовательности. Среди них был Леоне Гинзбург, расстрелянный гитлеровцами в 1944 году (он многое сделал для перевода и издания в Италии произведений русских писателей), Франко Антоничелли, в годы Сопротивления ставший главой Комитета национального освобождения, Массимо Мила, Норберто Боббио, Карло Леви и другие. Эти знакомства определили резко отрицательное отношение Павезе не только к фашистской псевдокультуре, но и к герметизму в искусстве, в котором он видел трусливую, прикрытую нередко подражательным лиризмом попытку укрыться от действительности. Мотивы социального протеста, столь ясно прозвучавшие в первой книге стихов Павезе «Работа

Г. БРЕЙТБУРД
ГОДЕН К ПЕРУ

утомляет», во многом определились именно в эти годы, в кругу этих людей, пробудивших в нем мечту «сблизиться с ясной жизнью домов, где живут рабочие, с одинокими девушками, живущими своим трудом, с народной элегантностью и душевной уравновешенностью...»

В 1930 году Павезе кончает университет, блестяще защитив дипломную работу «Об истолковании поэзии Уолта Уитмена». Еще в университете Павезе перевел одну из самых любимых своих книг «Моби Дик» Мелвилла. Интерес к американской литературе сохраняется у него на долгие годы. Он переводит Синклера Льюиса, Шервуда Андерсона, Джона Дос Пассоса, Гертруду Стайн, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера; пишет эссе, статьи, предисловия к изданиям американских авторов, вышедшие позднее отдельной книгой под названием «Американская литература и другие очерки» (1951).

Было бы, однако, неверно полагать, будто творчество Павезе было подражанием американским писателям, в чем так настойчиво и безосновательно обвиняла его как фашистская, так и герметическая критика.

Пожалуй, о влиянии формальном можно говорить скорее по поводу стихов Уитмена. Свободный, раскованный ритм, конкретная образность, метафоричность восприятия природы в «стихах-рассказах» сборника «Работа утомляет» порой подтверждают такое предположение. Но и в этих стихах Павезе прежде всего своеобразен; в споре с герметиками он стремится приглушить так называемое лирическое «я», подчинить его поставленной перед собой задаче и избранным им скупым художественным приемам, хочет добиться максимальной конкретности изображения, сказать лишь самое существенное о самом насущном, быть всегда «ясным, простым, объективным». Символика «Моби Дика» Мелвилла ощущается в первом широко известном стихотворении этой книги, названном «Южные моря». Это стихи о двоюродном брате, который отправился путешествовать, достиг Океании, но вернулся домой, в свои горы, принеся с собой ощущение больших просторов мира, не убившее в нем привязанности к родным местам, без которой жизнь бессмысленна и невозможна. Мотивы «Южных морей», усложняясь и оттачиваясь, проходят через многие книги Павезе.

Пожалуй, из современных писателей Америки наибольшее влияние на Павезе оказал все же Фолкнер; хотя четкая, краткая, доведенная до предельной ясности фраза Павезе имеет так мало общего со словесными водоворотами великого американского писателя. Здесь влияние совсем иного рода и никак не формализованное, чуждое любой «технической имитации», как писал сам Павезе.

Павезе увидел в изображенном Фолкнером американском Юге, в его традиционном мире некую противопоставленность твердых устоев жизни распаду этих устоев, воплощенному в городе, в индустрии; Павезе сближают с Фолкнером некоторые четкие ряды противопоставлений: деревня — город, детство — зрелость, дикость — цивилизация, хотя сам Павезе, должно быть, понимал, по крайней мере разумом, а не чувством, обреченность своей «деревни», понимал, что, будучи оторваны друг от друга, термины этих параллельных рядов могут обозначать закостенелость, противопоставленную движению истории.

В отличие от Фолкнера Павезе сознавал революционность рабочего класса. Но узел, сложный узел всего творчества Павезе заключен в его «абсурдном пороке», в противоречии между разумом и чувством, сознанием и неосознанностью, верой и неверием. Приведем выдержку из крайне важного для понимания поэтики Павезе его, пусть резкого по тону, письма к своему учителю Монти.

«Мне кажется,— пишет Павезе,— что обе повести, о которых вы говорите («Дьявол на холмах» и «Только среди женщин»), указывают на человечность, заключенную именно в том, кто работает, кто полезен делу; а те, кто не работает и, следовательно, не приносит пользы, охвачены гангреной, от них идет вонь. Какую же ненависть к ближнему ты мне приписываешь? — спрашивает Павезе у своего учителя.— «Дьявол на холмах» — это гимн молодости, открытия природы и общества; этим трем ребятам все кажется прекрасным, и лишь постепенно, и каждый по-своему, приходят они в соприкосновение с миром «бесполезных», с определенным буржуазным миром ничего не делающих и ни во что не верящих. Я не вижу, зачем мне прикрывать этот мир вуалью. То же и в повести «Только среди женщин»: здесь уже не ребята, здесь нет песни открытия, здесь жестокий опыт женщины, которая трудится, которая создала себе жизнь, которая самостоятельная. И с кем сталкивает жизнь эту женщину? Со все тем же бесполезным миром ничему не верящих или верящих лишь дурацким выдумкам. Женщина видит распад этого мира; она убивает себя. Но даже в этом мире стараются спасти то, что еще можно спасти: самоубийца — жертва, в сущности, невинная, самая невинная из всех; если она умирает, то именно оттого, что она единственная из них способна почувствовать, чего ей не хватает...

У меня возникло одно подозрение: ты своими чувствами столь связан с высшей буржуазией, что тебя огорчает, когда я называю ее дерьмом, а с миром труда ты связан столь волюнтаристски, что требуешь от любой книги заурядного абстрактного оптимизма активистского типа. Если это так, то мы с тобой друг друга понять не можем».

Сам Павезе решительно отрицал любые прямые влияния американской литературы на свое творчество и на творчество других итальянских писателей.

Нам остается отметить, что в трудные годы фашизма и в первые годы после войны Павезе много сделал для знакомства с демократической культурой Америки, в которой сам никогда не бывал. (Главы об Америке в романе «Луна и костры» — крайняя антитеза его «деревне» — основаны лишь на литературных реминисценциях.) Последние

годы жизни Павезе совпали с началом «холодной войны», о которой Павезе говорил с горечью и отвращением. В письме к американскому издателю Сэнфорду Гринбергу, запрашивавшему о возможности публикации Грамши в США, Павезе утверждает:

«По поводу Грамши. Я знаю только «Тюремные тетради» и «Исторический материализм». Остальные рукописи хранятся у издателя, и о них ничего не известно. Но я не думаю, чтобы демократическая Америка разрешила перевод этих страниц; они были написаны в фашистской тюрьме, написаны борцом, которому, будь он сегодня жив, например, запретили бы въезд в Америку».

Работу Павезе в издательстве «Эйнауди», начатую еще при фашизме, когда вокруг издательства объединялись прогрессивные деятели итальянской культуры, оборвал арест. После нескольких месяцев заключения в тюрьме он был сослан в глухую южную деревню — Бранкалеоне Калабро.

Помимо близости к сотрудникам издательства, арестованным почти в то же время, что и Павезе, у его ареста была иная причина. Павезе в те годы любил женщину, имени которой не называет ни один из его биографов (оно опущено и в «Дневниках», и в изданных посмертно «Письмах»). В своих стихах Павезе называет ее «женщиной с хриплым голосом». Любовь к ней была самой сильной страстью Павезе, испытанной им за всю его жизнь. Неизгладимый и трагический след оставила эта неудавшаяся любовь.

«Женщина с хриплым голосом» была связной-подпольщицей. Одно из предназначенных ей писем пришло на адрес Павезе, что и стало непосредственной причиной его ареста и ссылки. Разрыв с этой женщиной вызвал у Павезе глубочайший душевный кризис, который он преодолел нескоро и, как видно, не до конца.

Второй его любовью стала известная в те годы американская киноактриса Констанс Даулинг, связь с которой принесла Павезе недолгое счастье. Констанс Даулинг приехала в Италию в пятидесятые годы вместе со своей сестрой Дорис. То были времена внезапного и бурного расцвета итальянского кино, и ей хотелось сниматься в итальянских фильмах. То были также годы наибольшего успеха Павезе, и Констанс Даулинг, должно быть, нравилось, что в Италии с ней постоянно рядом «модный» писатель, что он сочиняет для нее сценарии. Но по-иному воспринял эту встречу с «женщиной, пришедшей из-за океана», с «женщиной, которую принес мартовский ветер», сам Павезе. Он снова, после долгих лет перерыва, пишет стихи, в которых звучат радость, ощущение полноты жизни, стихи о женщине с «лицом весны», чей взгляд как «утренний свет зари над темными холмами».

Он изменяет привычный образ жизни, покидает свой кабинет в издательстве, где просиживал по двенадцать часов в сутки, меняет свои поношенные, давно вышедшие из моды темные костюмы на элегантную одежду, разъезжает вместе с сестрами Даулинг по Италии, останавливаясь в самых дорогих гостиницах, знакомится с режиссерами кино, пишет один за другим сюжеты для сценариев.

Он предлагает Констанс пожениться. Вот одно из многих писем к ней: «Я не говорил тебе, что с детства страдал предрассудком «добрых дел». Когда предстояло нечто опасное...я старался не быть дурным, никого не обижать, не повышать голоса, не думать ни о ком скверно. Все для того, чтобы не искушать судьбу. В эти дни я снова становлюсь ребенком и стою перед лицом большой опасности, выдерживаю страшный экзамен. Я убеждаюсь в этом потому, что не смею быть злым, оскорблять других, потому, что гоню прочь дурные мысли. Все оттого, что мысль о тебе и недостойная, дурная мысль несовместимы. Я люблю тебя. Дорогая Конни — я знаю вес этих слов, за которыми ужас и чудо, и говорю их тебе почти совсем спокойно. Я так редко и так скверно произносил их на протяжении всей моей жизни, что они звучат для меня почти совсем как новые».

Но Констанс Даулинг, ответив на предложение Павезе неопределенными обещаниями, внезапно уехала в Америку.

В начале того же года выходит в свет последний роман Павезе «Луна и костры». У Павезе, как всегда после законченной работы, наступает ощущение подавленности, опустошенности, неуверенности в том, будет ли он писать дальше. В июле этого года он, уже после разрыва с Констанс, получает премию «Стрега», самую значительную из литературных премий того времени. Но уже ничто не в состоянии изменить принятого им решения.

25 августа 1950 года Павезе отправляет свое прощальное письмо Давиде Лайоло. «Вот уже много лет, как я не думал об этом,— сообщает он другу, который прочтет эти строки уже после его смерти.— Я писал. Теперь я больше не буду писать... Я отправляюсь в свое последнее путешествие с упрямой, стоической волей жителей наших гор».

26 августа Павезе покидает квартиру своей сестры, у которой жил, снимает номер в гостинице «Рома». Оттуда он уже не выйдет живым. На следующий день кто-то из гостиничной прислуги услышал, как кошка скребется в дверь, запертую изнутри... Рядом с постелью лежал сборник стихов и записка: «Прощаю всех и прошу прощенья у всех. Ладно? Только не надо сплетен. Чезаре Павезе».

Стихи, часть которых была написана по-английски, посвящались Констанс Даулинг. Они вышли отдельным сборником, названным «Смерть придет, и у смерти глаза, как твои»,— так начиналось одно из первых стихотворений. Павезе было всего сорок два года.

О своем «абсурдном пороке» самоуничтожения Павезе не раз писал в «Дневниках», не предназначенных для печати. Он как сказано в одном из его последних писем,

---

Г. БРЕЙТБУРД
ГОДЕН К ПЕРУ

«предвидел все еще за пять лет». Ему не хватило мужества перед лицом жизни, его страшили одиночество, иссушенность чувств, ложное представление, будто он все уже сказал в своих книгах. Да, Павезе предвидел свою смерть. Он, всегда неуверенный в том, читают ли его книги, должно быть, не мог предвидеть одного — многие тысячи туринцев, неся красные знамена, шли за гробом писателя-коммуниста.

■

Из широкоизвестных повестей, или «кратких романов», лишь «Прекрасное лето» было написано Павезе до войны, в 1940 году.

Это история любви, первой любви молодой девушки Джинии к художнику Гвидо. История жестокой и неудавшейся любви, которая продлится лишь несколько месяцев.

Джиния работает в швейной мастерской, живет вместе с братом-электротехником. Гвидо — молодой, верный своему призванию художник, родился в крестьянской семье, мечтает «написать картину, которая опоясывала бы всю мастерскую; пусть на ней, как сквозь трещины в стене, со всех сторон будут видны холмы и ясное небо». В одной с ним мастерской работает художник Родригес, пишущий «скелеты растений», лица, но без глаз, с черными пятнами штриховки и такие рисунки, что «не поймешь, лица это или пейзажи».

К художникам Джинию приводит Амелия — натурщица, больная сифилисом, постаревшая прежде времени. Со злобной ревностью наблюдает она за увлечением Джинии.

Любовь к Гвидо становится для Джинии выходом из замкнутого круга одиночества и безнадежности. Жизнь ее и других персонажей этого краткого романа показана на фоне городских окраин Турина, скучных и грязных баров, изображена тусклыми красками повседневности. Но это лишь подчеркивает силу и жизненность овладевшего девушкой чувства. Автор достигает предельной напряженности повествования, пользуясь самым скупым набором выразительных средств. Он как бы устраняет себя целиком, как бы подчеркивает свое равнодушие к повествованию. Подобно режиссеру лучших неореалистических фильмов, он словно бы лишь регистрирует происходящее, заставляя читателя забыть о том, что каждый из кадров подобран и смонтирован рукой мастера. Но это не «объективный дневник чужих дел», как утверждал известный критик Леоне Пиччиони, не хроника, которой всегда присуща незавершенность. За каждым из чередующихся кадров — внутренняя логика событий, направленная к решению четкой художественной задачи.

Большинство итальянских критиков, писавших об этом кратком романе, подчеркивают его безысходность, предсказывают Джинии страшную судьбу Амелии. Нам думается, автор не дает оснований для таких заключений. Чувство, испытанное Джинией, обогатило ее душу, раскрыло перед ней новые, неизведанные просторы — оно поможет ее становлению, оно своей силой и напряженностью перечеркивает неизбежность одиночества.

Что ж до «сухости» автора, скажем лишь одно — бывают фильмы, в которых плачут на экране, а не в зале. Бывает и наоборот.

Сам Павезе полагал: «Нет ничего прекрасней, чем облачить взрывчатую материю — как науки, так и поэзии — в суровые одежды, которые придают им единообразие и «большевизируют» их».

Такова была нелегкая художественная задача — такова была цель, к которой Павезе стремился, пусть и наступая на «горло собственной песне».

В «Прекрасном лете» уже намечен, хотя лишь пунктиром, один из мотивов, который станет едва ли не ведущим в последующих произведениях Павезе. Это контраст между людьми труда и теми, кто паразитирует на чужом труде, между делающими свое дело и бездельниками, конфликт социальный, который у Павезе выражается как непримиримость здоровья и болезни, как обреченность «людей без дела», а значит, и без корней в жизни.

Особенно четко этот конфликт выражен в романе «Дьявол на холмах», о котором сам Павезе говорил, что в нем и ключ к верному прочтению «Прекрасного лета».

Формулируя принципы своей художественной работы, Павезе писал: «Живое равновесие произведения искусства порождается контрастом между натуралистической логикой изображенных фактов и задуманной, никогда не забываемой автором внутренней логикой, которая господствует как цель».

В «Дьяволе на холмах», произведении почти бессюжетном, в котором, однако, столь ясно ощутима связь чередующихся эпизодов, по одну сторону — крестьяне и сыновья крестьян, которые учатся делу в Турине, по другую — морфинист Поли, отец которого «ворочает миллионами» и «заправляет» всем в Милане, любовница Поли — Розальба, кончающая самоубийством, и даже не пытающаяся спасти Поли равнодушная к нему жена Габриелла.

По одну сторону — познавшие красоту родной земли крестьяне с их естественным и радостным отношением к жизни, по другую — миланские гости Поли, люди опустошенные, алкоголики, бессмысленно мчащиеся по горным дорогам в своих роскошных машинах.

Речь идет, на наш взгляд, именно о таком непримиримом столкновении людей двух классов, двух мироощущений. Думается, не прав даже такой внимательный исследователь творчества Павезе, как Лоренцо Мондо, который утверждает, что писатель стремился лишь «показать соприкосновение двух социально различных миров, изобразить их взаимную реакцию».

Сегодняшнему читателю этой книги может показаться удивительно четким и даже чрезмерно конкретным то ощущение обреченности буржуазии, с которым он встретится на ее страницах. Вспомним, что она вышла в свет в 1948 году, а написана была

раньше и что именно в эти годы прогрессивно мыслящие итальянцы воспринимали разгром фашизма как конец буржуазного общества, породившего фашизм, и еще не видели ни возможности, ни всей опасности «реставрации буржуазности», пришедшей позднее и, главное, ни в чем не опровергшей авторского понимания исторических судеб буржуазного класса. Разве что в шестидесятые годы Поли, изображенный как «дьявол на холме», мог бы не только увлекаться наркотиками, он мог бы, при благосклонной поддержке своего отца, скажем, стать маоистом, как многие сынки миланских миллиардеров, о чем убедительно свидетельствует политическая хроника последних лет. Но разве это изменило бы суть дела?

Мы уже упомянули о попытке Л. Мондо перечеркнуть классовое содержание этого романа, свести его просто к контакту людей различных социальных слоев.

В письме к Рино даль Сасо, выступившему с весьма схематичной статьей в газете «Унита» от 25 февраля 1950 года, Павезе убежденно разъясняет: «Ты прав, когда пишешь, что в моих романах... изображена определенная буржуазная ситуация тупика. Твои суждения о большей или меньшей четкости морального (и даже исторического) осуждения этого мира закономерны. Но большой вопрос возникает, когда видишь, что твое суждение направлено к тому, чтобы исключить из искусства любую трагическую тему... Мы либо пишем трагедии, либо не пишем их. Если пишем, то должны разрешить подлецу (или жертве, в зависимости от случая) испытать во всей полноте свою муку, и в том — ее позитивность, оправданность. Тут, кроме того, не нужно забывать, и этому учит «Илиада», что война — печальная штука также и потому, что нужно убивать своих врагов. Само собой, это не должно ослаблять силы нашего удара, но, как правило, лучшими бойцами являются те, кто осознает эту грустную необходимость».

Думается, что в этом письме Павезе весьма ясно высказал свою не только эстетическую, но и политическую позицию, позицию борца, не раз говорившего, что «гуманизм — это не удобное кресло для отдыха», что гуманизм есть активное начало, что на смену старому гуманизму до́лжно принять новое ощущение человеческой цельности.

Роман «Товарищ» (1947) — это книга, в которой рассказано, как становятся коммунистами. В образе Пабло — героя этого романа (он назван так не только потому, что «играл на гитаре как испанец»: все действие романа происходит в годы гражданской войны в Испании) — воплощены черты многих друзей Павезе — коммунистов. На экземпляре книги, подаренной им Чинанни — одному из руководителей коммунистического подполья, ставшему близким его другом,— сохранилась надпись: «В этой книге есть и ты».

Замысел романа созрел у Павезе в сорок пятом году, когда он вступил в Итальянскую коммунистическую партию.

После выхода этой книги он написал руководству партии письмо, на наш взгляд сохранившее актуальность и сегодня. Приведем выдержку из него, убедительно опровергающую домыслы некоторых буржуазных критиков насчет «случайности» и «необязательности» сделанного Павезе политического выбора, а заодно и его романа «Товарищ». Трудно переоценить значение мыслей, высказанных здесь Павезе, для наших дней, для идущих сегодня в итальянской и других западных литературах споров. Слияние позиции борца-коммуниста с позицией писателя, которому приходится преодолевать сопротивление «темного, твердого, неподдающегося» материала — слова, столь нужного человеку, во всей несомненности возникает при анализе трудной, всегда подчиненной чувству долга художнической работы Павезе. Так, им опровергались столь модные сегодня теории «умирания литературы», подмены искусства чисто политическим действием, уличным «хэпенингом». Вера Павезе в возможность способствовать изменению мира средствами искусства, иными словами, вера в назначение искусства, в нужность и важность слова — вот один из наиболее актуальных и сегодня тезисов, на которых основана поэтика Павезе.

«Возможно ли, что человек сблизился с коммунизмом из любви к свободе? С нами было именно так. Для писателя, для «труженика вымысла», для человека, который десять раз за день рискует поверить, что вся жизнь есть жизнь книг, необходимо постоянное лечение толчком, идущим от ближнего, идущим от конкретной действительности. Мы слишком высоко ценим свое ремесло, чтобы поверить, будто достаточно одного таланта, одного воображения.

Всем достойным, что может выйти из-под нашего пера, мы обязаны соприкосновению, столкновению с вещами и людьми. Свободен лишь тот, кто включен в действительность, кто преобразует действительность, а не тот, кто витает в облаках. Впрочем, даже рондисты [1] не витают в абсолютной пустоте.

Из наполняющих наши дни форм действительности самой последовательной, самой конкретной, самой высвобожденной мы, и отнюдь не с сегодняшнего дня, считаем борьбу, которую ведет Итальянская коммунистическая партия.

Интеллигенты, расходящиеся с нами по вопросу о свободе, должны были бы искренне спросить у самих себя, что они намереваются предпринять с этой свободой, о которой справедливо тревожатся. И тогда они увидели бы — оставив в стороне лень, оставив в стороне невысказанные интересы каждого,— что, если им действительно дорог прогресс человека, у них ни на один вопрос не найдется ответа ино-

[1] Рондизм — формалистическое, вычурное направление в итальянской литературе.

Г. БРЕЙТБУРД
ГОДЕН К ПЕРУ

го, чем коллективный ответ трудящихся. Мы знаем по собственному опыту, что любое индивидуальное присоединение к политическому слову, к политическому призыву (стоять в стороне — тоже значит участвовать) включает человека в борьбу, заставляет занять место в обстреливаемом окопе. Но именно поэтому мы не заблуждаемся насчет возможности существования некоего «рая для рондистов», в котором можно в одно и то же время быть и прогрессистом, и либералом. Даже анархистам такого не удавалось. Наша свобода — это свобода тех, кто трудится, тех, кому приходится обрабатывать темный, твердый, неподдающийся материал. Спросите у любого писателя: что бы он стал делать без этого препятствия, без достоинства слова? Нелегко в каждом отдельном случае различить, когда мы сами превращаемся в слово, в материал, в предмет для статистики. Но здесь остается только одно — повседневная практика дискуссий и самокритики».

Роман «Товарищ» отражает момент наибольшего сближения Павезе с действительностью, наибольшего его удаления от чувства одиночества. Роман разделен на две как бы равных части: первые одиннадцать глав посвящены беспечной жизни его молодого героя в Турине — ночные кафе, песенки под гитару, любовь к роскошной проститутке Линде, продающей себя фашисту Лубрани, разбогатевшему антрепренеру... От этой жизни, которая становится все более бессмысленной, Пабло бежит в Рим. Здесь он знакомится с антифашистским подпольем, с разными его слоями. От либералов, которые хотят покончить с фашизмом, чтоб сохранить господство буржуазии после уже неизбежной катастрофы фашизма, от антифашистских болтунов из кафе, неспособных к серьезному делу, Пабло приходит к рабочим, к коммунистам, у которых учится жизни и культуре. Он впервые понимает значение слова, значение книг, в которых сказана правда, впервые познает настоящую любовь, дружбу, верность слову и долгу, осмысленность человеческой жизни.

Краткое знакомство со Скарпой — одним из руководителей коммунистов, нелегально вернувшимся на родину из Испании, где он воевал, становится школой для Пабло. Школой политики, но и школой, воспитывающей чувства, школой становления характера. Пройдя сквозь испытание тюрьмой, Пабло возвращается из Рима в Турин человеком, для которого коммунизм — главная страсть его жизни.

Павезе любил Рим, любил в его противопоставленности Турину, любил Рим бурлящей народной жизнерадостности, сохранившей свои яркие краски на страницах этой книги, «несмотря на зловоние, доносившееся из Палаццо Венеция [1]».

«Товарищ» предстает перед нами отнюдь не как «тезисный» роман, а как произведение глубоко искреннее, зрелое, как синтез многолетних раздумий и наблюдений автора, сгусток чувств и мыслей людей его поколения, его судьбы.

Известный итальянский исследователь литературы Карло Салинари считает «лебединой песней» Павезе, самым удавшимся из его произведений роман «Луна и костры», в котором Салинари находит связь с первым из опубликованных Павезе стихотворений «Южные моря» — тему «возвращения после долгих странствий и поиски воспоминаний детства».

С этой оценкой нельзя не согласиться, хотя она далеко не исчерпывает значения написанной совсем незадолго до смерти книги Павезе. В ней как бы сплелись воедино все важнейшие мотивы творчества писателя, его многолетние искания. Да, разумеется, эта книга — о возвращении из долгих странствий, возвращении к родным холмам, лесам, виноградникам, к другу детства Нуто, к лучшим воспоминаниям молодости.

И в то же время у этой книги необычный эпиграф, взятый у Шекспира: «Зрелость — это все», и в то же время увиденная «во второй раз» деревня предстает перед читателем в новом свете, во всей остроте своих социальных конфликтов, со всеми еще не зарубцевавшимися ранами партизанской войны, со своими нынешними бедами.

Радость узнавания — один из ведущих мотивов романа.

Новым стало ощущение зрелости, ощущение ясности, порой раздирающей в клочья предания и мифы детства. Потребность в этой ясности, понимание того, что мир плохо устроен и его нужно изменить, воплощено в образе старого друга Угря, плотнике Нуто, самом цельном из персонажей, созданных Павезе. В сущности, Нуто из «Луны и костров» — это и есть коммунист Пабло из «Товарища», только прошедший сквозь многие испытания, обретший опыт зрелой человечности. Нуто, «которому во всем надо разобраться», который понимает, что «не каждый, кто захочет, может стать коммунистом». Нуто, который жаждет знаний, видит впереди долгие годы борьбы во имя счастья человека. Нуто, который «крепко вбил себе в голову, что никто не должен держаться в стороне» в этой борьбе против зла и невежества, против жадности хищников, готовых снова вешать и расстреливать, лишь бы сохранить награбленное.

Зовущей к себе деревне, хранящей красоту и радость, берегущей память о детстве и прожитой жизни, голосу извечной мудрости и ясного разума, тому, ради чего стоит жить, Павезе в этом романе противопоставил не Турин, а Америку, откуда вернулся его разбогатевший герой. Главы, посвященные Америке, звучат трагическим диссонансом всему, что дорого этому человеку. Здесь, в деревне, он вспоминает Америку, какой увидел и почувствовал ее за двадцать лет, прожитых в этой стране.

Здесь у нас та же Америка, она и к нам пришла, здесь у нас и миллионеры, и нищие — обронил в одной из бесед Нуто, простыми, ясными словами впервые раскрыв подлинное значение символики Павезе, к

[1] Римская резиденция Муссолини.

которой писатель возвращается в самом конце своей стройной по композиции, необыкновенно емкой книги.

Известный итальянский ученый Джанфранко Контини, определяя место Павезе в литературе своего времени, сказал: «Павезе был бесспорным вождем итальянского неореализма».

Столь ли бесспорно это утверждение?

Вне сомнения, неореализм в итальянской литературе был течением прогрессивным, порожденным сопротивлением фашизму, но в то же время в чем-то и бесформенным, лишенным четкой художественной программы, если не считать программой стремление к созданию «лирических, опоэтизированных документов» — произведений, из которых устранялась разработка характеров, создание персонажей, исследование психологии человека. Мы далеки от того, чтобы перечеркнуть результаты этой литературной работы первых послевоенных лет, и вместе с тем сегодня не можем не отметить, что в отличие от кинематографа, в котором неореалисты создали бесспорные художественные шедевры, стоящие в одном ряду с великими произведениями мирового кино, неореалистическая литература, за немногими отрадными исключениями, породила целый поток серых, как бы штампованных по единому образцу книг, не оставивших заметного следа.

Расплывчатость или, вернее, отсутствие художественной программы «литературного неореализма» облегчили его быструю ликвидацию «неоформалистами» и в то же время давали возможность «зачислять» в сторонники этого направления писателей, весьма далеких от него. Некоторое время (после первой книги «Римских рассказов») в неореалистах ходил даже Моравиа.

К слову, Альберто Моравиа, во многом отрицавший художественное значение Павезе и объединивший его в этом своем отрицании с Хемингуэем, в 1954 году писал: «Идеи и произведения Павезе имеют сегодня в Италии многочисленных последователей и подражателей. Весьма любопытно, что все эти неореалистические эпигоны.... не выстрадавшие интеллектуально и человечески драму Павезе, обнаружили ее уже решенной или внешне решенной в его книгах и пришли к повествовательным формулам, которые сам Павезе, будучи человеком хорошего вкуса и интеллектуальной строгости, несомненно отверг бы. Они ищут непосредственности, мифа, встречи с действительностью вне рамок культуры, стремятся к «поэтическому документу», а на деле приходят к одномерному натурализму, без глубины культуры и мысли, либо просто к диалектальному и провинциальному фрагменту».

Как же относился к неореализму сам Павезе? Он поддерживал в нем все, что было направлено против старой, герметической литературы, поддерживал книги, казавшиеся ему талантливыми (например «Черствый хлеб» неореалиста Сильвио Микеле), и с присущей ему бескомпромиссной резкостью отвергал риторичность, художественную приблизительность и безответственную узость прикладного искусства.

Об отношении Павезе к неореализму, пожалуй, ясней всего свидетельствует его письмо к писательнице Марии Кристине Пинелли от 11 февраля 1947 года: «Сегодня все пишут стихи и мемуары, прозу и памфлеты — анализируют и исповедуются... Одна из характеристик этих лет — появление прикладного искусства: все хотят показывать и свидетельствовать. Больше не встретишь красиво написанной страницы, в которой не сказано ровно ничего, сонета, услаждающего слух,— всего того, чем отличалась империалистическая аркадия времен Муссолини».

Здесь поддержка того, что в неореализме было направлено против псевдоискусства фашистских времен, и вместе с тем признание неореализма литературой прикладной, то есть лишенной глубины.

О Павезе много писали — одна лишь уже неполная сегодня библиография критических работ, вышедших в Италии, насчитывает 428 названий, а ведь писали о нем не только в Италии, но и в других странах. Писали по-разному. Для одних Павезе «лидер неореализма», другие выступали с еще более необоснованными утверждениями о декадентских началах его творчества, ссылаясь главным образом на «Дневники» (торопливая посмертная публикация этих записей нам представляется делом, лишенным элементарной этики и подчиненным скорее коммерчески-рекламным целям).

Ссылаются при этом также на книгу Павезе «Диалоги с Леуко», которой сам он придавал немалое значение. В 27 эпизодах этой книги мы встречаем попытку современного истолкования греческой мифологии. В этой книге мы видим прежде всего стремление художника осовременить древние мифы, вернуть на землю богов, противопоставить разум и свет познания «дьяволам подсознания», непримиримую борьбу между подсознанием и стремлением к ясности,— словом, нечто совсем иное, чем современный декаданс с его мифами «примитива», «дикаря», «ребенка», полярно противопоставленными разуму, сознанию, зрелости, ощущению истории.

Уже упоминавшийся нами Салинари пишет об этом весьма ясно: «Для Павезе зрелость, город, цивилизация не представляют собой негативное начало, не являются ограничением. Более того, он ценит их как элемент позитивного, элемент прогресса и блага». В той же статье, посвященной Павезе, Салинари критикует писателя за его отказ от глубокой разработки характеров, за чрезмерное увлечение символикой. Вместе с тем он подчеркивает: «Павезе, быть может, первый литератор всеевропейского значения, появившийся в Италии после многих десятилетий».

О своем понимании «мифа» Павезе гово-

Г. БРЕЙТБУРД
ГОДЕН К ПЕРУ

рит в письме, адресованном писателю Сильвио Микеле 24 февраля 1947 года: «Познакомься с моей теорией мифа... Ты увидишь, что заряд электричества заключен именно в изображении колодца, дороги, героических людей. Это и есть один из тех мифов, по поводу которых я теоретизирую».

«Мифы» Павезе не что иное, как символы, приметы и сгустки реальной жизни, экспериментальный реализм Павезе есть реализм в движении, в поиске нового сближения с действительностью, с человеком, в поиске и нахождении новых приемов изобретательности.

Близость к людям — вот цель, к которой стремился Павезе. «Нужна не связь с народом, нужно быть народом. В нашем ремесле нельзя идти к чему-то, нужно быть чем-то»,— писал он в «Диалогах с коммунистом», которые печатались газетой «Унита».

Вступление в коммунистическую партию, вспоминает Давиде Лайоло, «было для него одним из самых важных жизненных решений, принятых сознательно и с полным чувством ответственности». 20 мая 1945 года он принес в «Унитy» статью, названную им «Возврат к человеку». Словами этой статьи, словами глубокой веры в человека и в нужность искусства мы хотели бы закончить наш рассказ о Павезе:

«Эти годы тревог и крови научили нас тому, что тревога и кровь не есть конец всего. На грани ужаса мы увидели, как человек открылся человеку.

Мы верим в это глубоко, потому что никогда человек не был менее одинок, чем в эти времена страшного одиночества... Много барьеров, много нелепых перегородок было разрушено в эти дни. И нам, уже давно покорным неосознанной мольбе о присутствии человека, поразительно хорошо чувствовать себя обладателями такого богатства. Раскрылось все, что есть живого в человеке, и теперь он ждет, чтобы мы научились понимать и говорить.

Говорить. Слова — наше ремесло, мы признаем это без стыда, без иронии. Слова — хрупкая, живая и сложная штука, но они для человека, а не человек для них... Наша задача трудна, но не менее важна. Лишь в ней заключен смысл и надежда... Нас строго и доверчиво будут слушать люди, готовые воплотить наши слова в дела. Разочаровать их — значит предать их, значит предать и наше прошлое».

◆

Писатель и время

АЛЕКС ЛА ГУМА

ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И АПАРТЕИД

Южноафриканская литература—это весьма обширный предмет, который охватывает не только художественные особенности произведений, создающихся на четырех основных языках — нгуни, сото, английском и африкаанс,— но и историю национальных групп, составляющих сегодня население Южной Африки. Чтобы понять современную литературу нашей страны и особенно литературу Сопротивления, необходимо изучать народную литературу, рассматривая ее в контексте исторических процессов, определивших судьбы народов, населяющих эту часть Африки. Одно из величайших трагических следствий колониальной оккупации заключается в том, что литература и история этих народов остаются под спудом и почти не известны внешнему миру.

Первые литературные памятники относятся к концу XV века, но для всего мира цивилизация в Африке, как и все остальное, «обнаруживается» обычно лишь после получения независимости. Поэтому можно безошибочно предсказать, что день нашего освобождения станет днем «открытия» южноафриканской литературной традиции.

Империалистам выгодно представлять африканскую культуру как нечто хаотичное, не имеющее какой-либо ценности и не связанное с мировой цивилизацией. А ведь именно империализм лишил нас всех возможностей для творческого развития и уничтожил все наши достижения. Вот почему для нас так важен XIX век — не только для опровержения клеветы, возводимой на нашу культуру, но и сам по себе, как время величайших свершений. Это золотой век нашей литературы. События на африканском континенте отразились в героических эпосах, запечатлевших великий период Сопротивления колониальным агрессорам. Только в Капской провинции произошло девять войн с иноземными захватчиками; а на севере зулусы создали такую военную организацию, какой еще не видывала эта часть континента. Поскольку в африканских обществах связь между жизнью и литературой чрезвычайно тесна, эти исторические факторы вызвали бурный расцвет не только эпической поэзии, но и сатиры, лирики и драмы. Поэты и сказители, слагая стихи, расширили в то же время задачи литературы, которая уже не ограничивалась фиксированием будничных событий, а превратилась в подлинное средство социального, политического и исторического анализа. Герои этих произведений становятся символом борьбы за свободу, воплощением отваги, бесстрашия и доблести.

Изучая народное творчество XIX века, мы находим множество подобных примеров. В Капской провинции, например, литературные произведения отличаются эпическим характером и, как это всегда свойственно литературе Сопротивления, приобретают символический смысл. Произведения того времени не только ратуют за единство и сплоченность, но и раскрывают личность борцов за свободу.

Высоким взлетом отмечена и литература народа сото в эпоху правления монарха Мшвешве I. Эта литература призывала народ забыть все внутренние раздоры и дать отпор чужеземцам.

После объединения белых пришельцев в 1910 году возникла единая машина угнетения. Для литературы того периода характерны трагическое отчаяние и тоска по прошедшим дням. Временное поражение

африканцев породило философию безысходности. Но только на поверхности. Появлялась новая, молодая интеллигенция, которая твердо верила, что белые в конце концов потерпят сокрушительное поражение от объединенных сил всех африканских народов. Так, в одном из наиболее замечательных политических документов, написанном доктором Семе в 1908 году, подчеркивается настоятельная необходимость объединения африканцев против угнетателей. И речь шла не об одном только юге Африки, а обо всем африканском континенте. Значение этого документа и содержащихся в нем политических взглядов заключается не только в масштабности политической интерпретации духа сопротивления, но и в том, что такие взгляды стали неотъемлемой частью литературных настроений эпохи. Это нашло отражение в многочисленных произведениях — в переводах, в исторических и политических трактатах, которые воплощали африканское интеллектуальное Сопротивление. Эти труды представляли собой попытку истолкования африканской политической и исторической мысли, что видно уже из их названий: «Происхождение африканских народов» Соги, «Паж Чаки» Дюбе, «Африканские политические организации» Дладлы и т. д.

Чтобы правильно представлять характер и задачи этого движения, необходимо рассмотреть политические и социальные факторы, действовавшие в то время. Образование Южно-Африканского Союза означало, как уже говорилось, консолидацию сил угнетения. В первую очередь эти силы стремились согнать африканцев с земли, создав таким образом безземельную подвижную резервную армию труда для зарождающейся промышленности. Для полного и всестороннего претворения этой программы был введен налог, который вынуждал каждого трудоспособного африканца искать работу в городах, созданных белыми. Земельный акт 1913 года не только лишил африканцев права собственности на землю, но и запретил им какое бы то ни было владение землей без особого разрешения генерал-губернатора. В результате все африканское население, в четыре раза превосходившее численностью белое население, оказалось скученным на 12,5 процента территории Южной Африки. Это положение сохраняется по сей день; африканцам, впрочем, добавили полпроцента территории в качестве компенсации за утрату избирательных прав.

Как же повлиял Земельный акт на литературное творчество? До его введения образованные африканцы могли закладывать принадлежавшую им землю и покупать типографские станки. Д. Л. Дюбе, один из первых руководителей африканской оппозиции и первый президент Африканского национального конгресса, создал типографию «Иланга Ласе Наталь пресс» и печатал в ней газету, ставшую рупором движения Сопротивления. В Капской провинции и в Натале сплоченная и влиятельная группа интеллигентов открыла типографию «Африкэн пресс». Они мобилизовали африканское общественное мнение, всячески разоблачая наиболее жестокие формы угнетения, порожденные режимом. Книги, печатавшиеся в этих типографиях, служили опорой политического Сопротивления африканского народа. К чести этих интеллигентов, следует сказать, что они не только безраздельно связали свои судьбы с судьбою народа — вопреки постоянным попыткам режима и миссионеров разъединить их,— но и воплотили свои убеждения в конкретные действия, издавая литературу на африканских языках, доступную самым широким африканским массам.

Земельный акт сразу лишил африканцев возможности самим издавать свою литературу. Это право теперь принадлежало только миссионерским типографиям. Горстка бывших африканских землевладельцев не могла заниматься книгоизданием на скудные заработки служащих и школьных учителей, не говоря уж о том, что и эти гроши им платили белые. Следствием этого было не только сокращение литературной продукции, но и снижение ее художественного и идейного уровня. В новых произведениях больше уже не затрагивались социальные и политические проблемы, они были беззубы и не содержали ни критики режима, ни правдивых картин африканской жизни. Литература выродилась в сентиментальные описания любовных интриг между картонными персонажами.

Понесла значительный урон и народная африканская литература. Разрушение африканских общественных и политических институтов под напором колониализма означало подрыв самих основ народного творчества.

Но и в обстановке общего упадка уже были заметны признаки грядущего пробуждения, попытки создать систему образов и языка, которая помогла бы обмануть цензуру. Только после достижения независимости можно будет получить об этом полное представление, так как буквально тысячи рукописей не увидели света. Ведущие писатели отказывались вносить изменения в рукописи в угоду жестокому режиму. Великие пионеры нашей современной литературы — Дломо, Мгхаи, Вилакази, Мофоло и другие — создавали не только исторические романы, но и поэзию Сопротивления. Чтобы провести цензуру, они использовали тончайшие стилистические нюансы, понятные лишь тем, кто по-настоящему владеет африканскими языками. Виднейший поэт, писавший на языке коса, Мгхаи не только пересмотрел традиционные литературные каноны, но и создал новые поэтические формы, соответствовавшие новому содержанию. Используя двойные значения слов, он писал едкие сатиры на режим и Британскую империю. Замечательный зулусский поэт Вилакази обличал жестокую эксплуатацию сезонных рабочих на шахтах, хотя неискушенному читателю может показаться, будто автор воспевает красоту и силу воинов-зулусов. Прибегая к иносказаниям, поэт пишет о ржавчине, поражающей колокола в шахтах, а на са-

мом деле речь идет о заболевших силикозом шахтерах, которых выбрасывают на улицу.

В рассказе Дломо «Долины тысячи холмов» угадывается символическое изображение того, как были уничтожены гражданские свободы африканцев. Этот период знаменуется возрождением патриотической литературы. Пока еще она ограничивалась протестом, не призывая к восстанию. Но это само по себе уже было огромным достижением, так как искусство протеста по-новому осмыслило понятие африканской нации.

Начиная с 1927 года вводятся многочисленные законы, препятствующие опубликованию произведений, повествующих о жизни и чаяниях черного большинства. Закон об образовании для банту поставил все школы под прямой контроль правительственного департамента и тем самым дал этому департаменту право составлять списки обязательной литературы для школ во всех провинциях. В руки школьников попадали только книги, написанные по заказу и с одобрения правительства. Африканскому ребенку внушали, что его законный удел — занимать в обществе самое низкое положение. Одновременно издание книг перешло в руки полуправительственных учреждений. За исключением отдельных книг с ничтожным тиражом, вся литература, печатающаяся в настоящее время в Южной Африке для африканских школьников и вообще африканских читателей, представляет собой либо политическую отраву, либо банальную стряпню, либо примитивный романтический лепет.

Для расцвета творческого духа требуется редко встречающееся сочетание определенных факторов: наличие времени и условий для литературной работы, стремление рассказать о чем-то и взаимосвязь между художником и обществом, без которой нет истинного творчества, а также практическая возможность напечатать книгу, не говоря уже о художественном даровании.

Законы апартеида сознательно воздвигают барьеры между людьми, и тот факт, что кому-то удается преодолеть эти барьеры, свидетельствует о силе и неукротимости человеческого духа... Само слово «апартеид» означает «разделение», и законы апартеида исходят из того, что единого южноафриканского народа не существует, а есть лишь обособленные расовые группы, контакты между которыми должны быть сведены к минимуму.

Принятый в 1950 году закон о регистрации населения делит население Южной Африки на три основные категории — белые, африканцы и цветные, причем правительству дано право вводить дополнительные деления внутри африканской и цветной категорий. Африканцы, кроме того, разбиты на десять этнических подгрупп: коса, зулу, северные и южные сото, тсвана, тсонга, свази, венда, южные ндебеле и северные ндебеле. Каждый гражданин обязан всегда иметь при себе удостоверение личности, в котором записана его расовая принадлежность. Цель этой расовой классификации—затруднить общение между различными группами населения, чтобы белое меньшинство могло и дальше править, опираясь на старый метод «разделяй и властвуй».

Другой закон обязывает конкретные группы слиться только в определенных районах, и белый гражданин, например, имеет право посетить африканский район, только получив особый пропуск. Белый и черный не могут пообедать вместе в ресторане. Сожительство черных и белых считается уголовным преступлением, наказуемым семью годами тюремного заключения. Брак между ними запрещен. Черные и белые актеры не могут быть заняты в одной пьесе. Черным и белым нельзя вместе смотреть спектакль или слушать концерт. Белым и черным спортсменам нельзя не только входить в одну команду, но и участвовать в одних соревнованиях. Черным медсестрам запрещается ухаживать за белыми больными.

Но барьер между черными и белыми — далеко не единственный. Разделение существует и среди белых граждан, правда не закрепленное законом. Те, кто говорят на языке африкаанс, и те, кто говорят по-английски, от рождения до смерти ведут обособленное существование. Это разделение узаконено в школах, поскольку преподавание там ведется на соответствующих языках и каждый ребенок обязан учиться только в «своей» школе. Во всех сферах общественно-политической жизни созданы параллельные учреждения для двух групп белого населения — отдельные торговые палаты, учительские и студенческие союзы, молодежные клубы и т. д. Цель этого обособления — обеспечить главенствующее положение в обществе потомкам буров и не допустить, чтобы культуру африкаанс захлестнула более мощная английская культура.

В речи, произнесенной 9 октября 1972 года, профессор кейптаунского университета Ян Лубсер, назвав Южную Африку коллективной диктатурой белых, заявил, что внутри белой группы населения установилась диктатура африканеров над англоязычной общиной. «За последние двадцать четыре года (со времени прихода к власти националистической партии в 1948 году) империализм африканеров окреп. Они верховодят в полиции и армии, в радиовещании и множестве других учреждений. Только экономическое могущество англоязычной части белого населения,— сказал далее профессор Лубсер,— мешает поставить ее в одно положение с африканцами».

Что все это означает для художника в Южной Африке? Культурные учреждения, имеющиеся в распоряжении черного большинства, значительно уступают соответствующим учреждениям белых или же их

АЛЕКС ЛА ГУМА
ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И АПАРТЕИД

вообще не существует. В Совето—огромном поселении африканцев, где живет значительная часть всех рабочих Иоганнесбурга (почти миллион),— всего лишь один кинотеатр. К тому же в нем показывается ограниченное число фильмов, так как цензура ставит всех африканцев на один уровень с белыми детьми моложе шестнадцати лет. Лучшие библиотеки недоступны черным. И мало кто из них хоть раз в жизни побывал в театре или концертном зале.

Апартеид обкрадывает и калечит художника еще и в другом, более глубоком смысле. Никто не знает жизни Южной Африки во всей ее полноте, а потому никто не в состоянии написать о ней всю правду, как подобает истинному художнику. Видение художника ограничено шорами апартеида, и даже самое яркое воображение не может заменить личного опыта.

В капиталистических странах Запада общество разделяют классовые барьеры, но художник при желании может их преодолеть. Он может на практике изучить жизнь любой социальной прослойки. Писателю, принадлежащему к обеспеченному классу, никто не запрещает переселиться на время в трущобы, чтобы собрать необходимый материал.

Но в Южной Африке стена непроницаема. Белый не имеет права поселиться в поселке для черных, ему не дозволено есть, пить, спать, любить, голодать и умереть там. Даже если ему и удастся увидеть кое-что издали, не приближаясь к забору, он никогда не сможет влезть в кожу черного, нутром почувствовать, что значит быть черным. Он не напишет о том, как голодные дети скребут ложками по дну пустых мисок, надеясь, что металл чудом превратится в кашу,— именно такую, берущую за душу своей простотой картину создал в одном из своих ранних рассказов прозаик, пишущий на африкаанс, Элфред Хатчинсон, безвременно ушедший из жизни в 1972 году, когда ему было всего сорок восемь лет.

Ни одному южноафриканскому писателю не дано до сих пор увидеть жизнь в ее целостности. Его собственный опыт неизбежно ограничен. Никто из белых писателей еще не смог создать реальный и убедительный образ черного — и наоборот. Ни белым, ни черным южноафриканским писателям до сих пор не удалось показать отношения между белыми и черными так, чтобы картина получилась верной и исчерпывающей. Надин Гордимер вполне по силам изящно и тонко рассказать читателю, как белые южноафриканские либералы видят мир черных, но она не может проникнуть в душу своего черного персонажа и взглянуть на мир его глазами.

В свою очередь белые персонажи в романах Питера Абрахамса карикатурны и нереальны. Они говорят и действуют неуклюже и прямолинейно, словно деревянные марионетки. Точно так же лишен плоти и крови черный проповедник в романе белого писателя Алана Пейтона «Плачь, любимая страна» — слащавый белый праведник в черной оболочке. В расколотом обществе подобные творческие неудачи неизбежны.

Из этой проблемы вытекает еще одна: для кого пишет южноафриканский писатель, к кому обращается в своем творчестве? Найдут ли сбыт его книги? Отчасти это вопрос языка — африканец, пишущий на родном языке, и даже африканер оказываются в крайне невыгодном положении по сравнению с южноафриканскими писателями, творящими на английском языке, на котором говорят и читают сотни миллионов людей в мире. А отчасти и экономическая проблема — издавать книги маленьким тиражом для узкого рынка нерентабельно.

Но в основном это вопрос мировоззрения. Английский язык — это язык черного населения Южной Африки, язык политики и литературы, средство связи с внешним миром. Как ни парадоксально, в культурном отношении именно африканеры в первую очередь страдают от апартеида. Несмотря на политическую гегемонию, у себя на родине они находятся в изоляции. Африкаанс — язык завоевателей, правителей, полицейских, солдат, чиновников и надзирателей — вызывает отвращение у большинства жителей Южной Африки.

Даже проправительственные газеты, рассчитанные на африканского читателя, издаются на английском языке. На нем пишет подавляющее большинство южноафриканских писателей, если исключить африканеров.

Сегодня мы становимся свидетелями нового явления в среде интеллигенции, которой все труднее общаться со своими соплеменниками, потому что те не разделяют ее целей и не сочувствуют им. Нравственный конфликт парализовал такого писателя, как Уйс Криге, который горячо любит свой язык и культуру, но уже не может или даже не хочет обращаться к африканерам, выбравшим неприемлемый для него путь.

Поэт Брейтен Брейтенбах, крупнейший современный поэт, пишущий на африкаанс, живет в Париже в добровольном изгнании, потому что его жена — вьетнамка и в Южной Африке их брак считался бы недействительным. Второго апреля 1971 года в Иоганнесбурге было объявлено, что Брейтен Брейтенбах удостоен литературной премии Центрального агентства новостей за книгу стихов «Лотос». Эта премия присуждается Брейтенбаху за последние четыре года уже в третий раз.

Брейтенбах, как и прежде, отказался поехать в Южную Африку, чтобы получить награду. Раньше премии торжественно вручались ему в Париже. На этот раз ее получил от его имени отец, так как Брейтенбах отказывается возвратиться в Южную Африку, пока жена не сможет свободно и без всяких условий сопровождать его. «Поехать туда один я, само собой разумеется, не могу,— заявил поэт коррес-

понденту газеты «Рэнд дейли мейл».— Это означало бы, что я признаю законы, которые реакционны, бесчеловечны и глупы».

Писать правду — трудно и опасно, и некоторые прозаики, пишущие на африкаанс, печатают притчи и фантазии. А многие обречены на вынужденное молчание.

Иоганнесбургская газета «Санди таймс» писала 22 октября 1972 года: «Готовые рукописи многих видных авторов, пишущих на африкаанс, ждут того часа, когда цензурные запреты в Южной Африке будут отменены или хотя бы смягчены. Вот так накапливается бесценный клад для будущих читательских поколений!»

Многие оппозиционно настроенные южноафриканские писатели томятся за решеткой. Автор книги «Южная Африка: крестьянское восстание» Гован Мбеки приговорен к пожизненному заключению за «саботаж». Он содержится в печально знаменитой тюрьме на острове Роббен. Другие литераторы стали жертвой жестоких законов, ставящих их на положение отверженных, препятствующих нормальному общению с другими людьми, расценивающих художественное творчество как уголовно наказуемое преступление.

Сотни и сотни людей лишены возможности даже пользоваться пишущей машинкой. За написание и подготовку материалов для публикации их могут подвергнуть тюремному заключению на срок от одного года до десяти лет или даже приговорить к смертной казни — если то, что они пишут, будет квалифицировано как «саботаж» или «терроризм». Не удивительно, что эти варварские меры сломили отдельных художников.

Некоторые писатели, вынужденные уехать за границу, обрели там возможность работать, которой у них не было на родине.

Например, Льюис Нкози, пользовавшийся известностью в Южной Африке. Он часто печатался в журналах «Драм» и «Пост». Эти издания субсидировались белыми капиталистами, но предназначались для черных читателей. Теперь Нкози живет в Лондоне, успешно занимается журналистикой, часто выступает по телевидению.

Другой пример — Блок Модисане, тоже бывший сотрудник журнала «Драм», снискавший известность своей автобиографической книгой «Вините за меня историю». Дарование Модисане развилось и окрепло в эмиграции. Как актер он сыграл одну из ролей в пьесе «Черные» Жана Жене. Собственная пьеса Модисане «Четверть миллиона парней» передавалась радиостанцией Би-би-си. Действие пьесы происходит в Иоганнесбурге. Группа африканцев, ограбив банк, отправляется в подпольное питейное заведение, где у них завязывается спор с завсегдатаями, в ходе которого выясняется, как трудно подчас провести грань между уголовным преступлением и политическим возмущением.

Выдающийся поэт Мазиси Кунене недавно опубликовал свои «Зулусские стихи» — замечательную книгу, пронизанную высоким и страстным патриотизмом, который всегда присущ политическим изгнанникам, дышащую тоской, гордостью и беззаветным желанием вновь увидеть родину.

Деннис Брутус, хорошо известный как организатор международных кампаний против апартеида в спорте, выпустил четыре сборника стихов. Его творчество представлено и в антологии «Семь южноафриканских поэтов», составленной Космо Питерсе. В нее вошли также стихи Артура Нортжи, Доллара Бранда, Джонти Драйвера, Тимоти Холмза, Исмаила Чунары и Кеорапетсе Кготсесиле. Многие из них обязаны своей первой публикацией подвижнической деятельности Космо Питерса, посвятившего себя составлению и аннотированию сборников произведений своих коллег — южноафриканских писателей. Помимо этого Питерс — автор целого ряда критических эссе и двух книжек стихов — «Посвящается Мелбе» и «Раскованный».

В США живет и работает южноафриканский писатель Эзекайл Мпахлеле, автор книг «По Второй авеню», «Образ африканца» и других. В Америке находится и Рональд Сигал, широко известный публицист и обозреватель. Этот список можно было бы продолжить и назвать имена многих других, не менее достойных литераторов.

Столь блистательной плеядой талантливых писателей гордилась бы любая страна. И народ Южной Африки гордится ими. Но южноафриканское правительство, представляющее лишь расистское меньшинство, страшится их голосов. Все названные в этой статье писатели выступают против официальной политики апартеида. А потому правительство занесло их имена в проскрипционные списки. Их произведения запрещены в Южной Африке, ни один журнал не может напечатать их статьи или выступления.

Южноафриканское правительство отгораживает народ от его культуры. Южноафриканцы и весь цивилизованный мир никогда не простят расистскому режиму этого тягчайшего преступления, этого попрания гуманистических идеалов.

Правительство ежегодно тратит миллионы, стараясь разъединить людей, но могущественные политические и экономические факторы сплачивают южноафриканцев воедино. В рядах освободительного движения южноафриканцы разных рас, вероисповеданий и цвета кожи борются бок о бок во имя достижения общей цели — свободы. Когда стены апартеида рухнут, из плена вырвутся огромные творческие силы. Народ Южной Африки достигнет материального благоденствия и создаст такую богатую и значительную культуру, о которой можно было только мечтать в прошлом.

◆

Заметки на полях

СНОВА О «ФИЗИКАХ» И «ЛИРИКАХ»

Недавно мне пришлось смотреть телевизионную передачу, в которой известный советский писатель-публицист беседовал с министром просвещения. Среди вопросов, обсуждавшихся двумя собеседниками, был и такой: как относиться к обозначившейся в последнее время тенденции, что абитуриенты-школьники снова охотнее идут в гуманитарные, чем в технические вузы?

Вопрос этот не был, понятно, решен в рамках означенной передачи, но указание на саму эту проблему показалось мне любопытным. Ведь все мы хорошо помним то недавнее время, скажем, 50-е годы, когда при слове «физик» у юношей-абитуриентов начинали учащенно биться сердца, а девушки вздыхали, как в былые времена при слове «гусар».

Тогда и родилось иронические стихотворение Бориса Слуцкого, которое стало — и в какой-то момент уже почти всерьез — крылатой фразой:

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в одном расчете.
Дело — в мировом законе.

«Мировой закон», отмеченный Б. Слуцким. стал претерпевать в последнее время, по-видимому, какую-то эволюцию. Об этом я лишний раз подумал, прочитав статью известного английского историка Арнольда Тойнби (род. в 1889 г.), напечатанную в журнале «Интеллекчуел дайджест»; Тойнби основывает свои суждения на мысли, теоретически не такой уж новой, что развитие человечества идет не с правильной равномерностью, а сопровождается «волнами», «всплесками» то технического, то духовного прогресса. Особенно бурный взрыв научных знаний и технических достижений, который мир переживает ныне, мы называем даже революцией — научно-технической революцией.

Тойнби пишет о западном мире, где и социальные условия, и корни взаимоотношений между научно-техническим и гуманитарно-философским знанием иные, чем у нас. Но тем рельефнее выступают здесь, помноженные на острые социальные проблемы, сдвиги в традиционных представлениях о соотношении sciences и lettres, точных и гуманитарных наук.

Прежде чем коснуться философских умозаключений и прогнозов Тойнби, приведем одно частное, но весьма знаменательное свидетельство. Спенсер Кло, посетивший в 1972 году одно из самых знаменитых научных учреждений США — Массачусетский технологический институт,— пишет в журнале «Харперс»:

«Приехать в Массачусетский технологический институт после шестилетнего отсутствия — все равно что навестить старого друга, потерявшего религию. Если судить по тем людям, с кем я встретился сейчас в Кембридже, можно сказать, что американские ученые и технологи пребывают в состоянии неуверенности и затравленности. Возможно, они все еще верят в необходимость науки для спасения человечества, но они уже не так уверены в том, что для этого достаточно одной науки. Эта мысль была, в частности, высказана и новым президентом МИТ Джеромом Б. Уиснером... Свою речь, произнесенную в октябре прошлого

года при вступлении в должность, он закончил стихами собственного сочинения, в которых звучала идея о том, что многое, что придает смысл жизни, находится за пределами науки и недоступно ей. Мысль сама по себе не так уж нова, но вряд ли ее можно было ожидать даже в прозе из уст главы института, символизировавшего с конца второй мировой войны обожествляемое могущество — кое-кто сказал бы: дерзновение — американской науки и технологии. Для такого поворота настроения есть, разумеется, веские причины. Благоговение, с которым относились к ученым, в особенности к физикам в течение двадцати лет после Хиросимы, уступило место равнодушию, подозрению и раздражению».

В том, что пишет Спенсер Кло о причинах кризиса в самосознании ученых и техников на Западе, есть свои резоны. После второй мировой войны точные науки и техника в самом деле оказались в особом фаворе во всем мире. Могущество науки было доказано в первую очередь наиболее грубым способом — фантастическим прогрессом в области сил уничтожения. Наука изобрела ядерную бомбу, сверхзвуковые самолеты, межконтинентальные ракеты, способные в совокупности погубить все живое на земле, и это внушило людям, безотчетно поклоняющимся силе, благоговейное отношение к ученым, которые «все могут». Один скептически настроенный наблюдатель сказал в те дни: «Задача уничтожения жизни на земле, кажется, решена; остается нерешенной другая задача — как ее сохранить».

Впрочем, наука вскоре еще раз показала человечеству, что она сильна и созиданием: в последние десять — пятнадцать лет она не только проложила человеку дорогу в космос, но показала, что способна мудро распорядиться и многими человеческими делами на земле — стократно ускорить технический прогресс, стать подлинно производительной силой общества, фантастически стимулировать сельское хозяйство («зеленая революция», успехи Борлаука) и т. п. На очереди, как полагают, новые крупные достижения в области биологии, медицины и генетики человека.

Ученый получает неслыханный престиж в обществе как творец всех этих чудес. В особенно выгодном положении поначалу оказались точные науки, связанные непосредственно с материальным производством, с технологией. Помимо прочего, к ним привлекает ореол несомненности, неподмененности точного знания, столь выигрышно определенного и однозначного в сравнении с законами и проявлениями духовной жизни. Да и прямая «польза» гуманитарных «наук и художеств» не так ощутима, как тех, что способны быстро реализовать себя в производстве. На этом основывалось порой некоторое самодовольство представителей «точных» отраслей знания. Из того же корня росли технократические идеи и настроения.

В эпоху, когда социально-экономическое соревнование двух мировых систем дополнено их экономическим сотрудничеством в ряде областей, в эпоху, когда научно-техническая революция (а это именно революция, то есть коренной переворот в этой сфере жизни, а не цепь частных реформ) захватывает все новые районы земного шара, роль технических и точных наук, работающих в мирных целях, необыкновенно высока. Но рядом с этой заметна и другая тенденция — приближения знания к человеку, его духовному миру, сфере его коренных идей и отдаленных целей, понимания жизни и наслаждения искусством. На Западе этот процесс наталкивается на преграды социального свойства. Поиски нового духовного содержания часто заводят молодежь, которой осточертел мир вещей и комфорта «потребительского общества», в привычные тупики наркотиков, алкоголя, секса. Но даже это чаще всего — как ни парадоксально — лишь извращенная тяга к духовной жизни, реакция на отсутствие в ней идеалов, необходимых человеческой душе.

Все эти обстоятельства и соображения надо, безусловно, иметь в виду, рассматривая статью Арнольда Тойнби. Читателю, конечно, не безразлична и сама личность автора этой работы. Тойнби, разумеется, не марксист, но это ученый с мировым именем, мимо трудов которого не пройдет ни один историк всемирной культуры: они уникальны хотя бы по огромному количеству собранных и систематизированных автором фактов человеческой истории. Дело жизни Арнольда Тойнби — его «Исследование истории» в двенадцати томах — писалось им на протяжении более четверти века (1934—1961) и известно в многочисленных популярных переложениях. Тойнби давно уже высказывается за мирное сосуществование, предотвращение опасности новой мировой войны. Давним врагом Тойнби является «национализм», под которым он разумеет узкопонятые эгоистические национально-государственные интересы. В последнее время 83-летний историк выступил сторонником созыва общеевропейского совещания.

Как историк Тойнби привык мыслить крупными категориями, оперировать целыми эпохами человеческой культуры, беря в качестве ее единицы, «монады», не национальную культуру того или иного века, а «цивилизацию» и масштабы тысячелетий. Развивая свою теорию циклов цивилизаций, не столь пессимистическую, как у Шпенглера, но все же лишенную конкретной социальной перспективы, Тойнби отмечает две крупнейшие «волны духовного прогресса» в истории человечества. Первая волна поднялась на самой заре цивилизации, как мы бы сказали при первобытнообщинном строе, когда большие массы людей собрались впервые для выполнения общественных работ огромного масштаба. Эти работы велись под руководством вождей, внушавших массе определенные религиозные верования, и той эпохе мы обязаны первыми

древними храмами, рождением лирики и эпоса. Вторую волну духовного прогресса Тойнби относит ко временам между VIII веком до н. э. и VII веком н. э. Это так называемая «осевая эпоха», эпоха создания основных религий (от первых иудейских пророков до Магомета) и философских теорий, давших начало человеческой культуре нового времени.

«Я питаю надежду,— пишет Тойнби,— что мы будем свидетелями еще одного периода, когда развитие техники замедлится, но зато начнется новая волна духовного движения вперед. Быстрый прогресс естественных наук и техники в наши дни поднимает вопрос об отношении материального аспекта человеческой жизни к аспекту духовному. Я верю в то, что человек — существо духовное, но в то же время он являет собою организм физический»...

Наблюдая окружающий его мир, Арнольд Тойнби приходит к мысли, что человечеству необходимо заполнить некую образовавшуюся «моральную брешь». И в назидание современным философам приводит в своем несколько модернизированном изложении слова Сократа, переданные нам Платоном в одном из его воображаемых диалогов с учителем: «Когда я был молод, я увлекался модной современной философией, в которую включались естественные науки, физика, астрономия и геология. Но потом я понял, что самое главное во вселенной — человек, а не природа вокруг человека, не движение звезд и не природа химических элементов. Важнее всего дух человеческий, и потому я решил, что перестану заниматься изучением неживой природы и постараюсь понять, почему так получается, что человек знает, что хорошо, а делает то, что плохо».

Подобно Сократу, Арнольд Тойнби приходит как к главному итогу своих занятий мировой историей к мысли о необходимости идеалов, нравственного содержания, философски осознанных целей для каждого человека в отдельности и для всего человечества. Сам английский ученый открыто заявляет, что он — человек верующий. Конечно, это надо понимать не в узкоцерковном догматическом смысле, но как признание некой существующей вне человека надмирной духовной силы. И все же то, что Тойнби называет религией, слишком часто выглядит псевдонимом философских и нравственных поисков, более понятных у ученого середины XX века, чем слепая вера.

«Мы хотим знать, что такое вселенная,— говорит Тойнби,— как и почему вселенная возникла и почему живущему в ней человеку отведен такой короткий срок его земного существования. Мы хотим знать, существовали ли мы до того, как родились и пришли в этот мир, и продлится ли наша жизнь после смерти. Мы хотим понять, что такое жизнь — счастье или проклятье».

Все это, спору нет, законнейшие вопросы для сознательного человеческого ума. Только в большей своей части они могут быть заданы и безрелигиозным сознанием. Более того: сам вопрос о цели жизни, пожалуй, как раз черта безрелигиозного сознания. Ведь религия — не «попытка» понимания. В строгом смысле слова религия — готовая вера, предугаданный ответ на все, и тут нужно не спрашивать, не допытываться, а лишь слепо согласиться, принять как несомненное. В этом как раз смысле Арнольд Тойнби, вопреки его собственному утверждению, не кажется нам вполне религиозным человеком. Религия — это ответ, а Тойнби как ученый куда более тяготеет к вопросам, да еще со столь неспокойным, напряженным душевным наполнением.

Статья Тойнби называется «Нужна ли религия?». Сам этот вопрос неуместен в устах человека верующего. Разве вопрос веры решается тем, что она нужна, а не тем, что она — вне зависимости от любой нужды — естественная, изнутри идущая потребность.

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!

(Ф. Тютчев)

Этого мужества недостает сердцу, когда говорят о «нужности» или «ненужности» религии. По-видимому, религию расценивают в таком случае как единственную надежную — для массового сознания — опору морали. Но тогда вера получает, так сказать, лишь «организационное», прикладное, служебное значение: церковь — моральная узда для слабого человека. Вопрос коренной и неразрешенный, который стоит перед мыслителями типа Тойнби, вкусившими в избытке плодов от древа познания добра и зла и неспособными вернуться к былой невинности разума,— это: как согласить безрелигиозное сознание с моральным императивом? Как убедить людей поступать в согласии с гуманными принципами, если они поняли, что бога нет и их не ждет на том свете ни воздаяние, ни возмездие? Тойнби не находит ответа на этот вопрос и оттого, вероятно, говорит о «нужности» религии, пусть и в каком-то новом облике постиндустриального века.

Религии Тойнби делит на «великие», или «высшие» (христианство, буддизм, магометанство), и «малые», или «низшие», под которыми разумеет или наивный пантеизм, языческое поклонение природе, или поклонение «идее коллективной человеческой власти», «национализм» в частности. Вследствие этого понятие «религии» под его пером становится и вовсе безбрежным и неопределенным.

Надо, однако, иметь в виду, что в «готовой» или, напротив, расплывчатой религиозно-философской форме высказываются порой суждения и догадки, которые имеют цену и для научного материалистического познания, объективно сходятся с ним.

Отмеченное Арнольдом Тойнби в общей форме обстоятельство, что научно-технический прогресс и прогресс духовный часто не совпадают и что развитие человечества в этом смысле идет неравномерно, заставляет вспомнить рассуждение Маркса во «Введении» к «К критике политической экономии» о том, что определенные периоды расцвета искусства (очевидно, и родственной ему философии, и вообще духовного сознания) не находятся «ни в каком соответствии» с развитием материальных сил общества. Маркс ставит эту проблему не только в применении к эпохе расцвета античного искусства, но и в более общей форме: «Неодинаковое отношение развития материального производства, например, к художественному производству. Вообще понятие прогресса не следует брать в обычной абстракции»[1].

Тойнби справедливо подмечает, что появились некоторые тенденции кризисного отношения к «точным» наукам, падения их престижа. Но толкует это вне социальной конкретности, мысля, как обычно, глобальными и эпохальными «монадами».

> «Причиной того, что точные науки так мощно двинулись вперед за последние три века, а техника — за последние два века,— говорит Тойнби,— является тот факт, что в этих областях занято куда больше людей, чем раньше. Можно допустить, однако, что в следующем поколении наиболее талантливые умы и тонкие интеллекты придут к тому же выводу, что и Сократ, и решат, что самым насущным делом человека является уничтожение моральной бреши.
>
> Я думаю, что это не только возможно, но и вполне вероятно. В университетах США уже есть случаи, когда студенты отказываются от хороших и высокооплачиваемых должностей на службе деловых корпораций и ищут занятие, которое, с их точки зрения, более ценно для человечества в социальном и духовном аспекте и, следовательно, даст им больше удовлетворения чисто психологически».

Интересно, что подмеченное Тойнби стремление к новой шкале духовных ценностей происходит как раз в пору высочайшего успеха техники и точных наук — и нужды в них, связанной с научно-технической революцией. Но, видимо, именно ощущение принципиальной завоеванности мыслью этого этапа прогресса заставляет заглядывать через голову нынешнего кумира — науки и техники — и видеть в следующей исторической эпохе, в будущих столетиях переключение преимущественного внимания человечества на иные духовные ценности.

Есть свои преимущества, но и своя ущербность у мышления в столь крупных масштабах. Преимущества очевидны: узкое, прагматическое сознание видит лишь день нынешний и едва успевает отбиваться от ближайших вопросов и забот. Тойнби тянет заглянуть в будущее, минуя конкретные насущные задачи сегодняшнего и завтрашнего дня,— в день послезавтрашний. Эта черта философа, озабоченного представлением об идеале, сближает его с художником. Столь далекий, казалось бы, от Тойнби и по взглядам, и по характеру мышления М. Горький писал в пору работы над своим последним романом «Жизнь Клима Самгина», размышляя о том, «что будет через сто лет»: «...как всегда это бывает, вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия. Таковых людей народится неисчислимо более того числа, кое ныне существует на земле. Думается мне, что уже и теперь у людей возникает и нарождается новый инстинкт — «инстинкт познания» (...) Вообразите, что будет, если десятки и сотни тысяч людей воспылают страстью догадаться не о том, как удобнее жить, а о том — зачем жить. Вот что я думаю. Это одна из тем моего романа, над коим сижу». («Литературное наследство. Горький и советские писатели», т. 70. М., 1963, стр. 135.)

Но есть и известная слабость у того рода мышления, к какому наклонен в данном случае Арнольд Тойнби: оно заглядывает в дальние горизонты, но близкие края озирает с некоторой абстрактностью, отчего и дальние горизонты бывают заволочены туманом. В охлаждении американских физиков к своему призванию и падении престижа точных наук можно видеть не только симптом и пророчество по отношению к завтрашнему дню, но и более конкретные факты и тенденции современного социального развития, о которых упоминалось выше. А жить напряженной духовной жизнью можно, по-видимому, и не ожидая наступления новой, «осевой» эпохи.

Тойнби не вполне последователен, когда, с одной стороны, ставит прогресс нравственности лишь в зависимость от религиозного сознания, а с другой стороны, справедливо отмечает:

> «Под нравственностью я понимаю такие нормы поведения человека в его взаимоотношениях с другими людьми, которые делают его животным общественным».

Путь к новому нравственному сознанию Тойнби видит в преодолении человеком эгоцентризма — главного, по его мнению, родового несчастья личности, которое можно победить лишь любовью и терпимостью к чужой вере.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 736.

Понятно, насколько далека такая точка зрения от марксизма, неизменно ставящего нравственность в зависимость от задач и условий социальной борьбы. Подлинное существо проблемы состоит в том, чтобы грядущий поворот всего человечества к большей насыщенности духовной жизни имел своим содержанием не возвращение к старой религии, а новое сознание, свободное от предрассудков прошлого. История будущего человеческого общества с отсутствием в нем социально-классовых противоречий, высокой духовной культурой, должна разрешить исконное противоречие эгоизма и альтруизма. «Свободное развитие каждого» станет условием «свободного развития всех». Новый гуманизм, гуманизм будущего положит в основу нравственности принцип справедливости, совмещающий самосознание и самолюбие с любовью к другим людям и признанием полнейшего равенства их прав с твоими.

Статья Арнольда Тойнби интересна тем, что выражает глубокую неудовлетворенность уровнем духовной культуры и нравственного сознания всего окружающего его общества. Еще существеннее, что, по-видимому, эта неудовлетворенность ощущается уже не только им и, как стихийное настроение, коснулась представителей точного знания, прежде всего «королевы наук» — физики. Снова стала получать неожиданный престиж поэзия, философия, словом, гуманитарная область жизни. Важно, чтобы в споре с «физиками» «лирики» оказались на этот раз достаточно сильны и мудры, то есть богаты новым запасом идей и душевных впечатлений, а это по-разному бывает в различных исторических и социальных условиях. Но то, что к этой теме приходится обращаться снова, служит, вероятно, симптомом неизбежных перемен.

В. ЛАКШИН

ПО ГУМАНИЗМУ — ШРАПНЕЛЬЮ!

Бывают публикации, которые действуют как резонансный взрыватель. Их собственное значение не превышает весьма скромных пределов. Однако по той или иной причине они приводят в движение некие внешние силы. Образуется лавина, значение и масштабы которой несопоставимы с первоначальным толчком, стронувшим ее с места.

Нечто подобное произошло с материалами исследований американского социопсихолога Херренштейна, посвященных наследственным различиям в интеллектуальных способностях индивидуумов.

Основная идея Херренштейна, о которой мы уже упоминали в нашем журнале (№ 9, 1972), достаточно тривиальна для определенного направления в буржуазной общественной науке. Суть ее сводится к следующему: умственные способности передаются по наследству, что влечет за собой сохранение различий в интеллектуальных уровнях. Контакты, браки и воспроизведение потомства происходят чаще всего между людьми со сходными уровнями интеллекта. Таким образом, возникает тенденция к долгосрочной стратификации по признаку умственных способностей. Поскольку для успеха в современном обществе необходимы о п р е д е л е н н ы е умственные способности, а успех обусловливает социальное вознаграждение, происходит объективно обусловленное формирование иерархического общества, высшие позиции в котором занимает интеллектуальная аристократия с генетически закрепленными привилегиями. Возникающая на этой основе кастовость является вполне оправданной и необходимой.

Эта концепция Херренштейна, подкрепленная некоторым количеством эмпирического материала, вызвала к жизни бурю приветственных откликов. В шквале похвал, который обрушился на американского социо-психолога, объявленного частью буржуазной, в том числе научной, печати чуть ли не первооткрывателем «идей века», едва ли не потонули немногие трезвые суждения, вскрывавшие несостоятельность большинства исходных посылок Херренштейна.

Среди этих суждений наиболее весомо прозвучал голос Н. Хомского, статья которого «Строительные блоки для новой классовой системы» была напечатана в журнале «Рэмпартс». Хомский не подвергает сомнению первый тезис Херренштейна, принятый им за аксиому, хотя утверждение о передаче умственных способностей по наследству не так уж бесспорно (это понятие слишком сложно и противоречиво, чтобы определять его генетическую основу столь же однозначно, как цвет глаз, волос и форму носа). Он оставляет за генетиками право содержательно высказываться по этому вопросу. Зато несостоятельность социальных упражнений, составляющих основу идей Херренштейна, он вскрывает достаточно полно.

Является ли в капиталистическом обществе интеллектуальность действительной основой успеха, как это утверждает Херренштейн? Таков первый вопрос, который задает Хомский. И с полным основанием он отвечает на него отрицательно.

> «Если мы повнимательнее присмотримся к фактам истории и свидетельствам своего опыта, то обнаружим, что в обществе, основанном на конкуренции, где позволена свобода для проявления таких атрибутов «успеха», как хит-

рость, изворотливость, жестокость, люди, обладающие этими качествами, поднимаются на вершину социальной лестницы, а затем используют свое богатство и приобретенную власть для того, чтобы сохранить и расширить завоеванные привилегии. Кроме того, они изобретают идеологические объяснения такому порядку вещей, доказывая его честность и справедливость».

При подобных условиях интеллектуальность становится скорее причиной неуспеха, чем успеха.

«Преподаватели школ из гетто обычно отмечают, что учеников с живым умом и воображением, уверенных в своих силах, энергичных и сопротивляющихся авторитету начальства, часто воспринимают как смутьянов, наказывают, а нередко даже исключают из школ. Убеждение, будто в обществе, где сильно развита дискриминация и существует пропасть между богатством и бедностью, достойные будут вознаграждены, представляется попросту смешным».

Важную роль в конструкции Херренштейна играет утверждение, будто материальное вознаграждение за выполнение определенных функций обуславливается общественной полезностью профессий. Отсюда делается вывод, что наиболее общественно полезные лица получают наибольшую долю общественного богатства в виде денег, товаров, социального статуса и власти.

Хомский высмеивает этот тезис:

«Имея в виду грандиозное неравенство доходов, мы должны предположить, что «индекс предпочтения профессий» по оплате является естественным показателем вовсе не служения обществу, а служения власти и капиталу, то есть тем, кто в состоянии покупать и властвовать. Отмечаемая Херренштейном связь между интеллектуальными способностями, профессией и социальным положением на практике имеет смысл для людей, наделенных властью и богатством, но для всего общества и его членов в целом подобная связь такого смысла не имеет».

Эту констатацию можно проследить на конкретных примерах. В списке из 70 человек, распределенных по степени доходов (а следовательно, по «интеллектуальному» уровню), который приводится Херренштейном, первое место занимают финансовые эксперты; агенты по рекламе занимают четвертое место, музыканты — 35-е, клепальщики — 50-е, водители грузовиков — 67-е, лесорубы — 70-е.

«На основании таких данных,— пишет Хомский,— Херренштейн заключает, что общество мудро «распоряжается своими интеллектуальными ресурсами», а «индекс предпочтения профессий» является естественным мерилом ценности людей и имеет практический смысл.

Разве уж так очевидно, что финансовый эксперт, помогающий корпорации сократить налоговые обложения, выполняет более полезную для общества работу, нежели музыкант, клепальщик, водитель грузовика или лесоруб? Разве юрист, получающий гонорар в сто тысяч долларов за то, что помог фирме добиться отмены запрета на продажу опасного наркотика, значит для общества больше, чем фермер или медицинская сестра? Разве хирург, оперирующий богатых клиентов, полезнее обществу, чем врач, практикующий в трущобах и выполняющий гораздо большую работу за несравненно меньшее вознаграждение?..

Неравное распределение власти и богатства создает, естественно, перевес в сторону большего вознаграждения за услуги привилегированным лицам, увеличивая тем самым разрыв между шкалой вознаграждений и шкалой социальной полезности во многих аспектах».

Таков еще один фактор, разрывающий зависимость между интеллектуальным неравенством и социальным, выступающим как отражение совсем иных закономерностей.

Полностью несостоятельным при ближайшем рассмотрении оказывается тезис Херренштейна о том, что размеры материального и престижного вознаграждения являются единственной формой стимулирования деятельности индивидуума на пользу общества.

«Выводы Херренштейна получат известную силу, только если мы предположим, что люди работают исключительно ради прибыли, а удовлетворение от интересной работы или общественной деятельности, от работы, выполненной отлично, от уважения, которое подобная деятельность вызывает у других членов общества,— все это недостаточно «выгодно», недостаточно «прибыльно», чтобы возбудить в человеке желание работать. Смысл подобной посылки, короче говоря, сводится к следующему: без материального вознаграждения люди станут прозябать в бездействии... Я не могу, например, утверждать, будто Херренштейн, узнав, что труд уличного мусорщика оплачивается лучше, чем его про-

фессия исследователя и преподавателя психологии, немедленно стал бы претендовать на должность мусорщика. Он заявил бы, я в этом уверен, что работает не ради умножения своего капитала и не ради престижа, а в силу интересного и творческого характера своей работы, то есть потому, что сама работа «вознаграждает» его, принося ему внутреннее удовлетворение... Утверждение, будто люди работают исключительно ради власти и денег, выглядит не только необоснованным, но и ложным... Но именно это грубое и унизительное утверждение, традиционное для идеологии капиталистического общества и бихевиористских взглядов на природу человека, лежит в основе всего построения Херренштейна».

Методологические посылки Херренштейна, основанные на идее генетически обусловленного неравенства, подводят автора к определенным формам расизма. Именно с этим и связывает Хомский ту шумиху, которая была поднята консервативными кругами Запада вокруг изысканий Херренштейна, тот шквал апологетических оценок, который вызвала его весьма сомнительная работа.

«Похвалы, в изобилии расточаемые в адрес несостоятельной теории Херренштейна, а также тот факт, что широкие круги не заметили ни заложенных в ней заблуждений, ни необоснованных посылок,— все это указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с проблемой, которую нельзя свести исключительно к научной пытливости. Поскольку невозможно объяснить столь шумное одобрение содержательностью или обоснованностью аргументов Херренштейна, резонно задать вопрос: не объясняется ли потеря критического чутья среди критиков этой теории тем, что они слишком заинтересованы в ней самой; не потому ли они не разглядели необоснованность решающих посылок Херренштейна, что все эти посылки являются разновидностью господствующей идеологии?»

Это, в свою очередь, ставит важную моральную проблему, выводящую далеко за рамки конкретной позиции, занятой Херренштейном. Разумеется, любые стороны общественного развития могут стать объектом научного исследования. Однако при определении темы ученый не вправе абстрагироваться от последствий своего выбора. Выделив для себя из всей системы общественных взаимосвязей одну ее сторону, призванную подтвердить умозрительную идеологическую конструкцию, он теряет право ссылаться на научную любознательность. Он становится участником социальной и политической конфронтации, происходящей в современном мире.

Это наиболее ярко прослеживается в тех случаях, когда любознательность подобного рода завершается не половинчатыми, а достаточно определенными, откровенными выводами.

Весьма показательной с такой точки зрения можно считать книгу американского биолога и публициста Роберта Ардри «Общественный договор. Частное расследование эволюционных источников порядка и беспорядка».

«Основное различие между моим общественным договором и созданным Руссо,— пишет Ардри без ложной скромности,— состоит в том, что он думал о соглашении между падшими ангелами, а я — о соглашении между распрямившимися обезьянами».

Исходный постулат «философии» Ардри: источник всех социальных бед — стремление к равенству людей; основная цель этой «философии» — оправдать и возвеличить неравенство при помощи системы генетических аргументов.

Определив человека как «распрямившуюся обезьяну», Ардри сразу же вскрывает его главную, извечную ошибку: насильственное подавление «биологических приказов». С самых ранних пор цивилизации человек пренебрегал законом природы, а затем, уже в последнюю эпоху, стал сознательно игнорировать «объективный закон неравенства».

В силу этого, утверждает Ардри, последние два столетия (вероятно, с момента восстания английских колоний в Америке и буржуазной революции во Франции?— А. Г.) в науке о человеке в обществе преобладала «философия невозможного», человек рассматривался в отрыве от природы, даже противопоставлялся ей.

И приверженцы капитализма, и приверженцы социализма, заявляет Ардри, в равной мере исповедуют материализм, но ни те, ни другие не понимают законов природы и, отвергая религиозные представления, придумывают «рай» невозможного. Однако новые научные наблюдения, считает Ардри, требуют отказа от двух вековых иллюзий о суверенности человека, которые «побуждали дерзать и надеяться, но они же привели нас к эпохе страха».

Постулировав неравенство индивидуумов, Ардри переходит к утверждению неравенства групп. Его глубоко возмущает сложившееся среди научной общественности отрицательное отношение к расовым теориям.

«Мы ничего не знаем о расах,— гневно бросает он своим оппонентам.— Надо изучать их независимо от любых эмоций — и расистских, и эгалитарных — и так, чтобы исследователь не рисковал, оглашая те или иные наблюдения».

Судя по контексту, Ардри явно намекает на то, что ему мешают сказать правду. А о том, какую правду он намерен поведать миру, говорит, например, следующий пассаж: негры в США уже обнаружили явное превосходство расовых физиологических свойств. В то же время они явно уступают белым в восприятии школьного образования.

Поразительно, как можно научным слогом выразить старый примитивный плантаторский тезис: «Негры насилуют белых женщин, а учиться не способны».

Проповедь неравенства людей и общественных групп логически завершается обычно отрицанием гуманизма как основы мировоззрения и поведения. Этот путь утоптан на протяжении многих столетий. Ардри, уверенный в том, что открывает новые горизонты, следует по нему в полном соответствии со сложившимся каноном.

Гуманизм, или «религия гуманизма», как предпочитает выражаться Ардри, выступает для него в качестве одной из главных причин человеческих бедствий. Его порочность состоит прежде всего в том, что он «жертвует качеством человека во имя количества людей». А такой подход может оказаться вредным для биологической судьбы человечества.

Отсюда уже один шаг к отрицанию принципа неприкосновенности человеческой жизни. И Ардри его делает. Вполне вероятно, пишет он, что сохранение слабого, больного, неполноценного потомства снижает генетический фонд и ведет к вымиранию: «это та судьба, которую чаще всего предсказывают человеческим племенам».

Ему вроде бы невдомек, что превозносимые им рецепты генетического оздоровления человеческого рода не только уже предлагались, но и «применялись» в больших масштабах.

Постоянно обращаясь к сравнению людей и животных, Ардри упорно предпочитает последних.

«Человек — это хищное животное... Все эти добродетельные ханжи и проповедники социальной этики, которые пытаются закрыть глаза на данный факт, тоже хищные звери, но с вырванными зубами, ненавидящие других за агрессивность, от которой они сами благоразумно воздерживаются... Называя человека хищным зверем, кого я обижаю: человека или зверя? Ведь великие хищные звери — это благородные создания совершенного типа, чуждые лживой человеческой морали, порожденной слабостью».

Выдержка эта не из Ардри. Автор приведенных слов — Освальд Шпенглер, реакционный германский философ, общепризнанный предтеча мировоззренческих построений национал-социализма. Но на фоне этого высказывания легче понять идеологический контекст, в который вписывается позиция Ардри в данном вопросе.

«Звериная справедливость», вероятно, была первым из законов природы, нарушенных человеком, считает Ардри, и, видимо, это приводило к падению царств, к исчезновению народов, «генетически истощенных в силу несправедливости общественного порядка».

> «В жизни все — агрессивность. Агрессивность — главная гарантия выживания».
>
> «Ксенофобия — фактор жизни всех организованных обществ». Как в животную, так и в человеческую общину «генетически заложена неприязнь к чужакам и, вероятно, склонность к насилию».

Подавляя естественное стремление к внешнему насилию (выступая против войн и тем самым насилуя свое животное начало), человечество наступает тем самым себе на горло. Мы обходимся без войны, но теперь очевидно, что

> «энергию, ранее направлявшуюся вовне, мы стали направлять вовнутрь, выражая ее в социальном насилии. Это выдвигает новую проблему: нам приходится выдумывать, изобретать чужаков».

В конечном итоге человечество должно будет вернуться к отношениям, господствующим в животном мире.

> «Эволюция позволила нам существовать, эволюция будет вершить последний суд... Он... приговорит нас к истреблению или, что более вероятно, заставит нас принять и исполнять законы, которым подвластны все живые существа».

Перед нами довольно стройная, воинствующая концепция антигуманизма, сознательного поношения человека, как такового. При этом ее особая опасность состоит в том, что она паразитирует, во-первых, на естественном интересе к огромным достижениям биологической науки и, во-вторых, на отрицательном отношении научной общественности к широко распространенному вульгарному социологизму, игнорирующему фактор наследственности, в том числе индивидуальные различия генетического порядка.

В действительности у Ардри и его адептов речь идет не о «реабилитации» генетического фактора, как одной из важных переменных, обуславливающих общественные процессы. Без ее учета трудно себе представить сколько-нибудь серьезную исследовательскую работу на эту тему. Речь идет о попытках, в пику вульгарному социологизму, объявить генетический фактор решающим, а то и единственным двига-

телем общественного развития, попытках, которые делаются в угоду вполне определенной идеологической задаче.

Мизантропы бывают разные. Его преподобие Джонатан Свифт, человек угрюмый и желчный, тоже, как известно, не жаловал своих ближних. Людям, в которых он иногда видел обезьяноподобных кретинов «йеху», он противопоставлял четвероногих с красивым хвостом и пышной гривой. Но свои злые и меткие карикатуры на людей и систему их общественных отношений он рисовал, преследуя позитивные цели. Он хотел, чтобы они стали лучше.

Это никак нельзя сказать об Ардри, Херренштейне и им подобных, организовавших массированный обстрел гуманизма псевдонаучной шрапнелью. Конечно, от этого обстрела можно отмахнуться, сказав, что сама по себе типографская краска не убивает. Но, как показывает опыт, иногда она оборачивается кровью.

А. ГАЛКИН

КИНО И ЭСТЕТИКА ЖЕСТОКОСТИ

Изображение жестокости и насилия — не новость для западного кино. Однако стремление ко все более подробному и скрупулезному показу всевозможных сцен избиений, убийств, пыток, изнасилований захватывает экран, подобно эпидемии. Если раньше такого рода сильнодействующие средства применялись преимущественно режиссерами низкопробных фильмов в спекулятивных целях, то теперь их использование все чаще приобретает программный характер, утверждается как эстетический принцип. Многие критики видят в этой тенденции выражение больного, извращенного сознания, свидетельство тревожного, чреватого катастрофой неблагополучия в жизни и в искусстве. Высказываются предположения, что если 60-е годы в западноевропейском и американском кино прошли под знаком секса и эротики, то 70-е будут годами разгула жестокости и насилия.

Споры об эстетике жестокости, о ее правомерности, истоках и пределах допустимого вновь оживились в связи с выходом на экраны таких американских фильмов, как «Соломенные псы» (режиссер Сэм Пекинпа), «Крестный отец» (режиссер Френсис Форд Коппола), «Заводной апельсин» (режиссер Стэнли Кубрик) и некоторые другие.

В своих интервью Сэм Пекинпа говорит об огромном интересе, который он испытывает к людям, «захваченным насилием», ибо стремление к насилию, по его мнению, свойственно каждому человеку.

> «Я хочу,— заявляет режиссер,— чтобы зрители были вброшены в действие, погружены в насилие, вынуждены полностью соучаствовать в этом насилии... чтобы они отдали себе отчет в том, как далеко они сами могли бы зайти, если бы, выскочив из своих кресел, оказались на месте действующих лиц».

А вот что пишет о его фильме «Соломенные псы» Мирей Амьель на страницах французского журнала «Синема»:

> «Теперь уже нет ничего оригинального в том, чтобы расстреливать людей в упор. Но закончить фильм (не военный и не гангстерский) более чем десятью убийствами — включая удушение юноши, раздробление черепа старого солдафона, раздавливание людей в специальных капканах — это уже может рассматриваться как продолжение и развитие великой шекспировской традиции».

Мирей Амьель не скрывает своей иронии, говоря о «грангиньольных фантазиях» Сэма Пекинпа. Тем не менее она тут же добавляет:

> «Значит, мы должны осудить фильм без права на апелляцию? Конечно нет. Во-первых, в нем столько смелости и силы, он свидетельствует о необычайном темпераменте. Каким бы грангиньольным ни был финал, это настоящее чудо ритма, изобретательности, дерзости. Но главное — в фильм с самого начала вводится новое измерение, измерение безумия, что и приводит к любопытным последствиям».

Двойственность оценки, которую дает Мирей Амьель «Соломенным псам», характерна для позиции значительной части западной критики. Это — закономерный результат чисто вкусового подхода. Критика коробят «излишества» в изображении ужасного и отталкивающего, но привлекают «сила и дерзость» режиссера. Вот и все. Нравственный и социальный моменты в анализ просто не включаются.

О чем же повествует фильм? Снова предоставим слово Мирей Амьель:

> «Молодая супружеская чета поселяется в английской деревушке. Жена родом из этих мест. Ее муж — математик, стремящийся к тихой жизни. Но по

деревне бродит какой-то полусумасшедший. Без конца возникают разговоры о некой лечебнице, которую никто не видел, а старый друг напоминает молодой героине, что и она когда-то была ненормальной. Граница между нормальным и анормальным с первых же кадров дана как нечто неопределенное. Спокойный математик в конце концов присоединится к толпе в ее безумии и ожесточении, и в заключительных кадрах он предстанет перед нами счастливым убийцей, порвавшим все связи, свободным».

В последнее время мы видели немало западных фильмов, рисующих выход за пределы буржуазно упорядоченной жизни в виде взрыва безумия и жестокости, взрыва неконтролируемых и разрушительных инстинктов. Идеологический подтекст такого рода художественных построений очевиден. Эстетика жестокости, эпатирующая и пугающая буржуа, сплошь и рядом прикрывает вполне консервативные идейные установки. При этом многие режиссеры, искренне считающие себя нонконформистами, не отдают себе отчета в том, что их фильмы выполняют охранительные функции. Как отмечает Мирей Амьель,

«из фильма в фильм, из месяца в месяц, из страны в страну жестокость становится все невыносимее, сексуальность — все ужаснее, безумие — все навязчивее. А мы, зрители, преспокойно проглатываем все».

Впрочем, рядовые зрители не так уж спокойно воспринимают потоки жестокости, захлестывающие западные экраны. Журнал «Филмз энд филминг» в нескольких номерах публиковал письма зрителей, обеспокоенных и возмущенных кровавыми сценами, получающими все большее распространение в кино.

«Я опасаюсь за кино как за вид искусства, особенно когда художники забывают о своей ответственности за тот эффект, который производят их фильмы»,—

пишет автор одного из таких писем. Критикуя фильм Ральфа Нельсона «Голубой солдат», он выражает мнение, что сцены жестокостей и насилий в этой картине мотивируются не столько художественной необходимостью, сколько коммерческим расчетом. Можно спорить с этой оценкой применительно к «Голубому солдату», где разоблачается политика геноцида по отношению к североамериканским индейцам, но в принципе опасения английского зрителя имеют реальные основания. Слишком часто изображение насилия на экране становится данью моде или предметом спекуляции со стороны режиссеров, недостаточно сознающих свою моральную ответственность.

Натурализм в изображении жестокости и страданий нередко сопровождается их эстетизацией. Об этом пишет, в частности, итальянский критик Романо Джакетти, опубликовавший в журнале «Чинема нуово» серию статей по интересующему нас вопросу. Он отмечает, что в целом ряде фильмов (например, «Соломенные псы» и «Французский связной») имеет место

«жестокое использование съемочной камеры в почти литургической роли для создания церемониала насилия».

В той же статье итальянский критик ставит вопрос о социальной и исторической обусловленности ширящегося увлечения эстетикой жестокости. Отмечая такие причины, как «застой левых сил», идеологическая беспомощность бунта «новых левых», а также стремление неофашистских групп путем насилия сдвинуть общество вправо, Джакетти считает, что дело к этому не сводится. По его мнению, разгул насилия (и в жизни, и на экране) связан со страхом человека западной цивилизации перед надвигающейся «технологической эрой», несущей в себе тройственную угрозу: автоматизации жизни, манипулирования личностью, биологической перестройки организма.

«Мотив неизбежной (или уже начавшейся) технологической катастрофы,— пишет Р. Джакетти,— обусловливает человека сегодняшнего дня в еще большей степени, чем это делала перспектива атомной катастрофы по отношению к человеку послевоенного времени».

Джакетти полагает, что в США и в близких к ним по типу развития странах имеет место «снашивание социальных структур». Реакцией на это оказывается взрыв жестокости:

«Будучи не способен к аналитическому подходу, американец прибегает к насилию...»

Таким образом, кино только отражает процессы, идущие в самой жизни. В качестве наиболее яркого примера итальянский критик приводит фильм «Заводной апельсин»:

«В «Заводном апельсине» Стэнли Кубрик дает почти карикатуру на человека, одержимого насилием. Опаленный огнем бунта, протеста, вандализма, социального распада, герой Кубрика отвечает ударами, уничтожая ценности, кото-

рые принято считать неприкосновенными: домашний очаг, имущество, безопасность, половую жизнь, жизнь вообще. Во главе банды своих дружков, пораженных, как и он, раком насилия, Алекс терзает общество».

Следует отметить, что «Заводной апельсин» по своему идейному и эмоциональному звучанию не так уж далек от другого фильма Кубрика — «Космическая Одиссея 2001 года»: здесь перед нами тоже своего рода социально-философская антиутопия — доведение до конца тех тенденций, которые, по мнению режиссера, грозят гибелью западной цивилизации. Только фантастика проявляется здесь не в изображении техники космической эры и межпланетных полетов, а в живописании чудовищных проявлений разрушительных инстинктов человека. Пессимистически взирая на будущее мира, Кубрик чувствует себя бессильным перед этим взрывом жестокости, подобно тому как бессилен был герой «Космической Одиссеи» перед лицом таинственных, недоступных человеческому разумению сил космоса.

Думается, что Р. Джакетти совершенно прав, указывая на определенную связь между увлечением эстетикой жестокости и пассивным, фаталистическим взглядом на мир. Но прав ли он, когда утверждает, что американское кино и американская культура в целом еще не доросли до исторического анализа жестокости и насилия? Такое утверждение, применительно ко всей американской культуре, представляется слишком поспешным. Можно назвать немало произведений американской литературы и кино, дающих социально-исторический анализ противоречий буржуазной цивилизации. Но оно справедливо по отношению к целой категории американских — и не только американских — фильмов, опирающихся на эстетику жестокости.

Именно о пассивности перед насилием свидетельствуют слова Кубрика, приводимые Романо Джакетти:

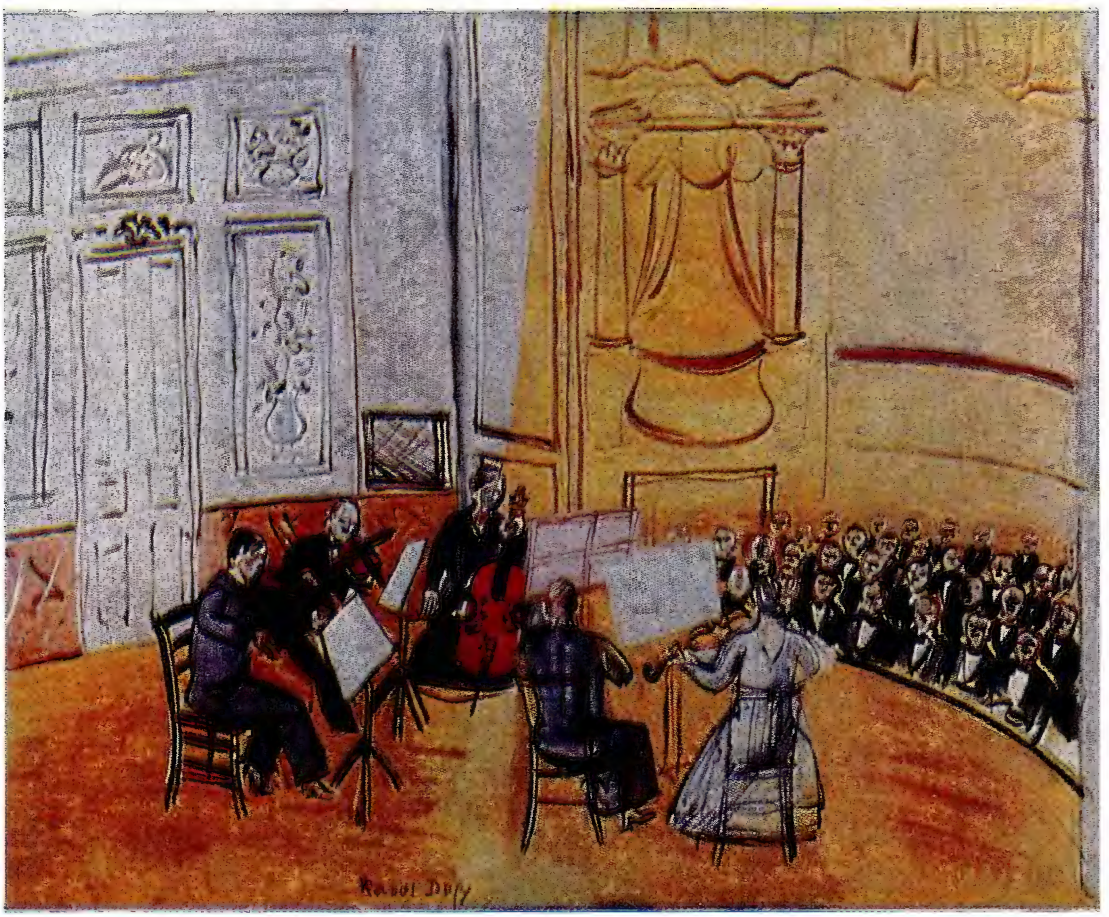
«Насилие само по себе не обязательно должно отвергаться. С этой точки зрения Алекс развлекается и отвлекается от мира, а я хотел лишь в точности передать зрителю то, что чувствует Алекс,— без ограничений традиционного морализма. Нельзя сопоставлять то, что делает Алекс, с повседневной реальностью. Смотреть фильм — это все равно что грезить с открытыми глазами. Таким образом мы можем исследовать области, которые в реальной жизни табуированы: ведь даже сны, в которых делаются всякие ужасные вещи, находятся под запретом сознания».

«Заключение,— пишет Р. Джакетти,—напрашивается само собой: нас должно пугать не насилие, как таковое (ведь многие другие, по видимости гораздо более мирные, продукты западного кино способствовали в прошлом организации фашистского насилия), но определенная культура, которая, изображая это насилие с массой подробностей, не умеет понять его истинную природу».

К этому следует добавить лишь одно: проблема жестокости в искусстве связана не только с пониманием природы насилия, но и с нравственной позицией художника. У Бунюэля и Бергмана и даже у Феллини — немало жестоких, мучительных сцен. Нельзя сказать, что эти художники всегда до конца осознают причины изображаемых ими трагических конфликтов. Но ни один из этих авторов не мог бы сказать, подобно Кубрику: «Я хотел лишь в точности передать зрителю то, что чувствует Алекс (то есть садист и насильник! — В. Б.),— без ограничений традиционного морализма». Специфика распространившегося сейчас на Западе кинематографа жестокости состоит не столько в количестве страшных сцен и натуралистических подробностей, сколько в стирании нравственных критериев по отношению к изображаемому. А это, в свою очередь, является свидетельством кризиса определенного типа культуры.

В. БОЖОВИЧ

◆



Квинтет с красной виолончелью. 1948 г.

Из работ Рауля Дюфи

Прием. 1942 г.

Жокеи. 1946 г.

Л. ДЬЯКОВ

РАУЛЬ ДЮФИ — ПОЭТ ГАРМОНИИ И РАДОСТИ

В западном искусстве двадцатого века трудно найти более оптимистичного художника, чем Дюфи. В этом смысле его можно сопоставить разве только с Матиссом. Сходен язык их творчества. Сходна творческая судьба.

Рауль Дюфи родился в 1877 г. в Гавре, в семье мелкого коммерсанта. В 14 лет он становится бухгалтером в фирме, импортирующей кофе. По вечерам посещает местную художественную школу. В 1900 г., получив ссуду в Гаврском муниципалитете, отправляется в Париж, где поступает в Школу изящных искусств. Он изучает импрессионистов, Ван Гога, Гогена и Сезанна. С 1902 г. начинает выставляться: в это время Дюфи пишет пейзажи в импрессионистической манере, изображая средиземноморские города.

Весной 1905 г. посещение «Салона независимых» меняет направление искусства Дюфи. Свободный рисунок и смелый цвет «Радости жизни» Матисса действуют на него как откровение. Его работы выставляют вместе с группой «диких» (фовистов), куда кроме Матисса входили Руо, Вламинк, Ван Донген. Их ослепительно яркие краски ошеломили современников, будоражили чувства зрителя.

В 1906 г. Дюфи показал на выставке «диких» картину «Улица, украшенная флагами». Правда, уже в этот период работы Дюфи выделяются среди остальных картин участников этой группы особой лиричностью. Его картины более гармоничны по цвету. Уже здесь начинает развитие тема радости, которой Дюфи останется верен на всю жизнь.

Одна из главных в творчестве Дюфи — тема моря. Оно воспринимается художником как одухотворенное начало, вечное и прекрасное. Оно сверкает на солнце, вас охватывает радость при виде этой бесконечной бирюзовой дали, когда вы стоите на набережной южного приморского города. Море изумрудное, аметистовое, винноцветное. Оно ослепляет. И хочется мчаться по морю на одном из бесчисленных кораблей, населяющих полотна Дюфи. На пути — городки Средиземноморья: Сент-Адрес, Онфлёр, Марсель, Ницца... Вы становитесь участниками регат, скачек, карнавалов, посещаете великолепные казино, блестящие оперные залы, рестораны на открытом воздухе...

На одной из картин Дюфи есть надпись: «Музыка и живопись Рауля Дюфи». И действительно, вся его живопись словно проникнута музыкой. Между 1910 и 1952 гг. он создал целые серии: «Апофеозы Моцарта», «Апофеозы Баха», «Апофеозы Шопена», «Апофеозы Дебюсси», «Мессы Генделя». В 1942 г. пишет серию замечательных рисунков и картин под названием «Оркестр». Дюфи был другом многих известных музыкантов того времени, таких, как Шарль Мунк, Пабло Казальс, Ивонн Лефебр. «В течение 10 лет, когда я был дирижером оркестра Парижской консерватории,— писал Шарль Мунк,— он регулярно посещал репетиции. Он сидел на расстоянии фута от органа. В то время когда мы готовили очередную программу, он создавал свою серию «Оркестр».

Дюфи использует свою систему знаков-идеограмм для зрительного изображения

музыкальных пассажей. Стремясь передать характер звучания того или иного инструмента, он обращается к самым разным средствам: так возникает образ женщины с задумчивым лицом, которая является в концертный зал и возлагает зеленую ветвь на фортепьяно («Апофеоз Шопена»); или это радостный синий цвет, разливающийся, подобно музыке, в помещении, где звучит клавесин («Апофеоз Моцарта»).

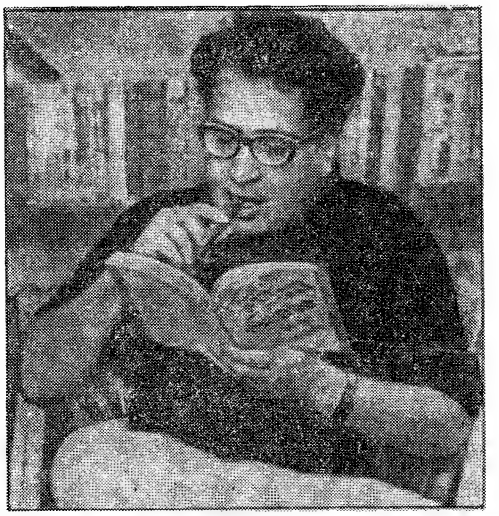
Дюфи как бы предлагает своеобразное «резюме» природы: обобщает впечатление первого взгляда, того момента, когда природа возникает как яркая мозаика, исполненная цвета и движения.

Акварель «Карнавал в Ницце» (1928)... Символ пальмы не меньше говорит нашему представлению о южном городе, чем ее полное изображение. Здесь же две экзотические фигуры ряженых — участники карнавала, часть мавританской решетки, удаляющийся кабриолет с кучером, свободно, двумя изящными мазками изображенное казино, два-три пятна красного цвета — южные дома с красными крышами, серп луны и несколько мазков, напоминающих ее форму — отражение в воде,— все это вместе создает удивительно полную, яркую, праздничную картину.

Пикассо как-то сказал: «Мы должны создавать такое искусство, которое излечивало бы даже от зубной боли». При всей метафоричности высказывание содержит глубокую мысль — необходимость создания искусства активного, действенного, близкого человеку, непосредственно связанного с ним. Этот афоризм Пикассо можно полностью отнести к искусству Дюфи. Оно дарит людям радость. В великую силу гармонии, упорядоченности, счастья творческого созидания он верил всегда.

◆

Наши гости



НА ПОЛПУТИ

(Посмертная публикация беседы с Моханом Ракешем)

Ему было всего сорок семь лет, он был полон замыслов, планов, сомнений.

Еще недавно он сидел в редакции «Иностранной литературы», курил, рассказывал о новой книге, о московских театрах, о спорах с Арбузовым, смеялся.

Книга «Анатомия сценического слова» осталась недописанной. Не смонтирован фильм. Не отредактирован последний роман.

Некролог в еженедельнике «Нью эйдж», органе Компартии Индии. В черной рамке слова:

«Ракеш относился к числу тех писателей, которые черпают вдохновение в настоящей жизни. В его произведениях нашли отражение классовые противоречия и действительность современного общества. Он избирал прогрессивные темы для своих произведений и никогда не позволял себе вульгарности в их трактовке.

С его смертью индийская литература, и прежде всего литература хинди, понесла большую утрату, которую трудно будет восполнить».

Постоянно приходится напоминать себе, что о Мохане Ракеше нужно писать в прошедшем времени.

Когда он пришел в редакцию, его спросили: что нового в Индии.

— Театр! — последовал мгновенный ответ.

Мохан Ракеш считал, что, если знаком зодиака для 50-х годов был рассказ, а 60-е прошли под знаком поэзии, то теперь восходит театральная звезда.

— Почему же именно в семидесятые годы?

— Чтобы дать этому объяснение, нужно хоть в самых общих чертах представить себе путь развития современного театра в Индии. Он начал формироваться в годы борьбы за независимость — у нас тогда была Ассоциация народного театра, которая, если и не оставила после себя хорошего репертуара, то по крайней мере пробудила в стране интерес к театру. Но от интереса до театра не близкий путь. И не легкий. И не прямой. То мы ставили переводные пьесы: Чехова, Ибсена, потом увлеклись Брехтом, потом театром абсурда.

— А индийских пьес разве не было?

— Были конечно. Ставили санскритские пьесы, ставили их и благоговейно, и модернизируя. Тагора ставили. Ставили произведения современных драматургов на мифологические и исторические темы. Бытовые пьесы и комедии. Социальные, проблемные драмы, которые проваливались — теперь это всем ясно — потому, что колониальный комплекс неполноценности не давал нам верить в себя и спектакли тех лет были коктейлем из индийских реалий и импортных проблем. Индийские режиссеры и ставили их на западный лад, а западные режиссеры — вот вам парадокс — увлекались в это время восточным театром и нашими классическими постановочными средствами. Об этом можно долго и подробно рассказывать, но суть дела в другом — я думаю, что современный индийский театр родился на свет, когда мы начали писать о том, что знаем, что болит, и перестали озираться по сторонам.

— Так почему все-таки это началось в семидесятые годы?

— Ну, одна из причин — неудержимое разрастание коммерческой кинопромышленности: сотни шаблонных лент в год, сен-

тиментальных, вульгарных, беспроблемных, а рядом — тысячи острейших проблем индустриализирующейся Индии, ускорение пульса жизни и просто физическая потребность не стоять в стороне, сделать хоть что-то. Не случайно же театр ожил в то самое время, когда в кино начался «бунт реалистов» — молодых преимущественно режиссеров, которые стали снимать недорогие, заметьте, черно-белые фильмы о жизни, как они ее видят. Тут появилась и группа драматургов: Бадул Сиркар в Бенгалии, Виджей Тендулькар и Н. С. Кханолькар Бадул в Махараштре, Гириш Карнад в Южной Индии.

— Обыкновенно при этом перечислении называют и ваше имя.

— Да. Критики заговорили о новом индийском театре — не о бенгальском или маратском, а об индийском. Видимо, они основывали свой вывод на том, что пьесы эти быстро переводились на другие индийские языки и шли по всей стране, а это явление знаменательно для такой многоязычной страны, как Индия. Для меня популярность нового театра во всей стране — подтверждение того, что мы обратились к тематике, не оставляющей зрителя безразличным, что пришел конец трансплантатам чужих проблем и теперь можно надеяться на демократизацию нашего театра. Театр уже сейчас утрачивает свою элитарность, но пока что мы обращаемся к интеллигенции и к среднему классу, а Индия, огромная Индия все еще недосягаема. Хорошо, что мы пишем о том, что нам досконально известно; хорошо, что пишем о самых мучительных проблемах сегодняшней Индии, плохо, что мы знаем только малую их часть. Нам необходимо разрушить стену взаимного незнания, отчуждающую нас от народа, но пьесы из народной жизни, выращиваемые в колбах наших представлений о том, каким бы должен быть народ, могут привести нас к обратным результатам.

— Какая из проблем индийской жизни вам кажется серьезней всего?

— Отношения мужчины и женщины. Мы все время говорим, что Индия переживает переходный период, что сейчас страна на полпути к экономической независимости. Урбанизация — результат промышленного развития, «зеленая революция» — современного ведения сельского хозяйства; как волны, они размывают традиционный уклад общества, подтачивают кастовую систему, разрушают семейный клан. Старые представления о мире, о том, что позволительно человеку, а что — нет, быстро обесцениваются в соприкосновении с сегодняшней действительностью. Модели мира за пределами Индии оказываются далеко не всегда соотносимыми с фактами индийской жизни. Новые моральные установки, не поддерживаемые ни авторитетом религии, ни привычностью традиции, к тому же требующие от человека большей осознанности выбора, отнюдь еще не стали нормой ни общественной, ни тем более частной жизни. Мне кажется, взаимоотношения мужчины и женщины отчетливей всего демонстрируют на себе смятенность и неустойчивость нашей нынешней жизни. Вот пример: материнство всегда было святыней в Индии. Сегодня же все наши средства массового воздействия с утра до ночи пропагандируют сокращение рождаемости — и это необходимо, но как это действует на массовую психологию? Женщина не просто получила возможность свободного общения с мужчинами — она даже при желании не может уйти от этого общения: в колледже, на работе и так далее, а ореол непреложности, озарявший брак, меркнет. Как это действует на психологию женщины и мужчины?

О Мохане Ракеше можно сказать, что он «ранен женской долей». Неповторимо трогательны и чисты женские образы в его рассказах и романах, но наш разговор о драматургии.

Мохан Ракеш завоевал себе имя в индийском театре в 1958 г. пьесой «Один день в сезон дождей». Поставленная в 1959 г. калькуттской труппой «Анамика», она сразу получила премию Академии музыки и драмы, а вскоре и премию Литературной академии.

«Один день в сезон дождей» — пьеса о Калидасе, о величайшем из поэтов Индии. Достоверных сведений о его жизни очень мало, почти нет; даже время, когда он жил, пятый век, установлено предположительно.

Индия полна легенд о Калидасе. Что бы ни рассказывали в Индии о нем, какие бы приключения или злоключения ему ни приписывали, всегда говорят о пастухе, стихи которого привели его ко дворцу императора, сделали его одним из «девяти перлов» империи Гуптов.

Использовал ли Мохан Ракеш одну из таких легенд для своей пьесы или придумал сюжет, неважно, потому что «Один день»— не историческая пьеса и посвящена она... не Калидасе. Нет, Калидаса в ней, конечно, есть, и Калидаса — как и другие действующие в пьесе лица — говорит о стихах, но на самом деле Мохан Ракеш пишет о взаимоотношениях мужчины и женщины, об истории деревенской девушки Маллики и мужчины по имени Калидаса, которого она любит. Правда, пока что Мохан Ракеш строит ситуацию, выходящую за пределы обыденности: Маллика фанатически упряма в своей жертвенной любви, а Калидаса фанатически предан своему дару, и сила его таланта очевидна для всех.

Если сюжет «Одного дня» довольно замысловат: драматург развивает свою тему как бы исподволь, через нетривиальные ситуации, через укрупненные характеры, через рембрандтовскую игру света и тени, то пьеса «На полпути» поразительно проста — и всеобъемлюща. Именно она прославила Мохана Ракеша.

Семья среднего достатка, которая знавала лучшие времена. Жена, муж, трое детей. Махиндранатх — неудачник, брался за одно, за другое — не повезло. Семью содержит Савитри, которая и не думает скрывать свое презрение к мужу, не сумевшему обеспечить ее и детей, а сейчас не умеющему даже быть благодарным за то, что

она его заменила в должности главы семьи. Савитри не видит радости и в детях: сын — балбес, не работает и не учится, вырезает картинки из журналов и злится на весь мир. Дочь сошлась с бывшим любовником матери, ее семейная жизнь никак не ладится, и большую часть времени она проводит у родителей. Младшая растет, как сорная трава, и знает о жизни гораздо больше, чем ей полагалось бы в ее тринадцать лет. Пять эгоистов живут под одной крышей, потому что... Наверное, потому что так принято — жить семьей, а других причин нет.

Пьеса скудна событиями, в ней нет ни сильных чувств, ни исключительных характеров. Даже несчастья нет — просто нет счастья.

Люди на полпути. Ограничения религии, обычаев, общественного неодобрения остались в прошлом, до свободного самоограничения еще далеко, а пока моральные ценности заменяются ценниками: человек — это сумма плюсов и минусов, это средство для достижения цели, если цель не достигается — он просто не нужен. Семьи, дома как психологической категории нет, есть группа людей, скованных один с другим экономической взаимозависимостью, как рабы с галерой. Однако «На полпути» — при всей точности бытовых деталей — не пьеса о несчастливой семье, а устрашающий портрет Ее Величества Бездуховности, которая всеми ей доступными средствами старается внушить нам, что единственный критерий для оценки человека — его кпд. И зритель понял предостережение, узнал портрет — в Дели недавно состоялось двухсотое представление пьесы, она идет почти во всех театрах страны в переводах на множество языков, в постановках самых разных режиссеров.

Мохану Ракешу был, конечно, задан и вопрос о театре режиссера и театре актера — какому из них он, как драматург, отдает предпочтение?

— Как драматург, как зритель, как любитель театра — а я люблю театр больше всего на свете, я думаю, что обсуждение этого вопроса примерно так же продуктивно, как углубление в хронологию появления курицы и яйца. Мне кажется, что основа театра — слово, звучащее слово. Сценический язык должен соответствовать ритму эпохи, а не каноническим нормам. Живой язык — единственное, но очень сильное преимущество театра перед кино и телевидением. Неумно даже пытаться перещеголять этих технических соперников экспериментами зрительного ряда, когда показать на экране можно буквально все и к тому же показать в бесчисленных вариантах. Технические возможности уже сегодня перекрывают самую необузданную фантазию кино- и телережиссеров, а нам говорят, что завтра мы сможем показывать при помощи голографии и что даже это — только начало.

— Используете ли вы индийскую театральную традицию?

— Индийская традиция живет во мне. Я — ее творение, и чтобы я ни делал, традиция, в которой я вырос, скажется и на моем восприятии событий, и на том, как я их воспроизвожу.

Одна из особенностей индийского театра — в том, что нас полтораста лет превращали в маленьких смуглых англичан. Не буду сейчас говорить ни о комплексе неполноценности, внушенном нам англичанами, ни о фантастических формах, которые он, бывает, приобретает. Понимаете, комплекс этот остается комплексом даже в виде доктрины национального превосходства и невыносимой надменности. Но речь о другом — наша интеллигенция практически двуязычна, и мы в повседневном общении постоянно мешаем языки. Как быть тут драматургу? Рецептов я, конечно, не предлагаю, но мне лично кажется, что не иностранные вкрапления определяют ритмику нашей речи. И вообще: не слова — единицы ритма, а их соотношение друг с другом и с безмолвием, разделяющим их. Если так, значит, можно сохранить современность ритмов в речи и без английских нюансов.

Меня часто спрашивают — не жаль ли растрачивать себя на театр? Писал бы себе свои романы, они долговечней. Конечно, в романе я властитель суверенной державы, незачем до хрипоты спорить с режиссером, с актерами. Но роман не рождается заново каждый вечер, как пьеса, и не дает мучительнейшей радости — видеть лица людей в миг восприятия того, что ты хотел донести до них...

Все оборвалось на полпути. Теперь мы будем говорить — таким был путь Мохана Ракеша.

М. САЛГАНИК

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПЕТЕФИ ТРЕБУЮЩИЙ

Дюла Ийеш. Шандор Петефи. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. Москва, «Художественная литература», 1972. 496 стр.

Книга Дюлы Ийеша — незаменимый художественный путеводитель по необъятным краям демократической венгерской культуры, которые простерлись и расцвели рядом с культурой, литературой революционной; редкостно безутайная исповедь счастливой, хотя и не благостно-безоблачной, близости к ней. И кто, как не он, батрацкий сын, один из виднейших среди так называемых «народных» (крестьянских) писателей, еще в 20—30-х годах соприкоснувшийся с революционным движением, мыслью, искусством, мог бы лучше рассказать об этой давней дружбе-любви, общих поисках выхода из тупика хортизма,— о нелегком «встраивании» в историю, в будущее, в социализм?.. (И в социализм, потому что к произведению своему, впервые вышедшему в 1936 году, Ийеш многократно возвращался, дополняя его, пестуя, растя, как любимое детище, вплоть до наших дней.)

Общение с незаурядной книгой всегда радостно — и с этой умной, проникновенной тоже; тем более в доносящем ее глубину, весь сложный душевный настрой переводе. В самом деле: история революции 1848 года, жизнь, мировосприятие и стихи одного большого поэта, Петефи, увидены здесь проницательным взглядом другого, тоже страдавшего под пятой реакции при Хорти, гневно клянущего ее, но в чем-то и неуверенного, будто задумавшегося, а подчас и трагичного по умонастроению. Речь даже не просто об авторском отношении, приговоре, который заложен в каждом литературном творении. И не только о том, что, кроме собственно повествовательной канвы, читателя волнует сама атмосфера: приглушенно возникающий лирический мотив, проскальзывающее мимоходом замечание, в котором сквозит тоска о свободе, сожаление о юношеской неискушенности героя или нежно-восхищенное участие к нему, спешащему навстречу гибели с отважно поднятой головой. Лирический подтекст у Ийеша при всей скромной ненавязчивости настолько емок и богат, что перерастает в целое параллельное — психологическое — действие, в некий второй, интеллектуальный сюжет: диалог с историей, судьбой, со своим героем, диалог, который воплощает духовное возвышение, восхождение к истине другого, современного нам героя, самого писателя.

Этот своеобразный лирический роман (а именно он насущно интересен, коль скоро мы желаем заглянуть в глубь прогрессивного венгерского общественного сознания) развивается в нераздельных — национально-историческом и более широком, нравственно-эстетическом — измерениях. С самого начала Ийеша занимает не его одного мучивший в Венгрии подспудный вопрос: «Что может человек, если он — мадьяр?» То есть принадлежит к малому, а значит, подверженному разным, трудноотвратимым историческим опасностям народу, который уже понес неисчислимые жертвы в борьбе с оттоманским, габсбургским игом, но вплоть до 1945 года не добился независимости и из-за самого своего языка, чуждого окружаю-

щим народностям, словно заранее обречен на известную изоляцию, одиночество, непонимание?.. И как быть, что делать мыслящему сыну этого народа, носящему в душе его заботы и раны художнику, если он хочет излечить их, заложить опоры исторической уверенности?..

Цепь исторических поражений (в том числе не в последнюю очередь — социалистической революции 1919 года), усугубленная ими крестьянская пассивность, раздвоенность интеллигента, которого разочаровывает противоречие между высокими, совершенными идеалами и неполным, подчас небезошибочным их воплощением, внушают некий скорбно-иронический скепсис. Непреложно положительный опыт 1848 года (анализ его в книге очень трезвый, очень здравый), когда чуть не впервые после турецкого нашествия встала с такой остротой необходимость боевого содружества соседних народов и революционной последовательности, принципиальности, пример Петефи, неусыпного глашатая этой двуединой жизненной необходимости, невольно увлекают, ободряют, покоряют.

Между этими полюсами и создается драматическое напряжение, в таком историко-культурном обрамлении разыгрывается и разрешается в книге гамлетовский конфликт венгерской прогрессивной мысли нового времени. Потому что боренье разочарования и необходимости в душе художника действительно не застывает на какой-либо стоической мертвой точке. На сцену, правда, не раз прокрадывается сомнение, нашептывая искусительные доводы расхолаживающей житейской мудрости. В рассказе о Шандоре Петефи, этом «революционере-идеалисте», об этом невозможном, невообразимом «мученике» справедливости, который одержимо верит в общее благо и людское совершенство, безоглядно рвется в бой и всем жертвует ради них, слышится порой пусть отечески, братски заботливая, почти пронзительно-нежная, но и чуть снисходительная нотка превосходства вразумленного жизнью зрелого мужа над слишком простодушным и прекраснодушным, хотя непримиримо-честным, на диво мужественным отроком. Автору словно хотелось бы предостеречь и сберечь этого славного, чудесного, но угловатого юношу, привить ему побольше осмотрительности, «разумного эгоизма»... Но вместо этого — и одновременно — он начинает сомневаться в собственных сомнениях.

А может, великие дела только и совершаются благодаря такой вот полной самоотдаче?.. Может, не только «мыслимо», но и «обязательно» великому художнику быть также «позитивным моралистом», «великим человеком»?.. Скептическая мудрость колеблется, горестно-сострадательное благоразумие уступает место нескрываемому уважению к революционеру, который этот подавляюще несовершенный мир «принимает всерьез»; переходит в задушевно-доверительную беседу равного с равным и, наконец, в полное чуткого внимания преклонение перед истинно умудряющим, наставляющим потомков жизненным и творческим подвигом.

Таковы фазы, этапы этого полифонического психологического действия, лирической диалектики мысли — и самого отношения Ийеша к освободительной борьбе, революционной культуре, к гуманизму героически-действенному. В трудном единоборстве с собой, колеблясь и страдая, подчиняется он в конце концов «приказу» внутренней цельности и гражданственного служения, звучащему между строк Петефи, даже вдохновляется им, ибо без этого, без «слияния... великой идеи и великого опыта» нет и не родится никакой «красоты» на свете. Воспитуемый на наших глазах перерастает своего учителя. Чудо-дитя революции в свои двадцать шесть «ураганных» лет оказывается словно старше, сильнее изнемогающего под вековым реакционным гнетом автора. Но побежденный все же сохраняет за собой и относительную правоту, не целиком сдается на милость победителя, склоняясь перед его «юношеской наивностью». Вылущивая, выявляя драгоценные зерна, золотую сердцевину сложного исторического опыта, он отделяет идеалы от иллюзий, чистоту, высокую романтику — от легковерно-беспочвенных надежд.

Со страниц этой прекрасной книги словно въявь встает доныне живой, требующий, обязывающий Петефи. Читая ее, лучше понимаешь, как огромно до сих пор его обаяние, его притягательное, формирующее воздействие на венгерскую культуру. В необоримой дружбе-любви к этому «большевику своего времени», по крылатому выражению Луначарского, будто возрождается — в нашу, социалистическую эпоху — безмерное уважение и Араня к нему, и Морица к Ади: прогрессивных литераторов, готовых с открытым сердцем следовать более передовым своим товарищам, избранникам истории.

«Лишь высказывая всю правду, можно жить в мире с собой .. И если мы этого хотим — главным нашим моральным импера-

тивом должны быть смелость и откровенность до конца: ответственность перед обществом». Эти уже в дни стопятидесятилетия Петефи произнесенные Ийешем слова кажутся прямым отзвуком его проникнутой именно такой ответственностью книги.

О. РОССИЯНОВ

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ

Упендранатх Ашк. Пустыня. Рассказы. Перевод с хинди. Составитель В. Балин. Предисловие В. Бескровного. Ленинград, «Художественная литература», 1973. 336 стр.

Необходимость в таком сборнике назрела уже давно. Имя Упендранатха Ашка широко известно в Индии, ныне оно становится все более знакомым и для русского читателя. В 1972 году Ашк удостоен премии Неру за вклад в дело укрепления дружбы между народами Индии и Советского Союза. В переводе на русский издан роман Ашка «Падающие стены», отдельные пьесы. По страницам различных сборников и периодических изданий рассыпаны переводы многих его рассказов. И вот теперь сборник «Пустыня», вобрав все лучшее или, по крайней мере, наиболее характерное из творчества Ашка-новеллиста за тридцать с лишним лет, дает представление о пути писателя в литературе от первых, не всегда совершенных опытов до подлинно хрестоматийных новелл.

Со страниц книги встает Индия — страна, полная контрастов, природных и социальных, и за всем, о чем повествуется в рассказах, чувствуется зоркий взгляд и большое, открытое всем болям и радостям человеческое сердце писателя — патриота и гуманиста. Упендранатх Ашк был всегда со своим народом — и на его длинном, тернистом пути, приведшем к свободе, и в его трудах и усилиях, направленных на создание новой Индии.

Родившийся в 1910 году, будущий писатель уже с детских лет имел возможность побывать во многих концах Индии, разъезжая по стране вместе со своим отцом — железнодорожным служащим. По окончании колледжа Ашк работает учителем, затем живет в Лахоре — крупнейшем культурном и политическом центре Пенджаба. Там он редактирует газету, сотрудничает в журналах. Первые литературные опыты Ашка относятся к тому времени, когда он находился еще на студенческой скамье: сначала это были газели, затем рассказы. Упендранатх Ашк всегда и во всем остается пенджабским писателем. Все лучшее, что он создал, принадлежит тому краю, где он родился и где прошли самые яркие годы его жизни. Это Пенджаб, «страна пяти рек» — край уходящих к горизонту, исхлестанных межами пшеничных полей, край унылых проселков, по которым медленно движутся высокие арбы, запряженные круторогими волами... Именно он, Пенджаб, является, если хотите, основным героем рассказов Ашка — это сама жизнь его народа во всем многообразии и многоцветье.

Писатель старается заглянуть и в убогую развалюху деревенского бедняка («Жена водоноса»), и в комфортабельный коттедж преуспевающего актера («Загадка»), пройтись по бесчисленным пыльным проселкам («Маслодел из Какран»), потолкаться среди пестрой и шумливой ярмарочной толпы («Верблюжонок»), прокатиться вместе со своими незадачливыми героями по Джеламу или в роли как бы безучастного зрителя постоять среди группки любопытных на перроне («Пустое купе»).

Есть писатели, которые тяготеют к героической теме, отыскивают и воплощают в слове характеры могучие, неукротимые, несгибаемые. Ашк не относится к их числу. Его герои — ничем не примечательные люди, не обремененные ни титулами, ни званиями, ни древней генеалогией, ни даже простым знанием азбуки. Скромны их желания, не отличаются дерзостью мечты, но в каждом из них писатель умеет увидеть и показать человека. Ашка привлекают люди, чистые душой, цельные в любви и ненависти, остающиеся чистыми даже в своем падении. Именно такими людьми предстают перед читателем героини рассказов «Загадка», «Жена водоноса», «Сувенир», «Она была моей невестой».

Особенно привлекает Ашка способность женщины-матери пожертвовать всем во имя счастья детей — положить к их ногам богатство, отдать здоровье, принести в жертву самое жизнь,— и тем чернее неблагодарность детей, которые, живя в душном мире, где мерило всех ценностей — рупия, попрекают стариков родителей каждым куском лепешки или горсткой риса («Дуло» и «Мать»). И тем величественнее и благороднее предстает образ женщины, бескорыстно вручающей соседской девушке-невесте золотые украшения своей безвременно ушедшей из жизни дочери («Браслеты»).

С явной симпатией рисуя человека труда, Ашк яростно обрушивается на социальное зло: корысть, стяжательство, бесчеловечность, порождаемые господством чистогана («Сластей на два ана», «Засохший баклажан», «Мечты»). С затаенной болью Ашк изображает, как власть денег глухой стеной отгораживает друг от друга родных братьев («Игрушки»). Погоня за лишней пайсой делает братьев заклятыми врагами, темной злобой и ненавистью наполняет их сердца, и здесь бессильны благие пожелания и авторитет отца, из последних сил пытающегося сохранить хотя бы видимость семьи. Опьяненные жаждой мести, они, точно звери, кидаются друг на друга и в пылу безобразной, бессмысленной драки даже не замечают, как под их дубинками гибнет тот, кто дал им жизнь. И будто глухое, без слез рыданье, звучит концовка рассказа: «На месте драки беспорядочной кучей валялись сломанные кровати, доски, помятые железные бочки... Среди этого хаоса, под опрокинутой кроватью, лежал бездыханный старый кукольник — никому не нужный, забытый всеми, как тот изначальный мастер, который утратил власть над сотворенными им куклами и сам превратился в игрушку, бесчувственную, безжизненную...»

Трагические события, сопровождавшие раздел страны на Индию и Пакистан, так потрясли писателя, что он вновь и вновь возвращается к этой теме («Соломорезка», «Плато» и «Гьяни»). Тлеющие угли религиозно-общинной розни, в канун независимости усердно раздувавшиеся колонизаторами и местной реакцией, вспыхнули багровым пламенем кровавого пожара, унесшего свыше полумиллиона жизней людей, чья «вина» заключалась лишь в том, что они исповедовали разные религии, поклонялись разным богам. Писатель показывает, что и в такой трагической ситуации бедняк, к какой бы религии он ни принадлежал, оказывается бескорыстнее, отзывчивее, человечнее торговца, который даже на страданиях и горе людей стремится нажить лишнюю пайсу.

На фоне тех лишений и невзгод, которые приходится переносить труженику, не более как мышиной возней кажется борьба раздутых самолюбий, высокопарные тирады мелочных, склочных и до умопомрачения скаредных представителей так называемого «приличного общества»: мелких клерков, торжественно величающих себя писателями («Писательница и семь мостов», «Чечевичники»), или статистов, величающих себя великими актерами («Роль героя»). Не в них, а в простом и незаметном человеке труда видит писатель залог светлого будущего своей страны.

Широко знакомя читателя с творчеством одного из виднейших прозаиков современной Индии, рассказы, вошедшие в сборник «Пустыня», «составляют,— как пишет в предисловии В. Бескровный,— один из фрагментов огромной картины «Мать-Индия», которую создает многонациональная индийская литература».

В. ЧЕРНЫШЕВ

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ БРЕХТА

Бертольт Брехт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. Перевод с немецкого. Составление, вступительная статья и примечания И. Фрадкина. Москва, «Художественная литература», 1972. 815 стр.

Эта книга вряд ли пройдет незамеченной. Не только потому, что читатель получил еще раз собранными под одним переплетом прославленные и многократно ставившиеся у нас пьесы Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг», «Жизнь Галилея», но и благодаря впервые публикующимся новым переводам. Составитель включил в книгу пьесу молодого Брехта «Барабаны в ночи», исполненную такой силы и дерзости в утверждении своего взгляда на человека и мир, что одним из результатов достаточно скандальной ее премьеры осенью 1922 года была рецензия известного критика Г. Иеринга, писавшего на страницах «Берлинер бёрзенкурир»: «Двадцатичетырехлетний художник Берт Брехт в течение одного дня изменил художественный облик Германии». Так начинался путь драматурга, наследие которого принадлежит теперь к классике XX века.

Однако новая книга расширяет знакомство с Брехтом не только с этой, самой известной, стороны его творчества. Великий драматург и реформатор театра, он был и великим поэтом, определившим целое направление в развитии современной немецкой лирики. Его проза, из которой у нас переводилось лишь несколько новелл, «Трехгрошовый роман» и «Дела господина Юлия Цезаря», составляет четыре тома в немецком собрании сочинений. Здесь наш долг перед Брехтом еще далеко не оплачен. Новое издание как раз и замечательно тем, что половину книги занимают стихи и проза.

На поэзию и прозу Брехта часто пытаются смотреть с точки зрения его драматургии. В стихах и новеллах ищут отражение его драматургического мышления. Действительно, стихи Брехта часто написаны от лица «персонажа», в них предлагаются разные оценки одного и того же предмета — как будто с позиций различных людей; его прозе свойственна острота ситуаций, требующая разрешения в диалогах, столкновениях, поступках, действии. Но откликаясь на книгу, в которой поэзия и проза впервые заняли такое место, хотелось бы отойти от сопоставления разных русел его творчества, потому что развитие каждого из них определялось по сути отнюдь не воздействием соседнего, а некоторыми особенностями мировосприятия автора.

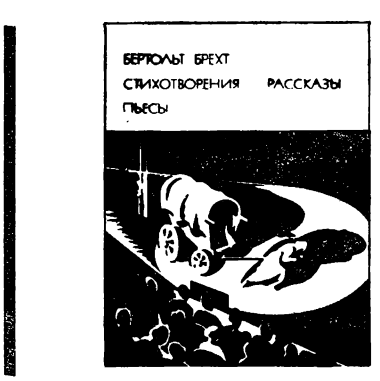
Нет, например, свойства, более противо-

показанного творчеству Брехта, чем описательность. Она невозможна в его прозе, быстрой, ироничной, подобранной, сжатой. Она совершенно чужда и его стихам, где «натура» — всегда лишь повод для размышлений. Можно было бы объяснить и эту черту манеры Брехта тем, что он прежде всего драматург (ведь в пьесе для описаний отведено лишь пространство ремарок), можно было бы, если бы отказ от описательности не был определен исходными задачами, побуждавшими Брехта к творчеству.

В немецкой поэзии XX века Брехт принадлежал к одним из самых придирчивых толкователей, казалось бы, самых несомненных истин. Его стихи во многом не вяжутся с «добрехтовским» представлением о лирике: они написаны без расчета на быстрый отклик. Выраженный в них опыт совсем не легко совмещается с жизненным опытом читателей. Не так легко идентифицировать себя с лирическим героем этой поэзии и без раздумий сказать свое эмоциональное: «Как это верно».

Стихи Брехта отличаются прежде всего тем, что в них почти всегда, и даже в пределах самых сжатых, отчетливо выделены возможности разных подходов к взятому автором предмету (отсюда и ощущение — «как бы от лица разных персонажей»). Подходы эти содержат в себе нечто беспокоящее, шокирующее, непривычное. Так и в прозе, впервые опубликованной теперь на русском языке, Брехт выбирает парадоксальные сюжеты, невероятные, порой анекдотические коллизии. В его знаменитых «Рассказах о господине Койнере» покоряют неожиданные повороты мысли, независимой от принятых суждений, усвоенных штампов, а если говорить об их глубинном уровне — смелость разума, неподвластного социальному гнету и идеологическому давлению фашизма.

Способность увидеть явление с разных сторон, соположение разных точек зрения отражали сложность и драматизм жизни, какой она раскрывалась Брехту. Однозначное представало как противоречивое. Неподвижное — как таящее уже начавшееся движение.



Брехт видел мир в постоянном изменении, в единоборстве концов и начал. В жизни людей он замечал столкновения несовместимых интересов. Уже с конца 20-х годов он понимал эти столкновения как столкновения классовые и отныне и до последних дней стоял на стороне угнетенных, особенно тех, кто осознал свое достоинство и свои права. Но и касаясь других сторон действительности, Брехт ставил перед собой задачи постижения сути явлений, их законов и предельно остро, провоцирующего мысль отражения этого в творчестве.

Маляр[1] говорит о грядущих великих
временах:
Леса еще растут.
Поля еще плодоносят.
Города еще целы.
Люди еще живы.

(Перевод И. Фрадкина)

Так в далеко не описательной форме сказал Брехт о фашистской Германии пятью стихотворными строчками из цикла «Азы о войне — немцам». Реальность представлена размышлениями о взрывающих ее противоречиях. Они в самом столкновении времени — настоящего (когда произносит хвастливые речи Гитлер) и будущего — неизбежной развязки, катастрофы, которая, как считал Брехт, уже приближается теперь, в годы оцепенения: «Леса е щ е растут... Города е щ е целы...».

Поэзия Брехта, несомненно, рационалистична. Но это рационализм постановки проблемы, но не ее разрешения. Среди вновь переведенных читатель найдет стихи весьма непохожие друг на друга — от упоенных буйством жизни ранних баллад до предсмертных сдержанных и мудрых «Буковских элегий». Но всегда — и в давно известных у нас революционных маршевых песнях, и в социально-философских стихах, и в песнях для детей — Брехт предоставляет читателям право на равную с автором дистанцию по отношению к жизни: он позволяет ему самому прикоснуться к ее противоречиям, почувствовать ее не поддающуюся упрощениям сложность.

«Стихи плоски, пусты, прямолинейны,— настаивал он,— если они лишают предмет свойственной ему противоречивости». Такое отношение к жизни и к литературе позволило Брехту показать человека в противоборстве высоких устремлений и простых, низменных, но от этого не менее насущных нужд. Оно позволило ему закончить одно из стихотворений обращением: «Великие учителя! Произнося речи, не затыкайте ушей». И увидеть истину в ее меняющейся конкретности. Именно в стихах более всего ощутима неоднозначность твердого и сурового Брехта, его постоянная неожиданность, его затаенный лиризм и тонкость.

Переводить Брехта чрезвычайно трудно. Острое восприятие дисгармонии жизни сказалось и в форме его стихов, прозрачной и ясной, но отнюдь не «гладкой» и не простой. Легко поддаться соблазну кажущейся простоты и передать Брехта слишком

[1] Имелся в виду Гитлер.

буквально. Между тем уже в самом ритме его стихотворений скрыто движение и противодвижение: смысловые акценты ломают ритмический рисунок, создавая свой собственный контрапункт.

В вышедшем томе много блестяще переведенных стихов. Но все же есть переводы и не вполне удавшиеся. Следуя брехтовской традиции делового отношения к достигнутому, стоит поэтому не только рекомендовать читателям новую книгу, но и пожелать в заключение продолжения работы над его поэзией, ставшей нам теперь гораздо более близкой, но все-таки еще не раскрывшейся во всем ее объеме и мастерстве.

Н. ПАВЛОВА

Издано за рубежом

ИМЕНЕМ МАЯКОВСКОГО

Wladimir Majakowski. Ausgewählte Werke. Gedichte. Poeme. Stücke. Prosa. Publizistik. Herausgegeben von Leonhard Kossuth. Nachgedichtet von Hugo Huppert. Berlin, Volk und Welt, 1966—1973.

Осенью 1972 года в Москве на Международном форуме переводчиков советской литературы Гуго Гупперт вспоминал, как однажды в далекой молодости, приехав к нам из Австрии, он впервые встретился с Владимиром Маяковским и прочел ему свой перевод «Левого марша». Маяковский немецким языком почти не владел, но слушал крайне внимательно и перевод одобрил: узнал себя в звучании и напоре слова, в особой, только ему присущей энергии стиха, в интонации, сквозь которую прорывалась «тенденция»... Много позднее текст этого перевода положил на музыку Ганс Эйслер, и в исполнении Эрнста Буша «Левый марш» — трубный глас революции — звучит и сегодня...

В поэзии счастливые встречи редки: где конгениальные оригиналу переводы лирики Пушкина на западные языки, давно ли по-настоящему возродился на русском языке «Фауст», кто, наконец, откроет нам Рильке?..

В тот день, когда был переведен Гуппертом «Левый марш», рождение немецкого Маяковского состоялось: был найден верный, эмоциональный, интонационный, лексический ключ...

Недавно в ГДР в издательстве «Фольк унд Вельт» вышло замечательное пятитомное собрание сочинений Маяковского, целиком (включая прозу и публицистику) переведенное австрийским поэтом Гуго Гуппертом.

Составитель пятитомника видный немецкий литературовед, организатор книжного дела Леонгард Кошут не случайно остановил свой выбор на Гупперте, хотя Маяковского на немецкий язык переводили и другие талантливые, даже выдающиеся поэты, в том числе Иоганнес Бехер.

В трудном состязании Гупперт вышел бесспорным победителем и благодаря свободному, глубокому знанию русского языка, русской поэзии во всем их богатстве, и благодаря профессиональному дару проникать в самую подкорку чужого стиха, и, конечно же, благодаря идейному и политическому родству с великим поэтом.

Совокупность всех этих качеств обеспечила Гуго Гупперту необычайный триумф: кто станет сомневаться в том, что Маяковский принадлежит к числу труднейших для перевода поэтов?

В переводе Гупперта стих Маяковского, со всеми его формальными особенностями, пришел к массовой немецкой и австрийской аудитории и так или иначе оказал влияние на современную поэзию, существующую на немецком языке. Это один из самых популярных и любимых поэтов, читаемых сейчас по-немецки.

Конечно, Гупперт никогда не достиг бы столь высокой степени поэтического перевоплощения, если бы ограничил свою задачу лишь п е р е в о д о м, а не выступил бы страстным и заинтересованным пропагандистом идей Маяковского, не использовал бы Маяковского для выражения своего собственного мировосприятия. «Делать стихи» Маяковского на чужом языке — значит овладеть не только его техникой, новаторскими приемами, но и безоговорочно разделять его убеждения, до конца стоять на его идейных позициях.

Вот почему живой, горячей кровью клокочет каждая строка в немецком варианте поэмы «Владимир Ильич Ленин», а в «Хорошо!» или во вступлении в поэму «Во весь голос» отчетливо возникает гигантская фигура «агитатора, горлана, главаря».

По правде говоря, Маяковского в немецком прочтении Гуго Гупперта почти невозможно отличить от оригинала, настолько высока здесь степень поэтической адекватности. Это какой-то немецкий двойник нашего русского Маяковского, вернее — немецкий его портрет, поражающий своей необычной достоверностью и точностью даже в деталях, вплоть до «маяковского» смеха, «маяковского» выкрика, неповторимых «маяковских» рифм. И все это — совершенно естественно, без всякого насилия над немецким стихом и немецкой речью.

Все, наверно, помнят рассказанную Маяковским историю знаменитых начальных строк стихотворения «Сергею Есенину», где

для автора оригинала было дорого каждое слово, каждый оборот, вплоть до вводного «как говорится» — тонко снижающего «патетику стиха», «не будучи прямой насмешкой» над горестным «вы ушли... в мир иной», вплоть до мучительно найденной рифмы к слову «трезвость».

У Маяковского «трезвость» рифмуется с «врезываясь», он эту рифму называл «счастливой» — «глагол, да еще торжественный»...

Стоит сравнить здесь немецкий текст с русским и убедиться в полнейшем соответствии перевода принципам подлинника. Прочтем:

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.

Sie sind weg,
wie's heißt:
in eine andere Welt.
Leerer Raum...
Flugs-zu den Sternenlichtern!
Keinen Vorschuß,
Bier und Bar entfällt.
Nüchtern...

Совпадение почти дословное, но этого мало. Всмотритесь в рифму „Sternenlichtern — nüchtern", и вы узнаете тот же «стык», что и во «врезываясь — трезвость», так же как в «Стихах о советском паспорте» «слоновости — новости» рифмуется „Wieso denn — Moden", при этом не пропали ни «тугая полицейская слоновость» — „Erzpolizeiliche Sturheit", ни «географические новости» — „neue geographische Moden".

Иногда Гупперт решает прямо-таки головоломные поэтические задачи:

Верх
гор —
лед.
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
(«Нашему юношеству»)

Hoch —
Land:
Eis.
Tal:
glut —
heiß,
Jod —
dunst
leis.

Хочется, чтобы русские читатели, владеющие немецким языком, прочли здесь, в этой рецензии, в немецком звучании замечательные финальные строки («Пролетарии, стройтесь к последней схватке! Рабы, разгибайте спины и колени...») поэмы «Владимир Ильич Ленин»:

— Zur letzten Schlacht,
Arbeitsvolk,
steh denn zusammen!
biegt grade,
ihr Knechte,
Rücken und Knie!
Proletarierarmee,
in Reih und Glied!
Es lebe die Revolution,
die baldige, lichte!
Der einzig,
wahrhaftig
erhabene Krieg
von allen Kriegen
der Weltgeschichte.

Итак, Гупперту дорого у Маяковского все, для него не существует «мелочей», которые в переводе можно опустить, или пересказать своими словами, или создать нечто среднее между переводом и отсебятиной, что иногда почему-то называется «творческим переосмыслением подлинника». И в то же время его уникально точные переводы лишены подобия буквализма, в них, в каждой строке, присутствует **личность переводчика,** который, вопреки классическому определению Жуковского, выступает здесь не столько как «соперник» автора, сколько его союзник: и в политической лирике, и в поздних поэмах, и в «Облаке в штанах», где, как бы сливаясь с русским текстом, звучит это немецкое:

Ihr meint wohl: Malaria, Fieberdelirien?
O nein: das ist
in Odessa geschehen.
— „Ich komme um vier", versprach Maria.
Acht.
Neun.
Zehn.

Это — Гупперт, «поэтический полпред» Маяковского, исполнитель его воли, восклицает исступленное:

Maria! Maria! Maria!
du sollst mich einlassen!
Maria! ich vergeh auf den Gassen.

(«Мария! Мария! Мария! Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!..»)

Это — Гупперт, вместе с Маяковским, от его имени, произносит по-немецки пророчество:

Wo Augen
stumpf
zu versagen drohn: —
voran den Haufen,
die lungern und lechzen,
im Dornenkranz der Revolution
schreitet
das Jahr Sechzehn.

(«Где глаз людей обрывается куцый главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год»).

Переводы Гупперта — прямой ответ на схоластические споры о том, должно ли в переводе и в оригинале совпадать количество строк, каковы пределы и «нормы» лексических отступлений от текста, изменения строфики и внешнего рисунка стиха и т. д.

В полном смысле слова о в л а д е в текстом, став его законным поэтическим «совладельцем», Гупперт распоряжается им по своему разумению, в соответствии со своими переводческими ходами, но только ради Маяковского, для его пользы!..

Гупперт превосходно доказал, что классовое понятие—«социальный заказ», о котором писал Маяковский применительно к стихам, полностью относится и к переводу, так же как «целевая установка», рождающая все формальные приемы, обязательна в равной мере и для оригинального поэта, и для поэта-переводчика...

Поэтический подвиг Гуго Гупперта получил у нас благодарное признание: австрийский поэт награжден советским орденом, а в прошлом году стал лауреатом Горьковской премии.

Впрочем, говоря о переводах Гуго Гупперта, нельзя не сказать о самой «атмосфере» пятитомника, в котором эти переводы напечатаны. Думаю, что начиная с предисловия Леонгарда Кошута, глубокого и умного, до подробных и точных комментариев, от суперобложек до многочисленных рисунков, фотографий и репродукций, представляющих огромную самостоятельную ценность, все это собрание проникнуто духом Маяковского и его эпохи.

Перед нами труд, выполненный именем Маяковского, во имя Маяковского.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

ОТКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Hyemeyohsts Storm. Seven Arrows. New York, Harper & Row, 1972.

Индейский публицист Вайн Дилория, начиная свою книгу о современном положении индейцев в США, сравнивает их с погодой: каждый берется судить о ней, но никто ничего не может сказать наверное.

Парадоксальность этого высказывания имеет под собой реальную историческую основу: лишь немногие специалисты-ученые в состоянии судить о вкладе индейцев в американскую культуру, мнение же широкого читателя традиционно определялось мифами о «неполноценности», зависимости индейцев от «большого белого брата», мифами, которые усердно культивировала официальная пропаганда. Но в сегодняшней Америке индейцы, при всей их малочисленности,— самостоятельная социальная и культурная сила, активно и последовательно утверждающая себя в искусстве и общественной жизни страны.

С начала 60-х годов в США наблюдается рост интереса к культуре индейцев, появляются серьезные исследования историков этнографов, искусствоведов. Однако самим индейским художникам и писателям приходится преодолевать барьер изоляции, которым по-прежнему окружает их буржуазная Америка. «Каково быть индейским писателем на американском западе?» — спросил однажды романист У. Истлэйк одного индейского поэта. «Это значит быть одиноким»,—ответил тот.

Для литературной Америки было открытием появление и быстрая известность писателя Натачи Скотта Момадэя. Его роман «Дом, сотканный из рассвета» и повесть «Путь к Горе Дождей» сразу ввели читателя в индейскую проблематику и подтвердили связь древних традиций устного художественного творчества индейцев с современностью.

Сказанное в полной мере относится и к книге «Семь Стрел», принадлежащей перу писателя-чейенна Хиемейостса Сторма. Это весьма необычный роман о жизни индейских народов прерий — о жизни племени чейеннов.

Сторм подводит итог многовековой истории чейеннов, стремясь показать представления индейцев о мире, месте человека в нем, пытаясь осмыслить путь, по которому идет сегодня его народ. Индейский художник осознает себя как часть человечества, к нему-то и обращает он слово о своем народе, ибо с его помощью народы прерий говорят с народами всей земли.

Центральная идея романа заложена в учении о Семи Стрелах. Когда-то семь священных стрел были реликвией и символом племени чейеннов, отличавшим его от других индейских племен. У Сторма этот символ становится художественным образом Семи Зеркал, скрытых в окружающем мире: Разума, Истины, Самосозерцания, Прозрения, Земли, Неба и Гармонии. Только приобщившись к ним, познав смысл всего сущего, может человек совершить полный цикл своего развития. Этот путь преображает человека, и он учится видеть за внешними явлениями свою истинную цель.

Пространный зачин романа знакомит читателя с «духовным космосом» чейеннов, вводя и ряд других, принципиально важных образов: «Священного Цикла (круг вечного движения жизни), Танца Солнца (свод

нравственно-философских норм народов прерий), Раздвоенного Древа (развитие через противоречия) и др. Все они служат раскрытию центрального образа Семи Зеркал.

Поместив таким образом читателя в определенную точку Священного Цикла, писатель вводит бытовые реалии, рисуя кочевую жизнь чейеннов второй половины XIX века. Теперь авторские идеи зачина продолжает развивать вождь-наставник, который рассказывает своим соплеменникам серию притч. В их содержании сильнее всего проявились взгляды самого писателя — индейца нашего времени. В фольклорных образах, в ряде символических ситуаций предстает перед читателем история народа. Писатель показывает, как во взаимодействии обогащаются общество и личность; как человек, отказываясь от узколичных интересов, начинает видеть в себе частицу народа. И тогда совершается чудо: старик превращается в юношу, ослепшая Мышь прозревает и уподобляется Орлу и т. д.

Следуя традиционному мышлению, Сторм «опредмечивает» философские понятия индейцев в числах, цвете, сторонах света, различных животных. В то же время он переосмысляет некоторые древние фольклорные образы. Например, мифический Отец Койот выступает в притчах в роли вождя-наставника, а его проделки становятся средством иносказания, с помощью которого он ведет людей от незнания к знанию.

Писатель стремится создать особый, синтетический вид искусства. Это выражается не только в строе романа, но и в том, как он иллюстрирован. Текст сопровождается портретами мудрецов вождей, изображениями животных, традиционно священных для индейцев, характерными орнаментами и символами. Изобразительные средства (живопись, фотография), органически входя в авторский замысел, способствуют чудесному превращению: зверь словно обретает вид человека, а тот — облик и завидные качества своего мифологического предка — животного.

Особое внимание в романе уделено индивидуальному геральдическому щиту героя. Символический щит-герб о многом говорил индейцам: о принадлежности владельца к определенному племени, о его имени и личных качествах. Выполненный яркими акварельными красками, щит становится символическим портретом человека, своеобразным отражением его духовного мира. Автор — сам в прошлом мастер по изготовлению щитов — обращается к живописи, украшая текст книги десятью геральдическими щитами (один из них вынесен на обложку книги). И читатель сам может судить о высокой культуре живописи индейцев прерий. Так подбор изобразительных средств помогает писателю связать мир притч с реальностью, показать национальный индейский характер.

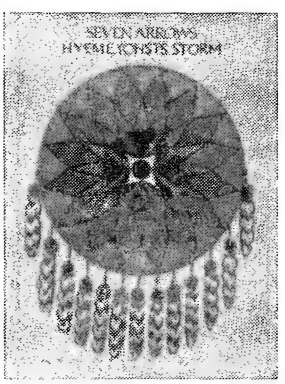
Темп повествования, поначалу размеренный из-за значительного груза философских образов, несколько убыстряется с появлением внешнего антагониста — американской армии, вооруженных до зубов белых захватчиков...

Здесь интересно отметить, что проблема покорения индейцев повернута у Сторма и своей моральной стороной: можно ли достичь совершенства, гармонии путем насилия и как это насилие наносит вред не только тем, против кого оно обращено, но и самим носителям зла. В столкновение приходят две нравственно-философские системы: буржуазный «закон сильного» и индейское учение о Семи Стрелах, основанное на творческом преобразовании мира, на признании самоценности каждого человека.

...Предательские выстрелы из засады. Прервана мирная беседа индейцев— и вот уже вождь-наставник лежит на земле, падает его геральдический щит.

Но учение о Семи Стрелах, вобравшее в себя самый дух народа, вновь оживает в устах других вождей, едва лишь прозвучат магические слова: «Расскажи нам историю!» На одной из бесед повествование прерывается, и наступает эпилог, отнесенный уже к середине XX века. В резервации, на маленьком клочке родной земли, старик наставник. как и прежде, учит молодежь творческому отношению к миру.

А. ВАЩЕНКО



ПРОЙДЯ СКВОЗЬ ЛАБИРИНТ...

Cristopher Okigbo. Labyrinths. London, Heinemann, 1971.
"African Writers Talking". Ed. by Dennis Duerden and Cosmo Pieterse. London. Heinemann, 1972.

Вышедший в Лондоне посмертно сборник стихов нигерийского поэта Кристофера Окигбо «Лабиринты» включает почти все написанное им за его короткую жизнь — он погиб тридцати пяти лет в сентябре 1967 года в боях граждан-

ской войны. Кроме ранних книг стихов «У врат святилища» и «Пределы», в сборник «Лабиринты» вошли поэтические циклы 1962—1965 годов, ранее опубликованные в журналах и антологиях,— «Дали» и «Молчания», цикл из двух частей: «Плач безмолвных сестер» и «Плач барабанов». Совершенно новым для читателя является цикл политической поэзии «Тропа грома», оставшийся незаконченным.

По словам Окигбо, в 1965 году им были созданы еще два цикла: «Пляска раскрашенных девушек» и «Плач масок», однако в посмертный сборник они не вошли. Окигбо, которого часто упрекали за чрезмерную усложненность его поэзии, написал к «Лабиринтам» предисловие, которое не только проясняет многие образы его стихов, но и раскрывает глубинный смысл его жизненного и творческого пути.

«Лабиринты». Нет, это название говорит не о тех, кто, запутавшись в сложностях жизни, не знает выхода. Окигбо видел в этом слове иное содержание, глубокий метафорический и философский смысл.

«Лабиринты»,— писал он в предисловии,— притча о непрестанных поисках человеком своего полного осуществления...», путь его мучителен, «однако предполагается, что поэт — лирический герой — пройдет сквозь лабиринт; его персонаж крупнее Орфея; с грузом судьбы на голове, похожий скорее на Гильгамеша или Энея, на героя «Моби Дика» Мелвилла или на Короля Рыбака из «Бесплодной земли» Элиота, герой, для которого развитие через «Пределы» и «Дали» подобно перебиранию бусин на четках; только эти бусины не из камня или агата, они — сгустки боли, нанизанные на нитку памяти».

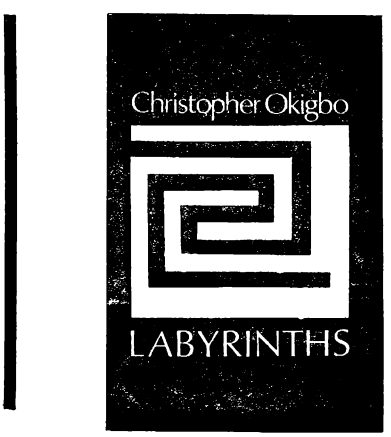
«Такое творчество неизбежно будет криком боли — боль корней, простирающих свои коралловые ветви; коралла, протягивающего свои корни в каждый час жизни; нарастающее волнение спокойного моря, нарастающее до предела волнение мечты; треск стручка — и слезы брызнули, пустили корни, семена лопнули, почка распустилась в смех листа, и, даже погибая, разлагаясь, они скрыто участвуют в круговороте природы. Современная мечта жаждет родиться как ритмический крик: и — тишина, чтоб успокоить лихорадку бегства за железные врата».

Парадоксальный, казалось, путь Криса Окигбо от «эзотерического поэта» до «Глашатая» (так он назвал себя в последнем цикле), в сущности, глубоко закономерен. Его поэзия одновременно становилась все более трагической (крик боли!) и все более жизнеутверждающей. Нараставшее напряжение социальных страстей усиливало в его стихах трагедийные интонации и одновременно порождало темы действия, надежды, образ Новой Звезды. Потому что каждый раз боль была муками рождения нового и высшего, диссонанс разрешался в гармонии, чтобы мог начаться новый эпизод жизненного опыта.

Сейчас, когда путь Окигбо трагически закончен, «Лабиринты» и ряд его интервью дают возможность глубже понять его поэзию как целое.

Среди молодых африканских интеллигентов Кристофера Окигбо выделяет редкая гармоничность всего его облика. За последние десятилетия много написано о внутренней противоречивости так называемой маргинальной психологии, то есть психологии человека, стоящего на грани двух культурных миров. Действительно, ряд африканских писателей говорили о мучительном, казавшемся им неразрешимом конфликте сознания, раздвоенного между туземными традициями и чуждой, но властно влиявшей на них культурой Запада (вспомним хотя бы метафору Окары — конфликт рояля и барабанов). Для Окигбо не существовало этих мучительных противоречий. Получив классическое образование, он профессионально знал античные литературы, древние культуры, свободно переводил стихи с латинского и греческого, впитал широкий опыт современной мировой поэзии, особенно английской и американской. Цитаты, отзвуки, вариации — от Вергилия до Элиота, Малларме, Лорки, Тагора, от Гильгамеша до Моби Дика — переполняют его поэзию, только в последних стихах отступая перед жестокой реальностью «железа и грома».

Но естественно сплетаясь с этими отзвуками мировой культуры, в стихи Окигбо входит множество образов африканской «туземной» традиции, ее барабаны, ее ритуалы — жертвенный ягненок, святилище Идото, речки родной деревни, ставшей божеством воды, Морская Дева... Ведь дел Окигбо был чем-то вроде жреца местного культа, и первая книга стихов «У врат святилища» — это своеобразное приношение божеству родной деревни. В интервью 1965 года[1] Окигбо иронически отозвался о «той чепухе, которую болтают сейчас насчет людей двух культур». Он считал, что органически принадлежит своему общест-



[1] Опубликовано в книге «Африканские писатели говорят».

ву, но это отнюдь не исключает его принадлежность к другим культурам. «Истина, конечно, в том, что современный африканец уже не является продуктом чисто туземной культуры. Современное сознание и чувства, которые стремится выразить современный африканский поэт, по своей природе сложны: это комплекс ценностей, часть из которых — туземные, а часть — экзотические, одни традиционны, другие современны, одни христианские, другие нет. И я думаю, что стремление выражать всегда только одну линию ценностей — искусственно».

Окигбо постоянно подчеркивал ограниченность своего внутреннего «я». Ведь книжные влияния были просто естественными ассоциациями для него, филолога-классика, и упрекать его за образы Гильгамеша или Полинуруса (кормчего на корабле Энея) столь же неуместно, как упрекать поэта-археолога за образы курганов или поэта-сталевара за образ текущей стали. Окигбо был очень далек от тяготения к нарочитой затрудненности стиха, к формальному экспериментаторству. Он понимал, что нужно «владеть ремеслом поэта», то есть техникой стиха, и, по его словам, «когда ему было нечего сказать», он переводил с греческого или латинского, чтобы «сохранить форму». Но, видимо, не случайно он не включил в «Лабиринты» ни ранних подражательных стихов, ни переводов. Он очень отличал «ремесло» от искусства, поэзии. И если вдуматься, то сложная, подчас требующая расшифровки поэзия Окигбо покажется органичной и естественной.

Гармоничность его поэтического облика подчеркнута еще и тем, что Окигбо пришел к поэзии от музыки, и музыка как бы перелилась в его стих. До 1957 года он был музыкантом, играл в оркестре, аккомпанировал певцам, а главное, сочинял музыку. Сильнейшее влияние на него оказал Дебюсси, композиторы-импрессионисты. И когда в 1957 году он, оставив музыку, стал писать стихи, в них зазвучали интонации и ритмы Дебюсси. Первая книга «У врат святилища» возвращала Окигбо к его истокам, к «началу пути лирического героя». И это

восхваление речного божества Идото полно струящимися ритмами воды, журчаньем ручьев, игрой и плеском волн, зыбью моря в отсветах луны, гимнами Морской Деве. Две первые книги воплощают этапы личного развития поэта. Вторая книга — «Пределы» — это «поиски героем его мечты, во время которых он падает жертвой своей демонической одержимости, теряет невинность, проходит через профанацию таинств». Но дальше — крутой излом поэтического пути. От «я» Окигбо переходит к «мы».

Цикл «Молчания», воплощающий этот переход, быть может,— самый значительный в творчестве Окигбо. Этот цикл, по словам поэта, «вдохновили события тех дней: «Плач безмолвных сестер»— политический кризис 1962 года в Западной Нигерии и смерть Патриса Лумумбы; «Плач барабанов» — заключение в тюрьму О. Аволово[1] и трагическая гибель его старшего сына». Окигбо пришел здесь к совершенно новой для него форме хоровой поэзии, может быть навеянной античной литературой, но воплотившей новое для Окигбо ощущение поэта как голоса, который от имени народа и пытается пробудить народ.

Политическая тема четко сформулирована в «Плаче безмолвных сестер»: «Как сказать НЕТ в грохоте грома?» Она появляется в образах морской бури и тонущего корабля и развивается в диалогах хора и корифея — Глашатая, который призывает тонущих «сестер» противостоять безмолвию, сохранить силу голоса. Эпический момент, характерный для этой хоровой поэзии, еще сильнее выступил в «Плаче барабанов». И форма плача, и образ барабанов — традиционно африканские. Голос поэта здесь как бы объективируется в африканских барабанах, оплакивающих под именем кормчего Полинуруса своего лидера, оплакивающих свою страну, разоренную правителями. Политическая поэзия получила здесь совершенно необычное выражение, где соединились античные и традиционные африканские формы.

Последний, незаконченный цикл «Тропа грома» с подзаголовком «Стихи, предвещающие войну» — это еще один поворот в развитии Окигбо, дальнейшее движение от «я» к «мы», к открыто публицистической поэзии действия. Можно ли удивляться этому? Окигбо всегда ставил жизнь, жизненный опыт выше литературы. В последнем интервью он говорил, что поэзия не может замещать жизнь, она лишь дополняет ее; и если б он мог жить со всей жизненной полнотой, то, может, и вовсе не писал бы.

В стихах цикла «Тропа грома» все книжные ассоциации отступили перед грозным призраком гражданской войны. Все время повторяются два образа: «Железо» и «Гром». События 1966 года в Нигерии — взрывы насилия, разгул племенной и религиозной ненависти, ужасы погромов и переход к вооруженной борьбе — все это соз-

[1] Популярный политический деятель Западной Нигерии.

давало ощущение неизбежности гражданской войны. Оно и породило «пророческий» цикл Окигбо (всего шесть стихотворений 1966 года), оборванный его смертью.

«Начинается железная глава»... «Заговорил гром»... «Запах крови уже плывет в лавандовых туманах полдня»... И поэт сразу ощутил себя «Глашатаем», он — «человек с железным горлом», готовый трубить в призывный рог. Первые дни полны радостного возбуждения. Пусть грянет гром, восклицает Окигбо. Слава грому! Возникает мотив далей, мотив полета:

О ветер, надувай мой парус; пусть мой флаг
держит курс на открытое море...
. . . . . .
И песня, внезапно став окрыленной,
Повторяет, кружа над грозовой тучей,
Стремительный путь пернатой змеи...[1]

(«Элегия ветра»)

Взгляд поэта устремлен в будущее: «Сегодня — для завтра», «Сегодня — уже вчера»...

Но и в первых стихотворениях сквозь радость победы проступают трагические предчувствия, звучит предостерегающий голос поэта:

Теперь, когда победный марш обогнул последний угол улицы,
Вспомните, танцоры, о громе среди туч...
. . . . . .
Барабаны войны уже бьют пляску смерти.
И нечто, скрытое во тьме, растет и, угрожая
Железной маской, хочет погасить
Последний факел века...

Поэт предостерегает победителей:

Слон убит, но охотники уже делят тыквы,
Когда они будут делить мясо, пусть вспомнят о громе...

(«Слава грому»)

И наконец, пронзительно трагическая «Элегия для альта», на которой оборвалась поэзия Окигбо. Песнь прощания с жизнью: «Так пусть же рог пронзает воздух и воет: «Прощай!».

Теперь, когда эти последние стихи отбрасывают обратный свет на его прежние книги, видно, как настойчиво возникал в них мотив обреченности, предчувствие собственной гибели. Здесь, среди ужасающего грохота и лязга металла, в нагроможденье бомб, гранат, минометов, орудий, танков... когда вновь и вновь возвращаются хищные железные Орлы, сеющие смерть,— возникает лирический образ жертвы. Это последний эпизод «Лабиринтов», последний час лирического героя, ощущающего себя теперь жертвенным агнцем. Привязанный, ожидая удара меча, он взывает к матери-земле с последней просьбой:

О мать-земля, о, развяжи меня, пусть это станет
Моим последним завещаньем, пусть это станет тайной,
Мольбою жертвенного агнца к мечу...

И все же, уже понимая, что это конец, Окигбо нашел в себе силы не только «сказать НЕТ в грохоте грома», но и утверждать свою мечту, мечту молодого поколения:

Но за развалинами наших крепостей
И за железною тропой, несущей в будущее все тот же затхлый хлам,
Мелькнувшая мечта лежит и тлеет где-то, в подвале,
Вместе с смертельно раненными птицами...

Гибель героя и поэта не означает гибели их мечты. Последние слова поэта утверждают, что она неистребима, что старое обречено, и возвещают приход Новой Звезды:

Уходит Старая Звезда, нас оставляя на берегу,
И, вглядываясь в небо, мы ждем прихода Новой;
А Новая Звезда уже видна и предвещает нам свой путь и свой уход,
Как весть о вечной смене конца и возвращенья.

В этих словах — глубинная идея творчества Окигбо. Ведь и «Плач барабанов» заканчивался образом вавилонского эпоса — плачем Иштар о Таммузе, образом весеннего возрождения природы. И в предисловии к «Лабиринтам» Окигбо писал, что стремился соединить воедино обе противоположности — жизни и смерти в единстве: жизнь — смерть, ибо в каждой из них заключена другая. Для него смерть была моментом перехода, диссонансом, необходимо разрешающимся гармоническим аккордом в вечной Трагической Симфонии Бытия.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

[1] Здесь и далее перевод стихов автора рецензии.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

СОХРАНИТЬ ИСКУССТВО АБОРИГЕНОВ

Известная писательница и поэтесса, аборигенка Кэт Уокер дала интервью корреспонденту журнала «Айдентити» (единственное издание в стране, выпускаемое аборигенами на средства «Издательского фонда аборигенов», существующего с 1970 года).

Корреспондент встретился с Кэт Уокер на острове Страдброк. Это место, как рассказала писательница, было выбрано ею не случайно. Именно здесь, задолго до появления белых колонизаторов, поселились племена аборигенов нунакл и нунджи и именно здесь она решила на собственные средства приобрести небольшой участок земли и вместе с писателями, художниками, архитекторами создать культурный центр: заложить парк, где будут собраны наиболее ценные растения австралийской флоры, организовать этнографический музей и художественную галерею.

Одновременно писательница намерена продолжать творческую работу. «Мне хочется написать историю племен нунакл и нунджи,— сказала она,— и довести ее до наших дней».

Имя художника-аборигена Дика Рафси пока еще мало известно за пределами Австралии. В автобиографической книге «Луна и радуга» Дик Рафси рассказал, что прежде был охотником, рыбаком, скотоводом и моряком. Его первая выставка рисунков на древесной коре имела большой успех. Совершенствуя свое мастерство, художник переходит к созданию картин маслом.

На снимках: рисунки Дика Рафси.

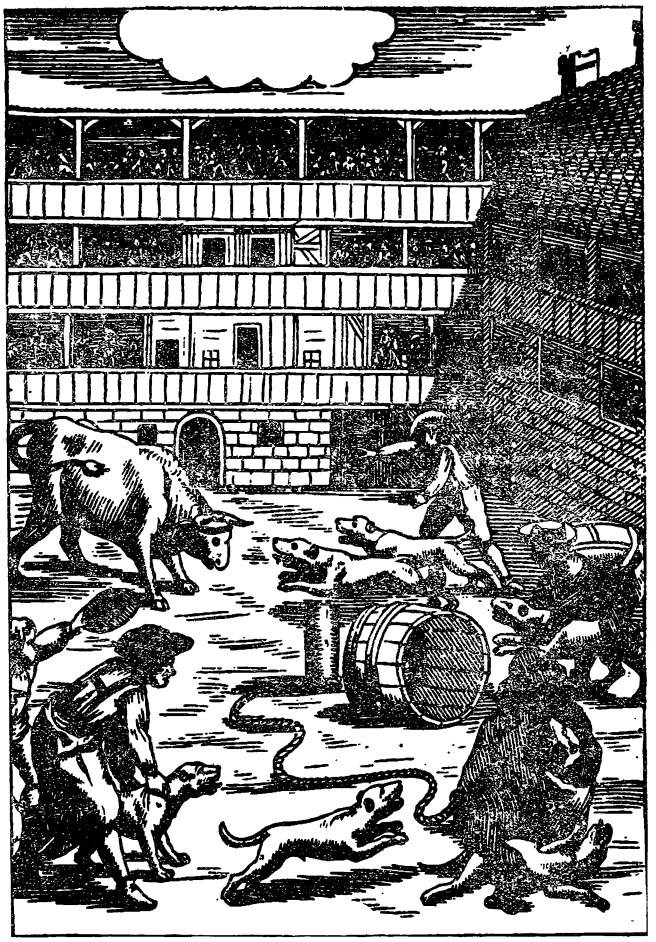
(Журнал «Айдентити»)

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ ПОЛУЧАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Английская печать широко комментирует присуждение международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» известному писателю, публицисту, общественному деятелю Джеймсу Олдриджу. Газеты «Таймс», «Гардиен», еженедельник «Обсервер» и другие поместили пространные сообщения о награждении автора известных книг «Дело чести», «Морской орел», «Дипломат», «Охотник», «Герои пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он умирал», «Сын земли чужой» и написали об активной деятельности Джеймса Олдриджа в борьбе за мир; английский писатель получил высокую, заслуженную награду — таково общее мнение различных органов печати.

Уже после опубликования сообщения о присуждении международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Джеймс Олдридж побывал в Советском Союзе в качестве гостя агентства печати «Новости». Он посетил редакцию журнала «Иностранная литература». Во время этой встречи работники редакции тепло поздравили лауреата, пожелали ему новых творческих успехов.

Писатель рассказал, что недавно закончил роман, являющийся продолжением его раннего, но хорошо известного советским читателям романа «Дипломат».



В издательстве «Пингвин» вышла книга Энтони Бёрджеса «Шекспир». Как отмечает печать, это книга не только о Шекспире и его творчестве, но и об эпохе, описанной в его бессмертных творениях.
На снимке: одна из иллюстраций.

(Газета «Морнинг стар»)

«ИСКУССТВО В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ»

Комитет по культуре компартии Великобритании провел в Лондоне конференцию на тему «Искусство в борьбе за социализм». Впервые теоретическая конференция подобного рода была столь представительной — в ней приняли участие двести человек: литераторы, критики, деятели театра, кино и просвещения, музыканты, рабочие, представители редакции газеты «Морнинг стар». Многие из них выступили в ходе дискуссии, развернувшейся на конференции.

Как пишет корреспондент «Морнинг стар», вступительную речь произнес Моррис Корнфорт. Кевин Кибл призвал к усилению роли марксистской критики, которую Корнфорт в своей речи назвал «жизненно важным фактором» в развитии искусства. Композитор Алан Буш высказал мнение, что до сих пор прогрессивные критики не давали должного отпора низкопробному искусству.

О значении массовых средств информации говорили журналист Берт Бейкер и кинорежиссер Джон Грин. Массам нужны теоретические работы по искусству — к такому выводу пришла деятельница театра из Ковентри Валери Лестер.

Участники конференции говорили о необходимости более широкого привнесения социалистических идей в искусство, о поощрении популярных его форм. В связи с

этим Джеймс Петтифер рассказал о недавно созданной компартией труппе — она ставит пьесы классиков и современных драматургов, а также исследует проблемы театра.

На конференции было высказано пожелание, чтобы подобные встречи стали традиционными и проводились регулярно, ибо компартия Великобритании в приобщении широких масс к социалистическому искусству видит одну из своих задач.

МАЯКОВСКИЙ — НА АНГЛИЙСКОМ

«В поэзии лучше всего передал дух Октябрьской революции Владимир Маяковский»,—пишет рецензент газеты «Морнинг стар» Джеймс Брогден в связи с выходом в издательстве «Сентрал букс» сборника «Стихотворения Маяковского». Перевод выполнен Дорианом Роттенбергом, предисловие написано советским литературоведом В. Перцовым.

Подчеркивая существующий в Англии читательский интерес к творчеству поэта, Д. Брогден пишет, что «в поэзии Маяковского с особой ясностью проявилось единство жизни и литературы».

БОЛГАРИЯ

ПЕРЕВОДЧИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ МАЯКОВСКОГО

Имя Маяковского давно известно и любимо в Болгарии. Его популярность и влияние на болгарских поэтов начинаются еще с 20-х годов. Первым его переводчиком и пропагандистом был выдающийся болгарский поэт-антифашист Гео Милев, назвавший Маяковского самым большим поэтом, созданным революцией.

Подлинным воссоздателем его поэзии на болгарском языке стал Христо Радевский, включивший в 1938 году несколько стихотворений поэта в свою «Антологию современной русской поэзии».

Маяковского переводили А. Столнов, Б. Райнов, А. Тодоров, Д. Методиев, ему посвящали свои статьи и исследования Г. Бакалов, Т. Павлов, С. Цанев и многие другие критики и писатели. Трудно перечислить все переводы и издания Маяковского в Болгарии, все постановки его пьес, с успехом шедших на болгарской сцене.

Продолжением этой традиции обращения к творчеству Маяковского явились и две новые книги, вышедшие в 1972 году,— сборник избранных стихотворений, выпущенный издательством «Народна култура» в серии «Вершины советской поэзии», и монография «Творческий процесс у Маяковского», которая, как отмечается в предисловии, представляет собой попытку исследовать творческий процесс великого поэта в свете актуальных проблем современной эстетики.

Составитель и переводчик сборника и автор монографии — главный редактор издательства «Народна култура» Николай Антонов, один из лучших в Болгарии знатоков творчества советского поэта, в течение многих лет работающий над переводами произведений Маяковского на болгарский язык.

БРАЗИЛИЯ

ЗАГОВОРЯТ ЛИ ТАБЛИЧКИ?

Видный бразильский лингвист Вас де Мелу, профессор университета в Белу-Оризонте, в интервью корреспонденту еженедельника «Жорнал ду Бразил» заявил, что ему удалось расшифровать значение до сих пор не переведенных иероглифов острова Пасхи.

Кроме огромных статуй, смотрящих в бесконечность, на острове были обнаружены также таблички, испещренные загадочными письменами. Бразильский ученый занимается их расшифровкой уже более 15 лет, и открытие, сделанное им, приподнимает завесу над многовековой тайной. По словам Вас де Мелу, таблички содержат рассказ жителей острова о гигантском стихийном бедствии, разрушившем большой архипелаг, в состав которого когда-то входил остров Пасхи: океанские волны достигали 30 метров высоты, а когда жители острова попытались спустить на воду свои суденышки, у них на глазах разорвался «гигантский огненный шар, вызвавший столь мощное землетрясение, что все близлежащие островки погрузились в воду, унося с собой их обитателей».

Вас де Мелу заявил, что таблички с острова Пасхи были предоставлены ему чилийскими консульскими властями (остров Пасхи — владение Чили) в Белу-Оризонте. Он, однако, отказался рассказать, каким образом ему удалось их расшифровать, заявив, что предпочитает дождаться результатов исследований немецкого ученого Томаса Бартеля, «специалиста, занимающегося данной проблемой».

ВЕНГРИЯ

К ЮБИЛЕЮ МАЯКОВСКОГО

В издательстве «Европа» вышел сборник стихов Владимира Маяковского, составленный поэтессой Юдит Пор.

И «сегодня поэзия Маяковского оказывает огромное и действенное влияние на мироощущение людей, особенно мироощущение молодых, так как она — поэзия революционера, который спорит, агитирует, действует»,— пишет рецензент еженедельника «Элет эш иродалом».

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

Заслуженная артистка Венгерской Народной Республики Мари Тёрёчик удостоена высшей правительственной награды — премии имени Кошута.

Актерское мастерство Мари Тёрёчик знают и любят не только в Венгрии, но и за ее пределами: Мари Тёрёчик знакома советским зрителям по фильмам «Карусель», «Железный цветок», «Жаворонок» и другим.

Наиболее яркие работы Мари Тёрёчик связаны с будапештским Национальным театром, в коллективе которого она трудится уже больше пятнадцати лет. В многочисленных приветствиях по случаю присуждения высокой награды Мари Тёрёчик говорилось не только о ее незаурядном даровании, но и о ее страстном, честном отношении к делу, о ее горячей доброжелательности к людям, о том, что именно эти качества помогают Мари Тёрёчик тонко и совершенно создавать самые разные женские образы классического и современного репертуара.

ГДР

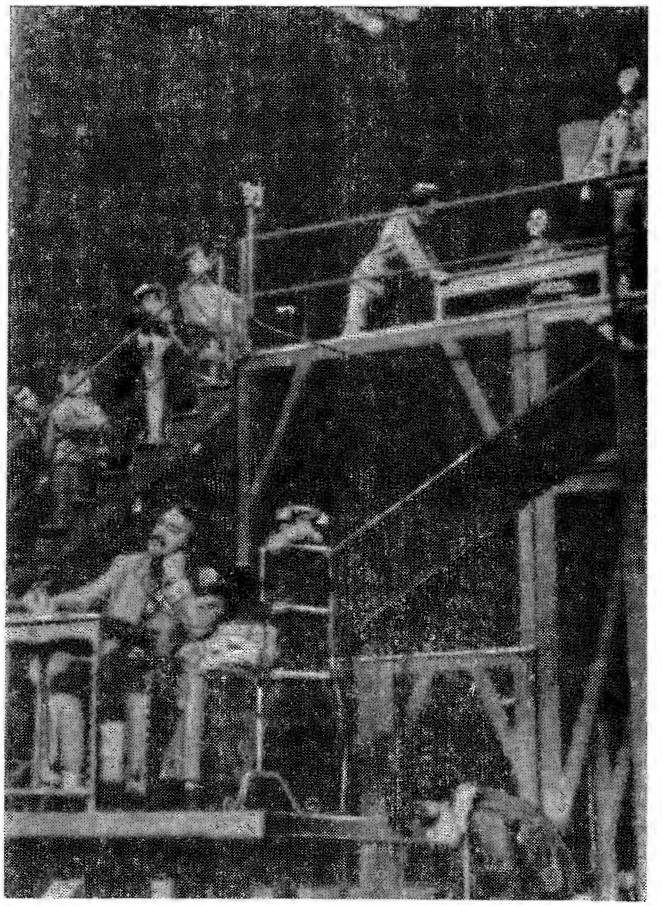
ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА МАННА

Президент Немецкой академии искусств Конрад Вольф вручил премии имени Генриха Манна 1973 года Ульриху Пленцдорфу за кинорассказ и пьесу «Новые страдания юного В.» (см. «ИЛ» № 1, 1973) и писательнице Хельге Шюц за сборник «Землетрясение под Зангерхаузеном».

С приветственными речами выступили писатели Карл-Гейнц Якобс и Гюнтер Рюккер.

«История, которую рассказал нам Ульрих Пленцдорф,— сказал Якобс,— это история о мыслях и чувствах нашей современной молодежи. История эта читается и смотрится на сцене с огромным интересом». Якобс подчеркнул, что пьеса «Новые страдания юного В.», с успехом идущая на сценах театров Германской Демократической Республики, вызвала оживленные споры и дискуссии и привлекла внимание общественности.

Гюнтер Рюккер в своей речи сказал о литературных достоинствах прозы Хельги Шюц: «Все, о чем она рассказывает, написано с любовью, с большим тактом, скромностью. Я бы сказал, что прозу Хельги Шюц отличают тонкость и грациозность».



На сцене Магдебургского театра поставлена «Баня» Маяковского. Режиссер спектакля — Вернер Фреезе.
«Это интересная попытка открыть для нашего театра и зрителя произведения Маяковского»,—пишет журнал «Театер дер цайт». В статье отмечается, что театру удалось передать ритм Маяковского, найти много интересных деталей.
На снимке: сцена из спектакля.

(«Театер дер цайт»)

ЗАКОНОМЕРНЫЙ КОНЕЦ

Новый роман Фрица Зельбмана «Попутчик» (о Зельбмане см. «ИЛ» № 6, 1967 и № 5, 1970) сразу вызвал отклики в прессе. «В современной литературе ГДР фигура попутчика — явление новое,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг». — Зельбману удалось дать глубокий анализ причин возникновения попутчиков фашизма и показать сатирическими средствами это явление нашего недавнего прошлого».

Писатель рассказывает о мелкобуржуазной среде, в которой вырос его герой Регендроп, о его стремлении подняться по социальной лестнице. Вызванный в качестве свидетеля на процесс военных преступников в Западной Германии, он встречается там с людьми, с которыми его когда-то связывали общие дела при фашизме. В Регендропе оживают старые стремления к «роскошной жизни». Запутавшись в сетях, умело расставленных его бывшими друзьями, он становится на путь преда-

тельства, приносит ложную присягу на суде и попадает в тюрьму.

«Писатель затронул в своем романе очень серьезную тему,— пишет рецензент журнала «Нойе дойче литератур»,— мы должны всегда помнить, что без миллионов попутчиков не был бы возможен фашизм».

ФРГ

ПЕРВЫЙ РОМАН

Франц Йозеф Дегенхардт известен среди западногерманской молодежи как автор и исполнитель остросоциальных песен-баллад. Недавно в гамбургском издательстве «Гофман унд Кампе» вышел его первый роман «Фитиль» и сразу завоевал популярность.

Действие происходит в последние годы второй мировой войны. Главные действующие лица — подростки из пролетарских семей. Отцы их либо погибли, либо находятся на фронте и в концлагерях, матери с утра до ночи работают. Предоставленные сами себе, они организуют отряд, который на свой лад, полуанархическими методами борется против фашизма.

В романе описана и серьезная деятельность подпольной коммунистической группы Сопротивления — члены группы, старшие братья и родственники юных героев книги, осуществляют акты саботажа, укрывают тех, кто спасается от фашистов. Автору удалось создать целый ряд запоминающихся характеров.

Перед читателями, пишет рецензент еженедельника «Ди цайт», «возникает образ пролетарской среды, которая в нашей литературе до сих пор не получала отображения». Дегенхардт, который в конце войны сам был подростком, рассказал о приключениях своих героев увлекательно и достоверно. По словам «Ди цайт», книга читается с таким же интересом, как истории о Томе Сойере и Геке Финне.

ЕГИПЕТ

УСПЕХ КРИТИКА

Книга известного литературоведа Абд аль-Мухсина Тахи Бадра «Писатель-романист и земля» была удостоена Государственной поощрительной премии, сообщил журнал «Аль-Адиб».

Преподаватель литературного факультета Каирского университета Таха Бадр, пишет рецензент журнала, выдвинулся как критик в 60-е годы. Ему принадлежат ряд статей и несколько книг, в которых он «стремится создать свою критико-эстетическую теорию». «Писатель-романист и земля» — третья книга египетского критика. До этого вышли его книги «Развитие современного арабского романа в Египте» и «Писатель и действительность».

По мнению рецензента, книга «Писатель-романист и земля» — самая важная из работ Тахи Бадра, в ней наиболее отчетливо проводится мысль автора о том, что главный критерий при оценке литературного произведения — насколько тесно связано творчество писателя с действительностью. Рецензент считает, что, несмотря на ценность книги Тахи Бадра, в ней содержится много спорного и дискуссионного, и призывает критиков высказать о ней свои суждения.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРА КАК ЖИЗНЬ

Индийская литература вступила в пору зрелости, констатирует в обзоре национальных литератур рецензент еженедельника «Линк». Писатели делают серьезные попытки показать в своих произведениях современное общество и человеческие взаимоотношения во всей их сегодняшней сложности. Жизнеописания принцев и сказочных красавиц перестали волновать и индийского читателя. На страницах книг он хочет видеть земную жизнь, с ее радостями и заботами, хочет узнавать в героях окружающих его людей, себя.

Присуждение премии Всеиндийской литературной академии роману «Разное время, разные люди» тамильского писателя Д. Джайякантана свидетельствует о высоком признании реалистического направления в национальной литературе Индии, пишет критик.

Д. Джайякантану нет еще сорока лет. Он лауреат многих литературных конкурсов. В рассказах и повестях о фабричных рабочих, поденщиках, рикшах и других простых людях автор стремится увидеть окружающую жизнь глазами современника и проанализировать ее.

Роман «Разное время, разные люди» имеет свою предысторию. В 1967 году автор опубликовал рассказ «Испытание огнем», в котором с новых, современных позиций решает одну из сложнейших моральных проблем. Обманутая девушка ждет ребенка. Но она не кончает самоубийством, как того требуют национальные каноны. При доброй поддержке матери, которая в данной ситуации также поступает наперекор традициям, она выходит из испытания с достоинством.

Такая трактовка темы вызвала резкую критику приверженцев традиционных методов решения этого вопроса. Писателя обвинили в нарушении принципов «тамильской культуры». Его ответом критикам и явилась новая книга, где он разоблачает лицемерие своих противников, их реакцию на неприкрашенную правду и ставит вопрос: а как бы поступил ты, если бы дело коснулось твоей сестры, твоей дочери?

ИСПАНИЯ

«НОЧНАЯ БИТВА В МУЗЕЕ ПРАДО»

Так называется пьеса, написанная еще в 1956 го-

ду испанским поэтом Рафаэлем Альберти, живущим ныне в Риме. Недавно ее впервые поставил прогрессивный молодежный театральный коллектив «Встреча» в Риме. Пьеса представляет собой попытку синтезировать драматургию и живопись: ее подзаголовок гласит — «Офорт с прологом в одном действии». В этой пьесе Альберти описывает ноябрьскую ночь в осажденном Мадриде во время войны за свободу Испанской Республики. Бойцы республиканской армии укрыли от фашистских бомб и снарядов драгоценные полотна Прадо в глубоких подземельях музея (в этой борьбе за спасение шедевров живописи участвовали в ту ночь и сам Альберти, и его жена Мария Тереса Леон). Автор не ограничивается тем, что воскрешает этот эпизод обороны Мадрида как символ двуединства антифашизма и культуры, противостоящий другому двуединству—фашизма и варварства. Воображение поэта рисует фантастическую картину: полотна оживают, изображенные на них персонажи выходят из рам и принимают участие в борьбе за свободу Испании. Оживают испанцы, изображенные на полотнах Гойи, которые в 1808 году сражались против полчищ Наполеона. Они вновь берутся за оружие, воздвигают баррикады, обличают франкистских генералов — врагов простого народа. Оживают и персонажи других художников испанской и фламандской школы — Веласкеса, Рубенса... Выходят из рамы изображенные Тицианом Адонис и Венера, чья любовь нарушена войной — ее богом Марсом...

Живописная сторона пьесы Альберти интересно решена сценически благодаря необычным декорациям, световым и цветовым эффектам, костюмам, гриму актеров. Спектакль, сыгранный молодыми актерами, поставили режиссеры Лино Бритто и Хосе Руис Лифанте под художественным руководством Рикардо Сальвата. Необычный спектакль имел большой успех у зрителей.

ИТАЛИЯ

ХУДОЖНИК ОБ ИСКУССТВЕ

Большой сборник «Ремесло художника. Статьи об искусстве и обществе» стал важным событием в культурной жизни Италии. Его автор — Ренато Гуттузо. Почему о живописи не должны говорить сами художники? Почему это право принадлежит только художественным критикам? — полемически спрашивает он в предисловии к сборнику. В книге собраны многочисленные статьи, высказывания, письма, воспоминания за долгие годы творческой и общественной деятельности художника-коммуниста; многие материалы видят свет впервые. Это своеобразная история не только творческого пути Ренато Гуттузо, но и современной итальянской и западной живописи.

Основной раздел сборника называется «Живопись и борьба за реализм». В интервью «Диалог о живописи» художник рассказал о пути, пройденном им от основанной в предвоенные годы группы молодых художников - антифашистов «Корренто» («Течение») и его первых знаменитых полотен «Бегство с Этны» и «Распятие» до наших дней; в интервью анализируется современное положение изобразительного искусства в Италии и на Западе.

Большой раздел посвящен заметкам Гуттузо о художниках — от Рафаэля и Курбе до Ван Гога и Пикассо. Интересны «Страницы из

Режиссер Франческо Рози приступил к съемкам новой картины, которая будет называться «По поводу Луки Лючано». Фильм рассказывает о сицилийской мафии, действия которой тесно переплетаются с действиями итальянского и международного капитала. «Фильм основывается исключительно на фактах, имеющих место в действительности, — рассказал Франческо Рози.— Но это не будет повествование о насилиях, убийствах и погонях. Меня интересует, кто порой скрывается под личиной «благочестивых деловых людей». Я не хочу давать полного ответа на этот вопрос, я только показываю этих людей во всей их неприглядности, а выводы зритель пусть делает сам».
На снимке: артист Джан Мария Волонте в главной роли фильма.

(Газета «Паэзе сера»)

дневника» (1958—1969), воссоздающие яркую картину художественной жизни Италии за это десятилетие.

Заканчивает сборник раздел, содержащий «Отправленные и неотправленные письма». Книга проиллюстрирована 53 неизданными ранее рисунками художника. Сборник Ренато Гуттузо, несомненно, явится важным вкладом в борьбу за прогрессивное и реалистическое искусство, являющуюся составной частью борьбы демократических сил за обновление Италии.

КАНАДА

«ЗАБАВНАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА...»

Многие критики назвали новый роман известного канадского писателя Брайана Мура «Католики» его лучшей книгой. С присущим ему мастерством и тонкой иронией автор поставил в ней проблему идейного вакуума, страха перед будущим, потребности человека современного капиталистического общества опереться на что-то традиционное, надежное, «незыблемое».

Действие романа «Католики» относится к 90-м годам нашего столетия. К этому времени символ креста стал анахронизмом, Ватикан перестал формально существовать как центр католицизма, превратившись в «светскую сверхцерковь», организацию, которая, с одной стороны, занялась чисто теоретическими проблемами — например, подготовкой к диалогу с буддистами, а с другой — «подключилась» к социальному прогрессу: монахи рассеялись по свету, «неся идеи социальной революции». Однако оказывается, что в Ирландии, в глухой деревушке, сохранился орден бенедиктинцев, продолжающий прежнюю деятельность. Местный священник проводит службу на запрещенной латыни, служит мессы и исповедует жителей деревни. Но этого мало: слухи о «ереси» поползли по свету. В Ирландию устремились туристы из Америки, Европы и Азии, желающие избавиться от грехов на тайной исповеди и облегчить душу в «ненаучной», но такой удобной религии. Телевидение и радио, открыв для себя новый источник доходов, рекламируют этот феномен.

Ватикан вынужден принимать меры. Он посылает в Ирландию молодого красавца священника, вооруженного всеми средствами светской дипломатии. Он должен убедить старого аббата и его паству отказаться от их общей слабости. Однако он оказывается не в состоянии победить житейскую мудрость пастыря и ужас неверия, который толкает в объятия религии все новых и новых людей, напуганных окружающей их действительностью.

Грэхем Грин сказал о романе «Католики»: «Может быть, это лучшая книга писателя, который мне очень нравится... Забавная, грустная и очень трогательная».

КУБА

ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

Особенностью литературного конкурса «УНЕАК-72», организованного Союзом писателей и деятелей культуры Кубы (УНЕАК), явилось значительное число участвовавших в нем молодых авторов. Первая премия присуждена 34-летнему Уго Чинеа за сборник рассказов «Против бандитов».

Это вторая награда, полученная талантливым кубинским новеллистом. В 1969 году ему присудили премию «Давид» за книгу «Эскамбрай-60», рассказывавшую о борьбе кубинских «милисианос» с контрреволюционными бандами, действовавшими в горных районах провинции Лас-Вильяс.

Сборник «Против бандитов» продолжает тему первой книги Уго Чинеа. «Я не думаю, что эта тема была уже исчерпана,—заявил писатель в беседе с корреспондентом кубинского журнала «Верде оливо».— Мне кажется, каждый пишет о том, что произвело на него наибольшее впечатление. Для меня — это события 1960—1961 годов в горах Эскамбрая, когда мне самому в составе батальона Национальной революционной милиции пришлось сражаться с бандами наемников. Это было нелегкое испытание, и в своей книге я пишу правду о том, что там происходило. С одной стороны, я рассказываю о насилии, убийствах, о жестокости контрреволюционеров по отношению к кубинским крестьянам, а с другой — я раскрываю человечность, товарищество и героизм, проявленные «милисианос». В столкновении жестокости и гуманизма — главное содержание книги.

Хотя я написал уже две книги об Эскамбрае, события тех лет по-прежнему меня волнуют. Сейчас я приступил к работе над романом. В нем более полно и глубоко я постараюсь рассказать о своих героях».

МЕКСИКА

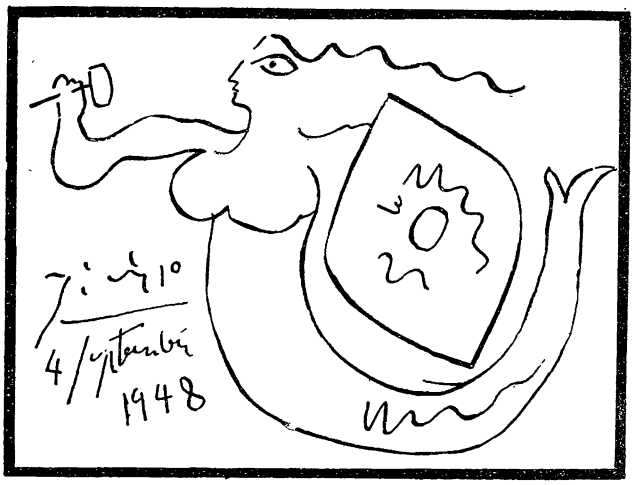
ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

Мексиканский поэт и журналист Хосе Д. Фриас выступил на страницах еженедельника «Универсаль иллюстрадо» с воспоминаниями о Владимире Маяковском. Хосе Д. Фриас встречался с Маяковским во время его пребывания в Мексике в 1925 году. Тогда же в журнале «Ревиста де лас ревистас» было опубликовано стихотворение «Наш марш» — первая публикация советского поэта в Мексике, — иллюстрированное Диего Риверой.

ПОЛЬША

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ПРОФСОЮЗОВ

Печать сообщает о присуждении ежегодных лите-



Многие художники изображали символическую покровительницу польской столицы.
На снимке: варшавская сирена работы Пабло Пикассо.

(Журнал «Нове ксенжки»)

ратурных премий Центрального совета профсоюзов Польши. Эти премии присуждаются прозаикам, которые в своих произведениях пишут о «современной жизни страны, отражают общественные перемены, связанные с развитием национальной экономики, науки и культуры».

Премии за 1972 год присуждены Юлиану Кавалецу за книгу «Переплывешь реку» и Альбину Секерскому за книгу «Не все дерево распускается».

Книга Юлиана Кавалеца «Переплывешь реку», как пишет рецензент газеты «Трибуна люду», «близка по своей атмосфере и стилю всему творчеству Кавалеца; в ней рассказывается о судьбе сельского парня, который отправляется на большую стройку и получает там первый жизненный и общественный опыт».

Для обсуждения новой книги Альбина Секерского редакция журнала «Фундаменты» организовала творческую дискуссию литературных критиков совместно с представителями рабочих коллективов Силезии. В ходе дискуссии много говорилось о реализме, достоверности изображенных в книге событий, о психологических и общественных проблемах, с которыми сталкивается коллектив большой современной стройки.

РУМЫНИЯ

О СУДЬБАХ ПОЭЗИИ

Интересную дискуссию на тему «Критика и поэзия» провел на своих страницах журнал «Лучафэрул». В ней приняли участие критики, поэты и прозаики различных поколений — Нина Кассиан, Александру Ивасюк, Шербан Чокулеску, Георге Томозей, Адриан Исак, Флорин Михэйлеску, М. Унгяну, Дину Флэмынд, Флорин Костинеску и другие.

Журналом руководило желание обсудить вопросы, связанные с судьбами современной румынской поэзии, и в первую очередь ее взаимоотношения с литературной критикой.

Старейший критик Шербан Чокулеску подчеркнул роль передовой критики, ее значение в утверждении подлинно народной поэзии, а также ее место в разоблачении модернистских увлечений «антипоэзией». Он видит главное назначение критики в четкости, искренности, ясности оценок и суждений.

О необходимости высокого профессионального уровня критики говорила известная поэтесса Нина Кассиан. Она высказала свое отрицательное отношение к тем критикам, которые боятся выразить четко свою точку зрения, а также и к тем критикам, для которых поэтическое творчество является лишь предлогом утвердить свой престиж и которые пишут не столько о поэтах, сколько о самих себе.

В своем интересном выступлении, озаглавленном «Поэзия и иррациональное», Александру Ивасюк указал на новый расцвет поэтического творчества, который заметен в последние годы, на его высокий уровень и его зрелость. Одновременно он подчеркнул, что поэзия должна выражать ясно и четко идеалы современности, способствовать общению людей и «в первую очередь давать ответ на чаяния и запросы конкретного исторического мира, в котором она родилась». Критика призвана разъяснять и помогать читателям понять поэтов, а главная задача поэтов — найти поэтические средства для ясного и четкого выражения своих чувств и идеалов.

О необходимости для критика утверждать собственную эстетическую позицию, свою точку зрения, о необходимости борьбы с критикой, основанной на вкусовщине, лишенной подлинных, серьезных теоретических основ, говорил Флорин Михэйлеску. Ссылаясь на мнение о том, что печатается слишком много стихов без должного отбора, что в области поэзии намечается своего рода «инфляция», Флорин Костинеску обратил внимание на сходное явление, существующее и в области критики.

Журнал «Лучафэрул» обещает продолжить дискуссию по основным вопросам, затронутым ее участниками, в особенности по вопросам методологии критики.

США

ПРЕМЬЕРЫ В НЬЮ-ХЕЙВЕНЕ

Принято считать, что все наиболее значительные события театральной жизни США связаны с Нью-Йорком. О том, что это не всегда так, свидетельствует недавняя премьера театра при Йельском университете (Нью-Хейвен) — документальная драма, написанная известным литературоведом Эриком Бентли. Название пьесы, которая является его дебютом в драматургии,— «Состоите ли вы ныне или состояли когда-либо?». Имеется в виду сакраментальный вопрос, который задавали в период маккартизма всем, кого вызывали на допрос в так называемую Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности: «Состоите ли вы ныне или состояли когда-либо в коммунистической партии?»

Пьеса построена на основе протоколов допросов, производившихся вышеупомянутой комиссией. Среди персонажей — реальные лица: Поль Робсон, Лилиан Хеллман, Элиа Казан, Джером Роббинс и многие другие свидетели, представшие в те годы перед комиссией.

В Нью-Хейвене состоялась еще одна премьера, на этот раз на профессиональной сцене. Существует, как известно, обычай: перед тем как показать готовый спектакль в Нью-Йорке, бродвейский продюсер «обкатывает» его в одном из провинциальных городов — с целью проверить реакцию зрителей, устранить те или иные недоделки и т. п. Таким образом, жителям Нью-Хейвена была предоставлена возможность первыми познакомиться с пьесой, премьеры которой с нетерпением ожидали в Нью-Йорке,— драматургическим первенцем известного американского писателя наших дней Уильяма Стайрона.

Нью-йоркские театралы так, однако, и не дождались бродвейской премьеры: зрители Нью-Хейвена приняли пьесу Стайрона столь холодно, а отзывы критики были столь уничтожающими, что продюсер предпочел не рисковать и спектакль был снят после нескольких представлений.

Название пьесы — если перевести его не только с английского на русский, но и со слэнга на литературный язык — «В палате для венериков».

Названием определено и содержание пьесы: в числе ее персонажей трое неизлечимо больных солдат морской пехоты США (действие происходит в годы второй мировой войны). Обреченные на смерть, они ведут у себя в палате свою миниатюрную «мировую войну», войну всех против всех: южанин-негр ненавидит обоих белых, южанин-белый ненавидит негра и второго белого — еврея, и все вместе они ненавидят врача, который выступает в пьесе в качестве некоего философствующего моралиста.

Единодушно отмечая неудачу первой пьесы Стайрона, критики в то же время выражают надежду, что ее провал не побудит автора отказаться от драматургии.

«ВАЛЛИЕЦ ЧИТАЕТ ВАЛЛИЙЦА»

Под таким заголовком американская газета «Крисчен сайенс монитор» сообщила о выходе в США фильма, снятого по радиопьесе «В молочном лесу» известного английского поэта-валлийца Дилана Томаса. Роль Д. Томаса исполняет известный американский актер Ричард Бёртон, «впервые за многие годы получивший роль, достойную его таланта», по свидетельству рецензента газеты. Бёртон играет поэта и читает за кадром его стихи. Второй «голос» в фильме — другой знаменитый актер, Питер О'Тул. Своеобразный колорит поэзии Дилана Томаса, неповторимость уже почти вымершего сегодня языка жителей Уэльса — все это потребовало от создателей фильма особой изобретательности. Как пишет газета, «нужен был специфический талант, чтобы перевести музыку древнего валлийского языка на язык современного кино».

ТУНИС

ПОЭЗИЯ ПРОТЕСТА

Как сообщает журнал «ИБЛА», в Тунисе вышла книга известного писателя и исследователя фольклора Мухаммеда Марзуки «Народная поэзия и борьба за освобождение». В книге со-

---

Ричард Бёртон в роли Дилана Томаса.

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

браны тунисские народные песни и стихи, прославляющие борьбу за национальное освобождение, с 60-х годов прошлого века до итальянской агрессии в Триполитании (1913). Автор намеревается издать второй том стихов, который будет посвящен тунисской освободительной борьбе периода 1915—1952 гг.

В журнале «ИБЛА» выражается, однако, сожаление, что Марзуки рассматривает тунисскую поэзию вне связи с освободительной поэзией других стран Магриба, которой посвящены, среди других, исследования Анри Бассе «Алжирское восстание 1871 года в кабильских народных песнях» и Эмиля Лауста «Берберские песни протеста против французской оккупации».

ТУРЦИЯ

КОНЧИНА АДНАНА ВЕЛИ

В Стамбуле скоропостижно скончался турецкий писатель-юморист Аднан Вели Канык. В течение двадцати лет Аднан Вели работал фельетонистом в крупнейших газетах Стамбула. Начиная с 1952 года он выпустил пять книг юмористических и сатирических рассказов, которые завоевали ему признание в Турции и за рубежом. Рассказы А. Вели переведены и на русский язык, включались в антологии турецкого юмора и сатиры.

А. Вели писал не только фельетоны, но и рассказы. Большой интерес представляет его книга о своем брате, рано умершем основателе нового направления в турецкой прогрессивной поэзии — Орхане Вели.

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ КНИГА ПРЕВО

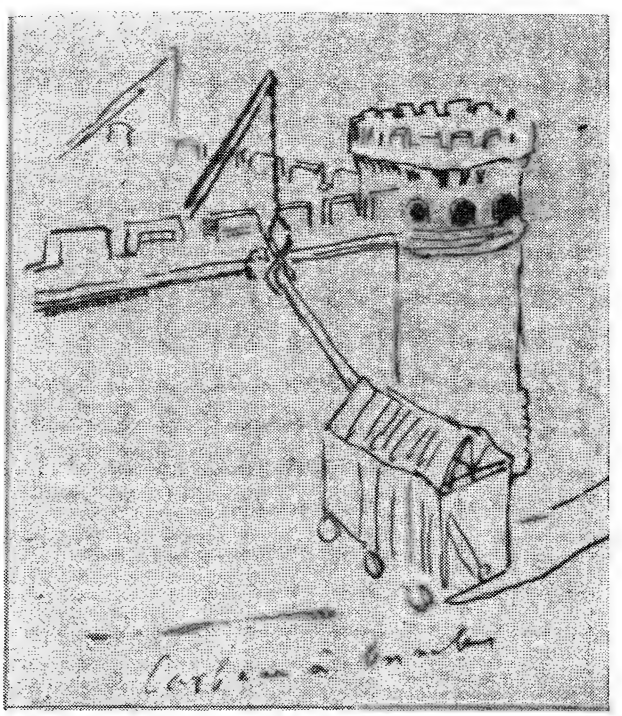
Накануне «Трехдневника марксистской книги», который проводился в Париже, корреспондент «Юманите» взял интервью у директора издательства «Эдисьон сосиаль» Люсьена Сэва. Говоря о деятельности издательства, Л. Сэв отметил: «Мы намерены давать твердый отпор фальсификаторам марксизма и вместе с тем поощряем самое широкое разнообразие поисков». Выполняя эти задачи, «Эдисьон сосиаль» выпускает серию теоретических и полемических работ «Проблемы». Один из новых выпусков серии — книга Клода Прево «Литература, политика, идеология». Она вышла с предисловием члена Политбюро ФКП Ролана Леруа.

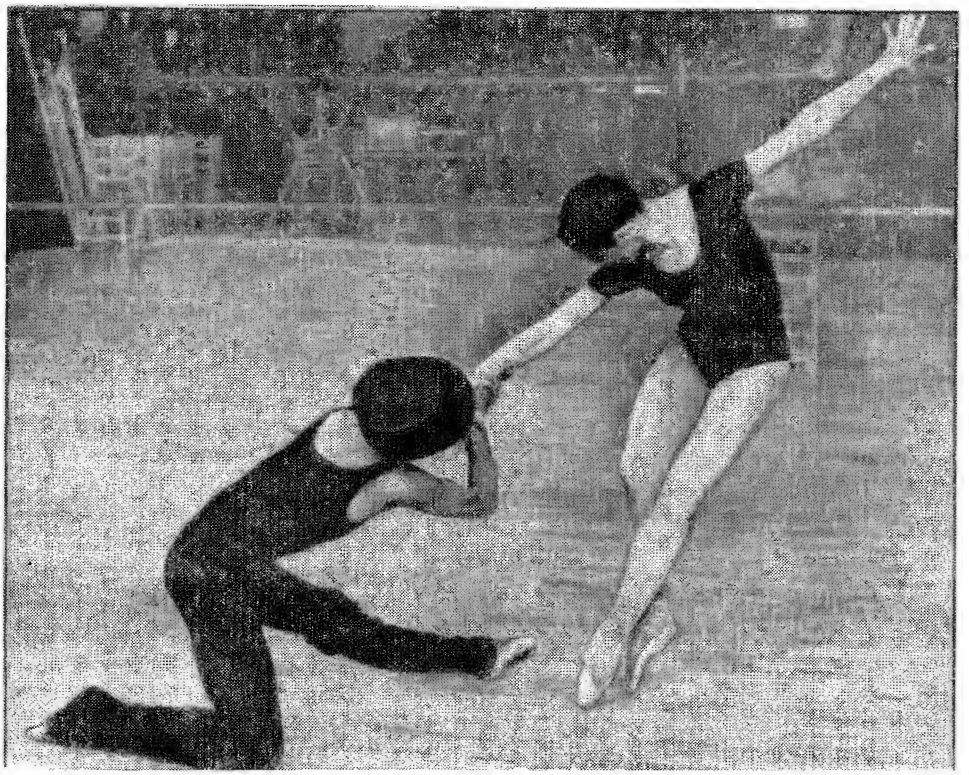
Клод Прево часто выступает в журнале «Нувель критик» со статьями по литературным вопросам. Книга «Литература, политика, идеология» состоит из статей разных лет. Тут рассматриваются взаимоотношения искусства и действительности, литературы и политики, особая роль литературы в политической борьбе; в круг научных интересов автора входит и античный миф о Прометее в истолковании Маркса, и анализ творчества Толстого в статьях Ленина. Клод Прево детально анализирует ленинские статьи о Толстом в контексте литературно-об-

---

Известный французский эксперт по редким книгам Пьер Кретьен предложил для продажи неизданную рукопись Флобера. Манускрипт в шестьдесят восемь страниц содержит заметки писателя, сделанные им в период работы над «Саламбо». Перечитывая произведения Ксенофонта, Полибия и других древнегреческих авторов, Флобер делал из них выписки о сражениях и военных маневрах времен карфагенского полководца Гамилькара Барки. Некоторые свои заметки писатель сопровождал рисунками — всего в рукописи их шесть. Как пишет корреспондент «Фигаро литтерер», до сих пор никто не подозревал об экспериментах Флобера в области изобразительного искусства.
На снимке: один из рисунков Гюстава Флобера.

(Еженедельник «Фигаро литтерер»)





Сцена из балета «Зажигайте звезды», посвященного Маяковскому. Балет создан хореографом Роланом Пети по либретто Жана Риста на основе произведений Маяковского и музыки Прокофьева и Шостаковича.

(Газета «Леттр франсэз»)

щественных конфликтов той эпохи, когда они были написаны. Он показывает, что эти статьи, непосредственно направленные против фальсификации Толстого консерваторами и либералами, вооружают современного читателя и против вульгаризации марксизма, против сектантского, догматического подхода к культурному наследию. Обращаясь к писателям XX века, Клод Прево касается литературно-эстетических воззрений Грамши, Брехта, Арагона, рассматривает новые произведения прогрессивной французской литературы — роман Р. Мерля «За стеклом», пьесу Ж. Тибодо «Май 1968 года во Франции». Отдельные статьи посвящены книгам советских писателей — В. Катаева, С. Залыгина.

По словам рецензента «Юманите», автор «привлекает к рассмотрению острые современные аспекты взаимодействия идеологии и литературы — без натяжек, мужественно». Эта книга, говорит рецензент, «заслуживает быть прочитанной как важный вклад в ту коллективную исследовательскую работу, которую ведет наша партия».

ПОВЕСТЬ-РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Тяжелое положение рабочих-эмигрантов в капиталистических развитых странах волнует многих представителей прогрессивной творческой интеллигенции. С большим успехом прошел в 1972 году во Франции спектакль по пьесе алжирского писателя Катеба Ясина «Мухаммед, забери чемодан». Повесть Жана Пелегри «Лошадь в городе» («ИЛ» № 3, 1973) также поднимает характерную для эмигранта проблему приспособляемости человека в чужой для него среде, хотя речь идет не об эмигранте, а о жителе одного из сохранившихся еще в наше время медвежьих уголков Франции.

Недавно издательство «Сёй» выпустило в свет повесть Раймона Жана «Двенадцатая линия» — об эмигранте из Африки, ставшем виновником дорожного происшествия.

В фабуле произведения Жана есть что-то общее с повестью Пелегри, но помимо темы подавления личности бездушной цивилизацией буржуазного города Жан пишет о расизме общества, безжалостно эксплуатирующего труд рабочих-иностранцев и отказывающего им в нормальных условиях жизни и в человеческом к ним отношении.

Двенадцатая линия — это маршрут автобуса, из окна

которого герой повести Жана наблюдает жизнь по дороге на работу и обратно. Только так он и общается с Францией, остающейся для него совершенно чужой страной. Затем он становится невольным виновником того, что шофер автобуса наезжает на легковую машину, и попадает под суд.

Журнал «Жён Африк» в рецензии на повесть «Двенадцатая линия» пишет, что герой «осужден, но книга Жана разоблачает судей, свидетелей, адвокатов и всех тех, кто ничего не хочет видеть и слышать».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРЕМИЯ ЛИРИЧЕСКИМ МИНИАТЮРАМ

Государственную премию Клемента Готвальда получил чешский поэт Мирослав Флориан за сборник стихотворений «Инициалы» и произведения последних лет.

М. Флориан родился в 1931 году. Он — поэт-лирик, чей голос особенно выразительно звучит в жанре лирической миниатюры. Стихи, вошедшие в сборник «Инициалы», удостоенный премии, по словам рецензента газеты «Руде право», подобны инициалам средневековых рукописных книг.

В поэзии Флориана лаконизм, афористичность сочетаются с наблюдательностью, повышенным интересом к деталям, при помощи которых он создает свой образ мира, пишет рецензент.

ЧИЛИ

КНИГИ — НАРОДУ

По сообщению газеты «Насьон», национальное книжное издательство «Киманту» начало публикацию новой серии — «Мини-книги».

Назначение этой серии — изменить положение на чилийском книжном рынке, при котором малые тиражи и высокие цены на книги делали их недоступными для широких масс трудящихся. Директор издательства Хоакин Гутьеррес заявил: «Культура всегда была для народа чем-то вроде изысканно одетой, увешанной драгоценностями и высокомерной дамы. Простой люд всегда испытывал по культуре смутную тоску, поскольку она была для него недоступна. Теперь с помощью «мини-книг» мы рассчитываем покончить с подобным положением вещей, и произведения великих писателей, как отечественных, так и зарубежных, станут достоянием всех».

Предпринять данное издание, отметил Гутьеррес, оказалось возможным благодаря закупке правительством Сальвадора Альенде современного типографского оборудования, удешевившего стоимость изданий.

Хоакин Гутьеррес привел ряд цифр, красноречиво характеризующих рост потребности чилийских трудящихся в книге: к настоящему времени издательством продано почти полмиллиона книг популярной серии «Киманту» для всех». Что касается политической литературы, выпущенной издательством, то ее тираж превысил 500 тыс. экз.

Цена книг серии «Киманту» для всех» еще относительно высока — 12 эскудо, что делает их слишком дорогими для низкооплачиваемых категорий трудящихся. В связи с этим издательство изыскало возможности выпуска книг новой серии по цене всего 8 эскудо.

Не менее важен, отмечает Гутьеррес, следующий этап: доведение книги до читателя. Поэтому книги новой серии будут продаваться не только в книжных магазинах, которые сосредоточены преимущественно в центре, но и в газетных киосках, которые есть в каждом квартале. Организуется продажа книг в профсоюзных комитетах на предприятиях, вскоре «книжные лавки на колесах» отправятся со своим грузом в отдаленные районы страны.

Девиз издательства, сказал Хоакин Гутьеррес: «Пусть книга идет к людям, а не люди к книге!»

Серия «Мини-книги» будет включать произведения выдающихся писателей всех времен и народов. Две первые книги, уже увидевшие свет, — это рассказ известного чилийского писателя Бальдомеро Лильо «Свист дьявола» и один из рассказов Артура Конан-Дойля (из серии рассказов о Шерлоке Холмсе). На очереди — «Рифмы» Густаво Адольфо Беккера, испанского поэта и прозаика прошлого столетия.

ЮАР

«ЯРОСТЬ, ПЛАЧЬ!»

Несколько месяцев назад в Южной Африке вышли в свет два сборника антирасистской поэзии. Первый сборник «Звуки коровьего барабана» создан «черным» южноафриканцем Освальдом Джозефом Мтшали (см. «ИЛ» № 4, 1973). Вторая книжка называется «Ярость, плачь!». Она составлена из стихотворений известного прозаика и журналиста Джеймса Мэтьюза (его рассказы публиковались в СССР) и Глэдис Томас. Авторы сборника «Ярость, плачь!» принадлежат к «цветной» общине Южной Африки. Книга, как явствует уже из ее названия, подобна протяжному крику ярости и отчаяния. Более того, она содержит призыв к борьбе.

Публикация этих стихов отнюдь не означает «смягчения» репрессивной политики правительства Форстера. Книги увидели свет из-за оплошности цензуры, высокомерно посчитавшей, что поэзия, изданная ничтожным тиражом, да еще на английском языке, не достигнет «черного» читателя и не сможет представить угрозы режиму.

Но в начале марта 1973 года правительство «исправило» ошибку своих цензоров: «Ярость, плачь!» была запрещена и изъята из книжных магазинов. Авторам сборника грозит тюремное заключение.

ЮГОСЛАВИЯ

«ЖИЗНЬ В ДРУЖБЕ С ПОЭЗИЕЙ»

Замечательной сербской поэтессе Десанке Максимович исполнилось семьдесят пять лет. Ее творчество хорошо известно советскому читателю по поэтическим сборникам, а также роману «Дети становятся взрослыми», переведенным на русский язык. За большие заслуги в деле популяризации русской и советской литературы советское правительство наградило Д. Максимович орденом «Знак Почета».

Творчество Д. Максимович многие годы находится в поле зрения югославской литературной критики и литературоведения, но особенно много пишут о ней в последние годы. Огромное влияние на Максимович оказало творчество крупнейших сербских поэтов Ивана Дучича и Милана Ракича, властителей дум югославской поэтической молодежи. Но, разумеется, творчество поэтессы опирается и на традицию, оно тесно связано с жизнью, с событиями, которые потрясали жизнь мира и родной страны поэтессы, ибо, по ее собственному выражению, ее поэзия, особенно социальная и патриотическая, возникла «как спонтанная реакция на жизнь».

Современную детскую югославскую литературу невозможно представить без имени Д. Максимович. Многие ее стихотворения стали непременной принадлежностью хрестоматий, их эстетическая ценность и актуальность таковы, что, по мнению одного из критиков, «вряд ли найдется какой-нибудь современный поэт, произведения которого можно поставить наряду со стихами Максимович».

Любица Джорджевич, выступая на страницах «Книжевных новин», утверждает, что «для сербской поэзии сегодня лирика Десанки Максимович имеет почти такое же значение, какое имеет творчество Иво Андрича для прозы».

Анализом творчества Д. Максимович довольно давно и последовательно занимается Милорад М. Блечич, посвятивший ей книгу «Десанка Максимович — жизнь в дружбе с поэзией. Слово любви».

Последний опубликованный сборник поэтессы — «Требую помилования» стал значительным явлением в культурной жизни Югославии. Это самый популярный сборник стихов в послевоенный период. Все его издания распроданы, их не найти и в букинистических магазинах.

В 1968 году, когда отмечалось пятидесятилетие творческой деятельности поэтессы, ей было присвоено почетное гражданство города Валева. Этим, несомненно, было отмечено огромное значение патриотической и социальной поэзии Десанки Максимович.

Широк круг ее читателей и почитателей, но особенно велико ее влияние на поэтическую молодежь. Молодые собираются вокруг поэтессы потому, что их привлекают ее огромные знания, ее культура, мудрость и жизненный опыт. Д. Максимович говорит: «По моему мнению, не существует «модерных» или «немодерных» поэтов. Они просто или поэты, или не поэты». Поэтому она всемерно помогала тем, в ком видела талант.

В Сараево на сцене Народного театра поставлена комедия Гоголя «Женитьба», тепло принятая зрителями. Режиссер спектакля—Владо Яблин. На фото—сцена из спектакля.

(Газета «Борба»)

Авторы этого номера

ЯН КОЗАК — JAN KOZÁK (род. в 1921 г.).

Чехословацкий писатель, председатель Союза чешских писателей. По образованию — экономист и историк. Многие годы работал в Высшей партийной школе при ЦК КПЧ.

В 1962 г. внимание читателей и критики привлекла повесть Я. Козака «Марьяна Радвакова», в которой писатель рассказал о грандиозных переменах в словацкой деревне 50-х годов. Повесть была переведена на многие языки, в СССР она вышла на русском и литовском. Перелому в жизни словацкой деревни, переменам в жизни и сознании людей, борьбе нового со старым посвящено большинство книг Я. Козака: сборник рассказов «Западня» («Léčka», 1968), романы «Сильная рука» («Silná ruka», 1966), «Святой Михал» («Svatý Michal», 1971). Я. Козак неоднократно приезжал в нашу страну, побывал в Восточной Сибири, несколько месяцев жил в таежной избушке. В книгах «Охота на Бамбуйке» («Na lovu v Bambujce», 1970) и «Охотник в тайге» («Lovcem v tajze», 1972) он рассказал о красоте суровой природы забайкальской тайги, о героизме охотников, проводящих месяцы вдали от дома.

За роман «Святой Михал», предлагаемый читателю в этом номере, Ян Козак был удостоен Государственной премии имени Клемента Готвальда.

■

ГИЛЬЕРМО АТИАС — GUILLERMO ATIAS (род. в 1915 г.).

Видный чилийский писатель. Автор ряда произведений, в том числе сборника рассказов «Банальное время» («El tiempo banal»), отмеченного первой премией на конкурсе Общества писателей Чили в 1954 г., романа «В тени дней» («A la sombra de los días», 1965). Гильермо Атиас был президентом Общества писателей Чили.

Мы знакомим наших читателей с творчеством Г. Атиаса, публикуя его повесть «...и потекли деньги» («...y corría el billete»), вышедшую в Сантьяго в 1972 г. Эта повесть, показывающая методы борьбы чилийской реакции против правительства Народного единства в наши дни, была высоко оценена прогрессивной критикой Чили, а небывалый для этой страны тираж — 50 тысяч экземпляров, как сообщала чилийская печать, разошелся в течение нескольких дней.

■

ДЖОН БЕРРИМЕН — JOHN BERRYMAN (1914—1972).

Американский поэт. Родился в штате Оклахома. По окончании Колумбийского университета в Нью-Йорке (1936) и Кембриджского в Англии (1938) преподавал в университетах США (Гарвард, Принстон и др.), с 1955 г. до конца жизни занимал кафедру в университете штата Миннесота, в Миннеаполисе.

Начав публиковать стихи в американских журналах в конце 30-х годов, Джон Берримен стал автором многих поэтических книг. Его творчество отмечено премией Пулитцера, академической премией, Государственной премией США по литературе и др. В 1972 г. поэт покончил самоубийством.

Публикуемые стихотворения взяты из книг «Отчуждение» («The Dispossessed», 1948), «Сонеты Берримена» («Berryman's Sonnets», 1967), «Песни-фантазии» («Dream Songs», 1969). О творчестве Дж. Берримена см. вступительную статью В. Британишского.

■

ГЕНРИ ДЖЕЙМС — HENRY JAMES (1843—1916).

Американский писатель. В 1875 г. переселился в Европу, в 1915 г. принял британское подданство. Литературную деятельность начал в конце 60-х годов прошлого века. (О нем и его творчестве см. послесловие А. Елистратовой.)

Повесть «Письма Асперна» («The Aspern Papers») перепечатывается нами из сборника его коротких повестей («The Great Short Novels of Henry James»), вышедшего в Нью-Йорке в 1965 г.

■

АНАТОЛЬ СТЕРН — ANATOL STERN (род. в 1899 г.).

Известный польский поэт и прозаик. Автор более десяти книг стихов, романов, пьес, литературоведческих работ, переводчик советской и французской поэзии. Под редакцией А. Стерна в 1927 г. в Польше вышел первый сборник стихов Маяковского с предисловием самого автора.

Воспоминания о Маяковском перепечатываются нами из журнала «Вспулчесност» (Варшава, 1967).

■

ГУГО ГУППЕРТ — HUGO HUPPERT (род. в 1902 г.).

Австрийский поэт, критик и публицист. Автор стихотворений и поэм, составивших несколько сборников, очерков и статей Г. Гупперт перевел на немецкий язык многие произведения классической русской и советской литературы, полное собрание сочинений В. Маяковского, поэмы Твардовского, «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели и др. В 1970 г. вышла его новая поэма «Рапсодия: хлеб и розы» («Rhapsodie: Brot und Rosen»), посвященная В. И. Ленину.

Воспоминания о Маяковском перепечатываются из журнала «Нойе дойче литератур» (Берлин, 1955).

■

ЯНЬ ЧЭНЬ, ГЭ БИ-ЧЖОУ, ЛИ ИН — китайские поэты. (О них см. предисловие Л. Черкасского.)

■

Высказывания писателей мира о Маяковском — стр. 212—220.

Материал предоставлен Государственным музеем В. В. Маяковского.

■

ВЕРНЕР НОЙБЕРТ — WERNER NEUBERT (род. в 1929 г.).

Немецкий критик и литературовед (ГДР), секретарь Союза немецких писателей, главный редактор журнала «Нойе дойче литератур». Автор многочисленных статей, публиковавшихся в периодической печати. В. Нойберт является составителем нескольких антологий, последняя из них — «Гейне в зеркале прозы и поэзии» («Heine im Spiegel neuer Prosa und Poesie») — вышла в 1972 г.

Статья «Познание смысла жизни» получена редакцией в рукописи.

■

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель, лауреат литературной премии «Лотос». Родился и вырос в Кейптауне в семье коммуниста, одного из руководителей движения за свободу цветного населения. Начал печататься в 1956 г., публикуя в газете «Нью эйдж» репортажи о жизни черных и цветных в Южной Африке. За политическую деятельность неоднократно подвергался арестам. Много лет провел в заключении, где начал писать свои первые книги, обличающие расистский режим. Эти книги запрещены в ЮАР. В настоящее время живет в эмиграции.

Советские читатели знают Алекса Ла Гуму по напечатанным в «Иностранной литературе» повестям «И нитка, втрое скрученная...» (№ 12, 1965), «В конце сезона туманов» (№ 12, 1972), роману «Каменная страна» (№ 11, 1969), а также переведенной на русский язык повести «Скитания в ночи».

Статья «Южноафриканская литература и апартеид» получена от автора в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**
Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

А 06434. Сдано в набор 4/V 1973 г. Подписано к печати 11/VI 1973 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,67. Зак. 1506.
Тираж 580.000 экз. (1-й завод 1 — 380.000 экз.)

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394